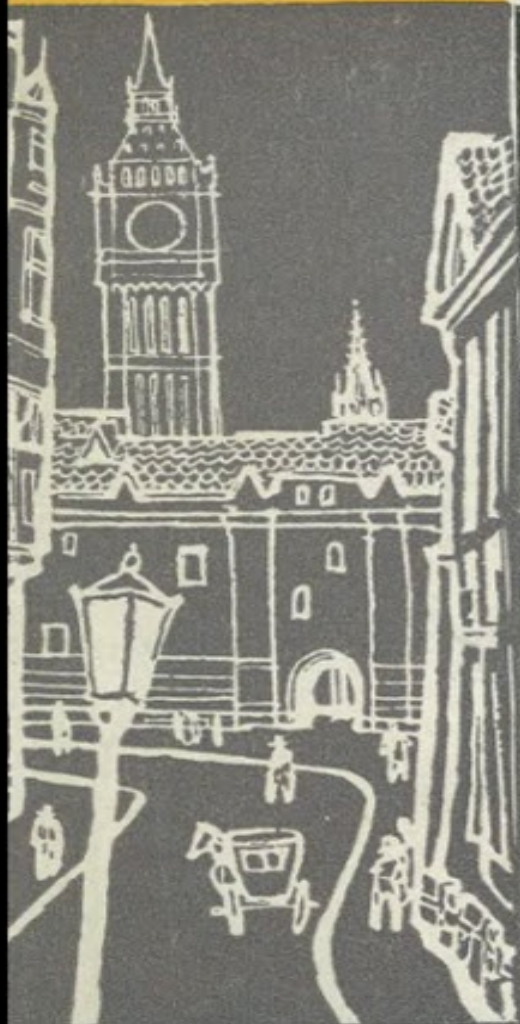


# ДИККЕНС



*Хескет  
Тирсон*



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Книга Хескета Пирсона называется «Диккенс. Человек. Писатель. Актер». Это хорошая книга. С первой страницы возникает уверенность в том, что Пирсон знает, как нужно писать о Диккенсе.

Автор умело переплетает театральное начало в творчестве Диккенса, широко пользуясь его любовью к театру, проходящей через всю жизнь.

- 
- [Хескет Пирсон](#)
    - 
    - [Первые наблюдения](#)
    - [Первая любовь](#)
    - [Неподражаемый Боз](#)
    - [Разногласия](#)
    - [Великий Могол\[60\]](#)
    - [Труды и развлечения](#)
    - [Квилп и Таппертит](#)
    - [Со своею дамой](#)
    - [Плоды странствий](#)
    - [Тревоги и волнения](#)
    - [CD и DC\[112\]](#)
    - [Дела редакционные и пр](#)
    - [«Мрачный социалист»](#)
    - [Новый друг](#)
    - [Блистательный](#)
    - [Дела домашние](#)
    - [Разлад](#)
    - [Исторические места](#)
    - [Последняя любовь](#)
    - [Один](#)
    - [Felo de se\[25\]](#)
    - [Диккенс](#)
    - [Основные даты жизни и творчества](#)
    - [Иллюстрации](#)
      - 
      -



- [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)

- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)

- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)



- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)

- [217](#)



# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

ОСНОВАНА  
В 1933 ГОДУ  
М. ГОРЬКИМ



Выпуск 3  
(360)

МОСКВА  
1963

*Хескет Пирсон*

ДИККЕНС

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

---

\*

Перевод с английского *М. Кан*  
Заключительная статья *В. Каверина*  
Под редакцией *Я. Рецкера*

М., «Молодая гвардия», 1963

## Первые наблюдения

ЭТО случилось в Портсмуте зимою 1812 года. Вечером 7 февраля мелкий служащий Адмиралтейства, славный малый, повез жену на бал, а через несколько часов у супругов родился второй ребенок — Чарльз Диккенс.

Собственно говоря, Диккенс не унаследовал от родителей ни склада характера, ни наклонностей. Отец его был сыном лакея и горничной, которые со временем стали дворецким и экономкой. Джон Диккенс был милейшим человеком, добродушным, общительным и щедрым, но не глубоким и любившим прихвастнуть. Пристрастие к анекдотам сочеталось в его характере с еще большим пристрастием к джину и виски. Мать Чарльза по происхождению стояла немного выше мужа: в числе ее родственников были и чиновники. Добрая женщина, мягкая, честная, но довольно легкомысленная, она не имела большого влияния на мужа и не могла справиться с житейскими невзгодами, возникавшими из-за той благодушной, но совершенно пагубной манеры, с которой он вершил семейные дела.

Чарльзу было около пяти месяцев, когда с улицы Майл-Энд Террас, где он родился, Диккенсы переехали в предместье Портси, на Хок-стрит. Там они и прожили до 1814 года, пока не переселились в Лондон.

Незадолго до кончины Диккенс выступал в Портсмуте с чтением отрывков из собственных произведений. Однажды вместе со своим импресарио он прохаживался по городу и вдруг заметил название одной из улиц.

— Ба! — воскликнул он. — Да ведь здесь я родился!

Но в каком именно доме — этого Диккенс установить не мог. Прошли вперед, вернулись, снова обошли всю улочку, и писатель указывал то на один, то на другой, то на третий дом. Один сильно напоминал ему отца; другой, казалось, говорил всем своим видом: «Меня покинул тот, кто родился под моей крышей»; третьему — это было совершенно очевидно — приходилось когда-то укрывать в своих стенах слабого и тщедушного младенца, то есть именно такого, каким был в детстве сам Диккенс. Словом, так продолжалось до тех пор, пока не выяснилось, что на улице вообще нет ни одного дома, где бы он ни родился. Впоследствии более тщательные исследователи достоверно установили, где именно произошло это событие: Лендпорт, Майл-Энд, Коммершл-роуд, в доме, который ныне

значится под № 387.

Дар необычайной наблюдательности проявился у Диккенса, когда ему не было еще и двух лет: уже взрослым он вспоминал сад возле дома на Хок-стрит, где он на неверных ножках ковылял вслед за старшей сестрой под присмотром няни, следившей за детьми из кухонного окна; отчетливо помнил он и как его водили смотреть на солдат, обучавшихся маршировке, и зимний Портсмут, покрытый снегом в день их отъезда в Лондон.

С 1814 года Диккенсы жили в Лондоне, а в 1817 переехали в Чатем, где Джон Диккенс занял ответственный пост в расчетной части Адмиралтейства: жалованье его со ста десяти фунтов в год постепенно возросло до трехсот пятидесяти. Четыре года они прожили в доме № 2 по улице Орднанс Террас (теперь это дом № 11), еще два — на площади Сейнт-Мэри-Плейс в Бруке (дом № 18), и этому времени суждено было стать самым счастливым в жизни маленького Чарльза. Зрелым человеком он с наслаждением вспоминал далекие чатемские дни и в эти минуты отдыхал душою. Для него детство было «счастливым сном, запомнившимся на всю жизнь». Такой яркий след оставило оно, что он мог восстановить «каждое событие тех давних лет, каждую мелочь, даже случайное словечко, даже вскользь брошенный взгляд». Он видел все, он все замечал, он ощутил покой созерцания и радость первых открытий. Он был болезненным ребенком (его часто мучили колики) и поэтому не, мог играть с другими детьми, но любил, ненадолго оторвавшись от своих книг, хотя бы посмотреть, как они резвятся.

Соседский мальчик, немного постарше Чарльза (впоследствии Диккенс изобразил его под именем Стирфорса<sup>[1]</sup>), стал его другом. Маленький Диккенс инстинктивно подмечал обычаи людей, живших на одной с ним улице, и запоминал все их странности и причуды; воспоминания эти позднее вылились в «Очерки Боза». Отец брал его в Майтр-инн, где вместе с сестрою Фанни, почти двумя годами старше его, мальчик пел песенки завсегдатаям таверны. Его глубоко интересовал театр; он увлекался любительскими постановками, побывал в королевском театре Рочестера на шекспировских спектаклях «Ричард III» и «Макбет». А чего только не затевали дома! Декламировали, ставили пьесы, смотрели волшебные картины. А катанья с отцом по реке, прогулки за город! Гуляя, они не раз проходили мимо Гэдсхилла, и здесь сын говорил, что ему очень нравится дом на вершине холма, а отец отвечал, что, может статься, придет день, когда Чарльз поселится в этом доме — разумеется, если только он будет упорно трудиться. Мальчик вместе с сестрою или один облазил и замок и кафедральный собор, исходил все рочестерские улицы и тропинки,

разведаль чатемские доки, Кобэмский парк, кентские поля, низины...

Читать и писать Чарльз научился у матери, она же учила его латыни, но заниматься с ним регулярно не могла: то и дело заботы об очередном новорожденном отрывали ее от сына, что невольно настораживало Чарльза, заставляя его чувствовать кажущуюся непрочность, непостоянство материнской любви. Как часто бывает с болезненными детьми, лишенными общества сверстников, он замыкался в себе, и это мешало ему по достоинству оценить мать. Не удивительно, что отца, который в те годы был его самым близким другом, он любил больше. Мальчик не понимал, что пока мать рожала одного ребенка за другим, вела хозяйство и учила детей, отец жил в свое удовольствие, развлекался в беспечной компании, тратил больше, чем получал, брал займы больше, чем мог отдать, — словом, жертвуя будущим, легко и беззаботно спускался по дорожке, которая, как того и следовало ожидать, привела его, а с ним и его семью в долговую тюрьму.

С 1810 по 1832 год миссис Диккенс произвела на свет семерых детей; двое из них умерли в младенческом возрасте. В 1827 году появился восьмой. Когда Чарльзу исполнилось девять лет, дела семьи были уже так плохи, что пришлось сократить расходы, и светлый, веселый дом на Орднанс Террас уступил место плохонькому домику на площади Сейнт-Мэри-Плейс. Жизнь вдруг настроилась на другой, серьезный лад. Декламация, пение, миражи волшебного фонаря — все было забыто. Чарльз поступил в школу, где способный молодой священник-баптист впервые посоветовал ему читать английских классиков. Молодой человек относился к мальчику с большим участием, и тот, естественно, привязался к нему. Впрочем, хотя жить Диккенсы стали скромнее, в доме по-прежнему царили мир и согласие. Миссис Диккенс, по словам Мэри Уэллер, служившей у Диккенсов няней, была «превосходной женщиной и нежной, заботливой матерью». Что касается Чарльза, это был «славный мальчуган, непоседа, а по натуре сердечный, приветливый, открытый. Дети, бывает, дерутся, ссорятся, но этот — никогда. А уж читать, — добавляет она, — любил до ужаса». Он сидел, охватив одной рукой другую — ту, в которой держал книгу, мерно покачиваясь, шумно дыша. С тех пор как в маленькой нежилой комнате наверху, рядом с детской, он раскопал уйму книг, сложенных туда отцом, каждая свободная минута была посвящена Родерику Рэндому, Перегрину Пиклю, Хэмфри Клинкеру, Тому Джонсу, Векфилдскому священнику, Дон-Кихоту, Жиль Блазу, Робинзону Крузо и сказкам «Тысячи и одной ночи». Чтение было для него в те дни главной школой и самой большой отрадой в жизни. Воображая себя героем каждой

из этих книг, он придумывал, как поступил бы на их месте. «Целую неделю — ни много, ни мало — я был Томом Джонсом. Я создал свой собственный образ Родерика Рэндома и в течение месяца играл его роль. Когда я начинаю вспоминать, одна картина сразу встает передо мной: летний вечер, мальчишки играют на церковном дворе, а я сижу на кровати и читаю, читаю. Каждый сарай в окрестности, каждая церковная плита, каждый уголок кладбища так или иначе были связаны в моем представлении с этими книгами. Я видел, как взбирается на колокольню Том Пайпс, как, прислонясь к нашей калитке, остановился передохнуть Стрэйп с походным мешком на спине: я *твердо знаю*, что коммодор Трэннион вел беседу с мистером Пиклем в маленьком зале нашей деревенской пивной». Читая дальше, мы узнаем, что и Дэвид Копперфилд и Чарльз Диккенс видели из окна своей комнаты одну и ту же церковку с приходским кладбищем — только первый видел ее в Бландерстоуне близ Ярмута, а второй — на чатемской площади Сейнт-Мэри-Плейс.

В начале 1823 года вся семья, кроме Чарльза, у которого, по-видимому, был самый разгар школьных занятий, переехала в Лондон: Джона Диккенса перевели по службе в Сомерсет Хаус<sup>[2]</sup>, — без сомнения, он был от души рад расстаться со своими чатемскими кредиторами. Но Чарльз, вскоре приехавший вслед за родителями, был глубоко опечален. Уйти из школы в одиннадцать лет — тяжелый удар! И какая пропасть была между их чатемским домом — домом чиновника Адмиралтейства — и этим, кэмденским, № 16 по Бейхем-стрит! Правда, на углу находился сад матушки Рэд Кэп с чайными столиками под открытым небом и приблизительно за полмили, на Чок-Фарм, — тропинки, бегущие меж рядами живых изгородей к таким же открытым ресторанчикам, а стоило переступить порог, и перед тобой расстилались лесистые склоны Хэмпстедского холма. Но чего стоят эти сельские прелести, когда нужно ютиться в убогом домишке, когда соседи — необразованные, грубые люди, когда приходится помогать по дому, чистить обувь для всей семьи, нянчить младших братьев и сестер и бегать по разным поручениям, потому что единственная работница, которая по средствам твоей семье, — это маленькая сиротка из чатемского рабочего дома. Друзей-сверстников у него не было; не было больше и радостного сознания, что он идет вперед, приобщается к наукам, — чувства, которое он постоянно испытывал в школе. Сестра его, Фанни, стала ученицей Королевской музыкальной академии, и много лет спустя Чарльз рассказывал одному из своих друзей, как больно было провожать сестру, которая уезжала в Лондон учиться и которой все со слезами на глазах посылали добрые пожелания, —



проводить и думать, что до тебя решительно никому нет дела! Теперь, когда судьба разлучила его даже с подругой детства, Чарльз чувствовал себя окончательно заброшенным и одиноким.

Но так же как его истинное призвание определилось при чтении книг Смоллетта<sup>[3]</sup>, Филдинга<sup>[4]</sup> и Сервантеса, — здесь, в лондонских трущобах, он, сам того не подозревая, получал свое подлинное образование. К этому времени он уже написал трагедию и принялся сочинять рассказы для «домашнего потребления»; теперь, блуждая по городу и его хмурым окраинам, он незаметно для себя добывал сырье, из которого ему предстояло создавать своих героев. Первое время он довольствовался окрестностями Хэмпстед-роуд<sup>[5]</sup>, но постепенно осмелел и обследовал район Сохо<sup>[6]</sup>, где на Джерард-стрит снимал квартиру его дядя, чиновник Томас Барроу. В районе Лаймхаус<sup>[7]</sup> на Черч-Роу, где все вокруг было связано с кораблями, с морем, жил крестный отец Чарльза, такелажник Кристофер Хаффам. По дороге к нему мальчик наблюдал жизнь Ист-Энда<sup>[8]</sup>, и все, что он видел, казалось ему необычайно увлекательным. Излюбленным местом его экскурсий были Ковент-гарден<sup>[9]</sup> и Стрэнд<sup>[10]</sup>. Часами, стоя где-нибудь на углу, смотрел он по сторонам, заглядывая в темные дворы зловонных узких улиц, подмечая и запоминая нравы их обитателей. Но поразительнее всего был район Сэвен Дайелс<sup>[11]</sup>. «Какие чудовищные воспоминания вынес я оттуда! — воскликнул он однажды. — Какие видения! Порок, унижения, нищета!» Эти зрелища и пугали и в то же время неотразимо манили к себе все еще хрупкого, болезненного и крайне впечатлительного мальчика. Бессознательно он накапливал богатый запас наблюдений. Все эти места были впоследствии описаны им, и многие их обитатели стали героями его романов.

Итак, Чарльз пополнял запас своих знаний, а тем временем основной капитал его отца — добрая репутация — таял с каждым днем. Новую должность Джон Диккенс получил по милости влиятельных людей, бывших хозяев его матери, и сохранил за собой, очевидно, лишь потому, что уволить его могли, только если бы он, скажем, присвоил себе казенные деньги. Никто, кажется, не сомневался в том, что он был приятный человек, душа общества, но горячность, с которой пишет о нем сын, во многом объясняется тем, что к матери мальчик относился с холодком: «Я знаю, что отец мой — самый добрый и щедрый человек из всех, когда-либо живших на земле. Как он вел себя по отношению к жене, детям, друзьям, как держался в дни горестей и болезней! О чем ни вспомнишь, все выше похвал. За мною, ребенком болезненным, он смотрел день и ночь — много

дней и ночей, неустанно и терпеливо. Никогда не брался он за доверенное ему дело, чтобы не выполнить его честно, усердно, добросовестно и пунктуально». Поскольку основным «делом», вверенным Джону Диккенсу, были жена и семья, эту оценку следует несколько умерить. Легкий нрав, общительный характер, чрезмерное хлебосольство навлекли на его семью нужду и горе, оттолкнули родственников его жены, не желавших более давать ему денег «взаймы», как предпочитал выражаться он сам; лишили его старшего сына школы и школьных товарищей. Зато он с восторгом слушал, как мальчик поет забавные песенки. В этом, без сомнения, и кроется одна из причин той сердечности, с которой Чарльз неизменно говорит об отце. Недаром же он любовно изобразил его под видом Микобера и старого Доррита! Джон Диккенс был первой «аудиторией», по-настоящему оценившей его талант. Сын был так благодарен отцу за его внимание в дни болезни, за дружбу, за то, что отец гордился его выступлениями, что, когда настал час подлинных испытаний, Чарльз осудил поступок матери и до конца жизни не простил ее, хотя ее следовало бы только похвалить за то, что, когда все пошло прахом, она старалась, хотя и тщетно, поддержать семью. Да и сам Чарльз находился в отчаянном положении тоже по милости отца.

Бедняжка миссис Диккенс в критический момент делала все, что могла, но все ее усилия ни к чему не приводили. Сняв помещение на Гоуэр-стрит<sup>[12]</sup>, она было задумала открыть школу, распорядилась повесить на двери медную дощечку с надписью. «Учебное заведение миссис Диккенс» и отправила Чарльза разносить по соседним кварталам письма-проспекты. Приготовлений к тому, чтобы встретить учеников, она не сделала решительно никаких, и это было весьма разумно, потому что никто не обратил на ее «заведение» ни малейшего внимания. А между тем назревали нелады с мясником и булочником, которые придерживались нелепого убеждения, что по счетам следует платить. Семья стала жить впроголодь. Дело кончилось тем, что Джона Диккенса арестовали за долги. Глубоко несчастный, задыхаясь от слез и стараясь подавить рыдания, Чарльз метался между отцом и его обезумевшим от горя семейством. «Солнце мое закатилось навеки», — вымолвил отец перед тем, как его отправили в тюрьму Маршалси<sup>[13]</sup>, и при этих словах мальчуган почувствовал себя совершенно убитым. Вскоре он пошел в тюрьму на свидание. «Отец поджидал меня в сторожке; мы поднялись к нему в камеру и вволю наплакались... Он, помню, убеждал меня отнести к Маршалси как к предупреждению свыше и запомнить, что если, получая двадцать фунтов в

год, человек тратит девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов и шесть пенсов, ему будет сопутствовать счастье, но стоит ему истратить хоть на шиллинг больше, и беды не миновать». Чарльз остался в тюрьме пообедать, и мистер Диккенс послал его за ножом и вилкой к другому заключенному, по прозвищу «капитан Портер», обитавшему этажом выше. «Я, кажется, ни к чему особенно не присматривался, но разглядел все», — рассказывал Дэвид Копперфилд, и, хотя Чарльз простоял на пороге камеры капитана каких-нибудь одну-две минуты, он ушел, сохранив в памяти точную картину всей ее обстановки и безошибочно разгадав, кем приходились капитану Портеру соседи по камере: женщина-грязнуха и две изможденные девицы. Мальчик был подавлен и удручен, и все-таки ничто не ускользнуло от его, казалось бы, рассеянного, а на самом деле зоркого взгляда.

Но положение отца было еще не так ужасно в сравнении с его собственным. Дом на Гоуэр-стрит постепенно пустел, обстановка таяла, и Чарльз то и дело был вынужден бегать в ломбард. В первую очередь туда отправилось самое заветное его сокровище — книги; за ними последовали стулья, картины, столы, каминный прибор, столовая посуда и так далее, пока всей семье не пришлось ютиться в двух комнатах с голым дощатым полом. Видя, в каком ужасном положении они находятся, дальний родственник миссис Диккенс и бывший ее чатемский и кэмденский квартирант Джеймс Лемерт<sup>[14]</sup>, ныне хозяин фабрики ваксы, предложил Чарльзу работу у себя на складе с жалованьем шесть шиллингов в неделю. Такой поворот событий вполне устраивал родителей юнца; большего удовлетворения, думалось Чарльзу, они бы не выказали и в том случае, если, отличившись в средней школе, их сын готовился бы теперь поступить в университет. Фабричка находилась у Хангерфорд Стэрс, в том районе Лондона, который несколько лет спустя был снесен, уступив место вокзалу Чаринг-Кросс и мосту Хангерфорд. Склад помещался у самой реки в ветхом, грязном строении, кишевшем крысами и пропитанном затхлым запахом гниющей древесины. «Моя работа, — писал Чарльз, — состояла в том, чтобы запечатывать банки с ваксой. Сначала кладешь листик вощеной бумаги, прикрываешь его другим — синим, завязываешь шпагатом, а бумагу подрезаешь кругом, да покороче, поаккуратнее, пока банка не примет такой же щеголеватый вид, как аптечная баночка с мазью. Когда набиралось нужное количество баночек, достигших подобного совершенства, на каждую следовало наклеить заранее отпечатанную этикетку и потом приниматься за новую партию». На первом этаже этим занимались два-три других подростка, которым платили еще меньше, чем Чарльзу. «В понедельник утром, когда я впервые пришел на работу, один из

них, в рваном фартуке и бумажном колпаке, поднялся наверх, чтобы научить меня обращаться со шпагатом и завязывать узелки. Звали его Боб Феджин; это имя много лет спустя я позволил себе использовать в «Оливере Твисте».

В царстве ваксы Боб Феджин был единственным проблеском света: он обращался с Чарльзом как с «юным джентльменом», заступался за него перед мальчишками, изредка играл с ним и ухаживал за юным джентльменом во время тяжелого приступа колик, знакомых Чарльзу еще с младенческих лет. «Я испытывал тогда такие страдания, что мне устроили в конторе временное ложе из соломы в той обшарпанной нише, где я работал, и я полдня катался по полу от мучительной боли, а Боб менял грелки — наполненные горячей водой порожние пузырьки из-под ваксы, которые он прикладывал мне к боку. Постепенно мне стало легче, а к вечеру все совсем прошло, но Бобу (он был намного старше меня и выше ростом) не хотелось пускать меня одного домой, и он вызвался меня проводить. А вдруг он узнает, что каши живут в тюрьме? Никогда! Я был слишком горд. Под разными предлогами я пробовал от него отделаться, но Боб Феджин по доброте душевной и слушать ничего не желал. Тогда я сделал вид, что живу у моста Саусварк на стороне Серри, и распрощался с Бобом у подъезда какого-то дома. На случай, если он вдруг обернется, я, помнится, для пущей убедительности постучался в дверь и, когда мне открыли, спросил, не здесь ли живет мистер Роберт Феджин».

Когда все это происходило, домом маленького Диккенса была тюрьма Маршалси. Ни единая душа не пожелала воочию убедиться в достоинствах учебного заведения миссис Диккенс, и, прожив на Гоуэр-стрит шесть месяцев, она забрала с собою домочадцев и в марте 1825 года перебралась в новую резиденцию — тюрьму<sup>[15]</sup>. Ее муж по-прежнему получал от морского ведомства жалование — шесть с лишним фунтов в неделю, кредиторы в тюрьме не тревожили — словом, это было куда более приличное существование, чем за последние несколько лет. Фактически семья, можно сказать, получила возможность снова встать на ноги, так что глава ее и не пытался вернуть долг, за неуплату которого был арестован. Чарльз и Фанни, собственно говоря, в тюрьме не жили, но каждое воскресенье Чарльз заходил за сестрой в Королевскую музыкальную академию, и они проводили выходной день с родителями. Первое время мальчик снимал каморку в Кэмден-Тауне у «престарелой дамы, находившейся в стесненных обстоятельствах». В один прекрасный день эта старая леди, едва не заморившая своего жильца голодом, стала известна читателям под именем миссис Пипчин из «Домби и сына». Так безрадостно

жилося у нее мальчику, что он, наконец, пришел к отцу и взмолился о помощи, после чего ему подыскали мансарду на Лант-стрит в Саусварке, недалеко от тюрьмы. Жильцы здесь постоянно менялись, «как правило — исчезая ночью, чаще всего — накануне того дня, когда предстояло платить за квартиру». Семья хозяина относилась к Чарльзу с большой добротой, ухаживала за ним во время очередного приступа болезни и заслужила тем самым место в «Лавке древностей» под именем Гарландов. Кое-какими штрихами для портрета Маркизы, героини той же книги, его снабдил еще один персонаж той поры: чатемская сиротка, продолжавшая служить у Диккенсов. Каждое утро Чарльз встречался с нею у Лондонского моста и в ожидании, пока откроют тюремные ворота, рассказывал о Тауэре, о лондонских причалах, обо всем, что попадалось на глаза, — необычайные истории, в которые и сам был готов поверить. Завтракал и ужинал он постоянно у своих, в тюрьме, но ходить туда днем не хватало времени, и его полуденная трапеза состояла чаще всего из булочки или куса пудинга, а то и ломтя хлеба с сыром, которые он в редких случаях запивал кружкой пива. Однажды с булкой под мышкой он пожаловал в ресторан мясных блюд в Клер-Корт на Друри-лейн и спросил маленькую порцию говядины. Официант, который принес ему тарелку, подозвал приятеля, такого же любопытного, как и он сам, и, пока мальчик сидел за едой, оба стояли и таращили на него глаза. В другой раз он зашел в питейное заведение на Парламентской улице подле Вестминстерского аббатства<sup>[16]</sup> и осведомился у хозяина:

— Почем кружка лучшего эля — наилучшего?

Узнав, что цена два пенса, он заявил:

— Так вы мне, пожалуйста, нацедите кружечку, только полную и побольше пены.

Хозяин кликнул жену, и они бесцеремонно воззрились на посетителя. После множества вопросов, на которые Чарльз отвечал, что придет в голову, хозяин поднес ему эля, а хозяйка наградила поцелуем. Однако такая роскошь, как эль или мясо, редко была ему по карману.

Шесть месяцев на фабрике ваксы были временем позора и страданий, когда он чувствовал себя униженным, покинутым, беспомощным, лишенным всякой надежды, наглухо отрезанным от всего, что делает жизнь более или менее сносной. «О том, что я страдал тайно и горько, никто и не подозревал», — признался он в частном письме много лет спустя. Так сильно подействовало на него то, что ему пришлось тогда пережить, что, раз десять обращаясь к этому периоду в своих произведениях, он никогда не рассказывал о нем собственным детям, впервые узнавшим о фабрике

ваксы только из его биографии, написанной Форстером<sup>[17]</sup>. Более того, пока весь квартал не был перестроен до неузнаваемости, он ни разу близко не подошел к месту своей каторги.

«Мой старший сын уже научился говорить, — писал он, — а я все не мог без слез пройти по окраине, вдоль которой, бывало, возвращался домой»<sup>[1]</sup>.

Однако каким бы жалким и потеряннным ни чувствовал он себя, пробираясь вдоль улиц Адельфи, ныряя под арки, его интерес к «человеческой комедии» не ослабевал ни на минуту, а любознательность была неистощима. «Явившись под вечер в Маршалси, я всякий раз был готов с упоением слушать, как мать рассказывает историю того или иного должника-заключенного». Одну сцену он многие годы спустя воскресил с присущей ему живостью. Близился день рождения короля, и Джону Диккенсу пришла в голову мысль составить прошение, чтобы заключенным отпустили денег, на которые они выпьют за здоровье своего монарха. Ради этого события Чарльз на день отпросился с работы. Узники вереницей выстроились перед камерой, по одному заходили туда и ставили на петиции свое имя. «У каждого по очереди капитан Портер спрашивал: «Желаете послушать, что здесь написано?» Стоило кому-нибудь проявить нерешительность, как капитан звучным, громким голосом читал все до последнего слова. Помню, как раскатисто, с каким-то особым смаком выговаривал он такие слова, как «ваше величество», «ваше королевское величество», «обиженные судьбою подданные вашего королевского величества», «прославленная щедрость вашего величества», будто чувствуя их у себя во рту как нечто осязаемое и восхитительное. Бедняга отец тем временем чуть-чуть самодовольно, как и подобает автору, слушал его, созерцая (скорее меланхолично, чем враждебно) утыканную гвоздями тюремную стену за окном».

Пока другие члены семьи коротали дни в Маршалси, Фанни успешно занималась, и наступил день, когда — правда, не в полном составе — семейство отправилось в Королевскую музыкальную академию посмотреть, как Фанни Диккенс будет получать награду. Для Чарльза это были тягостные минуты. «Нестерпимо было сознавать, что все это — благородное соперничество, признание, успех — не для меня. Я чувствовал, что у меня разрывается сердце. Прежде чем лечь спать в тот вечер, я молился, чтобы бог избавил меня от унижительного прозябания. Никогда еще я так не страдал, но зависть тут была ни при чем».

Вскоре его молитва была услышана. В апреле 1824 года скончалась



мать Джона Диккенса, оставив сыну в наследство около двухсот пятидесяти фунтов, и второй ее сын, уплатив долг за брата, добился его освобождения из тюрьмы. Семья вернулась в Кэмден-Таун, поселилась на короткое время у «старой дамы в стесненных обстоятельствах», известной нам под именем миссис Пипчин, а затем сняла отдельный домик на Джонсон-стрит, в котором Диккенсы и прожили три года. Между тем фабрика ваксы переехала и помещалась теперь невдалеке от того места, где Чэндос-стрит выходит на Бэдфорд-стрит. Чарльз с другими подростками стал работать поближе к свету, у окна, на виду у прохожих. Однажды сюда зашел Джон Диккенс и был, надо полагать, раздосадован тем, что его сына выставили напоказ перед публикой. По этой ли или иной причине он послал оскорбительное письмо Лемерту, и Чарльз был мгновенно уволен: «Я горько расплакался, отчасти потому, что все случилось так внезапно, и еще потому, что в припадке гнева хозяин ругал отца на чем свет стоит, хотя со мною говорил ласково... С чувством облегчения, но облегчения странного, близкого к подавленности, шел я домой. Мать вызвалась уладить размолвку. На другой же день она осуществила свое намерение и возвратилась с вестью о том, что мне дали лестную характеристику (как я вполне убежден, заслуженную) и просят наутро снова приступить к работе. Отец заявил, что я не вернусь ни в коем случае, что мне нужно поступить в школу. Я пишу сейчас без возмущения или обиды, ибо знаю, что все вместе взятое и сделало меня тем, что я есть, но никогда потом я не забывал, никогда не забуду, да и не смогу, никогда забыть, что мать была целиком за то, чтобы опять послать меня на работу». Что касается нас, мы не должны строго судить ни сына, ни мать. Миссис Диккенс билась как рыба об лед, трудилась как каторжная, чтобы вырастить детей, и была, естественно, озабочена, теряя шесть шиллингов в неделю. Кроме того, она стремилась сохранить дружеские отношения с теми своими родственниками, которые еще не отвернулись от ее семьи. Чарльз — и это столь же естественно — не представлял себе, как трудно ей приходится. Вернуться на склад ваксы значило для него опять обречь себя на бесконечные муки и проститься со всякой надеждой. И если наше сочувствие все-таки на стороне Чарльза, то не потому, что он был прав, а его мать виновата. Просто ему было всего двенадцать лет, а она была уже взрослым человеком и к тому же его матерью.

В конце 1824 года Джон Диккенс был уволен из Адмиралтейства на пенсию — сто сорок пять фунтов в год. Почти сразу же по протекции одного из братьев жены он получил в какой-то газете место парламентского репортера и в этой должности, конечно же, проявил свои таланты,

сглаживая изъяны красноречия государственных мужей. А за несколько месяцев до этого его сын Чарльз стал приходящим учеником частной школы «Веллингтон-Хаус Академи» на Хэмпстед-роуд, где проучился более двух лет. Это были, несомненно, счастливые годы. Как сильно отличались (с точки зрения социальной) его нынешние приятели от тех, которых он только что покинул! Как разительно не похож был (с точки зрения познавательной) грамматический разбор латинских предложений на расклейку этикеток! Директор школы, «Шеф», как его прозвали ученики, во всем, кроме применения розги, был человеком до такой степени невежественным, что коллеги его, по контрасту, казались просто всеведущими. «Шеф», пишет Диккенс, был неизменно вежлив с преподавателем французского языка, «потому что (как мы были уверены) посмей «Шеф» чем-нибудь задеть его, он тотчас же заговорил бы по-французски и навсегда посрамил обидчика перед школьниками, показав им, что ни понять, ни ответить «Шеф» не может». Несмотря на несоответствие директора занимаемому положению (а может быть, как раз вследствие этого), судьба припасла для него сюрприз, какой очень редко выпадает на долю директора школы. «Шеф» превратился в мистера Крикля из «Дэвида Копперфилда».

Дела Диккенса-младшего в школе подвигались успешно: обучали его там английскому языку и литературе, искусству танца, латыни и математике, а главное — внушали глубокое почтение к деньгам. Чарльз добился нескольких наград и стал в конце концов первым учеником. Это был теперь миловидный подросток, всеобщий любимец, курчавый, подвижной, находчивый, приветливый и дерзкий. Вместе с одним из своих товарищей он стал выпускать на страничках, вырванных из тетради, еженедельную газету, которую давал читать каждому, кто был готов внести за это плату в виде шариков или огрызков грифельного карандаша. Грифель служил в школе главной ходовой монетой, и каждый, кто владел солидным запасом грифеля, считался богачом. Чарльз писал и ставил пьесы. Одна, в белых стихах, посвящалась зверствам, учиненным любящим папашей какого-то школьника, — чистый вымысел, разумеется, но автор за него поплатился. Не обошел он вниманием и дрессировку белых мышей — любимое развлечение его товарищей — и достиг полного совершенства в умении изъясняться на диковинном языке, абсолютно недоступном для понимания взрослых. Короче говоря, он отлично проводил время.



## Первая любовь

ВЕСНОЮ 1827 года, в возрасте пятнадцати лет, Диккенс кончил школу и вплотную столкнулся с миром, жестокость которого уже успел испытать. События раннего детства представлялись ему теперь сценами из какой-то иной жизни. «Они были поистине волшебными, — говорит он, — ибо детская фантазия расцвечивает радужными красками эти неуловимые, как сама радуга, видения». Сначала — несколько недель — он служил рассыльным у стряпчего<sup>[19]</sup> в Саймонс-инн, где, по-видимому, и познакомился с клерком той же конторы Томасом Миттоном, ставшим его другом на всю жизнь.

В мае того же года (опять не без помощи матушкиной родни) он сделался клерком, а вернее сказать, тем же рассыльным фирмы стряпчих «Эллис и Блекмор», находившейся в Грейс-инн, Реймонд Билдингз, № 1, где прослужил полтора года, причем жалованье его возросло за это время с тринадцати шиллингов в неделю до пятнадцати. Будущему писателю было очень полезно поработать в таком месте: не один чудаковатый клиент фирмы перекочевал отсюда на страницы «Пиквика» и других книг. При содействии очередного «дежурного» у замочной скважины конфиденциальные беседы передавались из кабинета стряпчего в комнату клерков. Один клиент, ведя счетные книги своего хозяина, не проявил «тупой пунктуальности», которую обычай сделал — увы! — столь необходимой». Другой требовал, чтобы закон оградил его от посягательств некоего индивидуума, высказавшегося по его адресу в следующих выражениях: «Я тебя так разукрашу, что родная мать не узнает! Увидишь себя в зеркале — ахнешь: «Господи, да я ли это!»

В присутственных местах Грейс-инн было полно клопов и пыли. Диккенс вспоминает одну контору, до того запущенную, что ему «ничего не стоило запечатлеть точнехонький отпечаток собственной фигуры на любом предмете обстановки, стоило лишь на несколько мгновений прислониться к нему. Печатая — если можно так выразиться — самого себя по всем комнатам, я, бывало, втихомолку развлекался. Это был мой первый большой тираж».

С приятелем-сверстником он шатался по лондонским улицам; вместе они бегали в театр, пили пиво, пока хватало денег; дурачились вовсю: то острили и смеялись, то напускали на себя чинный вид, все вокруг находили ужасно забавным и казались самим себе очень интересными людьми.

Теперь квартал Сэвен Дайелс не был уж больше средоточием ужасов, он стал, как вскоре пояснил Диккенс, местом потешных сценок: «Любой, кому случится жарким летним вечером пройти через Дайелс и увидеть, как судачат у парадного крыльца хозяйки из разных квартир, может, пожалуй, вообразить, что здесь все тишь да гладь и что больших простачков, чем обитатели квартала, свет не видывал. Увы! Лавочник тиранит свою семью, выбивальщик ковров «набивает руку» на спине собственной жены, комната второго этажа (окна на улицу) непрерывно воюет с комнатой третьего из-за того, что в этой последней упорно затеваются танцы над головой второго, когда он (второй этаж) со своим семейством укладывается спать; комната третьего этажа (окна на двор) ни за что не отвяжется от детишек из другой комнаты — с кухней на улицу; ирландец, как вечер, так, глядишь, пожаловал домой пьяным и на всех кидается; а в комнате второго с окнами на двор, только и знают что орать. Ссоры скачут с этажа на этаж, подвал и тот подает голос, как будто не хуже других. Миссис А. шлепнула наследника миссис Б., «чтоб не строил рожи». Миссис Б. немедленно плеснула холодной водой на отпрыска миссис А., «чтобы не смел ругаться». Вмешиваются мужья, ссора разрастается; результат ее — потасовка, финал — появление полицейского». Здесь говорится о летней жаре, но погода в двадцатых годах девятнадцатого века была, очевидно, не менее капризной, чем в сороковых годах двадцатого: «Четыре дня хорошей погоды кряду — и это в Лондоне! Извозчики воспылали революционным духом, дворники стали сомневаться, есть ли на свете господь бог».

Жил он, как и прежде, вместе со своими, теперь уже в Сомерс-Тауне<sup>[20]</sup>. Отец его знал стенографию — вот почему, очевидно, и сын решил овладеть этим искусством: с блокнотом парламентского репортера он надеялся войти в журналистику. Вооружившись учебником Герни, он рьяно принялся изображать английскую речь в виде значков, головоломных, как китайские иероглифы. Давалось это ему нелегко, и даже во сне его преследовали точки, кружочки, закорючки и еще какие-то штуки, похожие на паутину, на хвост ракеты, на мушиные лапки. Но он не отступал. Через полтора года он преуспел настолько, что бросил своих стряпчих и в ожидании подходящей работы решил испытать свое искусство на практике в Докторс-Коммонс<sup>[21]</sup>.

В Докторс-Коммонс тогда велись дела по рассмотрению духовных завещаний (потом их стали разбирать в Проубиткорт-канцелярии). «Здесь изнывающие от любви парочки получали брачные лицензии<sup>[22]</sup>, а неверные супруги — развод, здесь оформляли завещания тех, кому было что

завещать, и наказывали джентльменов, которые сгоряча, не выбирая выражений, проехали по адресу своей дамы». Дела морские и религиозные вершили одни и те же судьи, и Диккенс не переставал удивляться, отчего это знатоков церковных законов принято считать специалистами и по флотским делам. Впервые, но уже навсегда, глазам его открылись все уродство и нелепость английского судопроизводства<sup>[23]</sup>. В арсенале писателя слуги закона и их ремесло заняли почетное место, и ни в одну профессию еще не проникал взгляд более острый. Немало удовольствия ему доставляли ужимки судей и адвокатов, но, кроме того, он сделал одно любопытное открытие: оказывается, наиболее суетные, разнообразные, а стало быть, и забавные черточки человеческой природы обнаруживаются во время свидетельских показаний, и впоследствии Диккенс справедливо заключил, что с наибольшей пользой провел время, наблюдая жизнь в Докторс-Коммонс. Сначала ему, к сожалению, приходилось довольствоваться только наблюдениями. Он не был связан ни с одной редакцией и, чтобы заручиться работой у адвокатов, или поверенных, как их именовали в церковном суде, должен был рассчитывать лишь на собственную расторопность. Затем одна фирма пригласила его составлять репортаж о судебных заседаниях, и он взялся за работу с новым жаром, ухитряясь как-то существовать на свой скромный заработок и все более совершенствуясь в стенографии.

Года три он регулярно, изо дня в день, посещал Докторс-Коммонс, но это не мешало ему еще и учиться. Все это время он прилежно занимался в Британском музее. Кроме того, испытывая сильное влечение к театру, он брал уроки у актера-профессионала, обучавшего его искусству говорить и держаться на сцене, выучил немало ролей и часами сидел перед зеркалом, тренируясь в умении садиться, вставать, входить и выходить, раскланиваться, здороваться, придавать своему лицу выражение то презрительное, то обаятельное, изображать любовь и ненависть, надежду и отчаяние. Наконец он обратился в театр «Ковент-гарден»<sup>[24]</sup> с просьбой устроить ему пробу, но в решающий день так тяжело заболел, что не смог прийти, а к началу нового сезона стал уже преуспевающим парламентским репортером, так что с мыслью о театральной карьере пришлось расстаться. Однако за эти же три года в его жизни случилось нечто гораздо более важное, чем умение изящно целовать перед зеркалом собственную руку, — он влюбился.

В 1829 году дела у Диккенсов шли вполне сносно. Отец, помимо пенсии, получал еще и жалованье в газете, Чарльз зарабатывал достаточно,

чтобы помогать семье, так что Фанни могла теперь устраивать для знакомых музыкальные вечера, на которых пели все, у кого был хотя бы маленький голос. К этим певчим птицам залетал порой и молодой джентльмен по имени Генри Колле, нареченный жених одной из дочерей директора банка Биднелла. Дочерей у банкира было три, и все три — музыкантши. Младшая, Мария, играла на арфе, и именно ею Чарльз увлекся с первого взгляда. Увлечение быстро перешло в любовь, но без взаимности. Забавы ради Мария кокетничала с ним напропалую, сводя с ума своим непостоянством: сегодня принимала его сердечно и ласково, завтра — сухо и равнодушно; то, чтобы подразнить его, ворковала с другим поклонником, то любезничала с Чарльзом, чтобы позлить третьего. Разумеется, эта юная особа отнюдь не собиралась стать женой какого-то захудалого стенографиста. Но что за важность! Он красив, он мило поет, а кроме того, кому не лестно такое обожание! Деньги и положение — вот что для нее решало вопрос, а люди ее круга считают, что дела у человека идут хорошо лишь в одном случае — если есть виды на солидную должность в Сити<sup>[25]</sup>. Между тем играть в любовь очень весело, и долгое время Чарльзу разрешалось верить, что к нему относятся благосклонно. В жизни молодого Диккенса сейчас была одна цель — выдвинуться, занять положение, при котором он сможет предложить своей избраннице гнездо и надежный доход. Когда обоим было уже далеко за сорок, он писал: «Для меня совершенно очевидно, что пробивать себе дорогу из нищеты и безвестности я начал с одной неотступной мыслью — о Вас».

На всю жизнь сохранились в его памяти события тех дней. Однажды Мария попросила его подобрать пару перчаток к ее синему платью, и двадцать пять лет спустя он все еще ясно представлял себе, какого они были оттенка. В другой раз он встретил ее с матерью и каким-то знакомым на улице Корнхилл по дороге к портнихе. Чарльз проводил всю компанию до самых дверей, и здесь миссис Биднелл, не желавшая, чтобы он шел туда вместе с ними, остановилась и весьма недвусмысленно заявила: «Ну-с, мистер Диккин, с *вами* мы теперь распростимся». Этот случай тоже запомнился ему навсегда. Но вот, наконец, получено место парламентского репортера. Сколько раз в два-три часа ночи он шел пешком от Палаты общин на Ломбард-стрит<sup>[26]</sup> лишь ради того, чтобы увидеть дом, в котором спит она! И чего только он не передумал! Вот что он написал об одной из своих навязчивых идей — правда, позже, когда увидел и смешную сторону в том, что тогда с ним творилось: «Года три или четыре она безраздельно владела всеми моими помыслами. Она была старше меня. Несчетное

множество раз заводил я с ее матерью Воображаемый Разговор о нашем браке. Я написал сей осмотрительной даме столько матримониальных посланий, что посрамил бы самого Горэса Уолпола<sup>[27]</sup>. О том, чтобы отсылать их, я не помышлял, но придумывать их и через несколько дней рвать было божественным занятием! Некоторые начинались так: «Милостивая государыня! Я полагаю, что особа, наделенная даром наблюдательности, каковым, как мне известно, обладаете Вы, особа, полная чисто женского сочувствия к пылкой молодости — сомневаться в этом более чем кощунственно, — не могла, разумеется, не угадать, что я люблю ее очаровательную дочь — люблю преданно и глубоко». Когда я был настроен менее резво, письмо начиналось иначе: «Будьте великодушны, сударыня! Явите снисхождение жалкому безумцу, который вознамерился сделать Вам признание, достойное удивления и совершенно неожиданное для Вас, признание, которое он умоляет Вас предать пламени, едва Вам станет ясно, к какой недостигаемой вершине устремлены его несбыточные надежды». В другие минуты — во время приступов беспросветного уныния, когда Она отправлялась на бал, а меня пригласить забывали, — моя эпистола представляла собою набросок трогательной записки, которую я оставлял на столе, удаляясь в неведомые края. Что-нибудь в таком духе: «Писаны строки сии для миссис О-нет-никогда рукою, которая ныне, увы, далеко. Изю дня в день сносить мучения безнадежной любви к той, чье имя я здесь не назову, было выше моих сил. Легче, о, много легче свариться заживо в песках Африки, окоченеть на гренландских берегах!» (Здесь трезвый рассудок подсказывал мне, что семейству моего «предмета» ничего другого и не нужно.) «Если когда-либо я вновь возникну из мрака неизвестности и предвестницей моей будет Слава — все это лишь для нее, моей возлюбленной. Если я сумею добыть Злато, так единственно ради того, чтобы сложить его к ее несравненным ногам. Но если меня постигнет иная судьба и Ворон сделает меня своею добычей...» Кажется, я так и не решил, как следовало поступить в этом душераздирающем случае. Сначала испробовал в виде концовки фразу: «Пусть, так будет лучше». Не ощущая, однако, твердой уверенности в том, что так будет действительно лучше, я, помнится, заколебался — то ли оставить дальше просто пустое место (и убедительно и вместе с тем жутко), то ли заключить послание кратким «Прости!».

До конца жизни суждено ему было хранить в памяти каждую мелочь, связанную с Марией Биднелл. Он не мог равнодушно слышать ее имени; стоило кому-нибудь заиграть на арфе, сдвинуть брови, как она, — и все начиналось сначала. «С той поры и до последнего вздоха я убежден, что

такого верного, такого преданного и незадачливого горемыки, как я, свет не видывал, — говорил он ей в те дни, когда все уже давно прошло. — Воображение, фантазия, страсть, энергия, воля к победе, твердость духа — все, чем я богат, — для меня неразрывно и навсегда связано с жестокосердной маленькой женщиной, за которую я был тысячу раз готов — и притом с величайшей радостью — отдать жизнь». Он считал, что обязан ей не только тем, что рано добился успеха, но и тем, что характер его изменился самым коренным образом. «Моя беззаветная привязанность в Вам, нежность, напрасно растроченная мною в те трудные годы, о которых и страшно и сладко вспомнить, оставили в моей душе глубокий след, приучили к сдержанности, вовсе несвойственной мне по натуре и заставляющей меня скупиться на ласку даже к собственным детям, за исключением самых маленьких».

Неопределенность — вот что сводило его с ума. Сегодня Мария притворно нежна — и он на вершине блаженства; завтра сурова — он просто убит. Он написал ее сестре Анне, чтобы выяснить, каковы его шансы на успех. «Дорогой мой Чарльз, — гласил ее ответ, — я, право же, не в состоянии понять Марию. Сказать, кто ей нравится? Не рискну взять на себя такую ответственность». Восторги сменялись унынием, приливы отчаяния — надеждой, но в тот день, когда ему исполнился двадцать один год, все решилось. Жили Диккенсы теперь недалеко от площади Кавендиш-сквер, но поселились здесь не сразу. Сначала старое жилье в Сомерс-Тауне уступило место дому № 70 по Маргарет-стрит; спустя некоторое время семейство перебралось на Фицрой-стрит, в дом № 13, и уже отсюда — на Бентинк-стрит, в дом № 18, причем каждый переезд означал, что парламентский репортер Чарльз Диккенс поднялся на новую ступеньку своей профессии и дела семьи чуточку поправились. Итак, праздновался день рождения (виновник торжества упросил кого-то один раз отсидеть за него в Палате общин), и «вечер был прекрасен. Из одушевленных и неодушевленных предметов, связанных с ним, я ни одного (не считая гостей и самого себя) раньше не видел в глаза. Вещи были взяты напрокат, лакеи — наняты неведомо где. В тот час, когда всякие следы порядка исчезают, когда пустые рюмки валяются где попало, я заговорил с Нею, укрывшись где-то за дверью, — я открылся Ей до конца... Она была воплощением ангельской кротости, но... в ответ мне вымолвила слово, которое, как я выразился в тот момент, «опалило мне мозг». Вскоре она ушла, и, когда праздная (хотя и, разумеется, ни в чем не повинная) толпа рассеялась, я вместе с каким-то гулякой, малым язвительным и беспутным, отправился «искать забвения», о чем недвусмысленно заявил попутчику.

Забвение — а заодно и головную боль — я действительно обрел, но оно оказалось недолговечным: наавтра, в обличительном свете полуденных лучей, я поднял тяжелую голову с подушки, стал мысленно перебирать минувшие дни рождения и в конце концов вернулся к моей беде и к горьким порошкам от головной боли».

После мучительной внутренней борьбы он собрал ее письма, перевязал голубой ленточкой и отослал обратно. «Каждое наше свидание за последнее время, — писал он, — не что иное, как новое свидетельство Вашего бессердечного равнодушия. Для меня же каждое из них всегда становилось обильным источником тоски и горечи... На смену прежним чувствам явилось уныние, более того, крайнее отчаяние — слишком долго я их терпел. Слава богу, могу сказать, к своей чести, — заслуженной, я полагаю, — что за время нашего знакомства я всегда поступал справедливо, разумно и достойно. Со мною обращались то так, то эдак: один день ласково и благосклонно, другой — совершенно иначе; я неизменно оставался все тем же... Поверьте, ничто не сможет доставить мне большего наслаждения, чем весть о том, что Вы, моя первая и последняя любовь, счастливы».

И все-таки Мария умудрилась извлечь из этой истории еще кое-что забавное. Обо всем, что произошло между ними, она поведала своей приятельнице, некоей Мэри Энн Ли, а та — разумеется, по секрету — Фанни Диккенс. Вскоре мисс Ли побывала на любительском спектакле, устроенном Чарльзом на Бентинк-стрит, и воспользовалась случаем, чтобы пококетничать с ним, а потом сообщила Марии Биднелл, что Чарльз не только ухаживал за ней, но и рассказал все, что случилось. Когда все это дошло до Чарльза, он написал Марии, что мисс Ли солгала. Чтобы продлить удовольствие, Мария притворилась, что верит мисс Ли, и получила от Чарльза еще одно послание: «Того, что я вынес от Вас, я уверен, не вытерпела по милости женщины еще ни одна живая душа, — сетовал он. — Но мне не стерпеть — даже теперь — и тени подозрения в том, что чувство мое изменилось или отдано другой. Нет, этого я не заслужил!» Отослав мисс Ли письмо, полное презрения и упреков, он обратился за утешением к вину, объявив Колле, который вот-вот собирался жениться на сестре Марии: «Вчера я точно обезумел; сегодня мой желудок — нечто вроде корзинки с лимонами». В тот же день, 19 мая 1833 года, еще не оправившись от похмелья, он в последний раз обратился к Марии: «Я делал и буду делать все, на что способен человек, чтобы упорством, терпением, неустанным трудом проложить себе дорогу. Никого на свете, — вновь уверял он ее, — я не любил и не люблю, как Вас». Но Марии



надоело дурачиться. Она отвечала холодно, укоризненно, и вот так-то она пошла своим путем, а он — своим, увековечив ее в галерее женских портретов, самых прелестных и самых беспощадных в английской литературе.

Должно быть, именно любовь, властная и живая, заставила Диккенса так остро почувствовать всю нелепость и пустоту политики. Репортером Палаты общин он сделался весной 1832 года, когда в парламенте обсуждался билль о реформе<sup>[28]</sup> и англичане верили, что не сегодня-завтра в стране настанет рай. Вдоволь наслушавшись «представителей нации» и сделав недвусмысленные выводы относительно результатов их совещаний, Диккенс заключил, что государственный муж средних масштабов — это оппортунист, пустозвон, низкопоклонник и карьерист и что победа одной какой-либо партии идет на благо лишь группе людей. Зеленым двадцатилетним юнцом он писал о том, как паясничают члены парламента. Поскольку в дальнейшем он не нашел оснований изменить свое мнение о комедии, которая разыгрывается в Вестминстерском дворце, нижеследующие строки можно считать изложением его первой и единственной точки зрения по этому поводу:

«Мы считаем, что начало парламентской сессии не более и не менее, как первый акт пышного циркового представления, и что всемиловейшую речь Его Величества на открытии оной можно не без успеха сравнить с классическим приветствием клоуна: «А вот и мы!» «А вот и мы, милорды и джентльмены!» — это восклицание (так, во всяком случае, кажется нам) превосходно и в сжатой форме передает также сущность заискивающе-примирительной речи главы кабинета...»

«Никогда еще, пожалуй, политическое «действие» не могло похвастаться таким сильным составом участников, как в наши дни. Особенно хороши клоуны. Признайтесь, разве были у нас раньше такие акробаты? Разве когда-нибудь фокусники проявляли такую готовность выложить весь запас своих трюков на потеху восхищенной публике? Сказать по правде, это чрезмерное рвение навело кое-кого на весьма недобрые мысли. Нельзя сказать, что, устраивая на потеху всей стране бесплатные представления, да еще в такое время, когда театры закрыты, и ставя себя на одну доску с жалкими шутами, эти люди внушают уважение к своей профессии...

Но — довольно; это ведь в конце концов вопрос вкуса, не более. Стоит ли затрагивать его? Не лучше ли с гордостью и умилением предаться отрадным мыслям о том, какую отличную сноровку показали наши клоуны в текущем сезоне? Что ни день — они тут как тут. Часов до двух-трех ночи,



а то и позже выделяют они бог знает что: кривляются, ломаются, награждают друг друга оплеухами — потеха невообразимая! И ни малейших признаков усталости! А что творится вокруг — какой странный шум, рев, вопли, неразбериха! Казалось бы, никто так не дерет глотку, как те головорезы, которые за шесть пенсов набиваются на галерку во время боксерских состязаний? Но куда им! Эти перещеголяют и самых отчаянных.

Особенно занятно наблюдать, какие невероятные ужимки проделывает тот или иной клоун по мановению волшебной палочки, которую, как ему и полагается по чину, держит у него над головою лидер (он же арлекин). Повинуясь ее магической, неотразимой власти, он то застынет в полной неподвижности, не в силах шевельнуть и пальцем, мгновенно утратив самый дар речи, то в случае надобности чрезвычайно оживляется и с воодушевлением извергает потоки слов, пустых и бессмысленных, увлеченно корчит самые немыслимые гримасы, принимает самые дикие позы, ползает на животе. Мало того: если нужно, он вылижет грязь, не сморгнув и глазом.

Диковинные фокусы вытворяет и арлекин, у которого до поры до времени находится эта волшебная палочка. Просто чудеса! Стоит лишь помахать ею перед чьим-нибудь носом, и у человека вылетает из головы все, что он думал до сих пор, а взамен он получает комплект идей совершенно иного сорта. Легкое прикосновение — и сюртук уже совсем другого цвета. Есть виртуозы, которые, подержав палочку сначала справа, а потом слева, умудряются молниеносно изменить своей стороне, перейти на сторону противника и снова вернуться, причем цвет их убеждений меняется всякий раз и все проделывается с такой быстротой и ловкостью, что даже самый зоркий глаз с трудом уследит за этими манипуляциями.

Всесильный маг, по воле которого присуждается чудесный жезл, иногда вырывает его из рук временного обладателя и передает новому фигляру. В этих случаях все действующие лица меняются местами, а там, глядишь, опять возня, тумаки, подножки — представление начинается сначала».

Прослужив месяцев шесть репортером одной вечерней газетки, Диккенс получил место в другой — «Зеркале парламента», которую издавал его дядя Дж. Х. Барроу. Вскоре ни один репортер на галерее прессы не мог сравниться с ним в проворстве и точности. Дядя стал то и дело приглашать его на «уикэнд» в Норвуд, куда Чарльз, навсегда распrostившегося с Марией Биднелл, притягивала «пара черных глаз, очень миленьких». Его усердие и расторопность произвели на Барроу такое

сильное впечатление, что он свел племянника с владельцем газеты «Морнинг кроникл». Молодой репортер стал сотрудником этой газеты с жалованьем пять гиней в неделю и начал щеголять в новой шляпе, синем пальто с черной бархатной отделкой, которое он «носил внакидку, «а l'Espagnole», и прочих сногшибательных одеждах. Нельзя сказать, что жизнь парламентского репортера полна удовольствий. Во-первых, он должен, изнывая от скуки, слушать, что бубнит очередной оратор, и записывать все его пустые словоизвержения. Во-вторых, сидеть на задних — репортерских — местах галереи для посетителей тесно и неудобно: освещение никуда не годится, духота, смрад, пот градом; посидишь долго в одном положении — все болит, попробуешь принять другое — и того хуже. «Я почувствовал, как его нога тихонько прижала мою, и мозоли наши заныли дуэтом». В 1834 году Палата общин сгорела, и заседания временно проводились в Палате лордов. Жизнь Диккенса в связи с этим изменилась лишь в одном отношении: раньше он был вынужден терпеть адские муки сидя, а теперь — стоя. Ни то, ни другое не могло внушить пламенной любви к себе подобным, а потому нет ничего удивительного в том, что приятели считали его малым замкнутым, хотя и учтивым. Правда, одного друга, по имени Томас Бирд, он все-таки завел, и уж этот оказался другом на всю жизнь.

В период между парламентскими сессиями работа становилась интереснее. По заданию «Морнинг кроникл» Диккенс ездил в провинцию собирать материал для корреспонденций: с какой речью выступил тот или иной министр, как прошли выборы, где случился большой пожар, — короче говоря, он писал обо всем, чем «дышит эпоха». Кстати говоря, эпоха эта была так сильно похожа на любую другую, что ее характерные черты можно с успехом отнести и к нынешнему поколению: «В наше время, время расстроенных нервов и всеобщей усталости, люди готовы щедро платить за все, что способно вывести их из апатии». Для Чарльза «вылазки за сенсацией» были сущим наслаждением. Путешествия в карете, когда днем что ни остановка, то целая толпа комических персонажей, а ночью аварии, волнения... Интересно! Бросок вперед в почтовом дилижансе. Скорость головокружительная: пятнадцать миль в час. «Лошади чаще всего в полном изнеможении, почтальоны навеселе». То опрокинулись, то что-то сломалось, то отлетело колесо. Все это, как острая приправа, придавало жизни особый вкус и к тому же служило обильным источником материала. Какое адское терпение, какая выдержка и изобретательность нужны для того, чтобы при свете одинокой восковой свечи или тусклого фонаря, под непрерывный аккомпанемент окриков и конского ржания писать статьи,

когда тебя трясет, подбрасывает и кидает из стороны в сторону! Это ли не подвиг? А он упивался работой, блаженствовал среди предвыборной кутерьмы и суматохи: дорожные опасности и неудобства были ему нипочем, а самое большое удовольствие он находил в том, чтобы раздобыть транспорт — карету, коляску, почтовый дилижанс, лошадь — и посрамить репортеров из других газет, собрав самые полные данные и раньше всех доставив корреспонденцию на место. В сентябре 1834 года он отправился в Эдинбург, где графу Грею<sup>[29]</sup> предстояло получить звание почетного гражданина этого города. По сему случаю в центре Хай Скул Ярд на холме Калтон-Хилл соорудили павильон; здесь в пять часов вечера должен был состояться банкет. Однако Грей, а вместе с ним и другие важные персоны явились с опозданием, после шести, и о том, что случилось за это время, репортер Диккенс рассказывает в куда более вольном тоне, чем подобает, когда речь идет о столь внушительной церемонии:

«Какой-то джентльмен, с идеальным терпением просидев некоторое время в непосредственном соседстве с курами и дичью, ростбифом, омарами и прочими соблазнительными яствами (обед был подан в холодном виде), решил, по-видимому, что самое лучшее — пообедать, пока не поздно, а решив, взялся за дело, с отменным усердием опустошая тарелки. Пример оказался заразительным, и вскоре все потонуло в стуке ножей и вилок. Заслышав этот стук, отдельные джентльмены (те, которым есть еще не хотелось) с негодованием возопили: «Позор!», на что кое-кто из джентльменов (которым уже хотелось), в свою очередь, откликнулся: «Позор!», ни на секунду не переставая, впрочем, уплетать за обе щеки. Один официант, пытаясь спасти положение, взобрался на скамью и, с чувством обрисовав преступникам всю чудовищность содеянного, умолял их приличия ради остановить жевательный процесс, пока не явится граф Грей. Речь была встречена громкими возгласами одобрения и не возымела ни малейшего действия. Это, пожалуй, был один из тех весьма редких в истории случаев, когда обед, по существу, окончился прежде, чем начался».

По приезде именитых гостей председательствующий граф Розбери «попросил собравшихся минутку помедлить с обедом. Преподобный Генри Грей уже находится здесь, дабы освятить трапезу молитвой, но внутрь пробраться не может, так как у входа слишком большая толпа... Гости в основном уже отобедали и поэтому как нельзя более благодушно согласились подождать».

Ноябрь застал Диккенса в Бирмингеме, этом «городе железнодорожных заводов, радикалов, нечистот и скобяных изделий». В январе 1835 года он был на выборах, проходивших в Ипсвиче, Садбери и

Челмсфорде, разъезжая на двуколке в Брейнтри и обратно. «Хотите — верьте, хотите — нет, а я действительно проехал все двадцать четыре мили и не опрокинулся... Всякий раз, заслышав барабан, мой рысак шарахался прямо в кустарник, посаженный по левой стороне дороги, а стоило мне вытянуть его оттуда, как он кидался в кусты, растущие справа». Челмсфорд показался ему «самой дурацкой и тоскливой дырой на земле». Ненастным воскресным днем, стоя в номере гостиницы «Блек Бой» «у огромного полуоткрытого окна», он «смотрел, как хлещет дождь по лужам, гадая, долго ли осталось до обеда, и проклиная себя за то, что не догадался положить в чемодан парочку книг. Единственный фолиант, который попался мне здесь на глаза, лежит на диване. Озаглавлен он «Учение и маневры армии в полевых условиях. Соч. сэра Генри Торренза», и перечитывал я его столько раз, что, безусловно, мог бы по памяти обучить добрую сотню рекрутов». В мае он помчался в Эксетер, чтобы попасть на речь лорда Джона Рассела<sup>[30]</sup>. Митинг состоялся на дворцовой площади под проливным дождем. «Двое собратьев по перу, которым как раз было нечего делать, из сострадания растянули над моим блокнотом носовой платок, наподобие парадного балдахина во время церковного шествия». Домой он вернулся с ревматизмом в начальной стадии и «абсолютно глухой». Через несколько месяцев он отправился в Бристоль слушать новую речь лорда Рассела, на минутку задержавшись в нью-берийской таверне «Джордж и Пеликан», чтобы наспех набросать «корреспонденцию» — на сей раз личную. «Вокруг — сумбур и беспорядок; барахтаюсь среди карт, дорожных справочников, конюхов и фореиторов, и ни на что, кроме дела, времени не хватает». В результате совместных усилий, подкреплённых стараниями четверки почтовых и пары верховых лошадей, ему и Бирду удалось повергнуть в прах газетчиков-конкурентов своими сообщениями о бристольском митинге и банкете в городишке Бат. В том же самом году загорелся дворец Солсбери Армз, и Диккенс ринулся в Хэтфилд, чтобы написать корреспонденцию о пожаре исторического здания. «Торчу здесь, дожидаясь, пока останки маркизы (*sic!*) Солсбери выроют из-под развалин фамильного замка... Жду результатов расследования, которое не могут произвести, пока не обнаружены кости (если они уцелели)».

В декабре он побывал в Кеттеринге «наблюдателем» на выборах, жил в гостинице «Белый олень» и о городе составил такое же мнение, как и о Челмсфорде: «Идиотизм и смертная скука». Но здесь он с приятелем раздобыл бильярдный стол, который установил у себя в номере — «просторном помещении в самом конце длинного коридора. Имеются два окна, из которых открывается захватывающий вид на конский двор. За

дверью — маленькая прихожая. Дверь мы заперли и снаружи вывесили кочергу, временно исполняющую обязанности дверного молотка». Оградив себя от вторжений извне, друзья отдавали игре на бильярде все время, не занятое отчетами о малопривлекательных событиях, происходивших за дверью. В один прекрасный день хозяева бильярдно-спального апартамента пригласили трех гостей на рождественский обед: устрицы в рыбном соусе, ростбиф, утка, традиционный пудинг с изюмом и сладкие пирожки. Что касается диккенсовских описаний выборов, то они весьма поучительны. Никогда еще, утверждает автор, свет не видывал такой кровожадной шайки отъявленных злодеев, как тори. «Вчера, после того как «дело» благополучно завершилось и начались потеха и торжество, они вели себя как сущие дикари. Я не сомневаюсь, что, если бы сюда довелось попасть иностранцу, решившему побывать в английском городе, чтобы составить собственное мнение о национальных особенностях англичан, он тотчас вернулся бы во Францию и уж больше ногой не ступал на английскую землю. Избиратели вообще нередко теряют человеческий облик, но подлость этих субъектов просто уму непостижима. Вчера в беззащитную толпу на полном скаку врзался большой отряд вооруженных всадников; один за спинами сообщников взвел курок заряженного пистолета, и во все стороны посыпались удары. Поверите ли, их возглавляли священники и члены городского магистрата. Поверите, я своими глазами видел, как один из этих головорезов отстегнул стремянный ремень и принялся хлестать с размаху направо и налево, да не как-нибудь, а тем концом, на котором железная пряжка, чтобы побольнее! Никогда в жизни не встречал ничего более мерзкого, тошнотворного и возмутительного!» В день выборов стоял шум, хоть и не такой адский, как от нынешних громкоговорителей, но, судя по всему, еще более нестройный. Звонят колокола, надрываются кандидаты, гремит музыка, мужчины затевают драки, женщины визжат; «а из каждого увеселительного заведения несется вой и рев: это пьянствуют и объедаются избиратели». Голова у Диккенса «буквально раскалывается», он удаляется к себе в номер и играет на бильярде.

Но пока Чарльз Диккенс, не щадя живота своего, справлялся с работой репортера, в мире произошли вещи посерьезнее, чем все эти политические передраги: во-первых, появились и вызвали большой интерес очерки некоего Боза, а во-вторых, автор их собрался жениться.

## Неподражаемый Боз

ОДНАЖДЫ осенним вечером 1833 года Чарльз Диккенс показался на улице Флит-стрит<sup>[31]</sup> и тотчас скрылся, свернув в переулок Джонсонс-Корт, к почтовому ящику журнала «Мансли мэгэзин». Отвергнутый Марией Биднелл, он почувствовал настоятельную потребность чем-то занять мысли и, рискуя оказаться отвергнутым еще и издателями, взялся за очерки, которые были не чем иным, как зеркалом реальной жизни. В почтовый ящик был опущен первый из них, ставший известным впоследствии под заголовком «Мистер Минс и его двоюродный брат». Он был опубликован в декабрьском номере журнала, и юный автор, узнав об этом, «зашел в Вестминстер Холл<sup>[32]</sup> и просидел там целых полчаса. Гордость и радость застилали мне глаза, на улицу и прохожих не хотелось смотреть, да и не такой у меня был вид, чтобы показаться на улице». «Ужасно волнуюсь, — писал он Генри Колле, рассказывая о великом событии. — Так сильно дрожит рука, что ни слова не могу написать разборчиво».

Редактор «Мансли мэгэзин» дал ему понять, что сотрудникам журнала следует довольствоваться славой, не рассчитывая на гонорар, и все же Диккенс продолжал посылать ему очерки. Шли они без подписи, пока в августе 1834 года автор не выступил впервые под псевдонимом «Боз» — «ласкательным прозвищем моего любимца, младшего брата. Я окрестил его Мозесом в честь «Векфилдского священника». Произносили это имя в нос — так выходило смешнее: «Бозес», а потом оно сократилось и стало «Бозом».

Очерки быстро привлекли к себе внимание. Один из них был даже присвоен неким актером, который сделал из него водевиль и поставил на сцене театра «Адельфи»<sup>[33]</sup>, отнюдь не потревожив по этому поводу автора. В те времена закон об авторских правах на театр не распространялся, и театральные директора обычно проявляли крайнюю деликатность, не докучая сочинителям просьбами разрешить постановку или дать совет, а главным образом заботясь о том, чтобы не оскорбить автора уплатой гонорара. Не обошли Боза вниманием и газеты, полностью напечатав очерки на своих страницах, и автор, работе которого была оказана столь высокая честь, почувствовал, что без колебаний предпочел бы славе презренный металл. Своей газете «Морнинг кроникл» он безропотно дал напечатать несколько очерков даром, но когда эта же самая фирма основала еще и вечерний выпуск, «Ивнинг кроникл», он обратился к редактору

Джорджу Хогарту с просьбой повысить ему жалование в виде компенсации за серию очерков, которые он намерен написать для этого издания. Он выразил надежду, что его просьбу сочтут «умеренной и справедливой», и не ошибся: вместо пяти гиней в неделю он стал получать семь.

Первым среди выдающихся современников Диккенса, кто после выхода в свет «Очерков» стал искать случая познакомиться с ним, был Гаррисон Эйнсворт<sup>[34]</sup>, автор нашумевшего романа «Руквуд», опубликованного в 1834 году. По воскресеньям Эйнсворт принимал у себя в Кензал Лодже гостей; был приглашен и Диккенс. Здесь он познакомился с издателем Джоном Макроном, который прочитал «Очерки», пленился ими и в 1836 году издал первую серию в двух томах с иллюстрациями художника Крукшенка<sup>[35]</sup>, а год спустя — вторую, в одном томе. «Это мои первые шаги, — писал Диккенс, — если не считать нескольких трагедий, написанных рукою зрелого мастера лет девяти и сыгранных под бурные аплодисменты переполненных детских».

Ему был всего двадцать один год, когда он начал «Очерки Боза», но и здесь уже виден человек зоркий, наблюдательный, наделенный тем всепроникающим юмором, который так прославил его впоследствии, превосходно понимающий, как люди сами умеют создавать себе всяческие беды. Вот образчик бозовского «героя» — тип, которому под тем или иным именем суждено вновь и вновь появляться на страницах его книг: «Счастлив он бывал лишь в тех случаях, когда чувствовал себя безнадежно несчастным... У него было только одно наслаждение: портить жизнь окружающим — вот когда он, можно сказать, действительно вкушал радость бытия... Щедрой рукой жертвовал он на пропитание двум бродячим проповедникам-методистам<sup>[36]</sup>, лелея трогательную надежду на то, что если на этом свете людям почему-либо живется неплохо, ему, быть может, удастся отравить их земную жизнь страхом перед загробной». Приход великой эры технического и научного прогресса, по-видимому, вызывал у Диккенса некоторую тревогу: «Он явно намерен поставить опыт первостепенной важности — дай бог, чтобы не слишком опасный. А впрочем, интересы науки прежде всего, так что я подготовил себя к самому ужасному». В этой работе привлекает к себе внимание стилистический прием, который с годами становится характерным для Диккенса. Возможно, что он возник как результат необходимости, естественной для любого журналиста: когда не хватает материала, «нагонять строки», повторяя ту же мысль в разных выражениях. Так, один герой у него «более чем полуспит и менее чем полубодрствует». Впрочем, быть может, этот



прием объясняется врожденной любовью писателя к подчеркнуто выразительной речи.

На творчество Диккенса оказали влияние два писателя: Дефо и Смоллетт. «Робинзон Крузо» и «Родерик Рэндом» дали ему больше, чем все другие прочитанные им книги, — иными словами, они просто были ему чем-то ближе других по духу. Он хорошо знал Шекспира — в этом, читая книги Диккенса, убедится любой знаток. Он любил Филдинга, восхищался Вальтером Скоттом, но по темпераменту был далек от этих трех своих великих предшественников. Что касается «Клариссы» Ричардсона, то Диккенс, по-видимому, заглянул в нее лишь для того, чтобы почувствовать, что больше этого никогда не сделает. Само понятие «влияние» необычайно далеко от Диккенса, более кого бы то ни было заслуживающего эпитет «самобытный».

Работая над «Очерками», покорившими издателей тем, что за них не приходилось платить, Диккенс вел кочевой образ жизни. Сначала он снимал квартиру с пансионом на Сесиль-стрит в районе Стрэнда. «Обращались с постояльцами здесь ужасно: в рагу каждый раз подливали слишком много воды, потеряли где-то терку для мускатных орехов, запачкали мне всю скатерть, и так далее, и тому подобное. Одним словом (терпеть не могу, когда мне мешают житейские мелочи), я предупредил, что съеду с квартиры». Сказано — сделано. Он поселился у родителей на Маргарет-стрит, вместе с ними переехал на Фицрой, а затем на Бентинк-стрит. Здесь, чтобы позабавить друзей и родных, да и ради собственного удовольствия, он несколько раз устраивал домашние спектакли. Принимал в них участие и Колле, получивший однажды приглашение на репетицию, составленное в нижеследующих выражениях: «Семейство сбилось с ног. Исполнители в волнении. Декорации будут готовы с минуты на минуту, механизмы налажены, занавес сшит, оркестр в полном составе, театральная дирекция грязна, как трубочист». Колле бывал и в Норс-Энде, куда Диккенс изредка ездил, чтобы провести денек-другой на Коллинз Фарм<sup>[2]</sup>.

За городом Диккенс вставал в семь часов утра и совершал прогулки верхом на лошади, о которой как-то заметил: «Облик вышеупомянутого животного наводит на мысль о том, что использовать его для чего бы то ни было совершенно невозможно. (Разве что эти кости придутся по вкусу собакам.)

Время от времени к нему возвращались приступы колик; что же касается приступов безденежья, они терзали его постоянно. В 1834 году мистер Диккенс-старший был вновь арестован, на сей раз за долги



виноторговцам, и сын, чтобы вызволить его, умудрился кое-как собрать нужную сумму. Вскоре заболела миссис Диккенс, и посыпались новые счета. Нельзя сказать, чтобы ее супруг старался облегчить положение. Стоило явиться кредиторам, как он исчезал, оставляя семью в полном неведении относительно своего местопребывания. Стараясь помочь родным и спасти отца от тюрьмы, Чарльз постоянно забирал свое жалованье за много месяцев вперед. Можно без преувеличения сказать, что с того момента, как Чарльз Диккенс начал зарабатывать деньги, он зачастую содержал все семейство целиком, почти всегда — большую его часть, а кое-кого из членов семьи — постоянно. Трудно представить себе человека, более обремененного родственниками. Покинув в конце концов Бентинк-стрит, семейство разделилось. Диккенс с младшим братом Фредериком поселился на Фернивалс-инн, 13, но обставить квартиру прилично не смог: львиная доля заработка уходила на содержание родных. Гостей приходилось принимать в комнате с голым полом, всю обстановку которой составляли ломберный столик, два-три жестких стула да стопочка книг. Но, несмотря на все тревоги и заботы, Чарльз был настроен превосходно и полон радужных надежд. Первое видно из бодрого письма, которое он «распечатал специально для того, чтобы сообщить», что с тех пор, как он «запечатал его, ровно ничего не произошло». Второе — из того, что, получая всего семь гиней в неделю, он готовился вступить в брак, хотя это означало, что ему придется содержать жену и в перспективе — собственных детей, кроме родителей и их вполне реального потомства.

У него завязались приятельские отношения с шотландцем Джорджем Хогартом, напечатавшим в «Ивнинг кроникл» серию его очерков. Вскоре Хогарт пригласил его к себе домой, где Диккенс быстро завоевал расположение жены и дочерей своего патрона. Да и как было не полюбить этого молодого человека? У него было все: приятная внешность, живой характер, растущая известность, обширный репертуар очень милых шуточных песенок, неиссякаемый запас увлекательных историй, пристрастие к всяческим фокусам и затеям, которые не могли не нравиться — так они были уморительны. Однажды летом, например, Хогарты расположились после обеда у себя в гостиной, как вдруг из садика в раскрытое окно ворвался переодетый матросом Диккенс, протанцевал, насвистывая себе аккомпанемент, матросский танец и выпрыгнул обратно. Через несколько минут, одетый как обычно, он с чинным видом появился в дверях, степенно поздоровался с каждым за руку, величаво опустил на стул, но не выдержал и покатился со смеху, глядя на растерянное, застывшее от изумления семейство. Жизнерадостный, обаятельный, он

совершенно покорил Хогартов и стал бывать у них каждый день, даже поселился на время в Селвуд-Плейс, чтобы жить к ним поближе (Хогарты занимали в Бромптоне дом № 18 на Йорк-Плейс, Куинс Элмс). Очень скоро он сделал предложение старшей из дочерей Хогарта — Кэт.

Быть любимым — вот в чем заключалась основная потребность натуры Диккенса. Трагедия, пожалуй, была в том, что он требовал большего, чем был в состоянии дать сам. Лишенный, по собственному убеждению, материнской любви, он постоянно искал ее у других, но только «спрос» в этом случае всегда превышал «предложение». Марию Биднелл он любил неистово, как человек, который томится по любви. Когда Мария отвернулась от него, можно было почти наверняка предположить, что первая женщина, которая ответит на его чувство, станет его женой. Из дочерей Хогарта на выданье была только Кэт, а так как никакими яркими особенностями она не отличалась, то именно ей и было суждено сделаться миссис Чарльз Диккенс.

Это была тихая девушка, незлобивая и покладистая, сдержанная, с ленцой. Пухленькая, свежая, она была миловидна; синие глаза под тяжелыми веками, чуть вздернутый носик, прекрасный лоб, маленький круглый рот, яркие губы, мягкий подбородок. Двигалась она неторопливо, чуточку неуклюже и всегда казалась немного сонной. Зато голос у нее был приятный, а лицо во время разговора освещалось прелестной улыбкой. Те, кто был знаком с нею, говорили, что она напоминает героиню «Дэвида Копперфилда» Агнес, и этому нетрудно поверить, хотя Маклиз<sup>[37]</sup> вдобавок к другим достоинствам наделяет ее в своих портретах еще какой-то затаенной чувственностью. Если судить по письмам мужа, ей был не чужд юмор, но выражался он преимущественно в каламбурах. Такова была счастливица, к которой обратилось чувство Диккенса: ни он, ни она в то время не подозревали, что это был только отзвук его бурной страсти к Марии Биднелл. Диккенс играл роль влюбленного с таким жаром, так самозабвенно, что и Кэт подхватило этим вихрем. Почему он так поступал, станет ясно, когда речь пойдет о некоторых особенностях его характера. Однако человек, который любит по-настоящему, не станет, подобно Диккенсу, заключать накануне свадьбы соглашение с невестой о том, что, если один из них полюбит еще кого-нибудь, другой будет поставлен об этом в известность. Подобная оговорка в брачном контракте выглядит приблизительно так же, как если бы, готовясь принять католичество, верующий сообщил священнику, что, если он вздумает когда-нибудь перейти в магометанство, ничто не должно ему помешать. Кэт была не так умна, чтобы догадаться об этом.

Через три недели после обручения произошла первая размолвка. Из письма Диккенса к невесте в мае 1835 года ясно, что она проявляла свою любовь не так пылко, как ему хотелось бы. «Внезапная и ничем не вызванная холодность, которую ты проявила в обращении со мною, удивила и больно ранила меня — удивила оттого, что нельзя представить себе, как в одном сердце могут соединиться любовь и такое мрачное, железное упорство; а ранила потому, что теперь ты значишь для меня несравненно больше, чем прежде». Он предостерегает ее: «То, что можно подчас скрыть от влюбленного, всегда разглядит или угадает муж... Если ты действительно меня любишь, мне бы хотелось, чтоб ты была достойна себя. Твоя любовь должна, подобно моей, быть выше банальных уловок и вздорного кокетства, оскверняющих, делающих посмешищем само слово «любовь». Ее ветрености он противопоставляет свое постоянство, напоминая о том, что оставил ради нее друзей, о том, как огорчился, когда она была больна, как радовался ее выздоровлению. «Я не *сержусь*, я *огорчен*, и уже второй раз». «Огорчен» он подчеркнул дважды, добавив, что она едва ли способна понять, какой смысл он вкладывает в это слово. Марии Биднелл он в таком тоне не писал. Одна девушка его провела, но уж другой он не даст себя одурачить — к этому, по существу, сводится его предостережение.

Кэт немедленно капитулировала. Ее ответ в полной мере обнаруживает «то душевное, то превосходное чувство, каким, я знаю, ты обладаешь и в котором, как мне подсказывает сердце, тебе нет равных. Если бы только ты взяла себе за правило выказывать мне ту же ласку и доброту, когда не в духе, я без всякого преувеличения мог бы сказать, что не нахожу в тебе ни единого недостатка. Ты просишь «снова» полюбить тебя, но в этом нет нужды — я *ни на мгновение не переставал любить тебя с тех пор, как узнал, и никогда не перестану*». Несколько дней спустя он торжественно повторил ей заверения в том, что питает к ней «любовь, которую ничто не в силах умерить, — чувство, которое ни время, ни обстоятельства не могут притупить», и выразил искреннюю надежду, что «при твоём благоволении самые заветные мои мечты, быть может, осуществятся даже ранее, нежели мы предполагаем». Кэт чаще всего принимала общепринятые любовные формулы за чистую монету, к тому же она была нужна Чарльзу, так что его фразы звучали убедительно. Вот примеры:

«Знаешь ли ты, мое солнышко, что я не видел тебя со вчерашнего вечера? Кажется, целое столетие».

«Если бы я попытался выразить словами хотя бы самую малую долю чувств, которые питаю к тебе, это была бы напрасная и безнадежная попытка».

«Навеки неизменно твой».

«Благослови тебя бог, жизнь моя — нет, более чем жизнь».

«Береги себя, не ради себя, но ради *меня*. Я большой эгоист».

Письма начинались словами: «Любовь моя, родная, милая!», «Душенька моя дорогая!», «Милый мой Мышонок!», «Ненаглядная Свинка!» — и кончались поцелуями — тысячами, миллионами, «бессчетным количеством» поцелуев. Влюбленные тешили себя, переписываясь на особом, «ребячьем» языке; нетрудно догадаться, что они скоро стали чувствовать себя друг с другом совсем непринужденно. «Надеюсь, мы не настроены «букой», — гласит приписка к письму из Каттеринга, а из Хэтфилда Диккенс шлет уверения в том, что любит ее «очень-преочень».

Иногда он бывал слишком занят и не мог с ней увидеться; нередко после работы у него едва хватало сил наспех черкнуть ей несколько строк. Кэт сетовала на то, что он перегружен работой, огорчалась, что он не показывается так долго. По некоторым фразам можно, пожалуй, заключить, что она не особенно верила в искренность его чувств: «Значит, ты думаешь, что не видеть тебя доставляет мне удовольствие...», «Очень жаль, милая моя девочка, что мое давешнее письмо показалось тебе натянутым и холодным... Это получилось вовсе не преднамеренно». Или: «Мне кажется, что ты еще не сумела подавить недоверчивость, излишнюю мнительность, свойственную тебе». И еще: «С любовью и от души всегда твой. Поверь этому (если ты вообще чему-нибудь способна верить)».

Случалось, что он проводил весь день за работой и, чувствуя, что не в состоянии навестить Кэт, просил ее зайти к нему утром вместе с Мэри, ее сестрой, и приготовить ему завтрак. Он неизменно настаивал при этом, чтобы гости были пунктуальны.

Брат Диккенса, Фред, успешно выполнявший обязанности посыльного, бегал с записками с Фернивалс-инн в Бромптон и обратно, но по возрасту не годился на роль компаньонки, опекающей молодую особу. «Я против того, чтобы пускать вас с Фредом одних через весь Лондон, — особенно по Вест-Энду<sup>[38]</sup>. Как мне хочется побыть с тобой сегодня вечером! Какое это

было бы наслаждение, окончив работу, посидеть с тобой у камина — нашего камина; искать в твоей нежности, твоей доброте отдохновение и счастье, какого — увы! — не найдешь в одиночестве холостого жилья! Необходимость, и только необходимость, вынуждает меня пожертвовать хотя бы одним вечером в неделю и лишиться себя удовольствия побыть с тобой. Я знаю, ты не согласишься этому, хотя, в сущности, обязана поверить. Единственное, что мне остается (пока не кончена книга), это думать, что в будущем мне еще не раз удастся убедить тебя в том, что ты была несправедлива. Неужели ты не понимаешь, что работать так, как работаю я, не более эгоистично, чем предаваться удовольствиям, и что мною движет одна мысль, одна цель — забота о твоём будущем, о твоём счастье и благополучии?»

Он так уставал, что в конце концов валился с ног, заболел. Однажды он принял большую дозу каломели, которая произвела у него внутри «столь странные пертурбации», что он был «решительно не способен выйти из дому». Головокружения, мигрени, слабость изводили его постоянно, и как-то раз, просидев за работой до трех часов утра, он «провел всю ночь — если эти часы еще могут быть названы ночью — в мучениях, превосходящих все, что мне ранее довелось испытать, и вызванных приступами острой боли в боку». Однако он так «привык быть жертвой подобных приступов», что они в конце концов перестали тревожить его. Осенью 1835 года Кэт (так же, как и ее мать) заболела скарлатиной, и Чарльз ежедневно часами просиживал у ее кровати. Правда, чтобы вызвать побольше сочувствия, больная подчас преувеличивала свои страдания. Нельзя, однако, сказать, чтобы ее возлюбленный охотно шел ей навстречу. «Очень трудно расточать утешения, когда сам нуждаешься в них, — пишет он, — право же, душа моя, сравнительно с моим положением твое кажется мне почти завидным». Жар? Ну что же: «Я и сам сгораю — от желания быть с тобой».

Весь этот год ему приходилось брать понемногу взаймы, чтобы прокормить себя и семью своего отца, в отличие от которого Чарльз аккуратнейшим образом возвращал все до последнего гроша точно в назначенный срок. Дважды он обращался к Макрону с просьбой «подстегнуть» Крукшенка, иллюстрировавшего «Очерки Боза»: с выходом книги в свет автору стало бы легче. Он даже пошел было к художнику сам, но не застал его дома и, решив, что «неплохо будет проветрить голову на свежем воздухе, обошел Пентонвиль и два-три раза заходил поглядеть, какие дома сдаются на новых улицах. Дороги они непомерно. Самый дешевый из тех, что я видел, обходится в год вместе с налогами в пятьдесят

пять фунтов. Место, разумеется, удобное, да и сами дома — заглядение, но пятьдесят пять — это уж слишком». Чтобы сделать «Очерки» более увлекательными, он решил дополнить их главой о Ньюгетской тюрьме<sup>[39]</sup>, для чего осмотрел ее, «нашел чрезвычайно интересной» и разузнал и поведал Кэт множество историй, подчас довольно забавных. Однако финансовые дела его были из рук вон плохи. Где раздобыть денег, чтобы снять дом, чтобы отец не угодил в тюрьму за долги, а у семьи был кусок хлеба и крыша над головой; как ухитриться обставить квартиру и купить костюм, — ведь к издателю и новым знакомым нужно являться в приличном виде? А пока он ломал голову, его донимали торговцы, требовавшие уплаты по счетам. «Вчера вечером получил послание от мясника — его помощник хочет упрятать меня в тюрьму за то, что я его обругал. Я ответил, что чем скорее, тем лучше, и что я приказал моему клерку не принимать более тех, кто хочет добиться от меня чего-либо наглым вымогательством». В сан клерка был, по-видимому, произведен братец Фред.

А между тем в новом, 1836 году всем этим злополучным обстоятельствам суждено было коренным образом измениться. В первых числах февраля вышли в свет «Очерки Боза»; их стали бойко раскупать. Несколько дней спустя новая издательская фирма «Чэмпен и Холл» предложила Диккенсу написать для них текст к серии рисунков. Платить обещали по четырнадцать фунтов в месяц. Герои серии — «члены охотничьего «Клуба Нимрода»<sup>[40]</sup> отправляются по белу свету поохотиться, поудить рыбу и из-за собственной нерасторопности попадают во всяческие переделки». Приключения должны были выходить частями, помесечно, автору предстояло сотрудничать с известным иллюстратором Робертом Сеймуром, причем тексту отводилась второстепенная роль. «Работа предстоит нешуточная, — сообщал Чарльз невесте, — но очень уж соблазнительны условия». По замыслу издателей, серия должна была представлять собою шутку, славную шутку, и не более, чем шутку; таким образом, приходилось считаться с мнением автора, а автор был настроен критически: «Подумав, я стал возражать. Во-первых, сказал я им, если не считать того, что связано с передвижением по земной поверхности, я не ахти какой спортсмен, хотя родился и вырос за городом. Далее. В самой идее нет ничего нового, и было бы несравненно лучше, если бы гравюры возникали из текста, а не наоборот. Сюжет я хотел бы развивать по собственному усмотрению, с более широким охватом сцен английской жизни, с большим разнообразием персонажей и боюсь, что в конечном

счете буду писать именно так, как бы ни старался следовать первоначально избранному плану... Друзья говорили мне, что подобные издания — это дешевая стряпня в угоду низменным вкусам и что такая работа означает гибель всех моих светлых надежд. Теперь всякий знает, правы ли они были, мои друзья».

Добившись того, что в задуманной серии решающее слово должно было принадлежать автору текста, Диккенс приступил к работе над первым выпуском «Записок Пиквикского клуба». Сначала дело шло туго. «Печатные листы тянутся томительно долго, — ворчал он. — Я и не представлял себе, что в каждом такая уйма слов». Впрочем, к началу второй главы дело пошло на лад. «Только что усадил Пиквика с приятелями в карету на Рочестер<sup>[41]</sup>, куда они и покатили себе, а с ними вместе одна персона, ничем не напоминающая кого-либо из моих прежних героев. Лыщу себя надеждой, что этого парня ждет бесспорный успех». И хотя Джингль тогда еще не имел бесспорного успеха, интересно отметить, что первым из истинно диккенсовских героев был актер, чей темперамент был так сродни темпераменту автора.

Полный творческих замыслов, создатель Джингля подыскал там же, в Фернивалс-инн, приличную квартиру, переехал и стал готовиться к приему своей будущей жены. В марте было решено, что они поженятся 2 апреля. Диккенс получил специальную лицензию на брак. «Еще день долой. Ура!» — писал он взволнованно. Венчались они в церкви Святого Луки в Челси<sup>[42]</sup> через два дня после выхода в свет первой серии «Пиквика». Свадьба была скромной: единственным гостем, не считая Диккенсов и Хогартов, был шафер жениха Том Бирд. Джон Диккенс по-прежнему оставался в немилости у родственников жены, и Чарльз, сообщая своему дяде Томасу Барроу о своей женитьбе, выразил сожаление, что не может представить дядюшке молодую жену. «Если до свадьбы я не считал возможным бывать в доме, где не принят отец, то не смогу и теперь. Равным образом я не могу видеть у себя родственников, которые к нему относятся иначе, чем ко мне». По мнению племянника, Барроу не оценил Диккенса-старшего по достоинству. Может быть, надеясь, что дядя изменит свое отношение к его собственному отцу, Чарльз одновременно отрекомендовал и отца Кэт, Джорджа Хогарта, как «джентльмена, который недавно написал блестящее и уже широко известное музыкальное исследование. Ближайший друг и сподвижник сэра Вальтера Скотта, он является одним из наиболее выдающихся литераторов Эдинбурга».

Медовый месяц Чарльз и Кэт провели в кентской деревушке Чок.

Справедливой было бы назвать этот месяц неделей, потому что ровно через неделю Чарльз стал проявлять признаки беспокойства и заторопился в Лондон. Причина очевидна: постоянное присутствие жены стало тяготить его. Иными словами, это означало, что он совершил довольно обычную ошибку, приняв физическое влечение за любовь. Однако, куда более быстрый и решительный, чем другие, он, очевидно, за эту неделю все понял и решил, как вести себя в дальнейшем. Его последнее письмо к ней перед свадьбой начиналось словами: «Бесценный мой Критик!»; первое после свадьбы: «Милая Кэт!»

Вернувшись к себе в Фернивалс-инн, Диккенс получил эскиз гравюры к «Рассказу странствующего актера» во втором выпуске «Пиквика». Гравюра, по мнению Диккенса, не удалась, и он попросил Сеймура прийти и обсудить работу. Они еще не встречались, и ситуация была щекотливой — не только потому, что многообещающий замысел Диккенса вытеснил первоначальную идею Сеймура, но и потому, что Сеймур был на двенадцать лет старше Диккенса и завоевал уже громкую известность. Человек он был нервный, вспыльчивый, успевший повздорить не с одним литератором, и то обстоятельство, что в данном случае привычные для него отношения изменились, без сомнения, чрезвычайно досаждало ему. Диккенс, понимая всю важность сотрудничества со знаменитым художником, держался как нельзя лучше, и письмо его было составлено в самом умиротворяющем тоне: «Я давно собирался написать Вам, какая это для меня огромная радость, что Вы отдаете столько сил нашему общему другу, мистеру Пиквику, и насколько результаты Вашего труда превзошли мои ожидания». Однако эскиз к «Рассказу странствующего актера», хотя и «очень хороший», не вполне соответствует его замыслу, и он сочтет «за личное одолжение», если Сеймур сделает другой рисунок. «Мне будет весьма приятно увидеть Вас, а также и новый эскиз, когда он будет готов». Упомянув о тех изменениях, которые он хотел бы видеть в эскизе, Диккенс добавляет: «Обстановка комнаты у Вас получилась *замечательно*. Я взял на себя смелость подсказать Вам кое-что в полной уверенности, что Вы примете мои замечания так же доброжелательно, как я отдаю их на Ваш суд».

Сеймур пришел. О том, что произошло, нам остается только догадываться. Зная Диккенса, можно с уверенностью сказать, что он был в высшей степени радушен, предупредителен и мил. Ему еще предстояло пробить себе дорогу. «Пиквик» пока еще не пользовался успехом. Сеймур же славился работами, изображавшими сцены из жизни спортсменов; сотрудничая с ним, автор попадал в орбиту его славы. Очевидно прекрасно



понимая, что если не поладить с художником, трудно будет найти другого, лучшего, Диккенс старался сделать все, что было в его силах. Но уступить — о нет! Он точно знал, чего хочет, и был полон решимости добиться своего во что бы то ни стало. Два полководца не могут командовать одной армией, и, если уговоры ни к чему не привели, Диккенс, очевидно, перешел к требованиям. Сеймур, по-видимому, держался важно и был немногословен. Какой-то молокосос, выскочка, самоуверенный журналистик, каким он, безусловно, считал Диккенса, заявляет ему, что его эскиз изображает героев антипатичными, а одного даже «предельно омерзительным!» Его достоинство было глубоко задето, тщеславие художника уязвлено. Беседа, несомненно, едва не перешла в ссору и оборвалась внезапно. Сеймур ушел. На другой день он приступил к новому эскизу. Но, по-видимому, нараставшее чувство обиды, унижения и беспомощности в конце концов настолько овладело им, что он вдруг бросил работу, выбежал в сад и застрелился. Трудно объяснить причину этого неожиданного шага. Очевидно, такова уж природа людей, и вину остается возложить на того, кто создал их такими.

Положение издателей было незавидным. Идея создания «Пиквика» принадлежала Сеймуру, и они рассчитывали, что его имя будет приманкой для читателей. Первый выпуск расходился туго, а теперь еще и Сеймура не стало. Для будущего молодой фирмы дела принимали угрожающий оборот. Но энергия Диккенса, его вера в свои силы придали и издателям храбрости. Пригласили другого художника — Роберта Басса. Его иллюстрации оказались неудачными. Были и другие претенденты, и среди них два молодых человека, одного из которых звали Джон Лич<sup>[43]</sup>, а другого Уильям Мейкпис Теккерей. Первый шесть лет спустя проиллюстрировал «Рождественскую песнь» Диккенса, а второй через одиннадцать лет — свою собственную «Ярмарку тщеславия». Но ни тот, ни другой не угодил Диккенсу. Ему удалось внушить Чэпмену и Холлу, что единственный человек, которому сам бог велел делать иллюстрации к «Пиквику», это Хэблот К. Браун<sup>[44]</sup>, только что закончивший под псевдонимом «Физ» несколько гравюр к его памфлету «Воскресенье под «Тремя головами»». Браун и принялся за работу, и ни у кого не было повода когда-либо пожалеть об этом. Он уловил самый дух диккенсовских героев, сделал их чуточку — как раз в меру — карикатурными, и по сей день трудно себе представить персонажей «Пиквика» иными, чем их изобразил Физ. Когда двадцать три года спустя Диккенс порвал с Физом, он делал все, чтобы порвать и с самим собою — с человеком, которым он был до тех пор.

К осени 1836 года Пиквик пользовался в Англии большей известностью, чем премьер-министр. Первоначально книга была задумана по образцу «Жизни в Лондоне» и «Финиша» Пирса Игэна<sup>[45]</sup>, фамилия главного героя и та представляет собою название деревни, где на сцену выходит Толстый Рыцарь. Однако Диккенсом был создан совершенно особый, его собственный мир, и этим он нисколько не обязан писателям, у которых заимствовал ту или иную идею. Любопытно, что «Пиквикские записки», выходявшие ежемесячно, начиная с 31 марта 1836 года и кончая ноябрем 1837-го, первые четыре месяца терпели полный провал. Первая часть была напечатана всего в четырехстах экземплярах, но вот в пятом выпуске появился Сэмюэл Уэллер, и тираж стал расти с головокружительной быстротой, достигнув еще раньше, чем была опубликована вся серия, сорока тысяч экземпляров в месяц. Славу «Пиквику» принес Сэм, но большинству современных читателей ясно, как близок он был к тому, чтобы «Пиквика» погубить. В литературе нет ни одного комического героя, который был бы менее комичен, разве что шекспировский Оселок<sup>[46]</sup>, которому не сыщешь равных. Мы считаем величайшей удачей книги образ отца Сэма, Тони Уэллера, чей рассказ о том, как умирала его жена, достоин занять место чуть ли не рядом с рассказом мистрис Квикли о смерти Фальстафа<sup>[47]</sup>. Отдельные сцены «Пиквика» — нечто единственное в своем роде; кроме того, не считая двух-трех романов Вальтера Скотта, эта книга содержит наиболее блистательные в английской литературе юмористические страницы.

Такова, например, знаменитая сцена суда. Интересно, что Диккенс дает наибольший простор своей фантазии именно там, где он ближе всего к фактам. По свидетельству сэра Чартра Байрона, для человека, не имеющего отношения к судопроизводству, диккенсовские познания в этой области просто сверхъестественны. «Еще ни один писатель не сумел так точно воспроизвести атмосферу судебного процесса и все переживания, связанные с ним. Едва ли найдется хотя бы одна сторона судопроизводства, которая не была бы изображена и увековечена в *cause celebre* «Бардл против Пиквика»...» Лучше всего Диккенсу удаются второстепенные персонажи, которые живут на двух-трех страницах и затем навсегда исчезают. Так, одно из самых курьезных мест в романе связано с появлением Даулера, которого пиквикисты встречают по дороге в Бат и жене которого предстоит ехать с ними в одной карете.

«— Превосходная женщина, — сказал мистер Даулер. — Горжусь ею. И не без причин.

— Надеюсь, я буду иметь удовольствие в этом убедиться, — с улыбкой отозвался мистер Пиквик.

— Будете, — ответил Даулер. — Она узнает вас. Она вас оценит. Я ухаживал за ней при поразительных обстоятельствах. Я добился ее руки, дав необдуманную клятву. Дело было так. Я ее увидел, я полюбил ее, я сделал ей предложение. Я был отвергнут. «Вы любите другого?» — «Пощадите, не заставляйте меня краснеть». — «Я с ним знаком». — «Да». — «Отлично, если он здесь останется, я спущу с него шкуру».

— Господи помилуй! — вырвалось у мистера Пиквика.

— И вы действительно спустили с джентльмена шкуру, сэр? — спросил бледный как полотно мистер Уинкль.

— Я послал ему записку. Я написал, что это болезненная операция. Так оно и есть.

— Разумеется, — вставил мистер Уинкль.

— Я написал, что поручился словом джентльмена спустить с него шкуру. Это вопрос моей чести. У меня не было выбора. Как офицер армии его величества, я был поставлен в необходимость спустить с него шкуру. Я говорил, что сожалею, но раз нужно, значит нужно. Он не остался глух к моим доводам. Он понял, что интересы службы прежде всего. Он обратился в бегство. Она стала моей женой. Вот карета. А вот голова моей жены».

История литературы не знает ничего подобного фурору, вызванному «Пиквиком». Те, кому он не слишком понравился, называли всеобщий энтузиазм «бозоманией». Появились «пиквикские» шляпы, пальто, трости, сигары. Собак и кошек называли «Сэм», «Джингль», «Бардл», «Троттер». Люди получали прозвища «Тапмен», «Уинкль», «Снодграсс» и «Стиггинс». «Жирный парень» вошел в словарь английского языка. Стоило появиться очередному выпуску, как целые главы перепечатывались в дешевых периодических изданиях. Книгу жульнически переиздавали, крали из нее кто во что горазд, переделывали для театра, и единственным человеком, который не извлекал из всего этого непосредственной выгоды, был автор, написавший своим издателям: «Я буду весьма признателен вам, если, покончив с подсчетом соверенов, вырученных от продажи «Пиквика», вы несколько штук пришлете и мне». На банкете, устроенном в ноябре 1837 года в честь окончания книги, говорилось о том, что письменного договора не было и все шло путем устных соглашений, причем заинтересованные стороны остались вполне довольны результатом. Учитывая, что Чэпмен и Холл получили что-то около двадцати тысяч фунтов стерлингов чистой прибыли, а заработок Диккенса составил около двух с половиной тысяч,

представляется сомнительным, чтобы автор был так же доволен, как издатели. Во всяком случае, Диккенс твердо решил, что впредь будет руководствоваться главным образом именно интересами автора и что с устными соглашениями покончено раз и навсегда.

## Разногласия

ПЕРВЫЕ плоды успеха выразились в том, что Диккенс, во-первых, ушел из «Морнинг кроникл» и, во-вторых, снял в Питершеме на остаток лета 1836 года загородный коттедж Элм Лодж с полной обстановкой. Получив уведомление о том, что через месяц он их покинет, владельцы газеты пришли в бешенство. Диккенс, в свою очередь, был возмущен тем, что в газете его не оценили, и разрыв произошел в холодной или, может быть, весьма накаленной атмосфере. Но что за важность! Издатели, редакторы и театральные директора сбивались с ног, стремясь во что бы то ни стало разделить с автором его трофеи, и он мог позволить себе держаться со своими прежними хозяевами свысока. Как только стало ясно, что любая его вещь будет непременно выхвачена из его рук, издана сериями, выпущена отдельной книжкой, переделана для сцены, Диккенс обратился к театру. Он написал два фарса: один — в двух актах, под названием «Странный джентльмен», другой — одноактный, «Жена ли она ему?», и комическую оперу «Сельские кокетки». Все три пьесы были поставлены в только что отстроенном театре «Сент-Джеймс»; первые две — в сентябре 1836 года и марте 1837 года, третья — в декабре 1836 года, и, хотя они пользовались большим успехом, нет сомнений, что Диккенсу это дело быстро наскучило. Если бы он был не только автором, но и постановщиком, причем таким, который мог бы поручить главную роль автору, все было бы хорошо. Но мириться с капризами актеров, с прихотями певиц и режиссеров — это было выше его сил. Двум актрисам пришлось не по вкусу строчка «Разгоряченные, в постель они пошли», и Крамерс, издатель, напечатавший оперу, попросил внести в текст некоторые изменения. «Если юные дамы, — парировал автор, — приходят в такой неслыханный ужас при одном лишь упоминании о том, что кто-то ложится спать, пусть крамольную строчку заменят словами «По всей деревне кляузы пошли», не возражаю. Но можете самым почтительным образом довести до сведения Крамерса, что если понадобится изменить еще что-нибудь, то пусть они лучше катятся ко всем чертям». В более зрелые годы он слышать не хотел об этих произведениях. Уже через семь лет после их появления на сцене он говорил, что писал их, «совершенно не считаясь с тем, что они могут повредить моей репутации. Я не написал бы их снова, даже если бы мне посулили тысячу фунтов за каждый, и искренне хотел бы забыть о них навсегда». А за год до смерти он заметил, что, если

бы все экземпляры оперы хранились у него в доме и иного способа избавиться от них не было, он устроил бы пожар в том крыле дома, где они находятся.

Услышав, что Крукшенк предлагает кое-что переделать в тексте второй серии «Очерков Боза», Диккенс, и без того раздосадованный актерами, воспользовался этим предлогом, чтобы дать волю своему раздражению. В письме к Джону Макрону он уже со знанием дела мечет громы и молнии: «Я давно считаю, что Крукшенк не в своем уме, и поэтому его письмо меня ничуть не удивило. Если Вам еще доведется писать ему, Вы весьма обяжете меня, сообщив *от моего имени*, что меня от всей души позабавила эта идея! Он будет переделывать мою рукопись! Если бы это случилось, я сохранил бы его исправления как «литературный курьез». Я с полной определенностью предлагаю ему убираться к дьяволу, и баста! До тех пор пока я имею какое-то отношение к этой книге, я решительно возражаю против того, чтобы к ней прикасалась его рука». А если понадобятся иллюстрации, писал он, их отлично сделает Физ.

Тот факт, что, завоевав успех, Диккенс сразу же захотел писать для театра, раскрывает нам наиболее важную особенность его натуры: этот человек был прирожденным актером. Как на сцене, так и в жизни существуют две основные категории актеров: есть «герой», который лишь тогда счастлив, когда изображает самого себя, и есть актер «характерный», который чувствует себя в своей тарелке только под видом кого-нибудь другого. Два представителя девятнадцатого века, Бенджамин Дизраэли и Оскар Уайльд, являют собой превосходный образец исполнителей первого типа — актеров в жизни. Это люди, вполне поглощенные собою, обдуманно избравшие для себя одну какую-то роль. Каждый их жест, каждое слово стали типичными только для них. Великолепным примером актера, постоянно воображающего себя кем-то другим и воплощающего себя в бесчисленном множестве образов, был Чарльз Диккенс. Это Дэвид Гаррик в жизни, который мог бы стать вторым Гарриком на сцене. Следует заметить, что он стал вдвойне Гарриком на концертной эстраде. Заветной мечтой его юности было сделаться профессиональным актером, и о том, что это не удалось, он горько сожалел в зрелые годы. К нашему счастью, его сценический талант проявился в создании литературных героев, от которых почти всегда веет чем-то специфически театральным и которые написаны так выпукло и живо, что если бы автору удалось хоть десяток из них сыграть в театре, он был бы величайшим актером своего времени. С такой полнотой жил он жизнью своих героев, что никогда не знал, сколько в каждом из них его самого. Мы находим, что самые разнородные

персонажи чем-то похожи на него. Всячески стараясь изобразить их комичными и в то же время отталкивающими, он не догадывался, что живая искра, сверкающая в них, — это кипучее жизнелюбие, присущее его собственной актерской натуре.

Прирожденный актер — тот, у кого все обычные человеческие чувства приобретают преувеличенную форму и кто жаждет эти свои ощущения выставить напоказ. Такой человек смеется более раскатисто, чем другие, рыдает безудержно, его реакции стремительны и остры. В этом отношении Диккенс не похож ни на кого из великих писателей. Трудно представить себе актером Филдинга или Смоллетта, Теккерея, Харди, Уэлса, но Диккенс был актером с головы до пят. Его герои, его юмор, его чувства сценичны; он живо подмечает причудливые стороны человеческой натуры, умеет воспроизводить их с фотографической точностью и, как истинный Гаррик или Кин<sup>[48]</sup>, возвращается к ним снова и снова. Он описывает свои ощущения с актерской выразительностью; он не пишет, а ставит бурю, как поставил бы ее на сцене режиссер; его злодеи мелодраматичны, его герои так и просятся на подмостки; некоторые сцены его произведений как будто созданы для театра. Вот почему его романы с такой силой привлекали к себе актеров и драматургов. В наши дни он стал бы королем киносценаристов, и Голливуд лежал бы у его ног.

Он и сам был сродни своим творениям: живой, неутомимый, легко возбудимый, веселый, полный энергии и энтузиазма, жадно вбирающий в себя все происходящее вокруг, эмоциональный, с часто меняющимися настроениями — сегодня общительный, завтра расположенный к уединению. Он смеялся с теми, кому было весело, рыдал с теми, кто грустил, и всякий раз безудержно. Он целиком отдавал себя всему, за что бы ни взялся: забывал весь мир в творческом восторге, с головой уходил в любую роль, которую был вынужден или склонен играть. «Такое лицо в светском салоне — бог ты мой! — пишет Ли Хант<sup>[49]</sup> о своем первом впечатлении от встречи с Диккенсом. — Да в нем больше жизни, больше души, чем в пятидесяти других». Карлейль, увидевший уже знаменитого Диккенса на званом обеде, оставил нам замечательный «моментальный снимок»: «А он, по-моему, малый хоть куда, этот Боз: синие умные ясные глаза, брови, которые взлетают удивительно высоко, рот большой, не слишком плотно сжатый, с выдающимися вперед губами, физиономия, необычайная по своей подвижности, — когда он говорит, его брови, глаза, рот — все вместе взятое так и ходит ходуном. Очень своеобразно! Увенчайте все это танцующими кольцами волос ничем не примечательного



оттенка, посадите на ладную фигурку, очень миниатюрную, раздетую скорее а la д'Орсэ, чем просто хорошо, — и вот вам Пиквик. Это немногословный человек, на вид очень смущенный и, по-видимому, прекрасно знающий цену и себе и другим». Примечательно, что на другого его современника, знаменитого актера Макриди<sup>[50]</sup>, человека мнительного и вспыльчивого, общество Диккенса оказывало самое благотворное влияние. Он был единственным другом, с которым Макриди ни разу не повздорил. Да и в последние годы жизни одним из тех, кто пользовался особенной привязанностью Диккенса, был тоже актер — француз Фехтер.



Карлейль, с высоты своего немалого роста, сгущает краски, говоря о том, как мал и хрупок был Диккенс. Впрочем, там, где речь идет о росте, очевидцы неизменно расходятся во мнениях, равняясь, по-видимому, на себя. Наполеон счел бы герцога Веллингтонского верзилой; Джон Никольсон назвал бы карликами обоих. В «Американских заметках» Диккенс говорит, что он пяти футов девяти дюймов роста — должно быть,



от каблуков до макушки. Насколько может судить автор этой книги, сам человек высокий, в Диккенсе — без ботинок — было пять футов восемь дюймов — очень подходящий рост для «характерного» актера, для энергичного, подвижного человека. Глаза у него, по воспоминаниям одной женщины, были яркие и определенно карие; по словам другой — темно-синие. Большинство очевидцев (в том числе и Карлейль) все же склоняется к синему цвету. Волосы у него были не «ничем не примечательного оттенка», а темно-каштановые — роскошная волнистая шевелюра, и носил он их длинными по моде тридцатых годов прошлого века. Принято считать, что на портрете Маклизе он как живой. Все чувства — будь то гнев или восхищение, жалость или удовольствие — мгновенно отражались на его лице, в котором угадывались необычайная живость, пронизательность, прямотушие и недюжинный ум. Несмотря на щегольское платье и девически свежий цвет лица, он все-таки производил впечатление не «свободного художника», а человека трезвого и делового. Движения его были энергичными, осанка — горделивой, манера держаться — бодрой, решительной. Твердые линии носа, широкие ноздри выдавали в нем силу, а порою, по выражению Джейн Карлейль, лицо его было как будто «отлито из стали». Бок о бок с темпераментным актером в нем уживался расчетливый делец, в чем мы скоро убедимся, увидев, как он вел себя с издателями.

Зимой 1836 года в доме Гаррисона Эйнсворта Диккенс встретил своего будущего биографа Джона Форстера. Симпатию друг к другу они почувствовали сразу же, хотя Форстер, кажется, был столь же удивлен, сколь и восхищен той стремительностью, с которой Диккенс, повинувшись своей порывистой натуре, превратил знакомство в тесную дружбу. Чтобы добиться расположения или благодарности иных людей, полезно обращаться к ним за советом или помощью; Диккенс завоевал любовь и уважение Форстера, делая и то и другое. Добившись двадцати четырех лет от роду феноменального успеха, стремясь воспользоваться им как можно лучше, Диккенс действительно испытывал острую необходимость в помощи и советах осмотрительного человека. Дружба с Форстером была именно тем, в чем он нуждался, но и Форстер испытывал глубокую потребность в дружбе с Диккенсом. В избытке творческой энергии, вызванной быстро растущей славой и крепнущим сознанием своих сил, Диккенс написал (пока еще в воображении) множество новых книг и заключал договоры еще до того, как было написано хоть слово. Казалось, что он был рад снабдить своей книгой каждого лондонского издателя и вслепую подписать любой договор. Форстер с первых же дней знакомства

взял его дела в свои руки и прежде всего попробовал уладить конфликт с Макроном.

В мае 1836 года, когда судьба «Пиквика» еще висела на волоске, Диккенс договорился с Джоном Макроном, что напишет роман под названием «Габриэль Вардон», сдаст рукопись в конце ноября и тогда же получит за первое издание двести фунтов. В августе того же года, когда на свет появился Сэм Уэллер и в успехе «Пиквика» уже не оставалось сомнений, Диккенс обещал другому издателю, Ричарду Бентли, написать еще два романа (на этот раз вознаграждение составляло тысячу фунтов). А 1 ноября в порыве благодарности, настроенный игриво и дружески, он написал издателям «Пиквика»: «Сим назначаю и утверждаю Уильяма Холла и Эдварда Чэпмена из дома № 186 по улице Стрэнд, а также их наследников, душеприказчиков, опекунов и правопреемников издателями всех моих работ, пока в газетах не появится сообщение о том, что Чарльз Диккенс вышел в своем последнем издании — однотомник, переплет дощатый, иллюстрации медные». Через три дня он согласился начиная с января редактировать за двадцать фунтов в месяц журнал, издаваемый Ричардом Бентли, и подготовить роман для серийного издания в этом журнале. Вещь эта под названием «Оливер Твист» появилась в февральском номере «Альманаха Бентли» и выходила до марта 1839 года. Воцарившись в редакторском кресле, Диккенс пришел к выводу, что такое количество соглашений непременно приведет к разногласиям, и предпринял шаги к тому, чтобы расторгнуть хотя бы первое из них. За сто фунтов он отдал Макрону все права на издание обеих частей «Очерков Боза», и договор на «Габриэля Вардона» был аннулирован. Однако Макрон не зря называл себя опытным издателем. В момент, когда «бозомания» достигла наивысшего предела, две книжки Боза стоили большего, чем новая книга, существующая лишь в воображении автора, и Макрон решил заново издать все «Очерки» помесечными выпусками, с такими же иллюстрациями, как у «Пиквика».

Услышав о замысле Макрона, Диккенс поспешно написал Форстеру: «Вполне естественно, что я решительно возражаю. Могут предположить, что, воспользовавшись успехом «Пиквика», я из материальных соображений нарядил старую вещь в новое платье и пытаюсь навязать ее читателям». Макрон уже и так «извлек очень большую выгоду» из «Очерков» и, получая права на их издание, ни словом не обмолвился о том, что собирается вновь издать их. В это время две вещи Диккенса уже печатались выпусками: «Пиквикские записки», выходившие ежемесячно, и «Оливер Твист» в альманахе Бентли. Еще одно издание подобного типа

серьезно повредило бы репутации автора, и Диккенс, уже в полном негодовании, пишет то, о чем Форстер благоразумно умалчивает в его биографии: «Я считаю необходимым добавить, и это не опрометчивая угроза, а зрелое и обдуманное решение: если эта новая публикация все-таки осуществится, я помещу во всех газетах объявление о том, что это произошло вопреки не только моему желанию, но недвусмысленному требованию и что я убедительно прошу всех моих друзей и сторонников не покупать этих выпусков. Где бы он ни поместил рекламу о новом издании, я там же напечатаю это заявление». В последних строках письма он говорит, что если Макрон уже пошел на значительные издержки, Чэпмен и Холл готовы купить у него права на издание.

С этими жалобами и угрозами и с предложением о выкупе прав Форстер направился к Макрону, который, естественно, заявил, что может распоряжаться своею собственностью, как пожелает. Когда Форстер заговорил о выкупе авторских прав на «Очерки», с тем чтобы подобная история не повторилась, Макрон заявил, что автор может получить очерки за две тысячи фунтов с небольшим. В ужасе от алчности издателя Форстер посоветовал Диккенсу ничего не предпринимать. Как, сидеть сложа руки, когда затронуты его интересы?! Нет, это было не в характере Диккенса; он немедленно передал дело в руки Чэпмена и Холла. Последовали переговоры с Макроном, в результате которых Чэпмен и Холл согласились, что две тысячи двести пятьдесят фунтов стерлингов — цена божеская. Сделка состоялась. «Очерки» все-таки вышли сериями, но только в издательстве Чэпмена и Холла, ибо это был единственный способ покрыть издержки и остаться в барыше. Таким образом, в пылу переговоров главное возражение Диккенса Макрону было забыто.

Впрочем, точку зрения Диккенса нетрудно понять. Если кто-то хочет набить карман, подсунув читателям старую вещь, то уж пусть какая-то доля останется и в кармане автора, даже если он в принципе и против этой затеи. Однако в значительной степени позиция Диккенса объясняется вольным обращением с его работами: «Пиквику» подражали, писали на него пародии, сокращали и переделывали. Его печатали в виде отдельных книжек и сериями и для театра. Проделывалось все это с неподдельным воодушевлением, которое, быть может, и льстило автору, но одновременно приводило его в бешенство. И хотя, здраво рассуждая, Диккенс не мог иметь особых возражений против плана Макрона, пиратские набеги на его авторские права настроили его так, что вполне разумный шаг Макрона стал выглядеть в его глазах коварным замыслом грабителя. Человек сильных эмоций, очень вспыльчивый, он легко поддавался и гневу и жалости. Так

года через два, когда Макрон умер, оставив семью в бедности, Диккенс взялся редактировать сборник рассказов и очерков, среди которых были и его собственные, озаглавил сборник «Записки с Пикника» (что очень способствовало его быстрой распродаже) и, таким образом, выручил для вдовы и детей триста фунтов стерлингов.

Он был не всегда в состоянии управлять своими чувствами, и это сказалось особенно сильно в связи с одним событием, случившимся вскоре после его женитьбы и повлиявшим на него, как ничто другое — кроме, может быть, безнадежной любви к Марии Биднелл. Результатом этого события явилась книга, затопившая слезами целую эпоху и во многом способствовавшая тому, что он стал самым любимым и популярным писателем Англии.

Осенью 1836 года у Диккенсов в Фернивалс-инн поселилась сестра Кэт — шестнадцатилетняя Мэри. Добившись признания, Диккенс быстро расширял круг своих друзей, в который теперь входили известные художники Дэниэл Маклиз и Кларксон Стэнфилд<sup>[51]</sup>, знаменитый актер Уильям Макриди, выдающийся адвокат Т. Н. Тальфур<sup>[52]</sup>, два блестящих критика, Уильям Джердан<sup>[53]</sup> и Джон Форстер, и видный редактор Ли Хант. Обедал он зачастую не дома и, случалось, перехватывал через край. «Прибыл сегодня домой в час ночи и был водворен в постель любящей супругой», — писал он как-то одному из друзей. 6 января 1837 года появился на свет его первый ребенок — мальчик. После того как это произошло, здоровье Кэт стало внушать ее мужу некоторое беспокойство, поэтому они ненадолго уехали в Чок — туда, где прошел их медовый месяц. От чрезмерных трудов и волнений у Диккенса появились отчаянные головные боли, и тут ему «были немедленно предписаны лекарства — в дозе, рассчитанной на то, чтобы на неделю приковать к стойлу лошадь средних размеров». У «Альманаха Бентли» дела сразу же пошли успешно, и по предложению издателя Диккенс вступил в члены Гаррик-клуба. Он начал уставать, и было от чего: журнал, два романа, выходивших сериями, то и дело статьи, да и еще добрый десяток разных дел. «Не могу сделать больше с одной парой рук и единственной головой», — жаловался он Крукшенку. Однако у него нашлось время на то, чтобы вместе с Мэри бегать в поисках подходящего дома, и в начале апреля Диккенс с женой, ребенком, братом и свояченицей переехал в дом № 48 по Даути-стрит, где ему было суждено прожить почти три года.

Таков уж он был по природе, этот человек, — недоступное всегда привлекало его сильнее, чем доступное. К Мэри он привязался так, что это

чувство — правда, он в то время не признался бы в этом — было гораздо глубже того, которое он испытывал к своей жене. Прелестная, живая, отзывчивая, умненькая, Мэри считала его самым необыкновенным существом на земле, а его произведения — самыми изумительными в мире. Подобное обожание отнюдь не оставляло Диккенса равнодушным, наоборот! Но так как они были на положении близких родственников, исключавшем самую возможность греховных помыслов, то Мэри стала для Диккенса созданием святым, идеальным, что было как нельзя более в его духе. Для него пределом совершенства в человеческих отношениях была именно такая глубокая, гармоническая духовная близость с женщиной, целиком посвятившей себя его интересам. Жена была поглощена домашними заботами, и он всюду бывал вместе с Мэри: на официальных приемах, в гостях у друзей, на выставках, в театре. То были самые счастливые дни в его жизни — он блаженствовал, купаясь в лучах славы и упиваясь поклонением Мэри. Но счастье продолжалось недолго. В субботу, 6 мая, лишь пять недель спустя после того, как они въехали в новый дом, Диккенс повел Кэт и Мэри в театр «Сент-Джеймс». Вечер прошел восхитительно; в час ночи Мэри ушла спать «совершенно здоровой и в обычном своем чудесном настроении», но не успев еще раздеться, почувствовала себя дурно. Тотчас же послали за врачом. У Мэри оказался тяжелый порок сердца. Все старания врача была напрасны: на другой день она умерла. «Слава богу, она скончалась у меня на руках, — писал Диккенс, — и последнее, что она прошептала, были слова обо мне».

Это был жестокий удар. Хорошо еще, что неотложные дела отвлекали его от скорбных мыслей. Его теща, миссис Хогарт, лишилась чувств, сутки пролежала без сознания и потом неделю была фактически не способна двигаться. Кэт должна была находиться при ней и утешать ее, так что писать письма и устраивать все, что необходимо в подобных случаях, пришлось Чарльзу. «Вы не можете себе представить, в какое отчаяние повергла всех нас эта страшная утрата, — рассказывал он одному из своих родственников. — С тех пор как мы с Кэт поженились, она была душою и миром нашего дома. Ее красота и совершенства служили предметом всеобщего восхищения. Я бы легче перенес потерю близкого мне по крови человека или даже старого друга, — ведь ее нам никто и никогда не сможет заменить. С ее уходом осталась пустота, заполнить которую нет ни малейшей надежды». Он писал о ней с настойчивостью человека, почти не помнящего себя от горя, называя ее «светочем и душою нашего счастливого семейного круга», «украшением и гордостью нашего дома», «нашей жизнью и отрадой». Она представлялась ему той, кого со временем мир

узнал под именем маленькой Нелл, героини «Лавки древностей»: «Я торжественно заявляю, что столь совершенного создания никогда не видел свет. Мне были открыты сокровенные тайники ее души, я был способен оценить ее по достоинству. В ней не было ни одного недостатка».

Не в силах сосредоточить свое внимание на работе, он забросил «Пиквика» и «Оливера Твиста» — ни тот, ни другой в мае не вышли. Читателям «Альманаха Бентли» было объявлено, что автор оплакивает кончину «очень дорогой ему юной родственницы, к которой он питал самую горячую привязанность и чье общество давно уже служило ему главным источником отдохновения после трудов». Похоронив Мэри, Диккенсы уехали в Хемпстед на Коллинз Фарм, откуда Чарльз писал Гаррисону Эйнсворту: «Меня так глубоко потрясла смерть девушки, которую после жены я любил больше всех на свете, что я был вынужден отказаться от всякой мысли закончить работу, намеченную на этот месяц. Попробую отдохнуть две недели в тиши и уединении». Как-то воскресным утром Эйнсворт заехал к нему, но не застал: Диккенс ушел в церковь. Гостил у него и Форстер, приезжал Маклиз — подбодрить, утешить. Кэт, безусловно, должна была обладать поистине ангельским нравом, если сумела заслужить от него — да еще в подобное время — похвалу: «Она вынесла тяжкое испытание, как подобает такой, как она, благородной женщине с прекрасной душой». «Она знает, что если хотя бы один смертный удостоился вознестись на небеса, то сестра ее там. В ее воспоминаниях о сестре сохранится долгая вереница дней, заполненных лишь бесконечной привязанностью и любовью. Ни колкого слова, ни злого взгляда с той или другой стороны — даже когда они были детьми! Ей не в чем себя упрекнуть, и она сейчас так бодра и спокойна, что я только диву даюсь, глядя на нее». От потрясения, вызванного смертью Мэри, у Кэт случился выкидыш, но в его глазах, по-видимому, это было наименьшей из всех бед.

Воспоминания о Мэри не давали покоя Диккенсу долгое время. Бывая в театре «Сент-Джеймс», он не мог сидеть ни в том ряду, где они были вечером накануне ее гибели, ни в других местах зрительного зала, откуда была видна их ложа. Описывая в «Оливере Твисте» внешность Роз Мэйли, он не мог не изобразить Мэри такою, какой ему ее рисовало воображение: «Ей было не более семнадцати. Так легка и изящна была она, так ласкова и кротка, чиста и прекрасна, что казалось, земля недостойна носить ее, грубые земные обитатели — жить с нею рядом. И даже ум, светившийся в ее глубоких синих очах, запечатленный на ее благородном челе, едва ли можно было предположить в существе земном и столь юном. И все же это

переменчивое, добродушное, милое выражение, эти тысячи солнечных зайчиков, порхающих по ее лицу, стирая с него всякое подобие тени, а главное — эта улыбка, веселая, приветливая, — все в ней было как будто создано для домашнего очага, для мирных вечеров у камина, для семейного счастья». В той же книге он признается в своем желании последовать за нею в иной мир: «Мало-помалу он погрузился в глубокий и безмятежный сон, которым спит лишь тот, кого оставили недавние страдания, — тот мирный, спокойный сон, от которого мучительно пробуждаться. Если смерть такова, кто пожелал бы снова вернуться к жизни, с ее борьбою и суетой, заботами о настоящем и тревогами о будущем и — самое страшное — с ее томительными воспоминаниями о прошлом!»

Шесть месяцев спустя после этой трагедии он написал теще: «С кольцом, подаренным ею, я после ее кончины не расстаюсь ни днем, ни ночью и снимаю его с пальца, лишь когда мою руки. Воспоминания о ее прелести и совершенстве не оставляют меня даже и на эти краткие мгновенья. Я должен сказать, положив руку на сердце, что ни во сне, ни наяву не могу забыть о нашем жестоком испытании и горе и чувствую, что не смогу никогда... Если бы Вы знали, с какой тоской я вспоминаю теперь три комнатки в Фернивалс-инн, как мне недостает этой милой улыбки, этих сердечных слов, скрашивавших часы нашей вечерней работы или досуга, когда мы весело подшучивали друг над другом, сидя у камина, — слов, более драгоценных для меня, чем поклонение целого мира. Я помню все, что бы она ни говорила, что бы ни делала в те счастливые дни. Я мог бы назвать Вам каждый отрывок, каждую строчку, прочитанную вместе с нею». 1 января 1838 года он записал у себя в дневнике: «Печальный Новый год... Если бы она была сейчас с нами, во всем ее обаянии, радостная, приветливая, понимающая, как никто, все мои мысли и чувства, — друг, подобного которому у меня никогда не было и не будет! Я бы, кажется, ничего более не желал, лишь бы всегда продолжалось это счастье». И пять дней спустя: «Никогда уже больше я не буду так счастлив, как в той квартирке на третьем этаже, — никогда, даже если мне суждено купаться в золоте и славе. Будь мне это по средствам, я бы снял эти комнаты, чтобы никто в них не жил...» Он то и дело видел ее во сне и в феврале 1838 года написал жене из Йоркшира: «С тех пор как я уехал из дому, она мне все время снится и, несомненно, будет сниться, пока я не вернусь». И даже значительно позже, в октябре 1841 года, когда он успел уже излить душу, создав образ маленькой Нелл, он признавался Форстеру: «Желание быть похороненным рядом с нею так же сильно во мне теперь, как и пять лет назад. Я знаю (ибо уверен, что подобной любви не было и не будет), что это

желание никогда не исчезнет».

Теряя дорогих, близких, люди вообще в большинстве случаев склонны чрезмерно предаваться скорби. Если горе Диккенса и кажется преувеличенным, нужно все-таки ясно представить себе, что значит для такого человека, как он, — с его потребностью в любви и сочувствии, с его актерским темпераментом — потерять единственное на земле существо, полностью разделявшее его настроения, радости и надежды. В то же время нельзя пройти мимо того чувства, которое эти, быть может, слишком красноречивые переживания должны были вызвать у его жены, — чувства, которое и время и Диккенс не слишком-то старались изгладить. По-видимому, Кэт было ясно дано понять, что Мэри значит для ее мужа несравненно больше, чем она сама.

Итак, прожив «две недели в тиши и уединении» Коллинз Фарм, Диккенс с женой вернулись на Даути-стрит, где он немедленно и с обычным для него жаром погрузился в работу, чередуя ее с такими «оргиями отдыха», которые просто утомили бы человека менее энергичного. В сопровождении Форстера, Маклиза или Эйнсворта, а то и один, он, не замедляя ходу, вышагивал по Хемпстед-Хит со скоростью четыре мили в час и к обеду нередко добирался до таверны «Джек Строз Касл»<sup>[54]</sup>. Иногда они заходили пешком и подальше: на север — до Финчли, на запад — до Барнеса, на восток — до Гринвича<sup>[55]</sup>, а не то садились верхом и скакали в Ричмонд и Твикенхэм, Бернет, Хэмптон-Корт, Эппинг. Останавливались, только чтобы пообедать, других привалов в дороге не было. Пустившись в путь, Диккенс до самого конца никому не давал передохнуть или сбавить шаг. Он выходил из дому минута в минуту и требовал того же от других. В первых числах июля он впервые поехал с женой за границу. Вместе с ними отправился Хэблот К. Браун, и втроем они объехали в почтовой карете всю Бельгию, повидали «Гент, Брюссель, Антверпен и сотню других городов, чьи названия я сейчас не припомню и, даже вспомнив, не сумею правильно написать». В сентябре всей семьей отправились в Бродстерс, куда нередко ездили и в последующие годы и который стал знаменит только потому, что понравился Диккенсу.

Вот семейный портрет Диккенсов по воспоминаниям Элинор Кристиан, относящийся ко времени этой первой поездки в Бродстерс. Родители и брат Диккенса приехали вместе с ним. По словам Элинор, тогда еще девочки-подростка, миссис Диккенс-старшая была трезвой, рассудительной дамой с усталым, поблекшим лицом, а Джон Диккенс — упитанным щеголеватым господином с заметной склонностью к вычурным



фразам и возвышенным чувствам. Миссис Диккенс-старшая обожала танцевать, и, хотя Чарльза слегка коробило, когда он видел свою матушку за столь игривым занятием, он сам иногда танцевал с нею. Мистер Джон Диккенс, по собственному признанию, был оптимист. Он говорил, что похож на пробку: загонят под воду в одном месте, а он как ни в чем не бывало бодро выскакивает в другом. С Чарльзом, у которого то и дело менялись настроения, родственникам было не очень-то по себе: он мог быть сердечен и весел, а через мгновение становился рассеянным, уходил в себя. Он делал вид, что ухаживает за Элинор, называл ее «царица моей души», «прекрасная поработительница», «возлюбленная моего сердца» и, приглашая на танец, обращался к ней в модном тогда комическом стиле: «Не соблаговолишь ли, прелестная леди, подарить мне сей менуэт?», «Сколь радостно было бы мне плести с тобою вместе узоры этой сарабанды». Однако как-то утром, когда она попросила его почитать ей книгу, написанную ее отцом, шотландским писателем, он резко отвернулся, бросив через плечо: «Терпеть не могу шотландские побасенки, да и вообще все шотландское». Жена его, к которой сказанное относилось в равной мере, вспыхнула и с нервным смешком поспешила успокоить Элинор: «Не обращайте внимания, он шутит».

Порою вихрь его хорошего настроения вырывался за пределы беззлобного веселья, и тогда вступал в свои права тот самый актер, которому скоро предстояло выступить на страницах одного из диккенсовских романов в роли Квилпа. Однажды вечером, прохаживаясь с Элинор вдоль маленького волнолома, он внезапно обхватил ее, помчался вместе с нею на самый дальний конец и, держась одной рукой за высокий столб, а другой крепко сжимая Элинор, объявил, что не отпустит ее, пока их обоих не скроют «зловещие волны морские».

— Подумайте, какую мы произведем сенсацию! — кричал он. — Представьте себе дорогу к славе, на которую вы вот-вот готовы вступить! То есть не то чтобы вступить, а скорее всплыть!

Девушка делала отчаянные попытки вырваться, но Диккенс держал ее железной хваткой.

— Пусть мысль ваша устремится к столбцу из «Таймса»<sup>[56]</sup>, — продолжал он, — живописующему горестную участь обворожительной Э. К., которую Диккенс в припадке безумия отправил на дно морское! Не трепыхайся же, несчастная пичужка, ты бессильна в когтях этого коршуна.

— Мое платье, самое лучшее, мое *единственное* шелковое платье! — взвизгивала Элинор, призывая миссис Диккенс на помощь: волны уже доходили ей до колен.

— Чарльз! Как можно так дурачиться? — только и нашлась вымолвить миссис Диккенс. — Кончится тем, что вас обоих смоет прибой. И потом ты испортишь бедной девочке шелковое платье.

— Платье! — с театральным пафосом воскликнул Чарльз. — Ни слова о *платье*! Нам ли помышлять о мирской суете, когда мы вот-вот исчезнем во тьме? Когда мы уже стоим на пороге великого таинства? И разве я сам не жертвую в эту минуту парой новых, еще не оплаченных лакированных ботинок? Так сгиньте же, о низменные помыслы! В сей час, когда мы послушно внемлем зову Провидения, способен ли нас удержать ребяческий лепет о шелковых одеждах? Могут ли такие пустяки остановить десницу Судьбы?

В конце концов пленница все-таки спаслась бегством, но промокла насквозь, и пришлось идти переодеваться. А он еще два раза убегал с нею на дальний конец мыса, туда, где пенились, разбиваясь, волны и где нашли бесславный конец две шляпки Элинор.

В другой раз всей компанией поехали на Пегвелл Бей, и Диккенс в новом приступе «квилпомании» распевал по дороге непристойные песенки. Но не всегда его каникулярные настроения были так празднично-безмятежны. Вот что мы читаем в его письме к Форстеру, посвященном инициатору одной из многочисленных жульнических попыток воспользоваться его романом: «Что ж, если с помощью «Пиквика» этот жалкий субъект смог положить в свой трухлявый карман пару шиллингов, чтобы спастись от рабочего дома или тюрьмы, — пожалуйста! Пускай себе выкладывает весь этот гнусный вздор. Я доволен, что стал для него средством облегчиться». Доволен? Что-то незаметно.

В конце октября 1837 года Диккенсы в первый раз посетили Брайтон <sup>[57]</sup>, остановившись в гостинице «Старый корабль». Только они приехали, как началась ненастная погода, которая здесь, в этом самом красивом и целительном из приморских курортных городов, почти так же приятна, как солнечные дни. «В среду разразился настоящий ураган и вызвал всеобщую панику: вылетали окна, сносило ставни, сбивало с ног людей и задувало огонь в комнатах. На несколько часов все вокруг потемнело: с неба градом посыпались черные шляпы (подержанные). Предполагают, что их сорвало с опрометчивых путников где-то в отдаленных частях города. Рыбаки усердно подбирали их. Объявили, что Чарльз Кин <sup>[58]</sup> будет играть Отелло... Попал ли он в театр, не знаю, но уверен, что, кроме него, никто не попал».

По возвращении в Лондон работы прибавилось: он принялся редактировать для Бентли «Воспоминания Гримальди» <sup>[59]</sup>. Это была не

более как литературная поденщина. Он написал предисловие и, пользуясь разнообразными материалами, продиктовал отцу множество дополнений и изменений. Книга была, по его мнению, «пустой болтовней». Покупали ее хорошо, потому что на обложке стояло его имя, но сам он не принимал ее всерьез. Он взялся за эту работу лишь потому, что поладил с Бентли. Это дружеское согласие вскоре перешло в ожесточенную вражду, вот почему нам придется рассмотреть историю их отношений. Как и в любом случае, здесь можно многое сказать в пользу каждой стороны и немало — против.

Мы уже знаем, что в ноябре 1836 года Диккенс согласился за двадцать фунтов в месяц редактировать «Альманах Бентли». В марте эта сумма возросла до тридцати фунтов, по поводу чего Диккенс выразил свое удовлетворение. Кроме того, в августе того же года он взялся написать для Бентли два романа, получив за них тысячу фунтов. Альманах имел большой успех, а появление в нем «Оливера Твиста» окончательно упрочило славу Диккенса. Тогда-то он и обратил внимание на то, что договор составлен односторонне, то есть что Бентли причитается огромная сумма, а автору — очень небольшая. Прежде, когда его книги еще не имели феноменального успеха, это было приемлемо. Теперь же необходимость выполнять условия подобного договора бесила Диккенса. Бентли когда-то в самых горячих выражениях уверил его, что не будет скупиться, и вот в июле 1837 года Диккенс направил ему письмо с просьбой составить новый договор, учитывая «мое в корне изменившееся положение и возросшую популярность моих произведений». Бентли предложил встретиться и все обсудить — без сомнения, чтобы выиграть время. Диккенс, напротив, не теряя времени, изложил свои требования в письме: шестьсот фунтов за три тысячи экземпляров «Барнеби Раджа» (задуманного вначале под названием «Габриэль Вардон») и семьсот фунтов за столько же экземпляров «Оливера Твиста», когда он выйдет отдельной книгой. В августе состоялись переговоры, и Бентли сделал шаг, как будто нарочно рассчитанный на то, чтобы вывести Диккенса из себя. Он заявил, что первоначальный вариант договора остается в силе, что, купив авторские права на оба романа, он не станет мириться с тем, чтобы его доля прибыли была кем-либо ограничена; тем не менее он охотно *подарит* Диккенсу дополнительную сумму. Другими словами, он в виде одолжения готов вручить Диккенсу за два романа дополнительно триста фунтов, но настаивает на том, чтобы права на издание остались у него, обеспечив себе, таким образом, возможность перепродавать их в любой удобной ему форме, разумеется с баснословными барышами. Диккенс, естественно, «в несдержанных выражениях изъясил свое возмущение, пригрозив, между прочим, что в

таком случае он отказывается писать»<sup>[3]</sup>.

Было предложено вынести дело на арбитраж, но Диккенс был в таком расположении духа, когда считаются с единственным арбитром — самим собой. «Любой непосредственный контакт между нами, — заявил он Бентли, — был бы мне отныне крайне оскорбителен и неприятен». Бентли посоветовался с друзьями; те рекомендовали ему твердо стоять на своем. Однако когда в сентябре Диккенс объявил, что уходит из «Альманаха», Бентли все-таки составил новый договор на условиях, более приемлемых для редактора, и согласился заплатить за каждый роман по семьсот пятьдесят фунтов. Мир был восстановлен, Диккенс отредактировал «Воспоминания Гримальди», и — снова сгустились тучи.

Для того чтобы вернуть себе хоть какую-то долю участия в переизданиях «Пиквика» и вместе с тем отблагодарить Чэпмена и Холла за помощь во время столкновения с Макроном, Диккенс в конце 1837 года согласился написать для этой фирмы еще один роман. За серийное издание ему платили три тысячи фунтов, затем на пять лет права на роман переходили к издателям и снова возвращались автору. «Николас Никльби» — так назывался этот роман — выходил с апреля 1838 года по октябрь 1839-го, то есть одновременно с более поздними выпусками «Оливера Твиста». Работать приходилось лихорадочно, без передышки. Диккенс знал, что его труд принесет колоссальные барыши Бентли и сравнительно жалкие гроши ему самому. Не удивительно, что в январе 1839 года измученный, доведенный чуть ли не до безумия сверхчеловеческим напряжением из месяца в месяц — он готовил к печати два больших романа, — автор не выдержал. Он сложил с себя обязанности редактора «Альманаха Бентли», и место его занял Гаррисон Эйнсворт.

Кстати сказать, в инцидентах с Макроном и Бентли Эйнсворт сыграл довольно зловещую роль. Поддерживая со всеми тремя дружеские отношения, он тем не менее «сугубо конфиденциально» рекомендовал Макрону поручить разбирательство конфликта с Диккенсом своему стряпчему, обязать Диккенса выполнить условия договора, а если он попытается уклониться, возбудить против него судебное дело. Не вызывает сомнений и то, что именно Эйнсворт посоветовал Бентли, как поступить с Диккенсом, не переставая в то же время делать вид, будто относится к собрату по перу как нельзя более дружески и сочувственно. Когда Диккенс ушел из «Альманаха», пронесся слух, что в разрыве между издателем и редактором повинен Форстер, и это, очевидно, было тоже делом рук Эйнсворта. Во всяком случае, Диккенс послал Эйнсворту письмо, где в очень сильных выражениях потребовал, чтобы тот немедленно опроверг

эту клевету. Впрочем, о неблагоприятном поведении Эйнсворта во время неурядиц с издателями Диккенс так никогда и не узнал, и долгие годы они оставались в приятельских отношениях.

Итак, после того как Бентли предложил Диккенсу писать две книги на более выгодных условиях, «военные действия» были временно приостановлены — временно, потому что они возобновились с удвоенной силой, когда Бентли опять принялся досаждать Диккенсу. В июне 1840 года на помощь снова подоспели Чэпмен и Холл, уплатив Бентли две тысячи двести пятьдесят фунтов стерлингов, чтобы тот передал автору права на «Оливера Твиста» и отказался от претензий на роман «Барнеби Радж» (автору предстояло выплатить Чэпмену и Холлу свой долг из гонорара за «Барнеби Раджа»).

Говоря об этом конфликте между автором и издателем, люди обычно склонны поддерживать либо ту, либо другую сторону. Напрасно: Диккенса можно обвинить лишь в том, что он не был Бентли, а Бентли — в том, что он не был Диккенсом. Каждый исходил из собственных убеждений, а они были противоположны. С точки зрения закона Бентли непогрешим; с человеческой точки зрения совершенно прав Диккенс. Но для того чтобы понять друг друга, им пришлось бы поменяться ролями. Здесь уместно сказать кое-что относительно договоров вообще. Бернард Шоу, с которым в деловом отношении не мог сравниться ни один издатель или автор его времени, говорил, что хорошим можно считать тот договор, который устраивает обе стороны. Если одну из них он перестает удовлетворять, его следует составить заново, с учетом интересов обеих сторон — хотя бы потому, что обиженный человек работает хуже, чем может. Ни один договор не должен обязывать на веки вечные, и разумные издатели это признают. Мысли авторов в большинстве случаев сосредоточены лишь на том, чтобы писать книги. Редкий писатель наберется терпения прочитать договор, а уж тем более уразуметь, о чем в нем говорится. Единственное, что его занимает, — это как бы получить кругленькую сумму, предпочтительно авансом. Подготовить и понять договор — дело издателя. Что ж, ему пришлось бы перестать быть деловым человеком и превратиться в святого, если бы с интересами автора он считался так же, как со своими собственными.

Диккенс рано убедился в том, что в руках издателей его творческая энергия становится средством чудовищного обогащения, в то время как сам он зарабатывает «немногим более, чем нужно, чтобы жить в благородной бедности». Он поступал вполне справедливо, отказываясь соблюдать договоры, создающие подобное положение вещей. То обстоятельство, что

он их подписывал, ничего не меняло: в те ранние голодные годы он подписал бы что угодно, лишь бы получить солидный аванс. Вздумай издатели настаивать на соблюдении первоначальных условий договоров, им бы это удалось. Но они отдавали себе отчет в том, что популярность писателя дает ему преимущества, и, успев изрядно использовать ее, уступали. Диккенс, задыхающийся от непосильной работы, вне себя от сознания, что, как заявил он, «на моих книгах наживается каждый, кто имеет к ним отношение, — кроме меня», писал Форстеру: «...Перед богом и людьми я с чистой совестью считаю себя свободным от этих хищнических соглашений». Настроившись на воинственный лад, он обрушился на Бентли с новыми обвинениями. Бентли заявил, что все они несправедливы. Так это было или нет, неважно: это обычные выпады, к которым люди всегда прибегают, ссорясь, и которые не имеют ни малейшего отношения к существу дела. На письме, в котором были изложены эти обвинения, Бентли написал: «Диккенс был очень умен, однако честным человеком он не был». Заключение, которое напрашивается само собою, таково: по отношению к Бентли Диккенс не был ни умен, ни бесчестен. Будь он умен, он поступил бы с Бентли осмотрительнее; будь он бесчестен, он руководствовался бы не чувствами, а рассудком и не допустил, чтобы личная неприязнь повлияла на ход деловых переговоров.

Каждый новый договор, составленный Бентли, отнюдь не был продиктован искренним желанием справедливо поступить с человеком, труд которого принес издателю целое состояние. Нет, эти договоры подписывались после бесконечных переговоров с уловками, увертками и ловушками. И Диккенс — это ясно — невзлюбил издателя с июля 1837 года, с того самого момента, когда Бентли достаточно было бы только решиться на широкий жест, чтобы «приручить» автора. Правда, закон был на стороне Бентли, но все же этому человеку были, несомненно, свойственны и корыстолюбие и жадность: не только Диккенс имел основания сердиться на него. Бентли постоянно заключал с писателями соглашения на очень жестких условиях, и Чарльз Рид возбудил против него судебное дело, в ходе которого всем стало ясно, как несправедливы договоры с участием в прибылях (издатели, не слишком щепетильные в выборе средств, пользуются ими и по сей день). Все это подготовило почву для введения существующей ныне системы оплаты писательского труда. «Я не требую, да и не жду сочувствия людей, зарабатывающих себе на жизнь пером (к ним принадлежу и я сам), — писал Диккенс. — Но я полон решимости поступить чем угодно — будь то душевное спокойствие или

кошелек, — чтобы лишить этого субъекта уверенности в том, что с нами всегда можно поступать, как ему заблагорассудится»<sup>[4]</sup>.

Не удивительно, что Ганс Андерсен, гостивший в имении Бентли Сэвен-Оукс в 1847 году, рассказывал о великолепном загородном доме и изысканном образе жизни издателя. Гостям прислуживали лакеи в шелковых чулках, и Андерсен восклицает: «Вот вам и торговец книгами!» Тщетно стал бы он искать лакея в шелковых чулках у Диккенса, и немало еще лет прошло, прежде чем писатель позволил себе купить загородный дом. Пока ему предстояло воевать с издателями, и едва ли нужно говорить, что следующими по списку были Чэпмен и Холл.

## Великий Могол<sup>[60]</sup>

УЛАЖИВАТЬ все неприятности, о которых только что шла речь, Диккенсу деятельно помогал его новый друг Форстер. Через полгода после первой встречи Диккенс писал ему: «Если только не произойдет что-нибудь ужасное, ничто, кроме смерти, не нарушит столь прочный союз». Но прошло еще четыре месяца, и в письме Диккенса к Эйнсворту прозвучал намек на то, что в ближайшие годы в этом союзе, может быть, появятся первые трещины. «Наш достойный приятель Могол несколько дней чувствовал себя совсем плохо, вследствие чего напустил на себя мрачный и хмурый вид... Бушевал и проклинал все на свете... Теперь, впрочем, приутих, или, точнее сказать, образумился». Приглядимся же к человеку, дружба с которым в течение ближайших двадцати лет значила больше для Диккенса, чем чья-либо другая, и который впоследствии стал его биографом и душеприказчиком.

Джон Форстер родился в Ньюкасле-на-Тайне через два месяца после того, как появился на свет Диккенс: 2 апреля 1812 года. Его отец был скотопромышленником, и недоброжелатели называли Джона сыном мясника. Свою мать Форстер величает «бриллиантом среди женщин», но это только фраза, по которой не нарисуешь портрета и которая лишь наводит на мысль о том, что Джон был балованным сыном. Деньги на обучение мальчика давал его дядя — сначала это была частная школа, затем колледж при Лондонском университете. В ноябре 1828 года Форстер поступил в юридическую корпорацию Иннер Темпл. Твердо решив выдвинуться, он вскоре снискал расположение Ли Ханта и Чарльза Лэма<sup>[61]</sup> и в двадцать лет стал театральным критиком в одной газете. Год спустя он был уже постоянным сотрудником трех других газет, а еще меньше чем через год стал главным литературным и театральным критиком ведущей газеты «Экзаминер» и поселился на холостой квартире в доме № 58 по Линкольнс-инн-Филдс — несомненно, самых роскошных апартаментах, которые когда-либо занимал столь юный литератор. В последующие годы он редактировал несколько больших периодических изданий, в том числе «Экзаминер», выпустил «Жизнеописание английских государственных деятелей» в пяти томах, написал биографии Гольдсмита и Лендора<sup>[62]</sup> и получил правительственную синекуру<sup>[63]</sup> инспектора психиатрических лечебниц с жалованьем в полторы тысячи фунтов в год. Метод, которым он



ее добился, проливает свет на некоторые особенности его характера. «Я вцепился в старину Брума<sup>[64]</sup> и не выпускал его ни на минуту, — рассказывал Форстер одному из своих друзей. — Я обивал его порог, пока у него не лопнуло терпение. Я попросту вынудил их уступить».

К двадцати пяти годам Форстер уже отлично знал каждого, кто был хоть чем-то знаменит в мире искусства, — поразительное достижение! По-видимому, это был не просто человек, решившийся во что бы то ни стало пробиться на самый верх, но и готовый воспользоваться при этом любыми средствами. Мало того, он мог хладнокровно, не моргнув глазом, отделаться от тех, кто был когда-то ему полезен, но в чьих услугах он больше не нуждался. Не мудрено, что ему везло в дружбе с важными персонами; с каким усердием он угождал им, как был внимателен, с каким жаром их превозносил! Положение видного критика само по себе стоило немало. Впрочем, метил он гораздо выше. Мир искусства он, если можно так выразиться, вполне прибрал к рукам. (Теккерей как-то объявил: «Стоит кому-нибудь попасть в переделку, все кидаются к нему: «Выручай!» Он всеведущ, он творит чудеса».) Теперь можно было заняться поисками более лакомой добычи, и Форстер ухитрился «заарканить» несколько видных аристократов и политических деятелей. Графа д'Орсэ<sup>[65]</sup> и леди Блессингтон<sup>[66]</sup> он покорила с легкостью и, опьяненный успехом, решил заполучить Пальмерстона<sup>[67]</sup> и Гладстона<sup>[68]</sup>. Но это было не так-то просто: потребовалось пустить в ход все стратегическое искусство. Надо было его видеть в обществе представителей высшей знати! Он мурлыкал, как ласковый кот; голос его становился мягок и сладкозвучен, когда он с видом Моисея, пророчествующего с горы Синай<sup>[69]</sup>, вещал, обращаясь к прочим гостям: «Его светлость весьма решительно заявляет...» Невнимание к нуждам титулованных особ огорчало его неимоверно. Однажды, когда у него обедал граф д'Орсэ, над столом, перекрывая шум разговора, загремел голос хозяина, обратившегося к лакею: «Боги великие, сэра! А где масло для его светлости?»

Однако в кругу богемы Форстер выглядел иначе; здесь он довольно часто напивался, а его зычный голос, раскатистый смех и властные манеры, которые он быстро усвоил, став важной персоной, снискали ему среди писателей, художников и актеров одновременно и расположение и неприязнь. Его любили за радушие и отзывчивость, за готовность помочь. Но точно так же он мог делать людям пакости, грубить, низкопоклонничать и льстить. Это был низенький и плотный мужчина, широколицый, с квадратным черепом и воинственно торчавшим подбородком. Суровые

черты лица, повелительный голос, приземистая фигура, туго стянутая наглухо застегнутым коротким сюртуком, придавали его внешности своеобразное достоинство, а если он к тому же вставлял в глаз свой монокль, который обычно вертел в руках, то вид у него становился очень внушительный и даже грозный. На первый взгляд он производил впечатление человека в высшей степени самоуверенного, надменного и независимого, с которым шутки плохи и который по каждому поводу высказывается необычайно метко. На самом же деле, если верить тому, что рассказывает Карлейль, он отрекался от собственных взглядов с той же легкостью, что и от приятелей, которые больше были не нужны: «Стоит Форстеру наткнуться на идею, показавшуюся ему приемлемой, он прожужжит о ней все уши, поднимет шум и трескотню, будет отстаивать ее с пеной у рта, внушать ее всем и каждому. Но едва ему покажется, что идея не оправдала себя, едва другие охладят к ней, как он хладнокровно забывает ее и ищет, чем бы еще себя потешить». Когда ему не нравилось то, что говорили другие, он раздражался таким криком, что противник умолкал. «Не-вы-но-си-мо!», «Чудовищно!», «Невероятно!», «Все чушь!», «Да что вы тут несете!» Он мог завершить все это и вовсе непечатной фразой, сопровождая ее презрительным смехом. Где уж тут было спорить! Возражения приводили его в ярость, и, если его хвастливый тон и оглушительный голос внушали кому-нибудь неприязнь, он мог вести себя вызывающе, оскорбительно. Из-за какого-нибудь пустяка он мог прийти в такое бешенство, что, по словам Диккенса, «шипел, пыхтел и трясся от злобы, как пароход под парами». Подобно многим чрезмерно обидчивым людям, он зачастую был совершенно не способен щадить чувства других и, рано или поздно, ссорился почти с каждым из тех самых людей, чьей дружбы так неустанно добивался.

Постоянным источником раздоров была ревность, которой он докучал своим друзьям. Вцепившись в того, с кем он хотел завести знакомство — как правило, человека известного или стоявшего на пороге известности, — он дней за десять умудрялся сблизиться с ним так, как это не удалось бы другому и в десять лет. Едва эти отношения устанавливались более или менее прочно, друг становился его собственностью, и Форстер принимался на все лады расхваливать стихи или личные достоинства нового приятеля. Однако стоило кому-нибудь еще проявить подобное же воодушевление и посягнуть на права Форстера, сблизиться с очередным фаворитом и завоевать его уважение, как Форстер немедленно мрачнел, словно туча, и начинались сцены ревности, упреки. Однажды его выбор пал на Роберта Браунинга. Первое время они были неразлучны, причем Форстер пел

новому чудо-поэту такие дифирамбы, что в один прекрасный день Браунинг, должно быть, усомнился: уж не Шекспир ли его подлинная фамилия? Но когда автор «Парацельса» был пришвартован к критику прочными канатами, когда Форстер растрезвонил о Роберте во все колокола, сумел заинтересовать Макриди драмами своего друга, когда и другие принялись расхваливать Браунинга с таким же энтузиазмом, — вот тут-то и началось! Диккенс, например, дал восторженный отзыв о «Запятнанном щите» Браунинга. (Рукопись ему по секрету показал Форстер.) Одобрение такого писателя сослужило бы, конечно, автору пьесы большую службу. Но Форстер держал отзыв у себя, и Браунинг до смерти Диккенса так ничего и не узнал о нем. Форстеровские «канаты» стали подаваться, а потом и лопаться. Утвердившись в своих правах на поэта, Форстер решил, что может обращаться с ним, как пожелает, пока однажды на каком-то обеде до того вывел его из себя, что Браунинг схватил со стола графин и чуть было не запустил им в голову своего покровителя — к счастью, вмешался другой гость. Кончилось тем, что любимцу надоело быть у Форстера тряпкой под ногами, как он выразился, и они окончательно разошлись. Встретившись как-то в театральной уборной Макриди, они даже сделали вид, что не узнают друг друга, — Форстер к тому времени был вне себя от бешенства, что у Браунинга среди титулованных особ больше знакомых, чем у него.

Не приходится сомневаться в том, что Форстеру доставляло удовольствие мучить своих друзей. Когда Эдвард Бульвер (будущий лорд Литтон) написал едкие анонимные стихи в адрес Теннисона, тот парировал выпад, прислав Форстеру несколько ядовитых строчек, которые хотел опубликовать. Бульвер изображался в них как «мужчина в корсете и с фальшивыми плечами», у которого «половина его крохотной душонки — грязь». Почти сразу же Теннисон пожалел о том, что написал эти строчки, и попросил Форстера их не печатать. Однако Форстер, близкий друг Бульвера, поспешил уверить Теннисона в том, что справедливость для него дороже дружбы и что, хотя Бульвер и не признает себя инициатором оскорбительного выпада, он этому не верит и хотел бы опубликовать ответ. Теннисон уступил, и его стихи появились в «Панче». Такое вероломство вызывало естественное недоверие тех, кто раскусил Могола, и Форстер в качестве самозащиты изобрел для себя особый метод — разговаривать уклончиво, обвиняками, пряча факты за дымовой завесой многословия. Эта манера помогала ему выкручиваться из затруднительных ситуаций, но наложила отпечаток и на стиль его прозы. Был ли он честен как биограф? И это вызывает сомнения! Подведем итог его характеристики двумя записями

из дневника Макриди за 1840 год:

«16 августа. Обедал у Диккенса и стал свидетелем очень тяжелой сцены, разыгравшейся после обеда. Были я, Форстер и Маклиз. Форстер разразился единой из своих безудержных тирад (по его мнению, это называется спорить) и подогревал себя, пока не накалился докрасна. Несколько резких замечаний на личные темы — и разгорелся обмен колкостями между ним и Диккенсом. Форстер выказал обычную для него бестактность и довел хозяина до полного бешенства. Тот, не помня себя, дал собеседнику понять, что здесь — его дом и что он, Диккенс, будет очень рад, если Форстер его покинет. Форстер повел себя глупейшим образом. Я остановил его, заметив, что из-за минутной вспышки может погибнуть дружба, которой, без сомнения, дорожат оба. Я вынудил Диккенса признаться, что он говорил в сердцах и, будь он в состоянии трезво рассуждать, не произнес бы того, что было сказано. Он, однако, добавил, что не ручается за себя и, если Форстер будет вести себя вызывающе, он снова поступит точно так же. Форстер проявил чрезвычайное *слабодушие*. Ему твердили, что Диккенс признал себя неправым и сожалеет о словах, которые вырвались сгоряча, и прочее, и прочее, а он все упрямылся, бормоча бессвязные слова, и, наконец, почувствовав, что зашел в тупик, произнес нечто похожее на речь, соизволив принять извинения, которые до сих пор отвергал. Потом он весь вечер молчал. И не удивительно! Миссис Диккенс удалилась в слезах. Тягостная сцена!

20 августа. Заходил к Диккенсу... Говорили о Форстере, и Диккенс сказал то же самое, что когда-то Эдвард (Бульвер): Форстер на людях ведет разговор высокомерным тоном, чтобы создавалось впечатление, что он покровитель, *padrone*. Как ничтожно, как глупо!»

На другой день после сцены, которая произошла 16 августа, Диккенс писал Макриди: «Что сказать по поводу вчерашнего вечера? Честно говоря, нечего. Невозможно уважать человека больше, чем я уважаю Вас; невозможно вообразить привязанность более искреннюю и теплую, дорогой мой друг, но даже Ваше мужественное и великодушное вмешательство не в силах заставить меня свободно говорить о предмете, который так остро и глубоко волнует меня. Я весьма и весьма опечален и все-таки не раскаиваюсь — не в силах, как бы ни убеждал себя. Несмотря на нашу тесную дружбу, я не могу закрыть глаза на то, что с другими людьми мы не ссоримся. Чем больше я думаю, тем сильнее утверждаюсь в мнении, что не было и нет человека, который в такой мере испытывал бы терпение своих друзей. Положа руку на сердце, могу уверить Вас в том,

что, когда я думаю о его манере держать себя (ведь, по существу, он гораздо лучше), меня так и бросает в жар, мне и стыдно и унижительно, что я послужил ему мишенью. А впрочем, нет худа без добра: думая обо всем, что Вы сказали и сделали, я не желал бы (будь то в моих силах) взять обратно и тысячной доли моей неводержанности...»

То были ранние дни их дружбы, и Диккенс не мог предвидеть, что Форстер будет «ссориться с другими», один из которых, Гаррисон Эйнсворт, уже порвал со своим былым покровителем. Глаз у Форстера был очень острый, он великолепно угадывал, кто будет пользоваться успехом, и предвидел, что рядом со славой Диккенса известность Эйнсворта быстро померкнет. Поэтому, когда «Джека Шеппарда» стали покупать нарасхват, а «Оливер Твист» еще лежал на полках, Форстер страшно разгневался, объявил книгу Эйнсворта аморальной и, таким образом, пожертвовал одной дружбой ради другой, более ценной. Даже единственный его роман и тот был тоже подчинен соображениям подобного рода. Форстер был обручен с поэтессой и писательницей (вернее сказать, рифмоплетом и сочинительницей) Летицией Лендон, известной в то время под псевдонимом «Л. Э.». Она была на десять лет старше жениха, и для него ее очарование главным образом заключалось в том положении, которое она занимала как писательница. Когда же прошел слух, что у нее связь с женатым человеком, Уильямом Магином, и ее репутация оказалась под угрозой, Форстер живо ухватился за этот предлог, чтобы расторгнуть помолвку. К собственным ощущениям он прислушивался так чутко, придавал им такое важное значение, что, ссорясь с кем-нибудь, считал естественным, что его друзья тоже должны порвать всякие отношения с этим человеком. Если приятель не писал ему регулярно, он обижался, и Теннисон как-то заметил ему, что в этом есть нечто патологическое. Все это свидетельствует о том, что Форстер был не слишком уверен в себе и под внешней шумливой самоуверенностью, несомненно, скрывал внутреннюю скованность, неловкость. При всем том как критик он пользовался глубоким уважением, его читали, к нему прислушивались. «А что говорит Форстер?» — наперебой спрашивали друг друга в сороковых-пятидесятых годах те, кому следовало бы руководствоваться собственными суждениями. С его мнением настолько считались, что, когда он давал друзьям совет, как лучше построить произведение, — иными словами, приказывал им писать так, а не иначе, — его слушались. Он обладал поразительной способностью заставлять людей идти его путем, а не их собственным.

Мало-помалу он занял положение владыки, диктующего законы, так что с приходом молодого поколения ему стали воздавать почести, какими в

свое время пользовался лишь доктор Джонсон<sup>[70]</sup>. Однажды после очередной ссоры с Браунингом последовало примирение, в честь которого был устроен банкет. Был приглашен Карлейль, которого Форстер приветствовал словами «мой пророк». Видя, как Карлейль после обеда раскуривает длинную трубку, два каких-то юнца осмелились закурить сигары, за что получили от хозяина выговор: «Я никогда не разрешаю курить в этой комнате, — напыщенно изрек Форстер. — Мой старый друг Карлейль почтил меня своим присутствием, и ради такого исключительного события я поступился своим правилом. Но на вас, Роберт Литтон<sup>[71]</sup>, и вас, Перси Фицджеральд<sup>[72]</sup>, это не распространяется. Вы действовали по собственному усмотрению. Ну что ж, поскольку дело сделано, говорить больше не о чем». В те дни, когда он был в зените славы, он часто начинал разговор со своими именитыми гостями таким образом: «Как однажды, находясь у меня, сказал Гладстон...», «Именно этими словами ответил мне Пальмерстон, когда я напомнил ему...», «Герцог Вестминстерский был изумлен, когда я уверял его...»

И все-таки почти все относились к нему приязненно. Он был добр к тем, кого постигла беда, и неутомим, когда нужно было помочь друзьям. Случалось, правда, что он брал на себя больше, чем был в состоянии выполнить, и поэтому мог иногда все перепутать. Зато он никогда не жалел своих сил, и если уж брался за что-нибудь, то доводил дело до конца. Переполненный бурной жизненной энергией, он был в то же время человеком нервным, эмоциональным. Он был отзывчив, щедро даря сочувствие и поддержку тем, кто в них нуждался, мог мгновенно простить все на свете тому, кого твердо решил наказать, и оплакивал чужое горе так же безутешно, как свое собственное. Наедине с приятелем он бывал и добродушен и покладист, держался спокойно, естественно, скромно, сердечно, откровенно признавался в своих слабостях и терпимо относился к недостаткам других. Он огорчался, если его лишали возможности делить с тем, кого он любил, печали и радости. Но в большой компании это был совершенно другой человек — тщеславный и спесивый.

Форстер предпочитал бывать хозяином, а не гостем, и славился обедами, которые давал на Линкольнс-инн-Филдс. Он знал вкусы каждого гостя и каждому умел угодить. Стаканы наполнялись у него чаще, чем было полезно для здоровья гостей. Джейн Карлейль жаловалась, что ее, «как обычно, напоили у Форстера шампанским чуть ли не допьяна», и была вынуждена как-то признаться, почему ее мужа перед театром не заманишь к Моголу обедать: «Вы потчуете вином своих ничего не подозревающих

гостей до тех пор, пока они не дойдут до полного опьянения». На обедах, которые он устраивал специально для мужчин, царило столь буйное веселье, что если большинство все-таки и попадало домой, то скорее всего по счастливой случайности, а не по здравому разумению. Речи там велись куда более вольные, чем можно было предположить, читая Диккенса и Теккерея. Однажды разговор зашел о том, что по ночам на панели города из всех щелей выползает порок. Эмерсон заявил, что если везде процветает такая же наглая проституция, как в Ливерпуле, где он наблюдал ее собственными глазами, то каждого юношу подстерегает опасность. На это Карлейль и Диккенс ответили, что в Англии целомудрие у представителей мужского пола — дело далекого прошлого и встречается оно столь редко, что в их кругу исключения можно сосчитать по пальцам. Карлейль предположил, что в Америке творится то же самое, но Эмерсон возразил, что в его стране «воспитанные молодые люди из хороших семей ложатся в брачную постель невинными». Впрочем, справедливости ради нужно оговориться, что никаких доказательств Эмерсон не привел. Диккенс, в свою очередь, заметил, что в Англии распущенность принято считать правилом и, если бы его собственный сын оказался слишком уж чист и невинен, он, отец, забеспокоился бы, не пошатнулось ли у мальчика здоровье.

Да, обеды были на славу, и гости прощали Форстеру чрезмерную словоохотливость. Диккенс никогда не стремился завладеть разговором. Он с большим интересом слушал друга, шутливо принимая комплименты, которыми одарял его Великий Могол. Они и в самом деле были друзьями, хотя Диккенс иногда не мог устоять перед соблазном изобразить Форстера во всем его величии — передразнить его, иногда тут же, у него на глазах. «Сколько вы платите за шампанское?» — спросил как-то один из гостей. «Генри, сколько я плачу за шампанское?» — тоном самодержца спросил Форстер. «Полгинеи за бутылку», — степенно отвечал лакей. Диккенс пришел в полный восторг и впоследствии неоднократно изображал эту сцену. В другой раз вареную говядину подали к обеду без моркови. Форстер позвонил, явилась прислуга. «Мэри! Морковь!» Мэри заявила, что моркови нет. Отпуская ее, Форстер произнес: «Так пусть будет морковь, Мэри». Сам всевышний, готовясь вымолвить: «Да будет свет!», мог бы позавидовать его царственному тону. Этот эпизод также занял почетное место в диккенсовском репертуаре.

Со временем, однако, эгоизм Форстера, его непоколебимая самоуверенность, нетерпимость по отношению к тем, кто не следовал его советам, — все это подорвало их дружбу. Диккенс охладел к Форстеру, не

утратив в то же время чувства признательности за все, что тот для него сделал. Он продолжал высоко ценить добрые качества Великого Могола, но ему становилось все труднее мириться с его манерами и не высмеивать его чудачеств. В период между 1855 и 1865 годами Диккенс заносил в записную книжку мысли, которые могли пригодиться ему для будущих произведений. Две записи относятся к Форстеру — из них впоследствии возник Подснап, герой «Нашего общего друга». Вот они:

«Я горой стою за друзей и знакомых — не ради них самих, а потому, что это *мои* друзья и знакомые. *Я* их знаю, у *меня* на них все права, я взял на них патент. Защищая их, я защищаю себя».

«И полагает, что раз он не признает чего-то, значит этого уже вообще не существует в природе».

Форстер не узнал себя в Подснапе — ему, разумеется, и в голову не приходило, что это именно он важничает, как индюк. И едва ли он мог заподозрить, что Диккенс способен изобразить его — его! — под видом приземистого человечка с несносным характером.



## Труды и развлечения

ШЕЛ 1838 год. Никогда в жизни Диккенс не работал так много. Он писал «Оливера Твиста» и «Николаса Никльби», отделял мемуары Гримальди, готовил новые «Очерки» для Чэпмена и Холла, а иногда и для «Экзаминера», редактировал «Альманах Бентли» и писал для него статьи. Весь октябрь он был так занят, что не вскрывал накопившихся за три недели писем. А денег не хватало. Ему пришлось даже извиниться перед домашним врачом за то, что до конца года не сможет заплатить ему. «Дно под ногами, берег близко, я уже готов смело атаковать «Оливера», когда волна очередной работы вновь захлестывает меня и тащит назад в море рукописей». Бывало, что у него пропадал даром целый день: он доводил себя до полного изнеможения. Особенно мучился он с «Оливером Твистом». Наконец, когда стало совсем неважно, он сел на пароход, отправился в Булонь и там работал в гостинице не покладая рук. Подготовив материал для очередных выпусков «Оливера» и «Николаса», он вернулся как раз к тому времени, когда надо было сдавать рукописи в набор. «Вы не можете вообразить, какое бремя забот и неприятностей готовьтесь взвалить на себя, избирая профессию писателя», — предупреждал он одну женщину, обратившуюся к нему за советом. Впрочем, для себя он избрал именно это занятие — и не роптал: «Тот, кто предан Искусству, должен отдавать ему себя без остатка и в этом видеть свое вознаграждение».

В свою работу, как может угадать любой читатель, он вкладывал гораздо больше непосредственного чувства, чем размышлений. Ему нужно было вжиться в книгу, как актер вживается в роль, войти в нее с головой. «Все у меня как-то не клеится — особенно если я пишу что-нибудь серьезное, — пока не разойдусь, — говорил он. — Иными словами, пока тема не увлечет меня настолько, что я уж не могу оторваться». Вот почему он иногда не представлял себе заранее, как закончится какой-то эпизод, как будет развиваться тот или иной характер, и, встав из-за стола после долгой работы, сам удивлялся тому, какой оборот приняли события, — удивлялся так же, как самый неискушенный из его читателей. Работая над «Оливером Твистом», он вдруг заметил, что из этой вещи могла бы получиться отличная пьеса, и предложил одному театру поставить ее. «Я убежден, что никто не поймет, как я собираюсь поступить с кем-либо из моих героев, поскольку я и сам еще не совсем это знаю».

«Феджин, — объявил он, — это такая прожженная бестия, что я просто не представляю себе, как с ним разделаться». Прирожденный актер, он жаждал аудитории и взял за правило читать каждую вещь друзьям, прежде чем ее напечатать. На его жену, например, должным образом подействовала знаменитая сцена убийства из «Оливера Твиста». «С ней творилось нечто *неописуемое*. Хорошее предзнаменование, да и мое чутье подсказывает мне то же».

«Оливер Твист» завоевал нового читателя. Роман разительно отличался от своего предшественника, и почти невозможно было представить себе, что обе книги принадлежат одному автору. Наиболее удачные его сцены свидетельствуют о том, что Диккенсу хорошо известна обратная сторона жизни, и этим он был немало обязан пресловутой фабрике ваксы. Тягостный период рабства давно и благополучно миновал, и вот со вкусом, со знанием дела Диккенс под видом воровского притона воскресил ветхий склад во всех его подробностях, отталкивающих и унижительных для человеческого достоинства. Теперь он должен был признать, что для него, как художника, ничто не пропало даром. Лишь этим и можно объяснить то загадочное обстоятельство, что самого отъявленного из злодеев он наградил именем единственного человека, который был добр к нему в те жуткие полгода. Он не видел ничего дурного в том, что распорядился подобным образом фамилией Боба Феджина, иначе не стал бы упоминать ее в отрывке автобиографии, оставшемся среди его бумаг. Для него фигуры, созданные его воображением, были более реальны, чем живые люди, и, может быть, ему даже казалось (если он вообще когда-либо задумывался об этом), что он еще оказывает старому другу любезность. «Это имя (Феджин) много лет спустя я позволил себе использовать в «Оливере Твисте», — вот единственное, что он счел нужным сказать на эту тему. Он был настолько поглощен своими произведениями, настолько жил ими, что искренне удивлялся, если его прототипы возражали, когда он приписывал их черты своим отвратительным, с их точки зрения, героям. Если бы Бобу Феджину вздумалось протестовать, Диккенс, наверное, огорчился бы. Он не видел тут ничего дурного; он-то отлично знал, как мало общего между старым мошенником Феджином и Бобом. В его памяти легко возникали ужасы, связанные с фабрикой, отчуждение и одиночество, которые он чувствовал среди тех, кто его окружал, и в результате произошло нечто вроде творческой метаморфозы: единственный человек, относившийся к нему сочувственно, стал в книге самым страшным злодеем, а ведь он был героем на фабрике ваксы. Что касается Ловкого Плута и Чарли Бэйтса — это, по-видимому, портреты других мальчиков,

когда-то преследовавших его. Живого Чарльза Диккенса от них защищал молодой Феджин, а выдуманного Оливера — старый.

Еврей унаследовал от своего литературного родителя его причудливый юмор; он, несомненно, самый жизненный из всех персонажей романа. Билл Сайкс — гротеск, карикатура, а Нэнси — одно из тех «падших созданий», которые постоянно встречаются в романах Диккенса и его современников, являясь воплощением вины, которую испытывал по отношению к ним пресыщенный, уверенный в своем благополучии класс. Ведь точно так же, как бедности стесняются все, кроме бедняков, проституция вызывает чувство стыда в ком угодно, кроме проституток. Подобно своим сестрам по литературе викторианской эпохи, Нэнси — олицетворение совести, но не жизненной правды. С познавательной точки зрения она не представляет собою интереса. Бамбл — первая попытка Диккенса осмеять чиновничество. С годами этот смех становился все громче и язвительнее, и он должен послужить предостережением всем, кто объявляет Диккенса предтечей социализма или поборником какого бы то ни было другого «изма» (не считая индивидуализма, но ведь это не мировоззрение, а настроение). В романе есть еще один герой, работа над которым проливает свет на те методы, которыми пользовался Диккенс. Для сцены в полицейском участке ему понадобился черствый, бессердечный судья. Прослышав, что в Хэттон-гардене как раз есть такая чрезвычайно неприятная личность, он ухитрился проникнуть в суд и быстро, но тщательно разобраться в этом человеке. К местным властям уже не раз поступали жалобы на то, что судья Фэнг дает волю своему дурному нраву в зале заседаний. Одна из жалоб была подана священником (впоследствии осужденным за то, что во время благотворительного обеда, на котором он был председателем, он стянул серебряную ложку). Власти воспользовались поводом, который предоставил им Диккенс, написав портрет судьи, и убрали его. Да, видно, Диккенс действительно застал мистера Фэнга в брюзгливом настроении. Как знать, быть может, тот был пьян, а может стать, и трезв, что было еще хуже. Диккенс оставляет этот вопрос открытым.

«Мистер Фэнг был тощим мужчиной среднего роста, с длинным туловищем и негнущейся шеей. Волос у него было маловато, да и те росли больше вокруг темени. Вид он имел угрюмый, а его лицо пылало неестественным румянцем. Не будь у него этой несносной привычки к обильным возлияниям, он мог бы привлечь собственную физиономию к судебной ответственности за клевету и получил бы хорошую компенсацию за нанесенный ему ущерб».

В наше время отрывок, подобный этому, не заставил бы жертву покинуть суд, а вот писателю пришлось бы туда явиться; что поделаешь, общественный уклад в наши дни — вещь тонкая, с ним приходится обращаться осторожно.

В «Оливере Твисте» Диккенс впервые проявил свою необычайную способность схватывать и передавать атмосферу Лондона. Знатоками Лондона были и другие: доктор Джонсон, например, или Чарльз Лэм. Но Диккенс — это был сам Лондон. Он слился с городом воедино, стал частицей каждого кирпичика, каждой капли скрепляющего раствора. О диккенсовском Лондоне думаешь и говоришь так, будто Диккенс сам его построил и называется он не Лондон, а Диккенс-таун. Какому еще писателю обязан так какой-нибудь другой город? Это, после его юмора, самый ценный и самобытный его вклад в литературу. Он был величайшим поэтом улиц, набережных и площадей, однако в те времена эта уникальная особенность его творчества ускользнула от внимания критиков. Лет двадцать понадобилось им, чтобы ее обнаружить. Утонченный читатель всполошился: откуда ни возьмись вдруг появился глашатай социальных реформ! Певец «низкой» жизни! Такой Диккенс их не устраивал. Ингольсби-Бархэм<sup>[73]</sup> писал одному своему другу: «В «Оливере Твисте» чувствуется эдакий радикальный душок, который не слишком мне нравится. Думаю, что этот недостаток будет вскоре устранен — на лояльность Бентли, во всяком случае, можно положиться». Что же, мы уже видели, кто был «устранен», и тоже очень радикально, — сам Бентли. Но что было совсем поразительно — это нападки Теккерея, по мнению которого человек с талантом «не имеет права изображать этих типов интересными, привлекательными. Не следует потакать нездоровым прихотям читателя, давать волю собственному болезненному воображению и потчевать общество такой чудовищной стряпней». Это была первая враждебная нота, прозвучавшая в отношениях двух самых прославленных писателей-викторианцев. (Теккерей, впрочем, был в то время сравнительно мало известен.) Без сомнения, ни тот, ни другой не забыли о ней в грядущие годы.

Неприкрытый радикализм, пристрастие к «низкой» жизни не помешали Диккенсу стать желанным гостем в аристократических домах и фешенебельных салонах. Жили в те дни четыре одаренных молодых человека, чья манера одеваться была так же экстравагантна, как своеобразны были они сами, чьим кумиром в портняжьем искусстве был граф д'Орсэ, этот последний из денди. Наиболее эксцентричен в выборе туалетов был Бенджамин Дизраэли, но не отставали и другие: Эдвард

Бульвер, Гаррисон Эйнсворт и Чарльз Диккенс. Горхаус, расположенный в том месте Кенсингтона<sup>[74]</sup>, где сейчас находится Альберт-Холл, служил резиденцией леди Блессингтон, а так как он в то же время был штаб-квартирой д'Орсэ, то «сливки» общества остерегались его посещать, и не многие женщины решались появляться в этом доме, опасаясь запятнать свою репутацию. Что же касается Диккенса, то он стараниями леди Блессингтон чувствовал себя в этом блистательном кругу как рыба в воде и очень привязался и к графу д'Орсэ и к хозяйке дома. Поехав в Италию, он писал ей длинные письма с подробными описаниями всех своих приключений. «Факты против меня, — так начиналось одно письмо. — Не верьте им. Мысленно я написал Вам добрых пятьдесят посланий и не могу хотя бы одно из них поставить себе в заслугу (а между тем это были отменнейшие письма, Вам еще не случалось читать таких); все до единого были вызваны желанием остаться в Вашей памяти и сохранить Ваше расположение». А вот из другого отчета: «Заранее и с восторгом предвкушаю удовольствие снова увидиться с Вами. Собираюсь нагрянуть в Горхаус с таким треском, что сам пудель придет в изумление — если, привыкнув к собственным размерам и собственному чутью, он вообще сохранил еще способность удивляться чему бы то ни было на этой грешной земле». Возвратившись в Англию, он провел в Горхаусе счастливый день и сообщил хозяйке дома, что «стоило бы уехать в Китай, и даже в Америку, ради того, чтобы снова вернуться домой, где ждет такая радость — встреча с Вами и графом д'Орсэ».

В Горхаусе он встретился с Уолтером Сэвиджем Лендором, похожим на «сорок львов, слившихся в одном поэте». Вскоре после того, как они познакомились, Диккенс поехал к Лендору в Баг, где обнаружил, что его новый друг — человек «отчаянно ученый», в разговоре чаще всего произносит местоимение первого лица единственного числа и упорно не желает расставаться с собственными заблуждениями, но что при всем том с ним никогда не соскучишься, и вообще это «превосходнейший малый и рыцарь, каких не сыщешь». Им предстояло пережить и бурные моменты: однажды, выведенный из себя тем, что Диккенс долго ему не пишет, Лендор заявил, что он может катиться к дьяволу, и получил тактичный ответ, начинавшийся словами: «Не хотелось бы! У меня нет ни малейшей уверенности в том, что Ваше рекомендательное письмо к дьяволу действительно имеет вес в его глазах». Тем не менее оба сохранили чувство взаимного уважения, что видно из письма Диккенса, где он благодарит Лендора за книгу, которую тот посвятил ему в сентябре 1853 года: «Принимаю это посвящение как большую честь... Ни за что не променял

бы его даже на посвящение самой королевы — посмеялся бы, и только».



Рада была видеть его у себя и хозяйка другого дома — леди Холланд, и Диккенс стал бывать в Холланд-хаусе. По сравнению с Гор-хаусом салон леди Холланд находился ступенькой выше, и вот почему. Леди Блессингтон состояла в сомнительных отношениях с графом д'Орсэ — леди Холланд смотрела на нее свысока. Но у леди Холланд были свои неприятности. Дело в том, что и ее отношения с собственным супругом были в свое время свободны от уз закона. Леди Холланд могла позволить себе осуждать леди Блессингтон и не раскланиваться с ней, но — увы! — те знатные дамы, которые никогда не выходили в своих отношениях с особами мужского пола за рамки закона, относились к леди Холланд так же неодобрительно, как к леди Блессингтон, и не желали признавать ни ту, ни другую. Диккенса все эти тонкости большого света немало забавляли, но ничуть не мешали появляться и здесь и там без супруги. Сюда приходили все, с кем стоило познакомиться: самой большой достопримечательностью Гор-хауса был



Дизраэли, «звездой» Холланд-хауса — Сидней Смит<sup>[75]</sup>, «Пожалуйста, — писал как-то Диккенс издателю Уильяму Лонгману, — передайте мистеру Сиднею Смиту, что из всех, кого я знаю только по слухам, мне больше всего хотелось бы познакомиться с ним». Любопытство его было удовлетворено; они понравились друг другу. Среди всех представителей диккенсовской эпохи Сидней Смит был натурой наиболее одаренной, а с его юмором никто не может соперничать и поныне. Смит непременно попал бы на страницы какого-нибудь романа Диккенса, если бы любой портрет не показался жалкой мазней по сравнению с оригиналом. «Что это был за благородный ум!» — вот все, что мы узнаем о Сиднее Смите от Диккенса, перу которого принадлежат столь блистательные портреты других знаменитых его современников. Там же, в Холланд-хаусе, Диккенс встретился и с другим «умом» — менее благородным — банкиром и поэтом Сэмюэлом Роджерсом<sup>[76]</sup>, на завтраках которого в Сент-Джеймс-Плейс собирался весь цвет тогдашнего мира искусства. Даже Диккенса уговорили пойти на завтрак, устроенный Роджерсом, — «даже», потому что, если он утром отрывался от своего письменного стола, у него пропадали и день и вечер. Это повторилось только еще один раз, когда незадолго до смерти — в мае 1870 года — он был на завтраке у Гладстона. Впрочем, когда Роджерсу приходило в голову угощать своих друзей в более подходящее время дня, Диккенс с удовольствием принимал его приглашения и был так горячо расположен к хозяину, что даже посвятил ему одну из своих книг. Судя по письму, написанному Диккенсом в 1852 году, это было отнюдь не безудержное восхищение. Роджерс, писал он, — «такой же, как всегда: живой и желчный — всего понемногу. Двадцать раз на день рассказывает одно и то же тем же людям и в тех же словах, устраивает интимные обеды на четыре персоны и приходит в бешенство, если кто-то за обедом обратился не к нему, а к кому-нибудь другому». Еще одним из выдающихся умов той поры, которого Диккенс любил и уважал, был Дуглас Джеролд<sup>[77]</sup>. Правда, это был человек несколько иного круга. Многие считали его угрюмым циником. Диккенс был иного мнения. «Это один из самых добрых, самых нежных людей на свете, — пишет он, — хотя последовательность и уравновешенность не даны ему природой».

«Николас Никльби» — вот кто принес Диккенсу известность среди высших классов общества. И в Горхаусе и в Холланд-хаусе его читал каждый, все спорили о нем. предсказывали, какая судьба постигнет героев романа, будто история эта случилась на самом деле и они живые люди. Впрочем, некоторые из портретов были действительно списаны с натуры, а

в одном, владельце школы Сквирсе, так много было взято из жизни, что оригинал поплатился за это сходство преждевременной смертью. О йоркширских школах Диккенсу впервые довелось услышать, когда он был «не слишком крепкого здоровья ребенком, который любил, забившись в укромное местечко, где-нибудь поближе к Рочестерскому замку<sup>[78]</sup>, думать о тех, кто занимал все его мысли: о Партридже<sup>[79]</sup> Стрэпе, Томе Пайпсе и Санчо Панса». Ранние впечатления о йоркширских школах были «связаны с гнойным нарывом, из-за которого один из мальчиков умер, так как его йоркширский ментор, философ и наперсник вскрыл нарыв перочинным ножом, выпачканным в чернилах». Подрастая, Диккенс то там, то тут узнавал еще что-нибудь новое о йоркширских учебных заведениях, пока, «наконец, не заручился аудиторией и не решил о них написать».

Итак, сев в карету, он в сопровождении Хэблота К. Брауна отправился в Йоркшир. Один знакомый дал ему рекомендательное письмо от своего стряпчего к адвокату из Барнард Касл, некоему Ричарду Барнесу. В письме говорилось, что Диккенс — друг одной вдовы, которая хочет послать своих мальчиков в здешнюю школу. Барнес назвал приезжим владельцев нескольких школ, к которым стоит обратиться, но как-то вечером зашел в гостиницу, где остановились путники, и признался, что целый день ни о чем другом думать не мог, потому что школа «не подходящее место для мальчиков-сирот». «Пусть лучше, — сказал он, — вдова поступит с ними как угодно — пошлет их прислуживать на конюшне, определит мальчиками на побегушках, пусть бросит их на произвол судьбы, сделает, как ей заблагорассудится, — все лучше, чем отдавать в такую школу». Вместе с Брауном Диккенс обошел целый ряд вышеупомянутых учебных заведений и остановился в конце концов на Бауз Академи, где имел беседу с директором Уильямом Шоу. Подозрительно оглядев незнакомцев, директор отказался показать им свою школу. Для подобной осмотрительности у него были веские основания: он уж не раз привлекался к суду за дурное обращение с учениками и был вынужден платить большие штрафы за свое бесчеловечное поведение. Многие мальчики по его недосмотру лишились зрения, кормили их мясом павшего скота, одевали в жалкое тряпье, оставляли без присмотра во время болезни, морили голодом, избивали. А Шоу платил очередной штраф и как ни в чем не бывало продолжал заниматься своим прибыльным ремеслом. Ни одного ученика не лишился он после того, как перед всеми были разоблачены его бессердечие и жестокость. Увидев, что Диккенс интересуется школой, он насторожился и, очень недружелюбно поговорив с посетителями минут пять (и снабдив



одного из них во время этого разговора материалом для будущего портрета Сквирса), захлопнул у них перед носом дверь. Диккенс порасспрашивал кое-кого по соседству и еще больше убедился в том, что о позорном обращении, которому подвергаются ученики йоркширских школ, должны узнать все. Он взялся за работу с особым, злым увлечением, заметив, правда, что «Мистер Сквирс и его школа — только бледные и тусклые отражения действительности, намеренно затушеванные и неяркие, иначе их сочли бы неправдоподобными».

И хотя он оговорился, что «Мистер Сквирс — представитель целого класса, а не отдельно взятое лицо» и постарался замаскировать место действия, вскоре ни для кого уже не было секретом, что это Шоу и его заведение. Шоу был разорен и не смог пережить этого, а «академия» закрылась. Доброе дело не пропало даром: вскоре эта часть Йоркшира перестала быть образовательным центром. Диккенс дискредитировал самую систему, при которой детей вверяют неограниченному произволу садистов наставников.

Отвлекаясь от естественного чувства, что Шоу и ему подобных следовало бы душить в колыбели, нельзя не пожалеть ни в чем не повинных учителей и служителей более почтенных заведений: их ведь тоже выбросили на улицу. Пострадали лавочники и хозяева гостиниц: картины несчастной жизни подростков в «Николасе Никльби» вызвали живой отклик. Не удивительно, что в окрестностях Бернард Касл в имя «Диккенс» еще не один год вкладывали его буквальный смысл — «черт». Некоторые ученики Шоу выступили с протестом по поводу того, как описана в романе жизнь Бауз Акэдеми, но ведь Диккенс основывался и на показаниях, представленных суду во время процессов над Шоу, и на тех сведениях, которые сам раздобыл на месте. Существуют и среди воров свои понятия о чести — точно так же, видимо, есть своеобразная круговая порука и у негодяев: ученики, которым методы Шоу пришлись по душе, были, конечно, его любимчиками.

Единственным человеком, который действительно имел веские основания жаловаться, была мать писателя, но она, к счастью, не узнала себя в образе миссис Никльби. Миссис Диккенс сумела бы, пожалуй, уловить сходство, если бы ее портрет не был так правдив, особенно в некоторых частностях. Миссис Никльби — точная копия матушки Чарльза, но в то же время и карикатура, в которой все смешное преувеличено, а все достойное уважение затушевано, так что, как писал ее сын: «Миссис Никльби собственной персоной, сидя передо мною на вполне реальном стуле, осведомилась однажды, верю ли я действительно в то, что свет

когда-либо видывал подобную особу». По мнению Дж. У. Т. Ли, фанатичного поклонника Диккенса, «нельзя представить себе ничего более бестактного, чем этот пасквиль на родную мать». Менее рьяному почитателю Диккенса дело представляется иначе. Портрет, вообще говоря, написан беззлобно, и почему бы в самом деле автору (который ничего настоящего оригинального создать не может, поскольку в этом его уже опередил господь бог), почему бы ему не воспользоваться в интересах своего искусства теми чертами характера, которыми всевышний наделил пусть даже и его собственную мать? «Писатели создают своих персонажей по кусочкам, обрывкам, случайным черточкам разных характеров», — сказал Теккерей. Миссис Никльби — кусочек миссис Диккенс; портрет ее нарочито шаржирован в соответствии с тем, какие очертания он принимал в воображении сына. «Каждый «живой» образ какого бы то ни было романа взят — открыто или тайком — из жизни, украден из чьей-то биографии, целиком или частями. Либо это цельный портрет, либо нечто вроде лоскутного одеяла», — говорил Г. Дж. Уэллс. Миссис Никльби, как и любая другая удавшаяся фигура диккенсовских романов, — частица известного автору живого человека, обшитая «лоскутками». Даже тот, кто имел самое непосредственное отношение к этому портрету, не мог распознать в нем сходства с собою. Это прямо счастье, что люди никогда не видят собственных нелепых черточек, иначе всем первоклассным романистам и драматургам пришлось бы искать себе другую профессию.

Жизненность созданных Диккенсом характеров в большей степени, чем у любого другого великого писателя, зависела от верности его наблюдений — впрочем, это естественно, если вспомнить, что речь идет о творчестве прирожденного актера. Когда ему приходилось полагаться только на собственную фантазию, получались немыслимые фигуры, похожие скорее всего на героев волшебной сказки. Взять хотя бы братьев Чиррибль из романа, о котором идет речь. Гаррисон Эйнсворт частенько рассказывал Диккенсу о паре превосходных дельцов по фамилии Грант — набойщиков с манчестерской улицы Кэннон-стрит. Когда Диккенс поехал в Манчестер, Эйнсворт дал ему рекомендательное письмо к этим своим знакомым. Возможно, что за вкусным обедом многие коммерсанты действительно похожи на братьев Чиррибль, и, без сомнения, к тому времени, когда подоспел десерт и бокалы наполнились портвейном, братья в глазах Диккенса были уже окружены эдаким лучистым ореолом. Другое дело, если бы ему пришлось столкнуться с ними в деловой обстановке, тогда они едва лигодились бы ему как прототипы братьев Чиррибль. А вот мистер Мантанини, этот взят из жизни — самые смешные сцены в

книге посвящены ему и его супруге.

«— Жизнь моя, — промолвил мистер Манталини. — Как же чертовски долго тебя не было!

— А я и не знала, любовь моя, что здесь мистер Никльби, — отозвалась миссис Манталини.

— Ах, так, значит, он трижды негодяй, этот лакей, проклятый чертов негодяй, душа моя, — возразил мистер Манталини.

— Милый, — произнесла мадам, — а ведь это все ты виноват.

— Я, радость моего сердца?

— Разумеется, — подтвердила леди, — чего же еще ждать, мой драгоценный, если ты не делаешь ему замечаний?

— Замечаний, восторг моей души?

— Да. Я уверена, что с ним необходимо побеседовать как следует, — капризно сказала мадам.

— Так пусть же она не волнуется понапрасну, — объявил мистер Манталини, — его будут сечь кнутом, пока он не возопит, как тысяча чертей. — С этим обещанием мистер Манталини поцеловал мадам Манталини, после чего мадам Манталини игриво потянула мистера Манталини за ушко, и, наконец, когда со всем этим было покончено, они перешли к делу.

— Мне стыдно за вас, — с неподдельным возмущением изрекла мадам Манталини.

— Стыдно? За *меня*, радость моя? Она знает, что лепечет чертовски прелестно, но все выдумывает, моя бяка, — парировал мистер Манталини. — Она знает, что ей нечего стыдиться за своего пупсика».

Однако в конце концов сия дама, которую он именует «неразбавленным ананасным соком», которая обвиняет его «своим очарованием, как чистая и ангелоподобная гремучая змея», и ради которой он готов утопиться и стать «чертовым мертвым телом, влажным и сырым», — дама эта его покидает. Мы видим его в последний раз где-то в подвале Сохо: осыпaeмый градом упреков со стороны дамы — на сей раз уже другой, — он вертит ручку стирального катка.

«— Ах ты, изменник, предатель! — голосила леди, угрожая перейти от словесных оскорблений к оскорблениям действием.

— Изменник? Черт возьми! Ну-ну, душенька, ну же, моя нежная, обворожительная, обаятельная и чертовски обольстительная курочка, угомонись!

— Ни за что! — завизжала женщина. — Я тебе все глаза выцарапаю.

— Ах, что за жестокий ягненок! — воскликнул мистер Манталини.

— Тебе и верить-то нельзя! — бушевала женщина. — Вчера целый день где-то шатался. Знаю, где ты увивался, знаю! Что, правда небось? Мало того, что я за него заплатила два фунта четырнадцать шиллингов, мало того, что вызволила из тюрьмы и взяла сюда — пусть, мол, живет себе джентльменом! А он вот что вытворять? Мне же еще вздумал разбить сердце?

— Никогда я не разобью ей сердца. Я стану паинькой, никогда не послушаюсь, я больше не буду, пусть она меня простит, — увещевал ее мистер Манталини, выпустив ручку катка и умоляюще сложив руки. — Ее симпатичный дружок совсем убит. Он летит к чертям собачьим. Она сжалится, да? Она не станет кусаться и царапаться? Она его приголубит, утешит? Ах ты, черт возьми!»

Но вот вышел в свет первый выпуск «Николаса Никльби», и в тот же день было продано пятьдесят тысяч экземпляров. Такой цифры не знали и самые удачные выпуски «Пиквика». Успех объяснялся тем, что, не утратив свежести, отличающей первый диккенсовский роман, «Никльби» дает более правдивую картину реальной действительности. Никогда больше не писал Диккенс с таким неистощимым весельем. Как обычно, сюжет и героев кто-то поспешно присвоил, переделал и с успехом поставил в театре, причем «пострадавший» — автор — оказался настолько великодушен, что похвалил и постановку и актеров (а вот когда он ходил смотреть инсценировку «Оливера Твиста», то во время первой же сцены улегся на пол в ложе да так и не вставал до самого конца). Почти все, что он писал, крали театральные пираты; крали нередко до того еще, как вышли все выпуски, иногда ставили одновременно в нескольких театрах. Что оставалось делать? Либо смеяться, либо ругаться — и терпеть. Ему по-прежнему хотелось писать пьесы, и он обратился к Макриди с просьбой поставить его собственный вариант переделанного для сцены «Оливера Твиста». Но Феджин оказался Макриди не по плечу, и прошло два поколения, прежде чем на сцене в исполнении Бирбома Три<sup>[80]</sup> ожил тот самый еврей, которого создал Диккенс. Потом Диккенс как-то прочел Макриди свой водевиль. «Он читает не хуже опытного актера. Удивительный человек!» — заметил Макриди у себя в дневнике. Форстер, присутствовавший при чтении, отзывался на каждую шутку громоподобным хохотом, надеясь, что на постановщика произведут должное впечатление комедийные возможности водевиля. Однако ни сама вещь, ни громкое одобрение Форстера не пробудили в Макриди должного энтузиазма, и он отклонил водевиль. По этому случаю Диккенс послал ему дружелюбную записку: «Поверьте, ничто в этой истории не вызывает во

мне разочарования, кроме мысли о том, что я не смог оказаться Вам в чем-то полезен». Макриди был тронут и поведал страницам своего дневника, что поступки Диккенса «делают ему честь. Истинное наслаждение встретиться с человеком возвышенным и добросердечным. Для меня Диккенс и Бульвер — это неоспоримо благородные образцы человеческого благородства».

В 1839 году у Макриди и его семейства наладились с Диккенсами такие близкие отношения, что актер то и дело заходил к другу скоротать вечерок в «очень непринужденной и теплой обстановке». Однажды за ужином, устроенным по поводу крестин одного младенца и дня рождения другого, были произнесены спичи, которые пришлись не по вкусу Макриди. Зато другой спич привел его в отличное расположение духа, и не удивительно: это был тост за здоровье героя дня, предложенный Диккенсом во время обеда, устроенного Шекспировским клубом в честь Макриди. Тут Диккенс говорил «весьма искренне, красноречиво и трогательно», заключив свою речь «мадригалом в мой адрес, который привел меня в совершенное умиление». Шекспировский клуб просуществовал недолго, и даже Диккенс при всей своей находчивости не сумел его спасти. Дело было так. Однажды, когда члены клуба собрались под председательством Боза, слово для тоста взял Форстер и был так самоуверен, так назойливо громогласен, что раздраженные гости — из тех, кто помоложе, — стали шумно выражать свое неодобрение. Форстер вышел из себя и затеял перебранку. Диккенс несколько раз пытался восстановить порядок, но в конце концов был вынужден покинуть председательское кресло. Клуб распался. Впрочем, Макриди и Диккенса не слишком огорчало это обстоятельство: весной 1838 года они были избраны членами литературного клуба «Атэнеум». У друзей было много общего: они сходились во вкусах, в политических и религиозных убеждениях — только театром писатель, несомненно, был одержим гораздо больше, чем актер. Роднили их и общие увлечения: оба были страстными ходоками, с интересом обследовали тюрьмы, обожали танцевать и однажды были застигнуты на месте преступления, играя в чехарду с Джеролдом, Маклизом и Форстером.

Много летних месяцев в период между 1836 и 1840 годами провел Диккенс либо в Элм Лодже (Питершэм), либо в Эйлза Парк Виллас (Твикенгем), — провел в трудах и забавах, самозабвенно отдаваясь всему, за что бы ни взялся. Вместе с ним здесь и там проводили дни, а то и недели старые друзья: Томас Бирд и Томас Миттон — и новые приятели: Эдвин Лэндсир, Дэниэл Маклиз, Гаррисон Эйнсворт, Кларксон Стэнфилд, Дуглас

Джеролд, Т. Н. Тальфур, Макриди, Теккерей и многие другие; а также его собственная семья и родственники жены. И все были обязаны вместе с ним принимать участие в играх, экскурсиях и местных спортивных состязаниях. Чего он только не затевал! И бег, и прыжки, и метание колец! Играли в крикет и в волан<sup>[81]</sup>, играли на бильярде, запускали воздушные шары, устраивали танцы — всего не перечесать! И все это с шумом, с азартом, и самым шумным, самым азартным участником всех игр и развлечений был Диккенс, отдававший им без остатка. Опыненный быстрым успехом, он наслаждался забавами, как дитя, и его возбуждение передавалось другим, заражало их. Бывали, правда, минуты, когда у него портилось настроение — скажем, из-за какой-нибудь особенной злобной рецензии. Как все большие писатели, он был жертвой того, что Маколей<sup>[82]</sup> называет «свирепой завистью честолубивых тупиц» от литературы. Но он относился к нападкам достаточно мудро: вспылит на несколько секунд, проведет час в горьких размышлениях — и выбросит всю эту чепуху из головы. Много лет, как и теперь, газета «Таймс» с лютой злобой обрушивалась на его романы, чем по мере сил отравляла ему жизнь в молодые и в зрелые годы, но он всегда утешал себя мыслью о том, что это не беда, если всякая мерзость так и лезет в глаза, заслоняя остальное: «Ведь столько хорошего в каждом мгновенье нашей жизни, что мы порою едва отдаем себе в этом отчет».

Осенью 1838 года он на две недели устроил себе каникулы — уехал из Лондона вместе с Хэблотом К. Брауном. Первым долгом остановились в Лимингтоне, затем навестили Кенилворт, «и оба пленились им, — писал Диккенс жене. — Право же, летом надобно непременно здесь пожить, если, бог даст, все мы будем здоровы и благополучны. Ты вообразить себе не можешь, что это за прелесть. Устроить в хорошую погоду чтение среди развалин — роскошь, да и только». Оттуда направились в Варвик Касл, дальше в Стрэтфорд-на-Эйвоне, «посидели в той самой комнате, где родился Шекспир, оставили наши автографы, читали автографы, оставленные другими, и так далее». Он берег себя: и ел очень мало и мало пил, а все-таки не избежал болей в боку. К тому времени, как прибыли в Стрэтфорд, боль стала нестерпимой, и он был вынужден проглотить изрядную дозу белены. «Результат получился восхитительный. Спал безмятежно, крепко и покойно. Сегодня утром чувствую себя значительно лучше. И голова ясная — на нее белена никак не повлияла. Я, по правде сказать, боялся: очень уж сильное действие она произвела на меня — подхлестнула мои силы чрезвычайно и в то же время усыпила». По дороге

в Шрузбери проехали через Бирмингем, через Вульвергемтон, «выехали в восемь утра, пробираясь сквозь сырой, холодный туман. Потом, когда прояснилось, милью за милей ехали по шлаковым дорогам среди пылающих печей и рева паровых машин и такой массы грязи, такой бездны мрака и нищеты, каких мне еще не доводилось видеть». Поездка не пропала даром: места, которые они проезжали, пригодились ему для создания точного местного колорита в новом романе. Письмо из шрузберийской гостиницы «Лев» он заключит словами: «Благослови тебя господь, родная моя. Мечтаю снова быть с тобой и увидеть моих милых детишек». Из Шрузбери отправились в Ллангаллен, а 5 ноября он уже писал домой из ливерпульской гостиницы «Адельфи»: «Дорогая любовь моя... Радуюсь при мысли о том, что увижу тебя так скоро...»



Первые семь лет супружеской жизни самым любимым местом в Англии для него оставалась деревушка Бродстерс. Так много бродстерских домов связано с ним или его героями, что нынешние ее жители, должно быть, дивятся порой, как это дедам и прадедам еще удавалось отыскать там и себе хоть какое-то жилье. Живя там с семьею, Диккенс усердно трудился, усердно вышагивал положенные мили, регулярно купался, с

воодушевлением принимал гостей и, когда мог улучшить свободную минуту, любовался морем. «Трое суток на море ревела буря, — писал он Форстеру в сентябре 1839 года. — а вчера вечером была такая волна! Жаль, что Вы не видели! Я кое-как добрался до пирса, заполз под большую лодку на берегу и почти час глядел, как разбиваются волны. Вернулся, разумеется, вымокнув до нитки».

Родитель его и братья тем временем отбились от рук. Фредерика, унаследовавшего папенькину страсть к возлияниям, Чарльзу удалось пристроить клерком в казначейство. Но вот другие — это была проблема. Отец — тоже. Джон Диккенс — не более и не менее — распродал собирателям автографов и сувениров листки бумаги, на которых было что-нибудь написано рукою Чарльза, брал займы деньги у издателей, воображавших, будто, выручая отца, они делают одолжение сыну. Нужно было срочно принимать меры. Оставался лишь один способ избавиться от беспокойных родственников: отправить их из Лондона, и чем дальше, тем лучше. И вот с обычной для него энергией и решительностью Диккенс в марте 1839 года поехал в Эксетер, остановился в Новой Лондонской гостинице, обследовал окрестности и нашел симпатичный коттедж в Альфертоне («домик — прямо загляденье», ровно в миле от Эксете́ра по Плимутской дороге, в «такой красивой, живописной, восхитительной сельской местности, какой я еще не видывал»). Решив, что в подобном местечке родители, конечно же, будут жить припеваючи (сам с наслаждением поселился бы там, будь он постарше), он без промедлений договорился о том, что снимает коттедж за двадцать фунтов в год, снова помчался в Эксетер, купил ковров, посуды, мебели, раздобыл садовый инструмент, запасся углем — словом, постарался создать все удобства. Затем привез в Альфертон мать, чтобы она посмотрела, все ли в порядке; попросил одного приятеля лично удостовериться в том, что отец, братья и комнатная собачка погрузились в карету и выехали из Лондона, и тогда только сам прилетел домой, чтобы успеть подготовить очередной выпуск «Николаса Никльби».

Родители почему-то не разделили его восторгов, и очень скоро Чарльз стал получать письма в духе Микобера от отца и послания в стиле миссис Никльби от маменьки. И те и другие вызывали в нем отвращение. Впрочем, со временем родственники попривыкли, обжились и не докучали ему своими приездами в Лондон. Правда, Джон Диккенс все-таки умудрялся странствовать по Англии в поисках то ли работы, то ли простаков, готовых дать денег займы, а быть может, и просто, чтобы полюбоваться новыми местами. Скорее всего правильно второе предположение, потому что не



прошло и года со времени его вынужденного ухода на лоно природы, как Чарльзу пришлось объявить через газеты, что он не считает себя ответственным за долги отца. И все же ни один сын не мог бы сделать для родителей больше, чем он. Содержал он их всю жизнь, а если к тому же считать, что мистер Микобер и миссис Никльби — это процент с потраченного им капитала, то и потомкам нет оснований жаловаться, потому что барыши мы получаем до сих пор.

## Квилп и Таппертит

РАБОТА, развлечения и общественные обязанности, частые прогулки пешком, домашние передраги... Пока Диккенс вертелся в этом водовороте, жена его потихоньку рожала детей: вслед за первенцем-сыном последовали две дочки-погодки, а когда в 1841 году появилось на свет четвертое дитя, у Диккенсов поселилась Джорджина, младшая сестра Кэт: нужно было присмотреть за домом. Сама Кэт уже обнаруживала признаки усталости: она и от природы-то была довольно вялой и флегматичной, а тут еще беременности одна за другой... Со временем бразды правления основательно перешли к Джорджине, и по всем практическим вопросам Диккенс и Форстер чаще всего обращались именно к ней, как к хозяйке дома. Кэт, покладистая, сговорчивая, без труда смирилась с таким положением вещей. В 1839 году, когда родился третий ребенок, в домике на Даути-стрит стало тесно — пришлось Диккенсу вновь заняться поисками жилья. Окончательный выбор пал на дом № 1 по Девоншир Террас — просторный дом с чудесным садом за высокой оградой, почти против Йоркских ворот Риджент-парка<sup>[83]</sup>. Несколько недель продолжались «муки»: один дом сдать внаем, другой снять, здесь вступить во владение, там от владения отказаться, уплатить страховые взносы, оценить недвижимость — всех зол не перечесать. А ведь нужно еще было купить обстановку, отремонтировать дом, переехать! Наконец в середине декабря 1838 года Диккенсы водворились на новом месте и прожили там двенадцать лет. (За эти годы семья еще пополнилась: родились пять сыновей и дочь.) Больше других своих лондонских домов Диккенс любил этот.

Так велик был успех «Николаса Никльби», что издатели Чэпмен и Холл не только выплатили автору дополнительно полторы тысячи фунтов, но и согласились еще платить пятьдесят фунтов в неделю за предложенное им новое периодическое издание. Задумано оно было как еженедельник в духе «Зрителя» Аддисона, «Болтуна» Стила или гольдсмитовской «Пчелы»<sup>[84]</sup>. В нем должны были печататься рассказы, очерки, литературные зарисовки, путевые записки. Большую часть их собирался писать он сам; иллюстрации взялись делать Физ и Джордж Кеттермол. В апреле 1840 года вышел и немедленно разошелся в семидесяти тысячах экземплярах первый выпуск «Часы мастера Хэмфри». В свое время, когда появился первый выпуск «Пиквикских записок», Диккенс находился в

отъезде и с тех пор проникся суеверным убеждением, что для успеха задуманного дела он должен уезжать из Лондона. Так и сейчас: когда вышел в свет «Мастер Хэмфри», автор находился в Бирмингеме — именно там и застал его Форстер, который привез с собой известие о сенсационной распродаже «Мастера Хэмфри». Не помня себя от радостного возбуждения, друзья махнули в Стрэтфорд, побывали в доме Шекспира, оттуда ринулись в Личфилд, осмотрели домик Джонсона<sup>[85]</sup>, истратили все деньги и, прибыв в Бирмингем, были вынуждены заложить свои золотые часы, чтобы как-то добраться до дому. Однако успех, выпавший на долю первого номера, не повторился, пока Диккенс не подготовил первую порцию «Лавки древностей», которая появилась в четвертом номере и вскоре вытеснила из «Мастера Хэмфри» все рассказы, очерки и заметки. «Лавка древностей» стала единственным содержанием «Часов мастера Хэмфри» и выходила отдельными выпусками вплоть до января 1841 года.

Одного из главных героев нового произведения автор окрестил Дэниэлом Квилпом и неумышленно вложил в него очень много самого себя. А пока Квилп еще только-только зарождался у него в мозгу, сам автор отколол номер — не на бумаге, а в жизни — вполне в духе своего героя, озадачив жену и кое-кого из друзей точно так же, как Квилп то и дело ставил в тупик свою супругу и своих знакомых. Предлогом для этой выходки послужило бракосочетание королевы Виктории и принца Альберта<sup>[86]</sup> в феврале 1840 года. Да, нелегко, должно быть, жилось обитателям дома № 1 по Девоншир-Террас, пока хозяин не выкинул дурь из головы! Он стал притворяться — да так усердно, что чуть было сам не поверил, — что без памяти влюблен в королеву.

«Я просто не помню себя от горя, — писал он Форстеру, — ничего не могу делать.

В Виндзор<sup>[87]</sup>, мое сердце!  
Здесь счастья мне нет.  
В Виндзор, мое сердце,  
За милой вослед...

Вид собственной жены раздражает меня... Родителей ненавижу, дом свой терпеть не могу. Стал подумывать о прудах Серпентайн<sup>[88]</sup>, о Риджент-Канале, о бритве в комнате наверху, об аптеке на углу... Уж не отравиться ли, не повеситься ли в саду на груше, не отказаться ли от пищи,

не уморить ли себя голодом? Или позвать врача, чтобы сделать мне кровопускание, и потом сорвать повязку? Броситься под копыта лошадей на Нью-роуд? Зарезать Чэмпена и Холла и снискать себе этим известность? (Тогда-то *она* обязательно обо мне что-нибудь услышит — быть может, ей дадут подписать ордер на арест. Но правда ли, что ордер подписывает *она*?) Может быть, стать чартистом?<sup>[89]</sup> Напасть на замок во главе шайки кровожадных головорезов и спасти ее собственными руками? Быть кем угодно, только не тем, кем я был до сих пор! Сделать что-нибудь, лишь бы не то, что делал всю жизнь! Ваш обезумевший друг».

Уолтер Сэвидж Лендор был не на шутку озадачен, получив записку, в которой Диккенс объявил о своей страсти к королеве и намерении похитить одну из фрейлин и увезти ее на необитаемый остров. Другому приятелю было сказано: «Мы с Маклизом сошли с ума от любви к королеве. От безнадежной страсти, такой огромной, что не расскажешь словами и не охватишь воображением. Во вторник мы отправились в Виндзор, прокрались к замку, видели коридор, видели отведенные коронованным особам комнаты — больше того, видели даже спальню (мы уже раньше побывали здесь дважды, так что знаем, где она), озаренную красноватым теплым светом, таким уютным, искрящимся, рисующим мысленному взору картины такого блаженства и счастья, что Ваш покорный слуга лег прямо в грязь в начале Лонг Уок и наотрез отказался внимать уговорам, к неописуемому изумлению редких и запоздалых прохожих, ухитрившихся остаться в живых после страшной попойки накануне. Позволив себе еще кое-какие сумасбродства, мы возвратились домой в почтовой карете и носим теперь у сердца памятные медали, выпущенные в честь бракосочетания, и ходим, набив карманы фотографиями, над которыми тайно и горько рыдаем. Был с нами в Виндзоре и Форстер, он (шутки ради) делает вид, что тоже пылает страстью, *но он ее не любит*. Никому ни слова об этой злополучной привязанности. Я терзаюсь и мечтаю уйти из дому. Жена наводит на меня тоску; слышав голоса малюток детей, я не могу сдержать слез». Сообщив о своем твердом намерении покончить с собой, он заключил: «По авторитетному утверждению министра двора ее величества. она читает мои книги, и они ей очень нравятся. Думаю, ей будет жаль, когда меня не станет. Хочу, чтобы труп мой набальзамировали, и, когда она будет в городе, хранили бы на триумфальной арке Букингемского двора, а когда она в Виндзоре — на северовосточных башенках Раунд Тауэр». По-видимому, Диккенс вел на эту тему и разговоры — не менее нелепые, так что многие стали подумывать, не сошел ли он с ума. А вскоре пошли слухи, что он принял католичество, лишился рассудка

и в буйном состоянии помещен в сумасшедший дом. Дошли эти слухи и до него самого, и как раз в то время, когда он снова стал вполне нормальным человеком и отказался от роли безумца, влюбленного в королеву. Несколько часов он просто зубами скрипел от ярости. Казалось ли все это его друзьям очень забавным? Неизвестно. Они прониклись духом затеи — в этом нет сомнений, но когда дух улетучился, у них, наверно, был довольно кислый вид. Это была шутка, достойная клоуна; шутка, с которой он упорно не желал расстаться, когда давно уже никому не было смешно, а в особенности жене. Усталая улыбка — вот и все, на что ее хватало. Но ничего не поделаешь: человек с актерским темпераментом должен время от времени устраивать себе разрядку. Он страдает от непомерной энергии, его распирает веселье, и он чувствует, что просто лопнет, если не гаркнет что-нибудь во все горло, не кувырнется разок-другой через голову, не притворится сумасшедшим, не передразнит кого-нибудь. Ему непременно нужно «выпустить пары»: прочесть монолог, сесть на собственную шляпу, споткнуться о пустоту, соорудить рожу — словом, нарушить покой и тишину, взбудоражив весь мир.

Отделавшись от избытка энергии, Диккенс внезапно стал серьезен и важен, как будто бы и понятия не имел о том, что значит валять дурака. Он засел за работу. «По всей видимости, — писал он Форстеру, — положительно необходимо дней на пять в неделю установить себе строжайший режим: диета, моцион...» Задуманная первоначально как небольшой рассказ, рассчитанный на шесть-семь выпусков нового еженедельника, «Лавка древностей» совершенно завладела воображением писателя, и он работал как в лихорадке. «Чувствую эту вещь чрезвычайно глубоко и считаю это хорошей приметой», — писал он в марте 1840 года. Влияние маленькой Нелл ощущается во всех письмах того периода, адресованных по большей части Форстеру.



*Бродстерс, 17 июня:* «Сейчас четыре часа дня, а я сижу за работой с половины девятого. Право же, я совершенно иссушил себя, дошел до такого состояния, что в пору хоть броситься со скалы вниз головой, но, прежде чем позволить себе эту роскошь, нужно стать хоть немного богаче. Возлагаю большие надежды на выпуск 15, который начал сегодня. Герои медленно уходят из города, минуя множество разных мест, не похожих одно на другое. Если бы этот отрывок принадлежал чужому перу и попался мне на глаза, он произвел бы на меня очень сильное впечатление. Девочка и старик, разумеется, пустились в дальний путь, и сюжет прелестен...»

*Июль:* «Собирался заехать к Вам сегодня утром на обратном пути из Бевис-Маркс, куда отправился, чтобы присмотреть подходящий дом для Сэмпсона Брасса. Но тут я совсем запутался с этими евреями Собачьей канавы<sup>[90]</sup>, нужно было вылепить их из сырого теста и расставить по местам. Так я и блуждал среди них, пока, совершенно неожиданно, не оказался на Мурфилдз. Взял извозчика и вернулся домой по Сити-роуд, изрядно усталый...»

*Бродстерс, 9 сентября:* «Второй том начал с Кита. Сегодня утром сидел и смотрел на море, и вдруг будто пелена слетела с глаз; увидел, что с ним можно будет вскоре сделать одну штуку, очень трогательную. Nous verrons...»<sup>[5]</sup>.

*Бродстерс, 4 октября:* «Вам покажется знакомой дорога, по которой мы ехали от Бирмингема до Вульвергемтона. Однако у меня в голове эта страница была задумана удачнее, я не слишком доволен тем, как она получилась. Ждал лучшего...»

*Ноябрь:* «Вы не можете представить себе (говорю и пишу об этом совершенно серьезно), как я измучен сегодня после вчерашних трудов. Вчера вечером лег спать, окончательно выбившись из сил и в полном унынии. Сегодня утром встал ничуть не отдохнувшим и несчастным. Не знаю, что с собою делать... Думаю, что финал романа выйдет на славу... Трудно было необычайно — я пережил неопишуемые страдания...».

*24 ноября (Чэпмену и Холлу):* «Меня засыпали умоляющими письмами — все советуют пощадить бедняжку Нелл. Вчера — шесть штук, сегодня — уже четыре (а еще нет и двенадцати часов!)».

*22 декабря (Джорджу Кеттермолу):* «Вконец истерзался из-за этой вещи, не могу заставить себя кончить ее».

*7 января 1841 года:* «Нет на земле существа более несчастного, чем я. Я до такой степени угнетен и подавлен, что даже передвигаюсь с трудом... Много времени потребуется, чтобы прийти в себя. Никому так не будет недоставать ее, как мне. Все это так больно, что я не могу по-настоящему выразить свою скорбь: при одной только мысли открываются старые раны. Придется все-таки об этом написать, а чего это мне будет стоить — одному богу известно. Не могу утешиться прописными истинами, хотя и пробую. Стоит подумать об этой печальной истории, и сразу кажется, что только вчера умерла моя дорогая Мэри... Отклонил несколько приглашений на эту неделю и на следующую. Решил никуда не ходить, пока не кончу роман. Боюсь спугнуть настроение, которым постарался проникнуться, — не хочу, чтобы снова пришлось все это воскрешать...»

*14 января (Джорджу Кеттермолу):* «Пока что я еле жив от работы и от скорби по моей утраченной малютке...»

*17 января:* «Очень грустно думать, что все эти люди навек потеряны для меня. Кажется, никогда я уж не смогу так привязаться к моим новым героям».

*13 марта (Томасу Латимеру):* «Думаю, что эту вещь навсегда полюбил больше всех, которые успел написать до сих пор или когда-либо напишу».

На современников Диккенса маленькая Нелл произвела почти такое же



душераздирающее впечатление, как на автора книги. Объясняется это тем, что обычная спутница черствости и жестокости — сентиментальность. Сытый век, нагулявший жирок на каторжном детском труде, на рабском труде негров, на грабежах в Индии, на многих других преступлениях, — этот век таял, как воск, читая о страданиях чистой и прелестной девочки, с удовольствием расплачиваясь за свои злодеяния слезами о маленькой Нелл. Никто не умеет рыдать так безудержно, как закоренелые негодяи. В качестве доказательства можно привести один случай. В Чикаго шла сентиментальная пьеса. Публика преимущественно состояла из гангстеров, и в те редкие мгновенья, когда эти бандиты отрывали от лиц платки, было видно, что их глаза распухли от слез. Естественно, что «Лавка древностей» особенно сильно подействовала на самых, мягко выражаясь, закаленных из современников Диккенса: на Карлейля, который плакал над нею, как дитя; Дэниэла О'Коннела<sup>[91]</sup>, который, содрогаясь от рыданий, вышвырнул книгу из окна, потому что был не в силах примириться с гибелью ангельского ребенка, на Уолтера Сэведжа Лендора, который (когда к нему вернулся дар речи) поставил героиню романа в один ряд с Джульеттой и Дездемоной; на Фрэнсиса Джеффри, ныне судью, а ранее деспотичного редактора и беспощадного критика «Эдинбургского обозрения», который заливался горькими слезами, читая о смерти «бозовской малютки Нелл», и, где бы ни появлялся, твердил во всеуслышание, что с того времени, как была создана Корделия, литература не знает творения столь совершенного, как маленькая Нелл. Чем дальше на запад проникала «Лавка древностей», чем более грубыми и суровыми становились ее читатели, тем громче звучали рыдания. Когда пароход, на борту которого плыл в Америку последний выпуск романа, пришел в НьюЙорк, толпы народа встретили его на набережной дружным ревом: «Маленькая Нелл жива?» А какие горестные стоны оглашали прерии, когда книга попадала в руки ковбоев! Что делалось, когда отрывок, написанный белыми стихами (Диккенс, расчувствовавшись, грешил иногда белым стихом), читали на калифорнийских рудниках, под мерцающими звездами убийцы, грабители, насильники! Человек, способный так потрясти эпоху, — сам, разумеется, ее дитя: была и в Диккенсе известная доля жестокости, и не мудрено, что творения его фантазии бывали подчас такими сентиментальными.

Хотя мысль о маленькой Нелл появилась у Диккенса, когда он вместе с Лендором жил в Бате, а мысль о Квилпе — после того, как он там уже увидел карлика-уродца, Нелл — это сознательно идеализированный портрет Мэри Хогарт, а Квилп нечаянно наделен многими чертами самого писателя. «Нельзя вызвать у читателей интерес к литературному герою, не



заставив их прежде полюбить или возненавидеть его», — писал он. Он приступил к роману с намерением внушить всем пламенную любовь к малютке Нелл и отвращение к Квилпу. Если говорить о девятнадцатом веке, ему это удалось. С современным читателем дело обстоит иначе: героиню романа мы скорее всего найдем скучноватой; карлик же приведет нас в восторг. В конечном итоге, как говорит Ланселот Гоббо, побеждает правда<sup>[92]</sup>: сегодня мы читаем «Лавку древностей» не ради ее путаных сентиментальностей, а ради зерен правды — непосредственных наблюдений, невольных маленьких откровений. К шедеврам юмористической литературы можно смело отнести сцены, посвященные стряпчему Сэмпсону Брассу, личности темной и подобоострастной, и его неугомонному хозяину Квилпу, с которым Диккенс щедро поделился собственной озорной чертовщинкой. Нет ничего смешнее — имея в виду, что это гротеск, конечно, — чем раболепный ужас, который испытывает стряпчий, явившись на пристань навестить Квилпа, после того как оба проходимца сумели упрятать в тюрьму мальчугана, ложно обвинив его в воровстве. Брасс застаёт карлика в одиночестве: опьяненный успехом, Квилп неистовствует, выкрикивая во весь голос текст газетного отчета об этом происшествии:

«— Доброго здоровьица, сэр! — вымолвил Сэмпсон, просовывая голову в дверь. — Ха-ха-ха! Вечер добрый! Весельчак же вы, сэр, бог с вами! Удивительно забавно, ей-ей!

— Входи, болван! — отозвался карлик. — Чего стоишь, головой крутишь? Хватит скалить зубы! Входи, лжесвидетель, клеветник, взяточник, входи же!

— Бездна юмора! — взвизгнул Брасс, закрывая за собою дверь. — Поразительный комедийный талант! Но, быть может, это все же чуточку неблагоприятно, сэр?

— Неблагоприятно, иуда? — спросил Квилп. — Что — неблагоприятно?

— Иуда! — пискнул Брасс. — Да он в отличном расположении духа! Изящество и тонкость этих шуток! Иуда — каково! Нет, прямо бесподобно, клянусь честью! Ха-ха-ха!

— А ну, поди сюда, — молвил Квилп, жестом подзывая его поближе, — Что там такое неблагоприятно, ну?

— Да ничего особенного, сэр, безделица. Нестоящее дело, сэр, и говорить-то нечего... Просто мне почудилось, что ли... песенка эта — необычайно, знаете, остроумная штучка, но только, возможно, она отчасти...

— М-да? — вставил Квилп. — Отчасти — что?

— Близка к тому — не слишком близка, а как говорится, так, еле-еле, — чуть приближается к тому, что принято считать неблагоприятным — предположительно, сэр, — отозвался Брасс, боязливо заглядывая в хитрые глазки карлика, устремленные к огню, который отражался в них красными бликами.

— Отчего же? — процедил Квилп, не отрывая взгляда от печки.

— Вот ведь что, сэр, — Брасс набрался храбрости и заговорил менее раболепно, — тут дело такое, сэр; бывает, друзья сойдутся, посоветуются с самыми благими намерениями — все тихо, мирно, а в устах закона это называется тайный заговор, улавливаете, сэр? Так не лучше ли обо всем об этом помалкивать? Мы с вами знаем — и крышка!

— М-м? — протянул Квилп, повернувшись к нему с отсутствующим видом. — Ты это о чем?

— Вот именно, совершенно верно — осмотрительность и еще раз осмотрительность! — обрадовался и закивал головой Брасс. — Ни гугу, сэр, даже и здесь, — об этом-то я как раз и толкую, сэр.

— Об *этом*? Ах ты, нахальное пугало! Да о чем? — рявкнул Квилп. — Что ты тут болтаешь о каких-то совещаниях? С кем это я совещаюсь? Да я знать ничего не знаю!

— Да-да, конечно, сэр! Ничегошеньки, ясно! — отозвался Брасс.

— А будешь еще здесь подмигивать и кивать, — заключил карлик, озираясь по сторонам, будто бы ища кочергу, — я тебе, обезьяна, всю рожу перекрою, запомни.

— Не беспокойтесь, ради бога, сэр, — спохватился Брасс, сообразив, как обернулось дело. — Ваша правда, сэр, святая ваша правда. Не надо бы мне и заговаривать об этом. И чего это мне вздумалось? Правильно, сэр, переведем разговор на другую тему, хорошо?»

Брасса насильно заставляют выпить обжигающе-горячий спиртной напиток, и, когда, едва живой от подступающей тошноты, полузадохнувшийся в душной каморке, стряпчий неверными шагами ковыляет по двору в темноту, Квилп посылает ему вдогонку утешительные советы:

«— Осторожней, дружок, не оступись там, где сложены дрова — в них гвоздей торчит видимо-невидимо, и все ржавые. А в переулке — песик. Вчера искусал мужчину, позавчера — женщину, а во вторник бросился на ребенка — тому и конец. Это он так, играя. Смотри, близко не подходи.

— А на какой он стороне, сэр? — в страхе осведомился Брасс.

— Живет на правой, — сообщил Квилп, — но, бывает, притаится и

слева, готовясь к прыжку. Не могу тебе точно сказать. Берегись же! Случись с тобой что-нибудь — нипочем не прощу, так и знай. Эх, вот и фонарь погас! Ладно, не беда, путь знакомый. Держись все прямо, и баста!»

Диккенс был настолько непосредствен и простодушен, что даже наделил миссис Квилп чертами сходства с собственной женою, изобразив ее миленькой синеглазой женщиной, мягкого и кроткого нрава, послушной, застенчивой, любящей. Она в совершенном подчинении у карлика. Миссис Диккенс, уж конечно, слово в слово повторила бы вслед за миссис Квилп, что ее муж, «когда захочет, умеет так подойти к женщине, что, не будь меня в живых, перед ним бы не устояла и первая из наших красавиц, если бы она была свободна, а ему вздумалось поухаживать за ней». Снова и снова черточки, свойственные автору, проглядывают в характере Квилпа — пройдохи Квилпа, который прекрасно разбирается во всем, что происходит вокруг, то и дело дает волю своей страсти «выкинуть что-нибудь фантастическое, напроказить, собезьянничать», Квилпа, который до слез хохочет над собственными шутками и «не однажды, очутившись где-нибудь в глухом переулке, испускал пронзительный вопль, выражая этим свой восторг и нагоняя смертельный ужас на случайного прохожего, который одиноко шагал впереди, не ожидая увидеть столь крохотное существо. Тут карлик окончательно приходил в хорошее, бодрое настроение, и на душе у него становилось удивительно легко». Диккенс, как мы увидим, был тоже способен без всякой видимой причины огласить воздух истошным криком и привести в тревогу своих спутников. С каким удовольствием он оказался бы, наверное, на месте Квилпа, путешествующего на империале дилижанса, внутри которого едет миссис Набблс, «какое обстоятельство всю дорогу служило ему щедрым источником тихой радости. Ведь она была единственной пассажиркой, и он, стало быть, мог без конца досаждать ей всевозможными каверзами: рискуя жизнью, он перегибался вниз и заглядывал в окно, вытаращив свои и без того выпученные глаза (зрелище тем более жуткое, что миссис Набблс видела его вверх ногами). Стоило ей отшатнуться и пересечь к окну напротив, как он свешивался вниз головой с другой стороны. Едва останавливались, чтобы сменить лошадей, как он кубарем скатывался вниз и, просунув голову в окно, зловеще косился на бедную женщину».

Тишина, уединение, задумчивость — все это в очень малой степени свойственно диккенсовским романам. Шумной толпой теснились в его рабочей комнате фигуры, созданные его воображением, а дом, в котором он жил, был обычно наполнен настоящими, живыми людьми. Чувствовать, что он отрезан от друзей, для него было невыносимо, и, уезжая из Лондона, он

всеми правдами и неправдами старался вытащить их за собой. И хотя он был не один — образ маленькой Нелл не покидал его ни на мгновение, — он все же не мог успокоиться, если пустовала хоть одна спальня в его бродстерском доме. Два часа спустя после приезда в Бродстерс он уже писал Томасу Бирду: «В шкафчике, что стоит в столовой (она же гостиная), уже выстроились в полной боевой готовности бутылки, надлежащим образом расставленные автором сего послания — спиритусы, собственноручно помеченные: «Джин», «Бренди», «Голландская водка» — и вино, дегустированное и апробированное... Перед домом катит свои волны море, как... как ему и положено. А в доме имеются две симпатичные лишние спальни, которые ждут не дождутся, когда в них кто-нибудь въедет». Упрашивал он и Маклиза: «О, придите в хоромы на первом этаже, где специально для вас на окна вешаются шторы, где ни один стул, ни один стол не могут похвастаться ножками одинаковой длины; где ни один ящик не открывается, пока не сорвешь с него ручку, но, уж однажды открывшись, нипочем не закроется! Придите же!» Боясь пуще всех зол скуки, он уходил к себе и запирался, если к ним в Лондон приезжал кто-нибудь, кого он не любил. «У Кэт гостит девица, к каковой я проникся глубочайшим отвращением и от которой *вынужден* спасаться бегством... Это какой-то Старый Моряк в образе юной дамы<sup>[93]</sup>. Она «впивается в меня огненным взором», и я не в силах отвести взгляд. В настоящий момент василиск находится в столовой, а я — в кабинете, но все равно так и *чувствую* ее сквозь стену. Вид у нее чопорный, выражение лица — ледяное, грудь плоская и ровная, как сахарная голова. Она витийствует бойко и без устали и обладает глубокими интеллектуальными познаниями. Зовут ее Марта Болл; она кушала сегодня утром завтрак в столовой, а я глотал пищу в полном одиночестве, запершись на все замки в кабинете... Вчера вечером ушел из дому и с отчаяния постригся — специально, чтобы не видеться с нею... Полное отсутствие развития в чем бы то ни было — вот что в ней меня поражает! Она бы могла пригодиться в качестве живой модели грифона или еще какого-нибудь мифического чудища...» Кстати говоря, парикмахеры, очевидно, недурно поживились, сбывая на сторону срезанные пряди его волос. Спрос был так велик, что, посылая свой локон какой-то американской поклоннице его таланта, Диккенс писал: «Не считая тех, что остались у парикмахера, это первый образчик, с которым я расстаюсь, и, вероятнее всего, последний. Прояви я щедрость в этом вопросе, и на первый же моей фотографической карточке, безусловно, появился бы совершенно лысый джентльмен».

Диккенс был создан для общества и чувствовал себя в особом ударе,

беседуя, играя, прогуливаясь или пируя с друзьями. Трезвый или навеселе, он одинаково любил бывать с близкими ему людьми. Об этом красноречиво свидетельствуют отрывки двух писем Ли Ханту, написанных весной и летом 1840 года. «О Хант, я разленился, и все-то из-за Вас. Солнечный свет слепит глаза, жужжанье доносится с полей, лаская слух, ноги мои в пыли, а в коридоре, источая благоухание паровой машины, разморенный зноем, пышущим от типографской краски, дремлет в ожидании рукописи мальчик-посыльный». Второе письмо было написано после веселого обеда: «В Вашем спиче вчера вечером почудилась мне едва заметная странность: подчеркнутая тщательность и четкость, замечательно правильный выговор, тончайшее чутье к красотам языка — и все это чуть-чуть отдавало винным духом. Просто показалось, должно быть?» В те годы Диккенс и сам иногда пил и ел больше, чем следовало, и ни молодость, ни кипучая энергия не спасали его от приступов боли: «Испытываю невыносимые страдания. Промучился вчера почти весь день и всю эту ночь. Болит лицо. Ревматизм, невралгия, еще что-нибудь — бог ведает, — писал он своим издателям из Бродстерса осенью 1840 года. — Ставил всевозможные припарки, но почти не помогло. В результате чувствую себя совершенно разбитым. Веду себя не лучше, чем мисс Сквирс: пишу и кричу во весь голос не переставая. Воспаленно, угнетенно и искренне ваш...» Вероятно, он был нервен и впечатлителен до крайности: все необычное сразу же заставляло его терять душевное равновесие. В том же году он был присяжным заседателем на дознании: обнаружили труп ребенка, по-видимому убитого матерью. Диккенсу удалось уговорить присяжных отнестись к этому преступлению гуманно — в результате матери было предъявлено обвинение лишь в том, что она скрыла факт рождения ребенка. Затем он позаботился о том, чтобы создать для несчастной женщины сносные условия в тюрьме, сам достал ей защитника и заплатил ему. На суде матери был вынесен мягкий приговор, но дознание расстроило Диккенса чрезвычайно: «Не скажу наверное, что так подействовало на меня — несчастное дитя или бедняжка мать, похороны или мои коллеги присяжные, но только вчера ночью у меня был сильнейший приступ тошноты и желудочного расстройства. О сне и говорить не приходится: я не мог даже лечь в постель. По этому случаю мы с Кэт тоскливо сидели и бодрствовали всю ночь напролет».

Присяжный из него вышел бы отличный, недаром он так превосходно работал во всевозможных комитетах и комиссиях — сразу видел, что нужно делать, и, не откладывая в долгий ящик, действовал. Но когда в 1841 году виги <sup>[94]</sup> города Рединга обратились к нему с просьбой баллотироваться в парламент, он вежливо отказался под тем предлогом, что ему не по

карману участие в предвыборной кампании. Узнав, что расходы будут невелики и что правительство поддержит его, он нашел другой мотив, чтобы отказаться, сообщив джентльменам из Рединга: «Я не в состоянии убедить себя в том, чтобы, вступив в парламент при подобных обстоятельствах, смогу действовать с той благородной независимостью, без которой я не мог бы сохранить и самоуважение и уважение моих избирателей». Несколькими неделями позже он «отказался занять место в парламенте в качестве представителя Шотландского округа — бесплатно, задаром, безвозмездно и наделенный к тому же всеми полномочиями». Произошло это во время суматохи, вызванной его пребыванием в Эдинбурге, где он был удостоен звания почетного гражданина города.

По просьбе своего нового друга и поклонника лорда Джеффри<sup>[95]</sup> Диккенс в июне 1841 года побывал в Шотландии вместе с женой. Здесь ему был впервые устроен один из тех грандиозных приемов, которые впоследствии не раз устраивались в его честь. История не знает ни одного литератора, которому воздавались бы подобные почести. В письме к Форстеру из Королевского отеля от 23 июня он выразил надежду, что теперь уж «представлен решительно всем и каждому в Эдинбурге. Гостиница просто-напросто в осаде, и я был вынужден искать убежища в уединенной комнате в конце длинного коридора». 25-го в его честь был устроен большой банкет под председательством Джона Уилсона<sup>[96]</sup> («Кристофера Норта»). Присутствовало около трехсот приглашенных и двести зрительниц-дам. Произносились речи, провозглашались тосты, царило всеобщее воодушевление. Диккенс блеснул ораторским искусством и, хотя «удивительно, сколько седых голов собралось вокруг моих каштановых пышных кудрей», сохранил самообладание и «полное присутствие духа». 29-го он получил звание почетного гражданина Эдинбурга и прожил там до 4 июля, ежедневно завтракая и обедая у местных знаменитостей, посещая театры, где его встречали овациями; осмотрев дом, в котором двадцать семь лет прожил Вальтер Скотт; принимая бесчисленных посетителей; и после недели, проведенной таким образом, решительно заявил Форстеру, что «в гостях хорошо, а дома — лучше. Слава тебе, господи, что ты наградил меня спокойным нравом и сердцем, способным вместить лишь немногих. Я вздыхаю по Девоншир-Террас и Бродстерсу, по партии в волан; хочу обедать в домашней блузе с Вами и Маком и вижу ясно, как никогда в жизни, какими неоценимыми достоинствами блещет Топпинг» (Топпингом звали его кучера).

Двенадцать дней столица Шотландии носилась с заезжей

знаменитостью, после чего знаменитость отбыла на экскурсию по северной части страны. Сопровождал путников чудаковатый шотландец по имени Ангус Флетчер. Его странности так забавляли Диккенса, что Ангус навсегда стал желанным гостем и на Девоншир Террас и в Бродстерсе — словом, везде. Троссакс проехали под проливным дождем и прибыли в Лох Эрн на несколько часов раньше, чем их ожидали. В комнатах, отведенных для них в гостинице, не были зажжены камин. Произошло это по недосмотру Ангуса, но его попытки выйти из неприятного положения доставили Диккенсу массу удовольствия: «Если бы Вы только видели... как он бегал из гостиной то в одну, то в другую спальню, потом обратно с парой огромных мехов, которыми яростно задувал по очереди один камин за другим! Умереть можно было со смеху!» Глубокое впечатление произвела на Диккенса долина Гленкоу, а так как из-за плохой погоды нельзя было переправиться через озеро у Баллачулиша (который Диккенс упорно величал Баллихулишем<sup>[97]</sup>), то по дороге на Обэн они дважды проехали по знаменитому перевалу — Диккенс называл его ужасающим, устрашающим, потрясающим и пугающим. В Инверари ему передали приглашение на банкет в Глазго, но он ответил, что срочные дела призывают его домой. Устав от шотландских дождей, ветра и холода, он томился по Лондону и написал Форстеру, что теперь его не остановят и «двадцать обедов по двадцать тысяч фунтов каждый».

В гуще всех этих волнующих событий он работал над новым своим романом «Барнеби Радж», задуманным пять лет тому назад. Он и начал было «Барнеби», но история маленькой Нелл заставила эту вещь отступить на задний план. Теперь «Барнеби» стал печататься на смену «Лавке древностей» все в том же еженедельном издании, по-прежнему носящем название «Часы мастера Хэмфри». С последним выпуском «Барнеби Раджа» в ноябре 1841 года кончился и «Мастер Хэмфри». Несмотря на то, что он долго вынашивал мысль о «Барнеби», работа шла не так легко и плавно, как обычно. Сидя как-то днем у себя за письменным столом, Диккенс заметил: «С половины одиннадцатого со всеми признаками чрезвычайной заинтересованности и глубокого раздумья смотрю на *одну и ту же страницу* «Литературных курьезов» — никак не хватает духу перевернуть». Прежде чем приступить к очередной части, ему нужно было по меньшей мере день напряженно обдумывать ее содержание. «Вчера не тронулся с места — весь день сидел и думал; не написал ни строчки — ни одного «t» не перечеркнул, ни даже точки над «i» не поставил. Мысленно наметил вперед довольно значительный кусок «Барнеби», заставив себя пристально сосредоточиться на нем... Вчера вечером был непередаваемо



несчастен: мысли расплывались и никак не желали принять четкие очертания». На неделю, чтобы сосредоточиться, он уехал в Брайтон и, возвратившись в Лондон, пошел бродить по «самым бедным, гнетущим, мрачным улицам... в поисках картин, которые мне нужны, чтобы построить рассказ». Особенно полюбился ему район Чигвелл, расположенный на опушке Эппинг-фореста; его он избрал местом действия многих сцен романа. Под видом гостиницы «Майское дерево» он изобразил кабачок «Королевская голова», где однажды обедал с Форстером. Пригласив хозяина выпить с ними вместе рюмку портвейна, он спросил: «Может быть, хозяин, вам интересно знать, кто я такой?» — «Да, сэр». — «Я Чарльз Диккенс». — «А я, — с важным видом подхватил его спутник, — Джон Форстер». Хозяин, против ожидания, и бровью не повел.

Был у Диккенса любимец — ручной ворон, выведенный в романе под кличкой «Грип». В марте 1841 года птица испустила дух, и Диккенс поделился этой новостью с Маклизом: «Несколько дней (как я говорил уж Вам давеча вечером) ему нездоровилось, но мы не ждали рокового исхода. Мы предполагали, что где-то у него внутри, возможно, осталась часть белой краски, проглоченной прошлым летом, но что серьезных осложнений в его организме она не вызовет. Вчера во второй половине дня ему стало настолько хуже, что я послал за лекарем (фамилия джентльмена мистер Херринг), который незамедлительно явился и закатил пациенту лошадиную дозу касторового масла. Лекарство оказало столь благоприятное действие, что к восьми часам вечера он был уже в состоянии больно ущипнуть Топпинга. Ночь прошла тихо. Сегодня на рассвете ему, по всей видимости, стало лучше. Он получил (по предписанию врача) новую порцию касторового масла и закусил — весьма обильно — теплой кашкой, которая явно пришлась ему по вкусу. К одиннадцати часам ему стало настолько хуже, что необходимо было обвязать тряпкой дверной молоток на конюшне. Приблизительно в половине двенадцатого слышали, как он что-то говорил с самим собой о лошади, о семействе Топпинга, прибавив несколько неразборчивых фраз, вызванных, как предполагают, либо желанием распорядиться своим небогатым имуществом, состоящим главным образом из монеток в полпенса, зарытых в различных частях сада. Бой часов ровно в двенадцать, казалось, слегка взволновал его, но он быстро овладел собой, прошелся два-три раза по каретному сараю, остановился, прокашлял что-то, качнулся, воскликнул: «Здорово, старушка!» (любимая его фраза) — и умер». Дальнейшие подробности Диккенс поведал Ангусу Флетчеру: «Полный подозрений к мяснику, который, как говорят, грозился прикончить птицу, я приказал вскрыть труп. Следов яда не было: по-видимому, он умер



от гриппа. Он оставил после себя значительное состояние, главным образом в виде кусочков сыра и медяков достоинством в полпенса, зарытых в разных частях сада. Новый ворон (новый у меня *есть*, но он сравнительно невысокого умственного развития) взял на себя заботы о его имуществе и каждый день добывает что-нибудь новенькое. Последней из фамильных драгоценностей всплыл внушительных размеров молоток, украденный, очевидно, у злопамятного плотника, который, как передают, мрачно поговаривал на конюшне о мести... Добрые христиане в таких случаях говорят: «Быть может, все это к лучшему». Стараюсь и я так думать. Он в ключья изорвал обивку нашей коляски и склевал всю краску с колес. За лето, пока мы жили в Бродстерсе, он, чего доброго, мог бы слопать коляску целиком».

В начале октября 1841 года Диккенс перенес крайне болезненную операцию: «На меня напал недуг, именуемый фистулою — следствие того, что я слишком долго просиживаю за письменным столом». Макриди пережил «адские муки», только слушая рассказы больного о его страданиях, но Диккенс быстро поправился и в начале ноября уже послал в типографию последнюю порцию «Барнеби Раджа».

Сюжет новой книги захватывающе интересен, но, несмотря на это, «Барнеби Радж» не пользуется такой популярностью, как другие диккенсовские романы, и читают его нынче меньше других его книг, если не считать «Тяжелых времен» и неоконченного «Эдвина Друда». Нет нужды задаваться вопросом, отчего это произошло. Нас главным образом занимает в каждой книге Диккенса лишь то, что открывает что-либо новое в его биографии. Так, в «Барнеби Радже», несомненно, самое замечательное — это фигура Саймона Таппертита. Никто еще не оценил по достоинству диккенсовского дара предвидения, а между тем создание портрета подмастерья Габриэля Вардона — самое поразительное пророчество, какое знала когда-либо история литературы. Таппертит — это комический гимн «маленькому человеку», написанный за целое столетие до того, как «маленький человек» добился всеобщего признания, иными словами — за столетие до того, как он уверовал в собственное величие, создал свой образ в мире искусства и в жизни и поклонился ему.

Ему «на самом деле лишь двадцать лет, на вид — гораздо больше, а апломб у него такой, будто он прожил на свете по меньшей мере лет двести». В его тщедушном теле живет «честолюбивый, жаждущий власти дух. Подобно иным напиткам, что бродят в тесных бочонках, волнуются и клопочут во чреве своих темниц, душа мистера Таппертита, его мятежный дух, бывало, разыгрывает в недрах бесценного сосуда — тела мистера

Таппертита, вспенится и, наконец, с силой вырвется наружу шипучим, кипящим, сметающим все на своем пути потоком». Голос его, от природы пронзительный и резкий, становится, когда нужно, хриплым и грубым. У мистера Таппертита есть свои «идеи, величественные, но туманные... относительно силы его взгляда», проникающего в самую душу человека. Он может вдруг сморщиться, скривиться, скорчить «невероятную, чудовищную, немыслимую гримасу», но может держаться и иначе. Когда в кругу братьев-заговорщиков он вершит дела общества «Рыцарей-Подмастерьев» (а он душа этого общества и его глава), он складывает руки на груди, хмурит брови, напускает на себя замкнутый и величавый вид, держится в высшей степени отчужденно и загадочно и внушает трепет собравшимся в погребке членам общества. «Ветрогоны! Гуляки!» — желчно бормочет он, услышав, как его единомышленники играют в кегли. Подмастерья чтят Конституцию, Церковь, Государство и Прочный порядок, но отнюдь не своих хозяев. Их главарь вслух сокрушается о том, что прошли времена, когда по улицам расхаживали с дубинками и избивали почтенных горожан. В их обязанности входит досаждать, задевать, обижать и мучать тех, кем они недовольны, заводить с ними ссоры. Вожак обещает им, что сумеет залечить раны своей злополучной страны. «При новом общественном строе о вас не забудут, я об этом позаботился, — говорит он влюбленной в него девице. — Вы ни в чем не будете нуждаться, понятно? Устраивает это вас?» Он размышляет и над собственной участью, предрекая себе великое будущее: «Влачить бесславное существование, когда все человечество и не ведает о тебе? Терпение! Меня еще ждет слава. Недаром внутренний голос, не переставая, нашептывает мне, что я стану велик. Близок день, когда я взорвусь, как бомба, и тогда кто осмелится усмирить меня? Как подумаешь, сразу кровь бросается в голову. Эй, там, еще вина!» Когда, наконец, приходит время действовать, он восклицает: «Моя страна истекает кровью. Она призывает меня. Иду!»

В самом Диккенсе было немало таппертитовских свойств, оттого ему и удалось с таким безошибочным чутьем и блеском изобразить характерные особенности «маленького человека», отравленного манией величия. Но прежде всего Диккенс был гениальным художником — вот почему он воплотил образ Таппертита в жизненной, конкретной форме, придал ему чаплиновские черты, сделал его смешным. Если бы писатель родился столетием позже и увидел детище своей фантазии во плоти, он написал бы его более мрачными красками и сделал бы менее забавным.

А он сам? «Каждый день жду, что вот-вот поседею, и почти совсем убедил себя, что страдаю подагрой», — вот что сказал

двадцатидевятилетний автор в феврале 1841 года, глядя на своего новорожденного отпрыска, четвертого по счету. Да, будущее семьи уже начинало тревожить его. И хотелось отдохнуть. Нам известно, какими радикальными были его взгляды на политическую игру внутри Англии, но он чувствовал, что где-то есть иной мир, который нужно завоевать; страна, где царит равенство. И заработать в этой стране легче, чем дома. Деньги были залогом свободы действий, и Диккенсу нужно было получить этот залог. Но не вогнать же себя в гроб работой! «Славу богу, что есть на свете земля Ван-Димена. В этом мое утешение, — писал он Форстеру. — Интересно знать, хороший ли из меня получится поселенец! Допустим, я возьму с собой голову, руки, прихвачу ноги и здоровье и уеду в новую колонию. Сумею ли я пробиться к горлышку кувшина и жить, попивая сливки? Как, по-Вашему? Сумею, честное слово!» Ему запала в голову мысль съездить в Америку, и, когда из дальних поселений Соединенных Штатов к нему прилетали восторженные письма, он отвечал тепло и сердечно: «Милые слова приветов и одобрения, прозвучавшие из зеленых лесов на берегах Миссисипи, проникают в сердце глубже и радуют больше, чем почести всех королей Европы. Если в каждом глухом углу огромного мира живет хотя бы один доброжелатель, близкий тебе по духу человек, — это действительно достойно называться славой, и я не променяю ее ни на какие богатства». Осенью поездка в Америку стала его навязчивой идеей: «Мечты об Америке преследуют меня днем и ночью. Досадно было бы упустить эту возможность. Кэт плачет горькими слезами, если я завожу разговор на эту тему. И все же, бог даст, я думаю, что это как-то должно уладиться!» Вашингтон Ирвинг уверял его, что поездка по Соединенным Штатам будет сплошным триумфом, и это окончательно решило дело: «Я намерен поехать в Америку. Отправляюсь (если богу будет угодно) после рождества, когда плыть безопасно», — писал он Форстеру аршинными буквами. Ему пришлось попросить Макриди написать Кэт, продолжавшей рыдать при одном упоминании о поездке, и возможно более убедительно изложить доводы ее супруга. Макриди согласился. Больше того, он предложил Кэт, что на это время возьмет на себя заботу о детях. Кэт сдалась. Было решено, что вместе с ними поедет ее горничная Энн. В дом пустили жильцов, слуг отдали в распоряжение братца Фредерика, и Диккенс написал в Америку: «На третьей неделе нового года... надеюсь вступить на землю, по которой много раз бродил в мечтах и чьих сыновей (и дочерей) жажду узнать и увидеть».

Перед отъездом Диккенс договорился с Чэпменом и Холлом о том, чтобы остановить «Часы мастера Хэмфри», и обещал написать для них

роман о своем путешествии, а через год начать еще один. В течение года издатели обязались платить ему помесечно 150 фунтов стерлингов, а когда роман начнет появляться отдельными выпусками — по двести фунтов. Кроме того, ему достанется третья часть барышей.

Договор был составлен на исключительно выгодных для автора условиях, и автор был в восторге. «Я не могу покинуть Англию с легким сердцем, не сказав Вам снова и от всей души, что и сейчас и при любых других обстоятельствах Вы поступали со мною благородно, великодушно и щедро. Я почитаю своим священным долгом (на тог случай, если со мной во время моего отсутствия что-нибудь произойдет) оставить документ, свидетельствующий об этом».

С одним из партнеров, Эдвардом Чэпменом, который собирался жениться, Диккенс в озорную минуту делится на основании собственного опыта соображениями по поводу этого серьезного шага: «Прощайте! Если бы Вы только знали — смогли бы помедлить даже сейчас, в эти последние часы: лучше суд за нарушение обещания жениться, чем... Но опыт достается нам дорогой ценой. Извините меня, я взволнован. Я едва отдаю себе отчет в том, что пишу. Видеть ближнего своего, да еще такого, который продержался так долго... И все же, если... Неужели *ничто* не послужит Вам предостережением? Пишу это в крайнем смятении. Рука не слушается меня.

P. S. Подумайте. Не торопитесь.

P. P. S. Бегите за границу.

P.P. P. S. Дело оставьте мне (я имею в виду то дело, что помещается на Стрэнде)».

В конце сентября он на несколько дней уехал с Форстером в Рочестер, Грэйвсенд и Кобэм; в ноябре, после операции, побывал с женою в Ричмонде, а затем в Виндзоре, где остановился в гостинице «Белый олень». Последние две недели перед отъездом он прожил дома, с детьми, и сразу же после Нового года на пароходе «Британия» водоизмещением в 1154 тонны супруги отбыли из Ливерпуля в Америку. О своем душевном состоянии в те дни Диккенс писал в Америку незадолго до отплытия: «Не могу передать Вам, какой лихорадочный трепет охватывает меня, когда я думаю о чудесах, ожидающих нас...»

## Со своею дамой

ЧТО заставило Диккенса предпринять поездку в Америку? Причин приводилось множество, и среди прочих та, что, вложив известную сумму денег в Каирскую компанию, эту на шумевшую тогда аферу, он хотел посмотреть на город Каир, расположенный у слияния рек Огайо и Миссисипи. Маловероятно, однако, чтобы человек задумал пересечь океан и добрую половину континента лишь затем, чтобы взглянуть на могилу, где покоятся его деньги. Нет, Диккенс посетил Америку из тех же побуждений, какими руководствовался Юлий Цезарь, посетив Англию: ему хотелось посмотреть, какая она. Любопытство и уверенность в том, что его ждет радушный прием, — вот каковы были его мотивы; хотелось увидеть, далеко ли ушла от старой монархии новая республика. Кроме того, всегда приятно самому убедиться в том, как велика твоя популярность.

В начале плавания море было спокойно. Не успели еще отобедать в первый день, как «даже пассажиры, менее других уверенные в себе, и те расхрабрились на диво. Те же, кто на неизменный вопрос: «А вы хорошо переносите качку?» — утром без колебаний отвечал: «Нет», — теперь либо отделялись уклончивой фразой: «Как вам сказать! Думаю, что не хуже других», — либо, махнув рукой на всякие моральные обязательства, бросали: «Разумеется!» — вызывая, да еще и с долей раздражения, как будто желая прибавить: «Интересно знать, сэр, что это вы нашли во *мне* такого подозрительного?» Однако на третье утро все-таки нагрянула беда, и Диккенс несколько дней пролежал на койке. Нельзя сказать, что это была настоящая морская болезнь — нет, им просто овладели безразличие и вялость. Ощущал он только «какое-то сонное удовлетворение — зловую радость, если так можно сказать о чувстве столь слабом и глухом — оттого, что жене совсем плохо и она не может говорить со мной». Как тут не вспомнить Квилпа, отпускающего милые шуточки по адресу своей супруги: «Я рад, что ты промокла. Рад, что тебе холодно. Доволен, что ты сбилась с пути. Мне приятно, что у тебя покраснели от слез глаза. Сердце радуется, когда я вижу, какой у тебя озябший и заострившийся носик».

Встав на ноги, Диккенс большую часть времени проводил в каюте своих дам, беседуя и играя в вист. Ели там же, в каюте. Когда больше полпути было пройдено, «Британия» вошла в грозную штормовую полосу, и несколько часов подряд все «покорно ждали самого страшного. Я уж и не надеялся дожить до утра и смиренно вверил себя божьей воле». На самом

деле утруждать себя подобными мыслями в тот момент не стоило, тем более что у него и дел было достаточно. Нужно было успокоить женщин. «В каюте были... Кэт, Энн и маленькая наша попутчица шотландка — все в ночных сорочках и почти обезумевшие от ужаса. Ревел ураган, корабль швыряло из стороны в сторону, да так, что всякий раз мачты уходили в воду. В верхний иллюминатор то и дело врывался жуткий отблеск молний. Разумеется, мне ничего не оставалось делать, как постараться их приободрить, и первое, что пришло в голову, было виски с содовой. Нужно сказать, что по всей длине каюты, являясь как бы частью ее, шел громадный диван, и, когда я появился с чашей грога в руке, все три дамы лежали, сбившись в кучу, на одном его конце.

В тот самый момент, когда я поднес было напиток к губам той леди, которая оказалась на верху этого трепещущего вороха, судно дало крен, и, к моему ужасу и изумлению, все они покатались на другой конец ложа. Едва я добрался туда, как пароход накренился в обратную сторону, и их снова швырнуло назад, будто они попали в пустой омнибус, который два великана по очереди подбрасывали вверх с обоих концов. Полчаса, наверное, я изворачивался как мог, но так их ни разу и не поймал, а сам при этом был в одних брюках из грубой материи и в синей куртке, той самой, которую носил в Питершэме. И все то время, пока я мучался, я остро чувствовал всю нелепость положения...» С грехом пополам корабль все-таки добрался до цели, и тут — быть может, оттого, что лоцман слишком уж понадеялся на свое умение, — «Британия» села на мель у илистого берега в устье Галифакской гавани. Выбравшись на чистую воду, пароход ошвартовался у причала, по которому бегал какой-то мужчина, во все горло выкрикивая: «Диккенс! Диккенс!» Оказалось, что это председатель Законодательной ассамблеи, который тут же завладел знаменитым писателем, торжественно провел его по улицам, представил губернатору и пригласил в качестве почетного гостя на открытие парламентской сессии, которое должно было состояться в тот день. В письмах домой Диккенс часто называет себя Неподражаемым (старый школьный учитель из Чатема Уильям Джайлс прислал ему как-то табакерку с надписью «Неподражаемому Бозу»). Вот как он описал Форстеру прием, оказанный ему в Галифаксе: «Видели бы Вы, какие толпы встречали Неподражаемого на улицах. Посмотрели бы только на судей, законодателей и исполнителей закона, на епископов, приветствующих Неподражаемого. Взглянули бы, как его подвели к огромному креслу с подлокотниками, стоящему у самого председательского трона, как сидел он один-одинешенек посреди Палаты представителей, в центре всеобщего внимания, спримерной серьезностью

выслушивая всю ту немыслимую дичь, которая произносилась в зале. Как он невольно расплывался в улыбке при мысли о том, что эти речи послужат славным началом для тысячи и одного рассказа, которые он припасет для дома, для Линкольнс-инн-Филдс и «Джек Строз Касл». После бурного плавания пассажиры «Британии» во главе с Диккенсом решили сделать капитану подарок. Собрали пятьдесят фунтов, и в положенный срок Джон Хьюит получил ценное подношение — «скромный знак признательности за отличные деловые качества и высокое мастерство, обнаруженные при весьма грозных и тяжелых обстоятельствах».

В Бостон приплыли 22 января 1842 года. Стоя на палубе, Диккенс с интересом глядел по сторонам, «...будь у меня столько же глаз, как у Аргуса, все пришлось бы держать широко открытыми, и для каждого нашлось бы что-то новенькое». Его внимание сразу же привлекли несколько двуногих объектов, относящихся к области «новенького». «Рискуя жизнью, на палубу перемахнули человек десять, все с огромными пачками газет под мышкой, в вязаных (сильно поношенных) кашне на шее» и с плакатами в руках. Он было принял их за продавцов газет, но выяснилось, что это не продавцы, а редакторы, которые, знакомясь, трясли ему руку, пока она совсем не онемела. Наконец ему удалось от них отделаться, и вместе с женою, горничной Энн и попутчиком лордом Малгрейвом (возвращавшимся в свой полк, расквартированный в Монреале) Диккенс покати́л в лучшую гостиницу города — «Гремонт-хаус». Радостно взволнованный, он выпрыгнул из коляски, взлетел по ступенькам и с возгласом: «Вот и приехали!» — ворвался в холл гостиницы. Мгновенно схватывая и подмечая все зорким взглядом, искренне, заразительно смеясь, он болтал живо и непринужденно, как будто приехал к себе домой. После обеда в сопровождении Малгрейва и двух-трех американцев, с которыми он едва успел познакомиться, Диккенс помчался в город. Ледяной воздух обжигал кожу, полная луна светила в небе, и каждый предмет рисовался четко и выпукло, остро поблескивая на морозе. Кутаясь в лохматую меховую шубу, купленную на Риджент-стрит, Диккенс стремительно неся вперед по искристому, звонкому снегу, читая вывески магазинов, на ходу обмениваясь со спутниками замечаниями об архитектуре города и перемежая нескончаемый поток слов раскатами веселого смеха. Когда компания остановилась против Оулд Саус Черч, Диккенс внезапно испустил квиллоподобный вопль, чем немало напугал и озадачил своих знакомцев. «Крик этот, — писал один из них лет сорок спустя, — до сих пор остается для меня загадкой». Однако для всякого, кто разгадал натуру Диккенса, здесь нет ничего таинственного.

Мир не знает ничего подобного тому приему, который был оказан Диккенсу в Соединенных Штатах. Никогда раньше, никогда потом так не встречали ни одного писателя ни в одной стране — разве что опять-таки самого Диккенса, когда он через двадцать пять лет снова приехал в Штаты. «Как мне дать Вам хотя бы отдаленное представление о приеме, устроенном мне здесь? — писал он Форстеру. — Об этих толпах, которые стекаются сюда весь божий день; о людях, которые собираются на улицах, когда я выхожу из дому; об овации, которую мне устроили в театре; о стихотворениях, о письмах поздравительных и приветственных; о бесчисленных балах, обедах и торжественных собраниях... Как мне рассказать обо всем этом, чтобы Вы могли хотя бы в какой-то степени представить себе восторг, с которым меня встречают, эти приветственные возгласы, которые разносятся по всей стране! У меня побывали делегации с Дальнего Запада, проделавшие более двух тысяч миль пути, чтобы попасть ко мне, — люди с рек и озер, из глухих лесов и бревенчатых хижин, из городов больших и малых, с фабрик и из дальних деревень. Губернаторы почти всех штатов прислали мне письма. Мне пишут университеты, конгресс, сенат и всевозможные частные и общественные организации. «Это не сумасбродство, не стадное чувство, — написал мне вчера доктор Чэннинг<sup>[98]</sup>. — Все это идет от сердца. Никогда не было такого триумфа и не будет...» «Я позирую художнику для портрета и скульптору — для бюста. Со мною переписывается один из министров, мне предлагает свои услуги модный врач. У меня есть секретарь, которого я повсюду беру с собою. Это молодой человек по имени Джордж Путнэм, которого мне очень лестно отрекомендовали: чрезвычайно скромный, обязательный, старательный и молчаливый. И дело свое делает *хорошо*. Когда мы разъезжаем, за его стол и квартиру плачу я, а жалованье у него — десять долларов в месяц, то есть около двух фунтов пяти шиллингов на наши английские деньги». Не успел он прожить в Бостоне и пару дней, как весь срок его пребывания был уже расписан до последнего часа. Мэр города, Джонатан Чэпмен, всеми правдами и неправдами пытался залучить его к себе в гости. При этом произошел такой разговор:

- Мистер Диккенс, не отобедаете ли у меня?
- Сожалею, но я занят.
- Не придете ли поужинать?
- Занят, увы!
- Быть может, пожелуете к чаю?
- Занят!
- К завтраку?



- Тоже занят!
- В таком случае, не переночуете ли в моем доме?
- С превеликим удовольствием, благодарю вас. Переночевать? Что может быть приятнее!

Но хотя, как он выразился, «ни одного короля и императора на свете не встречали с таким воодушевлением, не провожали такими толпами», сливки бостонского высшего общества вынесли неодобрительное суждение о его манерах, привычках, наряде. У него, объявили они, чувственный, безвольный рот, лицо обыкновенного лондонского лавочника, впрочем, отмеченное талантом; речь его чересчур тороплива и небрежна — сердечна, быть может, но «далеко не изысканна». Он, несомненно, умен и обаятелен, но очень уж несолидно держится, не слишком разборчив в выражениях, не в меру энергичен. А как он разговаривает? Разве это голос джентльмена? И потом эти жилеты! Что за расцветка! В торжественных случаях большинство бостонских джентльменов появлялось в черных атласных жилетах. Диккенс носил бархатные, ядовито-зеленые или ярко-малиновые. Он носил двойную цепочку для часов и совершенно фантастический галстук, закрывающий воротник и ниспадающий на грудь роскошными складками. И так как ни одному бостонцу, претендующему на звание джентльмена, и в голову бы не пришло говорить все, что придет в голову, или вести себя, как хочется, то очень скоро отсутствие у Диккенса этих двух непременных атрибутов тонкого воспитания вызвало на Бикон-и Парк-стрит сдержанное, но ледяное неудовольствие. Как-то раз на званом обеде почетный гость, случайно взглянув в зеркало, увидел, что шевелюра его слегка растрепанна. Ни минуты не раздумывая, он извлек из кармана гребешок и, к общему изумлению, тут же за столом преспокойно причесался. В другой раз он обедал в одном из самых избранных домов Бостона — у судьи Прескотта. За обедом гости заспорили о том, кто красивее — герцогиня Сатерленд или миссис Кэролайн Нортон. «Ну, не знаю, — сказал Диккенс. — По-моему, миссис Нортон. Зато герцогиню, наверное, приятнее целовать». Собравшихся точно громом поразило. Нет, когда гость уехал в НьюЙорк, избранные круги бостонского общества вздохнули с явным облегчением.

Впрочем, прежде чем отряхнуть бостонский прах с ног своих, Диккенс совершил еще один поступок, которым восстановил против себя менее утонченных бостонцев, — точно так же, как потряс основы «большого света», причесавшись за столом и осмелившись назвать герцогиню обольстительной. На торжественных обедах, устроенных в его честь в Бостоне и Хартфорде, он бесстыдно заявил, что какую-то долю огромных

прибылей, которые американским издателям приносят английские книги, не мешало бы уделить тем, кто их написал. О, разумеется, он не посмел и заикнуться о том, что писатель должен получать, скажем, четверть того, что получает книгопродавец, — такая чудовищная мысль ему и в голову не приходила. И все-таки он не мог не думать о том, что, если человек месяц за месяцем работает как каторжный, приносит огромное наслаждение своим бесчисленным читателям, он может с полным основанием рассчитывать на какое-то, пусть незначительное, вознаграждение. Международного авторского права в те дни не существовало. Едва очередной выпуск диккенсовского романа приходил в Америку, как издатели набрасывались на него, печатали с лихорадочной быстротой тысячами экземпляров, пускали в продажу по всей стране и клали в карман вырученные деньги, не считая нужным послать хотя бы несколько слов благодарности автору. Можно смело сказать, что если бы Великобритания получила сейчас (со сложными процентами, конечно) те авторские гонорары, которые Соединенным Штатам полагалось бы выплатить за романы Скотта, Диккенса и множества других писателей, за инсценировки их произведений, за оперы Гильберта и Салливана, она перестала бы числиться в списке стран — должниц Соединенных Штатов. Встречный счет, который могли бы предъявить американские авторы, — ведь английские издатели им в те времена тоже не платили, — по сравнению с этой суммой показался бы каплей в море. Что же касается духовных ценностей, почерпнутых из английских шедевров, то их нельзя перевести на деньги и, следовательно, нельзя и возместить.

Диккенс сказал, что английские писатели сделали первый шаг к заключению международного соглашения и он надеется, что Америка их поддержит. И с того самого момента, как он коснулся этого предмета, на него с лютой злобой обрушилась американская пресса. Нет такого бранного слова в лексиконе журналиста средней руки, которого не швырнула бы эта пресса в лицо Диккенсу. Он только заметил, что слава должна «выдуть из своей трубы заодно с простыми нотами, которыми она довольствовалась поныне, и немного банкнот», только заикнулся о том, насколько легче дышалось бы в последние дни жизни Вальтеру Скотту, если хотя бы десятая доля того, что задолжала ему Америка, попала в Эбботсфорд, как уже поднялся «воплъ... которого англичанину и вообразить невозможно. Меня забросали анонимными письмами, меня увещевали в личных беседах, газеты накинудись на меня так рьяно, что Колт (убийца, о котором здесь очень много говорят) по сравнению со мной выглядит просто херувимом. Мне заявили, что я не джентльмен, а обыкновеннейший

корыстолюбивый прохвост — и все это изо дня в день, и все обильно перемешано с чудовищными измышлениями относительно цели моего приезда в Штаты». Специальный комитет, созданный для организации грандиозного банкета в Нью-Йорке, прислал ему письмо с просьбой не говорить более на эту тему. «Я ответил, что буду говорить. Что никто меня не остановит... Что стыдно должно быть им, а не мне, что я их не пощажу и что никто не заставит меня замолчать ни здесь, ни дома».

Он проявил большое мужество, бросив такой вызов общественному мнению страны, твердо вознамерившейся расплачиваться с ним не звонкой монетой, а громкими почестями. Обычному человеку один бостонский обед 1 февраля вскружил бы голову. Беззастенчивая лесть была в тот вечер коронным номером программы. Чуть ли не в каждом спиче обязательно упоминались герои диккенсовских романов, а тянулся этот обед с пяти часов вечера до двух часов ночи. Алчно чавкая, жадно вливая в глотку вино, сидело это скопище джентльменов (судя по внешнему виду, в здравом рассудке), собравшихся, чтобы почтить именитого гостя. Один за другим поднимались они на нетвердых ногах и разражались пустой трескотней. Подобное зрелище — не такая уж диковинка и в наши дни, но мы все-таки успеваем «провернуть» всю церемонию часа за три, а современники Диккенса через три часа только вошли бы во вкус. Сегодня перспектива послеобеденной болтовни нагоняет на англичанина хандру, и только чувство долга заставляет его смириться с нею. А вот американцу, едва отжужжали спичи, хочется поговорить еще: он верит, что это ему полезно. Во времена Диккенса вкусы обоих народов в этом отношении совпадали — впрочем, есть основания предполагать, что сотрапезники англичане были пьяны еще до того, как начинались речи.

По пути в НьюЙорк Диккенс с женою остановились в Хартфорде, где ежедневно в течение нескольких часов устраивали официальные приемы. На каждый такой раут являлось человек двести-триста. Как-то ночью, когда они уж легли спать, им устроили серенаду. Певцы расположились в коридоре у дверей спальни и «негромкими голосами, аккомпанируя себе на гитарах, пели о доме, о далеких друзьях и прочих вещах, не безразличных нам, как известно. Не могу передать Вам, как мы были растроганы. И вдруг в самую гущу моих сентиментальных переживаний ворвалась мысль, которая так рассмешила меня, что пришлось спрятать лицо в подушку. «Господи боже мой, — сказал я Кэт, — до чего же, наверное, глупо и пошло выглядят сейчас за дверью мои ботинки! И почему это мне раньше не приходило в голову, что за нелепая вещь ботинки?» Остановились в Ньюхейвене, где «были вынуждены устроить еще один прием для

студентов и профессоров здешнего университетского колледжа (самого крупного в Штатах) и для жителей города. Мы пожали, прощаясь, думаю, значительно более пятисот рук, и, разумеется, я все время стоял». Следующим на их пути был город Валлингфорд, все жители которого высыпали на улицу, чтобы посмотреть на гостя. Пришлось задержать поезд. В Вустере и Спрингфилде тоже надо было остановиться, и в середине февраля «Мистер Диккенс со своею дамой», как сообщили газеты, доехали до Нью-Йорка и остановились в гостинице «Карлтон».

В первый же вечер у них побывал Вашингтон Ирвинг.

Горячие отзывы в письмах Диккенса и сдержанные высказывания Ирвинга послужили основанием для того, чтобы у людей создалось и почти сто лет продержалось мнение, будто у Диккенса с Вашингтоном Ирвингом были наилучшие отношения. Теперь известно, что дело обстояло совсем иначе.

Итак, в гостиницу явился Ирвинг и попросил отнести Диккенсу свою визитную карточку. Его пригласили в гостиную. Вскоре послышался такой звук, какой издает, приближаясь, небольшой смерч, и в комнату — действительно как ураган — ворвался Диккенс с салфеткой в руке, радостно поздоровался с Ирвингом и потащил его к обеденному столу, накрытому, как выразился Ирвинг, с «вульгарной неумеренностью».

Скатерть (гость и этого не преминул заметить) была вся в пятнах от вина и соусов. «Ирвинг! — кричал Диккенс. — Счастлив вас видеть. Что будете пить? Мятный джулеп? Коктейль с джином?» Рассказывая об этой сцене, простой и сердечной, Ирвинг всякий раз выходил из себя, с отвращением отзываясь о «кабацких» замашках Диккенса, презрительно осуждая его вульгарную манеру одеваться, вульгарное поведение, вульгарный склад ума и выдавая его дружелюбие за эгоизм. Короче говоря, английский гений оскорбил изящный вкус американского джентльмена.

НьюЙорк оказался еще хуже Бостона. Где бы ни появился Диккенс, за ним валила толпа народу, ему надоедали, не давали покоя. Кое-кто из американцев возмущался «этим раболепным поклонением, тошнотворной лестью». Кое-кто с издевкой предлагал, чтобы какой-нибудь ловкий и предприимчивый янки «залучил к себе Боза, посадил в клетку и возил по стране *напоказ*». 14 февраля в честь Боза был дан большой бал в Парк-Сиэтр. «Зрелище, которое представилось нам по приезде, было очень внушительным: три тысячи людей, разодетых в пух и прах; театр, разукрашенный сверху донизу, — великолепно! Что за огни, что за блеск, сверкающая мишура, пышность, шум, приветственные клики! Слов не хватает!» Мэр и другие важные сановники встретили супругов у дверей и

«торжественно провели вокруг всей огромной танцевальной залы — дважды! — в угоду многоглавой гидре. Покончив с этим, мы стали танцевать, как — одному богу известно, до того было тесно». Были показаны живые картины, изображавшие сценки из романов Диккенса, и в газетах потом писали, что автору этих романов никогда еще не приходилось бывать в таком хорошем обществе, как в Бостоне и Нью-Йорке, где он был ошеломлен, поражен и уничтожен аристократами, собравшимися, чтобы устроить ему радушный прием. Повинны ли были аристократы также и в том, что после бала у него заболело горло, об этом история умалчивает, но все, что было намечено по программе, пришлось отменить до 18 февраля. В тот день в городской ратуше состоялся банкет. Председательствовал Вашингтон Ирвинг, заранее старательно подготовивший свое выступление, предвидя, что может сорваться где-нибудь на середине, — так оно действительно и случилось. Диккенс грозился не напрасно: он снова заговорил о международном авторском праве, но уже на этот раз и кое-кому из видных американцев стало совестно. Его поддержали публично. «Было бы только справедливо, чтобы те, чье чело увенчано лаврами, мог извлечь из этого хоть какую-нибудь пользу», — сказал Ирвинг. Мало того, по мнению одного редактора, Корнелиуса Мэтьюза, американские авторы тоже страдают, когда издатели даром получают английские книги. «Я желал бы, — чистосердечно заявил он, — видеть хотя бы частично оплаченным наш огромный долг содружеству английских писателей, долг, который растет вот уже не одно столетие». Правда, в печати Диккенса по-прежнему ругали безудержно. «Клянусь всем святым, — признавался он, — что презрение и негодование, вызванные этим подлым поведением, причинили мне муки, каких я не знал никогда». Однако газеты классом повыше, такие, как, например, нью-йоркская «Трибюн», его поддержали, и, чтобы окончательно склонить чашу весов на свою сторону, Диккенс попросил Форстера заручиться поддержкой нескольких ведущих писателей Англии. Карлейль отозвался тотчас же, другие не замедлили последовать его примеру, и все-таки вопрос об авторском праве оставался нерешенным еще полвека (до 1892 года). А к тому времени американский долг составлял уже такую колоссальную сумму, что никто и не заговаривал о нем.

Для обожаемого и ненавистного гостя жизнь в Нью-Йорке становилась все более и более несносной: «Я не могу делать, что мне хочется; пойти, куда мне хочется, и видеть, что мне хочется. Если я свернул в переулок, за мной идет толпа. Если я остался дома, дом превращается в базар. Я решил осмотреть какое-то общественное учреждение в компании одного-

единственного человека — моего приятеля, но меня уже тут как тут подстерегают начальники, спускаются мне навстречу, уводят во двор и обращаются ко мне с длинными речами. Иду вечером в гости — и, где бы я ни остановился, меня окружают таким плотным кольцом, что становится нечем дышать и я просто изнемогаю. Иду куда-нибудь обедать — и должен непременно говорить со всеми и обо всем. Ища покоя, отправляюсь в церковь — не тут-то было! Люди срываются с мест, чтобы пересесть поближе ко мне, а священник читает проповедь *прямо мне в лицо*. Я сажусь в железнодорожный вагон — даже кондуктор не может оставить меня в покое. Выхожу на остановке, чтобы выпить стакан воды, открываю рот, чтобы глотнуть, — и добрая сотня зевак заглядывает мне в самое горло. Представляете себе! И письма, письма с каждой почтой, и все решительно ни о чем, и в каждом — требование немедленно ответить. Один обижен, что я не захотел погостить в его доме; другой до глубины души возмущен тем, что я, видите ли, не могу побывать за один вечер более чем в четырех местах. Я не знаю ни отдыха, ни покоя, мне докучают без конца». И все-таки он ухитрился совершить одну вылазку инкогнито и полночи бродил с двумя полисменами, «побывав в каждом публичном доме, каждом воровском притоне, в каждой бандитской дыре и матросском дансинге города — везде, где гнездятся порок и злодейство всех цветов кожи». Обедать и ходить на приемы во всех городах Штатов?! Нет, подобной перспективы он вынести не мог. Он ответил отказом на приглашения, поступившие от общественных организаций Филадельфии, Балтимора, Вашингтона и других городов, решив отныне по мере возможности жить по собственному усмотрению. Нужно сказать, что возможность эта представлялась ему довольно редко.

Однако не только крамольными взглядами на авторское право навлек он на себя немилость. Как-то в частной беседе он назвал рабство «гнуснейшим и омерзительным позорищем», а рабовладельца — «деспотом, более требовательным, жестоким и самовластным, чем калиф Гарун-аль-Рашид в его пламенно-алом одеянии». Позиция республиканца в Штатах, по словам Диккенса, приблизительно такова: «Над собою не потерплю никого, а из тех, кто ниже меня, никто не смеет подойти слишком близко». «Самый тяжкий удар свободе будет нанесен этой страной, не сумевшей стать примером для всей земли», — писал он Форстеру.

Отвратительными казались ему и здешние манеры. Подобно Теккерю, ему было противно смотреть, как американки и американцы едят с ножа и мужчины сморкаются пальцами. Был и еще один национальный обычай, тоже не из приятных. По дороге в Филадельфию Диккенс расположился

как-то полюбоваться из вагонного окошка на закат, но тут «внимание мое привлекло необычайное и загадочное вещество, вырывавшееся из окон переднего вагона для курящих. Я было предположил, что там старательно вспарывают перины и пускают перо по ветру. Впоследствии, однако, я догадался, что это кто-то плюется. Так оно и было в действительности. Я до сих пор тщетно пытаюсь понять, как та горсточка пассажиров, которую может вместить железнодорожный вагон, могла испускать столь игривый и безудержный фонтан плевков. А ведь у меня накопилось немало наблюдений из области слюноотделения». Впрочем, что касается меткости, то любители жевательного табака оказались не на высоте. В Вашингтоне «у меня побывало несколько джентльменов, которые за дружеской беседой частенько не могли попасть в цель с пяти шагов, а один (но этот-то, уж конечно, был близорук) на расстоянии трех шагов принял закрытое окно за распахнутое. В другой раз, когда я сидел перед обедом в обществе двух дам и нескольких джентльменов у огня, один из гостей по меньшей мере раз шесть не доплюнул до камина». Каменные полы в барах и гостиничных коридорах были, как он заметил, усеяны вышеупомянутыми «осадками», как будто их «вымостили раскрытыми устрицами».

В начале марта супруги прибыли в Филадельфию, где к ним явился с визитом один из именитых горожан и попросил у Диккенса разрешения представить ему кое-кого из своих друзей. Диккенсу нездоровилось, но он все же не стал возражать. Наутро, окаменев от ужаса, он увидел, что на Чеснат-стрит у гостиницы «Соединенные Штаты», где они остановились, волнуется море людей. Оказалось, что давешний именитый филадельфиец объявил на страницах утренней газеты, что мистер Диккенс будет «искренне рад пожать руку его друзьям между половиной одиннадцатого и половиной двенадцатого утра». Мистер Диккенс категорически отказался пожимать руки кому бы то ни было. Тогда хозяин гостиницы объяснил ему, что, если не пойти навстречу пожеланиям толпы, вспыхнет бунт и гостиницу могут разнести по камешку. Пришлось согласиться принять «друзей». Два часа он и Кэт стойко держались на месте. Их трясли за руки, как будто хотели раздробить им кости и вывихнуть суставы, а мимо них все плыл нескончаемый поток посетителей. О, если бы кто-нибудь из этого скопища мог заподозрить, как с ними вскоре разделается автор «Мартина Чезлвита»! В этом случае Диккенсу пришлось бы поплатиться не только своей правой рукой. Где бы он ни появился, женщины старались выпросить у него хотя бы прядь волос, но, не имея особенного желания закончить путешествие в парике, он обычно отделялся автографами. А вот шуба его за это время стала совсем пегой: многие ухитрились выдернуть себе

кусочек меха — сувенир! Газеты посвящали ему приветственные стихотворения, веселые каламбуры: «Мы весьма счастливы, что видим его среди *живых* наших писателей, хотя его *Нелл* прозвенела по всей стране»<sup>[6]</sup>. Филадельфия показалась Диккенсу «городом красивым, но отчаянно скучным. Побродив по ней часок-другой, я почувствовал, что отдал бы все на свете за одну кривую улицу». Как обычно, он осматривал здесь различные общественные заведения и в том числе — Восточную каторжную тюрьму, где система одиночного заключения привела его в ужас. «Лишь немногие могут представить себе, на какие чудовищные терзания и муки обрекает страдальцев это страшное наказание, которое тянется долгие годы». Он считал, что ни один человек не вправе причинять другому такую боль. «Это медленное и повседневное вмешательство в таинства души представляется мне неизмеримо более страшным, чем любая телесная пытка». «На меня, — писал он одному своему другу, — это подействовало, как личное горе». Глубина и сила его переживаний свидетельствуют о том, что по натуре он был прежде всего «общественным» существом.

В городе квакеров<sup>[99]</sup> Диккенсу прислали пакет, в котором были два томика повестей и рассказов, письмо от автора и критическая статья о «Барнеби Радже». Событие, которое произошло вслед за этим, представляется нам (быть может, в отличие от Диккенса) самым интересным из всего, что случилось за время его пребывания в Филадельфии. Удивительно, как Диккенс потрудился взглянуть на «Повести» и прочесть письмо. Ему уже невыносимо надоели авторы, присылавшие десятки рукописей с настоятельными требованиями прочесть их внимательно, внести любые изменения или исправления и помочь напечатать их в Англии. Иногда ему даже обещали определенный процент от гонорара. Другие предлагали «блистательные» идеи новых книг и свое сотрудничество, великодушно уступая ему половину будущих барышей. Едва ли поэтому появление двух томов было встречено в филадельфийской гостинице с восторгом. Но Диккенс все-таки просмотрел их и пригласил к себе автора — Эдгара Аллана По. Три года спустя По приобрел известность как автор поэмы «Ворон», на мысль о которой его натолкнул пернатый герой «Барнеби Раджа». Еще через четыре года к нему снова пришел большой успех — на этот раз его принесла поэма «Колокола», в значительной степени обязанная своим появлением на свет диккенсовским «Колоколам». Однако в те дни По, в сущности, был еще неизвестным писателем, и Диккенс обещал сделать все возможное, чтобы



«Повести» были изданы в Лондоне, После этой беседы, очень приятной, По некоторое время был настроен менее печально, чем всегда. Вернувшись на родину, Диккенс действительно попробовал заинтересовать нескольких издателей сочинениями По, но в конце концов был вынужден сообщить автору, что фирмы «отказываются издать сборник рассказов неизвестного писателя». С той поры это излюбленная фраза издателей. В одном из писем к Форстеру Диккенс, очевидно, говорит о По: «Теплой и широкой улыбкой обязан я П. Э., литературному критику из Филадельфии и единственному знатоку английского языка во всей его грамматической и фразеологической чистоте; П. Э., с прямыми лоснящимися волосами и отложным воротничком, П. Э., который нас, английских литераторов, непримиримо распекает в печати, а между тем заявил мне, что я открыл для него новую эпоху».

По дороге в Вашингтон — следующий город, который Диккенс посетил «со своею дамой», они остановились в Балтиморе. Балтиморцы, собравшись на вокзале, разглядывали писателя во все глаза. Столпившись «вокруг вагона, в котором я сидел, они спустили все окна, просунулись в купе по самые плечи и, пошире расставив локти, чтобы не упасть, принялись обмениваться замечаниями по поводу моей внешности с таким хладнокровием, как будто я не человек, а чучело... Некоторые не успокоились, пока не проверили зрительные впечатления на ощупь». В Вашингтоне супруги остановились в гостинице «Виллардс» (ныне «Фуллерс»). Диккенс был приглашен на заседание сената и Палаты представителей, но ни внушительные фигуры ведущих политических деятелей, ни их красноречие не произвели на него должного впечатления. Он с грустью признался, что, быть может, в нем плохо развит инстинкт умиления, но он вообще почему-то не способен прослезиться от горделивой радости или лишиться чувств при виде какого бы то ни было законодательного собрания. «Палату общин я выносил, как подобает мужчине, в Палате лордов проявил всего лишь одну слабость: иногда засыпал». «Звукоподражательный номер «На скотном дворе»<sup>[100]</sup>, исполняющийся в парламенте Соединенного Королевства, — писал он, — еще не введен в американскую Палату представителей». Охотно признавая это, Диккенс был в то же время вынужден отметить, что «из каждого угла переполненного зала так и лезут в глаза Злостные Интриги в самой беззастенчивой и омерзительной форме».

Его принял президент Соединенных Штатов Джон Тайлер, человек мягкий и тихий. Он очень удивился тому, что «я так молод. Я хотел было ответить ему тем же, но у него такой измученный вид, что комплимент

застрял у меня в горле, как «аминь» в горле Макбета<sup>[101]</sup>». Многие важные сановники явились к нему в гостиницу засвидетельствовать свое почтение. По окончании одного из таких визитов секретарь Диккенса сказал, что они сейчас видели одного из самых замечательных людей страны. «Господи, мистер Путнэм! Да они все такие! — воскликнул писатель. — С тех пор как я сюда приехал, я ни разу не встретил никого, кроме самых замечательных!» Супруги, как обычно, не могли распорядиться ни одной минутой по своему усмотрению. В воскресенье, например, в половине третьего они обедали у бывшего президента Джона Квинси Адамса<sup>[102]</sup>, а в половине шестого — у Роберта Гринхау. Как это вынесли их желудки, нам неизвестно. 15 марта, от девяти до десяти, Диккенс был на официальном приеме у президента. Две тысячи людей со скоростью похоронной процессии двигались вокруг него, раскрыв рты, тараща глаза и вытянув шеи. «Стоило Диккенсу шелохнуться, — рассказывает один из очевидцев, — и все кидались к нему, как голодные цыплята, которым бросили горсть зерна. Когда он собирался уезжать, за ним бежали вдогонку из гардеробной к карете, к гостинице, в номер...» У себя в спальне он, должно быть, вздохнул с облегчением, увидев, что никто не прячется под кроватью и в платяном шкафу. Не удивительно, что в одном из его писем мы читаем, что ему как-то не по себе среди американцев, хотя они гостеприимны, щедры, искренни, сердечны, отзывчивы, учтивы и любезны. «Не нравится мне эта страна. Я бы ни за что не согласился здесь жить. Мне здесь не по душе... Я думаю, что англичанин не может быть счастлив в Америке». Дело не только в субъективных ощущениях. «Это вовсе не та республика, ради которой я сюда приехал, которая рисовалась моему воображению. Я тысячу раз предпочту ей либеральную монархию, даже с ее тошнотворными судебными циркулярами... Свобода убеждений? Где она? Я вижу здесь прессу более убогую, жалкую, глупую и бесчестную, чем в любой другой стране». По правде говоря, здешняя газета — «это грязь и гадость. Честный человек не потерпит ее у себя в доме даже в качестве половика для уборной». Он видел также, «что во все области жизни проник вьедливый дух партийных разногласий — жалкий, подлый, злобный дух низкопоклонства, угодливости и раболепия».

Ясно, что к концу пребывания в Вашингтоне Диккенс был всем этим сыт по горло. Впрочем, ему было несвойственно останавливаться на полпути, и путешественники поехали дальше — в рабовладельческие районы. Несколько дней супруги провели в городе Ричмонде (штат Виргиния), где остановились в гостинице «Биржа». На ужине, устроенном

«цветом» местного общества, председательствующий предупредил Диккенса, чтобы успех не вскружил ему голову, как в свое время Наполеону. Диккенс ответил, что изо всех сил постарается удержать голову в естественном для нее положении. Шуточки подобного рода сыпались с обеих сторон весь вечер, причем, когда подали портвейн, они стали уже менее безобидными. Так, председательствующий похвалил одного из героев «Лавки древностей», а автор возразил, что сам председатель — живая «древность». Такие забавы могли на час-другой занять Диккенса, помочь ему забыть этот вездесущий кошмар — рабство, но ненадолго. «Плохо обращаться с рабами не в интересах хозяина. То, чего вы наслушались там, в Англии, — чепуха», — сообщил ему один плантатор, «Пьянствовать, воровать, картежничать и вообще предаваться порокам тоже не в интересах людей, — ответил писатель, — и тем не менее люди предаются им. Человеку свойственны жесткость и злоупотребление неограниченной властью; это две его низменные страсти, и, стремясь удовлетворить их, человек вовсе не задумывается над тем, служат ли они его интересам или ведут его к гибели». В другой раз какой-то судья заговорил о том, как жаль, что в Англии люди так невежественно и пристрастно судят о рабстве. «Я возразил, что нам куда более уместно судить о зверствах и ужасах рабства, чем ему, выросшему среди них». «Тот, кто толкует о рабстве как о благе, о чем-то само собой разумеющемся, как о таком положении вещей, к которому нужно стремиться, находится за пределами здравого смысла. Ему ли рассуждать о невежестве и пристрастности? Абсурд! Нелепица, против которой и возражать-то не стоит».

Убраться подобру-поздорову подальше от «этих подлых и отвратительных порядков» было несказанным облегчением. В Балтиморе он обедал в гостинице «Барнум» с Вашингтоном Ирвингом, постаравшимся сделать вид, что он, Ирвинг, питает к гостю самые лучшие чувства. Затем на поезде и на лошадях добрались до Гаррисбурга, а там, чтобы избавиться от любопытных глаз, сели на пароходик и поплыли по каналу в Питсбург. Среди попутчиков Диккенса оказался судья Эллис Льюис, обративший внимание на то, что Кэт Диккенс по большей части молчит, предоставляя мужу вести все разговоры. Льюису захотелось получить у Диккенса автограф для своей дочери, и какой-то квакер, стоявший рядом, раздобыл листок бумаги, на верху которого Диккенс поставил свою подпись.

— Очень уж высоко ты расписался, — заметил квакер.

— Разумеется, — отозвался Диккенс. — Если бы я оставил наверху пустое место, кто-нибудь мог бы написать там долговое обязательство или

расписку.

— Неужели ты допускаешь, что судья может совершить такой поступок?

— Ничего подобного я не хотел сказать. Но эта бумажка, возможно, вскоре попадет в другие руки, и кто-нибудь может ею воспользоваться. А впрочем, не думаю, чтобы американские судьи были чем-нибудь лучше английских.

Путешествие в Питсбург по каналу не отличалось комфортом: в каюте было тесно и полно народу. «Вы представить себе не можете, что это такое: плюются и харкают всю ночь напролет, — рассказывал Диккенс Форстеру. — Честное благородное слово, сегодня утром мне пришлось разложить на палубе свою меховую шубу и стереть с нее носовым платком полузасохшие плевки. Если кому-нибудь это показалось удивительным, то лишь потому, что я вообще нашел нужным этим заниматься. Вчера, ложась спать, я положил шубу возле себя на табуретку. Там она и пролежала всю ночь под перекрестным огнем с пяти разных точек — трое плевались с полки напротив, один — сверху и один — снизу. Я не жалуясь и ничем не выдаю своего отвращения». Справедливости ради нужно сказать, что перед сном Диккенс неизменно и с большим чувством играл на своей гармонике несколько куплетов песенки «Родина». Кроме того, американцам, должно быть, не нравились его привычки: рано вставать, умываться ледяной водой и стремительным шагом ходить пять-шесть миль по бечевнику<sup>[7]</sup> перед завтраком. А томик Шекспира, который Диккенс носил при себе и находил «источником неизъяснимого наслаждения», уж, конечно, воспринимался американцами как личное оскорбление.

В Питсбурге путешественники расположились в гостинице «Биржа» и дали раут, на котором пожали неизбежные сотни рук. Диккенса начинала одолевать скука. В виде развлечения он решил заняться гипнозом. Первой жертвой его искусства была Кэт, которую он сначала довел до истерики, а потом до обморока. Но скука все-таки становилась все сильнее, особенно когда они отправились пароходом вниз по реке Огайо на запад. «Я вполне серьезно заявляю, что на всем белом свете нет такого количества непередаваемо нудных людей, как в этих самых Штатах. Нужно приехать сюда, чтобы узнать, что такое по-настоящему нудная личность». На два дня они остановились в гостинице «Бродвей» в городе Цинциннати и только было собрались по приезде объявить, что их «нет дома», как пришли два судьи, чтобы договориться о приеме для местных жителей. Делать нечего: церемония руковерчения и пальцесжимания должным образом состоялась, и в тот же день писателя со всех сторон обступили местные дамы, одна из

которых стала выпрашивать у него розу из петлички. «Ничего не выйдет, — сказал он. — Нельзя. Другие будут завидовать». Но, уступая пламенным взглядам «других», он роздал каждой по лепесточку. Однако все это были действительно только цветики. «Мы отправились на вечер к судье Уолкеру. Знакомили нас там по меньшей мере раз полтора — с каждым в отдельности. Все оказались предельно скучными личностями, и почти каждый требовал, чтобы я посидел и поговорил с ним! Честное слово, от постоянной и непомерной скуки, которую мне приходится выносить, на моем лице, должно быть, появилось устойчивое выражение глубокой скорби». Тем не менее он нашел Цинциннати «очень красивым городом. Не считая Бостона, пожалуй, самым красивым из всех, какие я здесь видел».

У него уж стали пошаливать нервы, а жизнь на борту парохода, особенно за общим столом, никак не могла умерить его раздражения. «Никогда еще не испытывал такой вязкой, тягостной скуки, как та, что нависала над этими трапезами, — писал он несколько месяцев спустя, — одно лишь воспоминание давит и гнетет меня... Как можно скорее вылизать дочиста свою лохань и угрюмо отползти прочь, как будто ты бессловесная тварь! Превращать этот обряд в голое и жадное удовлетворение естественных потребностей! Все это мне не по нутру! Я серьезно опасаюсь, как бы сии траурные пиршества не стали для меня на всю жизнь кошмаром наяву».

Одну ночь супруги провели в Луисвилле, где к ним в комнату явился хозяин гостиницы и предложил познакомить их с лучшими фамилиями Кентукки.

— Сэр, — сказал ему окончательно потерявший терпение Диккенс, — вы тот самый корчмарь, который содержит этот постоялый двор?

— Да, сэр.

— Так вот, когда мне понадобятся ваши услуги, я вам позвоню.

На одном пароходе с Диккенсом находился некий Портер, кентуккский великан семи футов и восьми дюймов роста. Диккенс явно пришелся ему не по вкусу. Во всяком случае, он оставил запись о том, что у его попутчика «пущена по жилету двойная золотая цепочка, а булавки в галстук такие, что он, по-моему, выглядит не лучше наших пароходных аферистов». Что касается Диккенса, он увидел в Портере просто-напросто пьянчугу и с тем забыл о нем.

Наконец прибыли в Каир, расположенный на слиянии рек Огайо и Миссисипи, и взорам Диккенса явилось место, изображенное в проспекте акционерного общества эдаким Эльдорадо — страной сказочных богатств, что привело к краху многочисленных простаков англичан, вложивших свой

капитал в Каирскую компанию. С Диккенсом дело обстояло иначе. Он вернул свои деньги с лихвой, изобразив Каир в «Мартине Чезлвите». Эльдorado? Нет! «Это рассадник лихорадки и малярии, гиблое место... Унылая топь, на которой догнивают кое-как построенные домишки, местами расчищенная на несколько ярдов и кишачая буйной, вредоносной растительностью, под пагубной сенью которой тают, как воск, гибнут и складывают свои головы злополучные странники, рискнувшие сюда приехать. Рядом вьется, кипит водоворотами отвратительная Миссисипи и устремляется к югу, изрыгнув из себя это осклизлое мерзкое чудовище, гнездовые болезни, этот уродливый склеп, гробовую яму, куда не проникает ни один луч надежды, — место, где и земля, и вода, и воздух не обладают ни одним благотворным свойством».

По Миссисипи, которую Диккенс называет зловонным потоком жидкой грязи, путешественники доплыли до Сент-Луиса, откуда Диккенс в мужской компании поехал посмотреть на прерию. Он не увидел в ней ничего особенного. «Да, картина внушительная, но она не дает пищи воображению. Уже одно то, что равнина простерлась так плоско, так неоглядно широко, снижает интерес и портит впечатление. Где чувство свободы и пьянящей бодрости, которое рождает вид вересковых пустошей в Шотландии или хотя бы панорама наших английских меловых холмов? В прерии тоже дико и безлюдно, но ее убогое однообразие гнетет». «Отправляйтесь-ка в Солсбери Плейн или на Мальберийские холмы — да на любое приморское плоскогорье, где ширь и простор. Многие из этих мест производят ничуть не меньшее впечатление, а Солсбери Плейн — *определенно* большее». В сент-луисской гостинице «Плантерс Хаус» он, нарушив собственное правило, пошел на банкет. Состоялся, конечно, и раут, на котором они с Кэт стояли с видом заезжих монархов, а перед ними, кланяясь и беззастенчиво разглядывая их, прохаживались сент-луисцы. Обратный путь по Миссисипи был еще менее приятен: они «то и дело натыкались на груды плавучих бревен и всякий раз замирали в предчувствии толчка. Рулевой на таких судах находится в застекленной будочке на верхней палубе... на самом носу стоит еще один человек, напряженно всматриваясь и вслушиваясь (да, да, именно вслушиваясь; ночью здесь умеют угадывать по шуму, есть ли поблизости большое препятствие). В руках у него конец веревки от большого колокола, висящего рядом с рубкой рулевого. Когда он дергает за веревку, полагается немедленно остановить машину, пока колокол не зазвонит снова. Вчера ночью колокол звонил по меньшей мере каждые пять минут, и каждый сигнал сопровождался таким ударом, что нас едва не сбрасывало с коек».

С чувством облегчения путешественники снова встретили реку Огайо, но в Цинциннати расстались с нею и пересели в почтовую карету на Колумбус. К берегу пристали в темноте, и по пути в гостиницу «Бродвей» Энн, горничная Кэт, упала, споткнувшись о выбоину в тротуаре. Этот случай послужил Диккенсу предлогом для того, чтобы в письме к Форстеру рассказать о Кэт в роли путешественницы: «Я уже не говорю о том, как тяжело приходится Кэт, — вы ведь помните ее особенности? Садясь в карету или на пароход, она непременно упадет или ухитрится расцарапать себе ногу, посадить огромную шишку или ссадину. Ноги она себе ломает на каждом шагу, а синяками обзаводится в таком количестве, что вся стала голубой. Между тем едва мы свыклись с первыми трудностями необычной и утомительной обстановки, как Кэт стала заправской путешественницей и держалась просто замечательно во всех отношениях. Она не вскрикнула и не проявила ни малейшей тревоги в таких обстоятельствах, когда это было бы вполне оправдано даже с моей точки зрения. Она не падает духом, не поддается усталости, несмотря на то, что мы вот уже больше месяца непрерывно разъезжаем и порою, как вы сами понимаете, совсем выбиваемся из сил. Она весело и легко приноравливается решительно ко всему — одним словом, она оказалась превосходным товарищем в дороге». Так мог бы написать строгий родитель о незадачливом ребенке, который борется со своим трудным характером, стараясь угодить папеньке. На американцев, которым довелось разговаривать с Кэт, она произвела впечатление бесхитростного и разумного человека, нетребовательного, скромного, с мягким и добрым нравом. Она много улыбалась и мало разговаривала. По правде сказать, Кэт, по-видимому, была идеальной супругой для человека, которому нравится быть предметом всеобщего поклонения. Женщине с более твердым характером опротивело бы это непрерывное и льстивое обожание, которым был окружен ее муж; надоело бы стараться быть любезной с множеством беспросветно скучных людей. Другая на ее месте взбунтовалась бы, наотрез отказавшись мириться с тысячами неудобств и треволнений где-то на чужбине ради того лишь, чтобы слушать восторженные излияния по адресу супруга и ждать, что тебе вот-вот вывихнут руку на очередном рауте. Кэт не проронила ни единой жалобы даже по дороге в Колумбус, когда очередной любитель жевательного табака, сидевший напротив в карете, добрых полночи обдавал ее фонтаном плевков.

Следующий этап пути, от Колумбуса до Сандаски, был проделан в карете, специально нанятой Диккенсом. Других пассажиров не было, и дорога казалась более сносной всем, кроме Кэт, которая едва не свернула

себе шею. «Значительная часть пути представляет собою так называемую гать. Прокладывают ее так: валят в болото бревна или целые деревья и ждут, пока они осядут. Господи боже мой! Если бы вам хоть раз довелось испытать самый легкий из толчков, с которыми карета переваливается с одного бревна на другое! Представить себе, что это такое, можно, только поднимаясь на крутую лестницу в омнибусе. Толчок — и нас всех вместе швыряет на дно кареты. Еще толчок — и мы стукаемся головами о потолок. Вот карета повалилась на бок, увязнув в трясине, и мы изо всех сил стараемся удержаться на другой стороне. А вот она надела на хвосты лошадей и вдруг опять завалилась назад. И ни разу — ни разу! — она не приняла то положение, тот вид, которые естественно ожидать от кареты. Она и не пыталась вести себя, как подобает экипажу, у которого есть четыре колеса. А впрочем, денек выдался дивный, воздух был упоителен, и мы были *одни*! Ни табачных плевков, ни этих вечных разговоров о долларах и о политике (единственные темы, на которые здесь вообще беседуют). Никто нам не докучал, и мы, право же, получили удовольствие — шутили, когда нас кидало из стороны в сторону, и неплохо повеселились».

Поездка завершилась ужасающей грозой. Переночевали в простой бревенчатой хижине в Нижнем Сандаски, а затем отправились в Кливленд по озеру Эри, причем с начала и до конца пути отчаянно страдали от морской болезни и были не в состоянии должным образом встретить толпу народа, которая явилась на палубу в шесть часов утра, чтобы взглянуть на знаменитого писателя. «Компания каких-то «джентльменов» захватила рубежи на подступах к нашей каюте и стала заглядывать в окна и в дверь. *Я в это время умывался, а Кэт лежала в постели*». Такое поведение местных жителей привело Диккенса в величайшее негодование, а тут еще появилась антианглийская статья в местной газете. Одним словом, «когда по традиции на корабль пожаловал мэр, чтобы представиться мне, я отказался его принять и велел Путнэму объяснить почему. Его честь соблаговолили отнестись к этому весьма хладнокровно и, вернувшись на пристань с большущей палкой в одной руке и складным ножом в другой, принялись столь яростно орудовать последним (ни на мгновение не сводя взгляда с нашей каюты), что не успел корабль еще отчалить, как от палки осталась щепочка величиною с фишку для карточной игры».

В Буффало путники сошли с парохода и, приехав поездом в Ниагару, остановились на канадском берегу реки в отеле «Клифтон Хаус», в котором прожили десять дней. Водопад ошеломил Диккенса. Куда-то вдруг исчезла тяга к перемене мест, «сменившись душевным покоем, умиротворением,



безмятежными воспоминаниями об усопших, думами о вечном успокоении и счастье. И ни тени страха или печали! С первого взгляда и навеки Ниагара запечатлелась в моем сердце и останется в нем, как олицетворение Красоты, — незыблемо, неизгладимо и до последнего вздоха». Несколько иное впечатление произвел водопад на горничную Энн, заявившую: «Вода как вода, просто ее слишком много».

Как отраднo было снова оказаться в Канаде среди англичан, в стране, где люди еще не зачерствели, не утратили чувства юмора и жизнерадостности, безраздельно посвятив себя тупому служению бизнесу. Побывав в Торонто и Кингстоне, путешественники направились в Монреаль, где Диккенс с большим увлечением взялся за постановку трех одноактных пьес для офицеров гарнизона Гольдстрим Гардз. В спектаклях принимали участие женщины, в том числе и его жена. «Кэт, — объявил он, — играла чертовски хорошо». Сам он был исполнителем главной роли, режиссером, постановщиком, суфлером, бутафором, декоратором — всего не перечесть. «Я доводил неповоротливых леди и несносных джентльменов чуть ли не до умопомешательства; носился туда и сюда с такими воплями, что человек непосвященный мог бы с полным основанием без разговоров натянуть на меня смиренную рубашку; старался дать Путнэму хоть какое-то представление об обязанностях суфлера; барахтался в таком вихре пыли, шума, суеты, неразберихи (все кричат разом со всех сторон, и неизвестно, за что раньше взяться), что у Вас от одного только вида всего этого закружилась бы голова. Эта добровольная каторга доставляла мне массу удовольствия. Я вновь одержим театральной лихорадкой и опять думаю, что мое истинное призвание все-таки быть директором театра. Перья, чернила и бумага сгубили прирожденного постановщика!» Этот эпизод доставил ему больше радости, чем все пять месяцев пребывания в Америке. К тому же он был опять среди соотечественников и собирался на родину.

После первого плавания по Атлантическому океану Диккенс решил, что пароход «гнуснейшее изобретение». Поэтому возвращались они на паруснике, вышедшем из Нью-Йоркской гавани 17 июня 1842 года. Однажды в ответ на вопрос о том, помнит ли он какого-то нью-йоркского джентльмена, Диккенс сказал: «Нет, я не знаю этого американского джентльмена, и да простит мне бог, что я поставил рядом эти слова». Этой фразой можно коротко выразить отношение Диккенса к жителям Соединенных Штатов, несмотря на то, что среди них он нашел себе нескольких друзей.

## Плоды странствий

ЭТО было 29 июня 1842 года в доме № 5 по Кларенс-гейт, Риджент-парк, у Макриди. Актер расположился у себя на диване, как вдруг кто-то стремительно вошел в комнату. «И кто бы это был, по-вашему? Да не кто иной, как милый Диккенс, заключивший меня в свои объятия, сияя от радости. Ну, слава богу!»

Пока родителей не было, детям жилось не очень-то сладко в доме Макриди. Актер держал свое семейство в строгости и послушании — не то что Диккенс, который всегда возился и играл с детьми, не скрывая своей нежности к ним. Макриди, вернувшись из своей поездки по Америке, устроил детям настоящий экзамен, чтобы проверить, как они занимались, пока он был в отъезде. А Диккенс, приехав домой, вытащил своих потомков из кроваток, всех перецеловал, поднял страшную кутерьму и так взбудоражил детей, что у одного из них даже сделались судороги. Написанный Маклизом портрет четырех отпрысков Диккенса сопровождал Чарльза и Кэт во время поездки по Штатам и во время очередной остановки всякий раз извлекался из чемодана, ставился на стол, и Чарльз доставал гармонику, чтобы сыграть «Родину». Ни один англичанин, ступив на родной берег после месяцев, проведенных на чужбине, не был так счастлив, как Диккенс. С чем сравнишь это чувство? Ты вернулся на родину, и тебе начинает казаться, что дождь просто прелесть, а у тумана такой чудесный вкус, что его так и хочется глотнуть, что в пасмурный день — райская погода, что лондонская слякоть и копоть — суший дар небес. Диккенс в восторге носился от одного приятеля к другому и пропустил мимо ушей даже весть о том, что его батюшка взял у Макриди денег взаймы, а братец Фред натворил бог весть что на Девоншир Террас. Все равно, даже с вечно нуждающимся папенькой-банкротом и братом-сорвиголовой жить в Англии несравненно лучше, чем в Соединенных Штатах с целой кучей богатых и добропорядочных родственников. В честь его приезда друзья устроили обед в Гринвиче. Трапеза протекала весьма оживленно, судя по тому, что «Джордж Крукшенк вернулся домой в моем фаэтоне — вверх ногами (к неопишуемой радости беспутных полуночников на Риджент-стрит) и скоротал остаток ночи, попивая джин в обществе какого-то водовоза».

Первое время Диккенс никак не мог взяться за работу и по целым дням шумно играл с детворой или затевал веселые прогулки с Форстером и

Маклизом. Но прошло две недели, и он уже сидел за столом, записывая свои американские впечатления, и здесь ему очень пригодились письма, которые он посылал Форстеру. Август он провел в Бродстерсе: купался в море, гулял, работал, развлекался. К нему приехал погостить Лонгфелло, и Диккенс повез его осматривать Рочестерский замок. Когда они попробовали пройти за ограду, окружавшую развалины, сторож пригрозил, что отдаст их под суд. Пропустив угрозы мимо ушей, они все-таки подошли к замку и осмотрели его самым тщательным образом, сопровождаемые громкими проклятиями служителя, явно рассчитывавшего на чаевые. Под охраной полисмена Диккенс вместе с Форстером, Маклизом и Лонгфелло отправился обследовать лондонские трущобы и заходил даже «в самые жуткие притоны, где ютятся опаснейшие элементы общества», — как говорил Форстер. Маклиз не мог переносить спокойно подобные зрелища; в одной ночлежке в Саутварке ему стало дурно, и он потерял всякий интерес к этой затее.

В сентябре Диккенс узнал, что в Соединенных Штатах опубликована фальшивка, автор которой, выдавая себя за Диккенса, ругает американское «гостеприимство» и что американцы, в свою очередь, ругают за это Диккенса. Диккенс решил не выступать по этому поводу в печати. Он только объяснил своим друзьям американцам, что произошло недоразумение, и выбросил эту историю из головы. В конце октября, после выхода в свет «Американских заметок», он вместе с Форстером, Маклизом и Кларксоном Стэнфилдом отправился путешествовать по Корнуоллу. Друзья повидали Тинтаджель, гору Святого Михаила, Логан Стоун, который они стали раскачивать, когда на него взобрался Форстер, любовались закатом на мысе Лэндс-Энд. Эту поездку, судя по всему, необыкновенно веселую, Диккенс описывает в письме к своему другу Ч. Ч. Фелтону, профессору Гарвардского университета:

«Силы небесные, ну и славно же мы поехали, сразу же после того, как расстались с Лонгфелло... В Девоншир добрались поездом. Там наняли открытую коляску у одного трактирщика, душою и сердцем преданного Пиквику, и покатали дальше на почтовых. Иногда ехали ночь напролет, иногда — целый день. Случалось — и день и ночь. Я заведовал общей казной, заказывал все обеды, платил пошлину на всех заставах, вел курьезные разговоры с форейторами и определял продолжительность каждой остановки. Когда возникали разногласия относительно какого-либо пункта наших странствий, Стэнфилд (бывалый моряк) разворачивал большую карту и, как будто этого было еще недостаточно, ссылаясь на показания карманного компаса и прочих ученых инструментов. Багаж

находился в ведении Форстера, а Маклиз, оставшись не у дел, пел песни. Боже! Если бы вы только видели, сколько бутылок торчало из всех багажных отделений нашей коляски! Каких тут только не было! Глаза разбегались! Видели бы вы, как нежно смотрели на нас фореиторы, каким страстным обожанием дарили нас конюхи, как лакеи при виде нас теряли головы от радости! Если бы вы могли последовать за нами в потемневшие от времени церковки, в загадочные пещеры на мрачном морском берегу, проникнуть в глубокие копи, взобраться на головокружительные вершины и слушать, как внизу — бог весть за сколько сотен футов — режут непередаваемо зеленые воды! Если бы вы только взглянули на яркий огонь, пылавший в громадных комнатах старинных таверн, в которых мы засиживались возле камина далеко за полночь! Если бы разок вдохнули аромат дымящегося пунша (не белого, милый Фелтон, в отличие от той удивительной смеси, которую я прислал Вам на пробу, а густо-коричневого, искрящегося, золотистого)! Его нам подавали каждый вечер в огромной глубокой фарфоровой чаше! Никогда в жизни я так не смеялся, как во время этой поездки. Вы бы только послушали! Я задыхался от смеха. Я ловил воздух ртом, я надрывался, я, наконец, трещал по всем швам! И так — всю дорогу. А Стэнфилд (очень похожий на вас по характеру и телосложению, но на пятнадцать лет старше) — тот просто закатывался и доходил до полного иступления, угрожавшего апоплексическим ударом. Нам нередко приходилось бить его по спине чемоданами, чтобы привести в чувство. Нет, серьезно, подобного вояжа свет еще не видывал. И потом эта парочка — мои спутники — делали такие наброски во время самых романтических привалов! Можно было поклясться, что вместе с духом Веселья нам сопутствует дух Красоты».

По приезде домой он узнал, что «Американские заметки» расходятся очень бойко. Однако сегодня их помнят лишь потому, что на них стоит его имя. Если бы эта книга была написана кем-нибудь другим, она не пережила бы своей эпохи. «Хвалить ее я не могу, а ругать не хочется», — так писал Маколей редактору «Эдинбургского обозрения», объяснив свой отказ разбранить эту книгу еще и тем, что «был гостем в доме Диккенса» и считает его «хорошим и по-настоящему талантливым человеком». Эмерсон считал «Записки» «грубейшим пасквилем», книгой поверхностной и невежественной. Не многим американцам она пришлась по душе, и не удивительно. Автор занял позицию цивилизованного туриста, попавшего в страну варваров, и беззлобный тон его книги только подливает масла в огонь. Впрочем, не прошло и года, как он начал писать новый роман, нарисовав такую картину жизни в Соединенных Штатах, которую даже

самые снисходительные из американских критиков не могли бы назвать беззлой. С выходом этой книги насмешливое неодобрение, встретившее путевые заметки, сменилось ревом ярости.

«Как часто человек бывает связан с орудием своей пытки и не может уйти, — писал Диккенс своему другу, — но немногим дано изведать ту муку и горечь, на которую обречен каждый, кто прикован к перу». Сначала «Мартин Чезлвит» двигался мучительно трудно. Много дней подряд писатель проводил у себя в комнате и, не написав ни строчки, выходил оттуда «до того злой и угрюмый, что самые отчаянные и те убегают при виде меня... Издатели всегда являются ко мне по двое, дабы я не мог напасть на дерзновенного одиночку и лишить жизни назойливое существо». Никаких приглашений он не принимал, потому что «с каждым днем у меня все больше оснований для стойкого, но не слишком уютного чувства, что из тьмы моего одиночества может произрасти нечто комическое (или, во всяком случае, рассчитанное на комический эффект)». Первый выпуск романа появился в январе 1843 года, последний — в июле 1844-го. За исключением миссис Гэмп, под видом которой автор изобразил повивальную бабку, встреченную им в доме мисс Куттс, внимание читателя в этой книге привлекают главным образом сцены американской жизни, которым он посвятил ярчайшие сатирические страницы, когда-либо написанные на английском языке. Американцы, естественно, сочли их самой злостной клеветой, когда-либо написанной человеком. «Написать на этот народец настоящую карикатуру невозможно, — заявил Диккенс. — Порою, прочитав какой-нибудь отрывок, я в отчаянии бросаю перо — мне не угнаться за моими воспоминаниями». Соотечественники Джорджа Вашингтона выставлены в «Мартине Чезлвите» на осмеяние как снобы<sup>[103]</sup>, лицемеры, лжецы, скучнейшие болтуны, хвастуны и пустозвоны, задиры, хама, дикари, подлецы, убийцы и идиоты. Автор обвиняет их в грубости, скупости, завистливости, нечистоплотности, алчности, беспомощности, невежестве, претенциозности и порочности и заявляет, что в общественных своих привычках они недалеко ушли от животных, а в политических делах испорчены и развращены. Поэтому не многие американцы встретили книгу с распростертыми объятиями, и к приходу корабля со свежими номерами романа уж не сбегались восторженные толпы, жаждущие услышать новости о мистере Джефферсоне Брике или миссис Хомини. Самым оскорбительным казалось именно то, что было чистой правдой, как, например, такие язвительные высказывания:

«Они так страстно любят Свободу, что позволяют себе

весьма свободно обращаться с нею».

«Так и чудится, что все их заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружеские отношения переплавлены в доллары».

О рабстве:

«Так звездочки перемигиваются с кровавыми полосами, и Свобода, натянув колпак на глаза, называет своей сестрою самую гнусную неволю».

Что касается республики в целом, то она, по словам Диккенса, «так искалечена и изуродована, покрыта такими язвами и гнойниками, так оскорбляет взор и ранит чувство, что даже лучшие друзья гадливо отворачиваются от этой мерзкой твари».

Но все-таки, быть может, стоило съездить в Америку и вернуться домой, твердо зная, что «у хитрости простоты не меньше, чем у невинности, и там, где в основе простодушия лежит горячая вера в плутовство и подлость, мистер Джонас неизменно оказывался самым доверчивым из людей».

Когда Марк Тэпли позволяет себе по-дружески высказать несколько критических замечаний по поводу местных порядков, мистер Ганнибал Чоллоп предостерегает его:

«Умник, вроде вас, долго не протянет. Всего продырявят пулями, живого места не оставят.

— За что же это? — поинтересовался Марк.

— Нас нужно восхвалять, сэр, — отвечал Чоллоп угрожающе. — Вы здесь не в какой-нибудь деспотии. Мы служим образцом для всей земли, и нас следует просто-напросто превозносить, ясно?

— Да неужели я говорил слишком вольно? — вскричал Марк.

— Мне и не за эдакие слова кое-кого случалось прихлопнуть, — насупившись, произнес Чоллоп. — Смелчаки, а удирали куда глаза глядят, и ведь такого себе не позволяли. Да за одно такое слово культурные люди в порошок разотрут, линчуют. Мы ум и совесть всей земли, мы сливки человечества, его краса и гордость. Мы народ вспыльчивый. Уж если мы когти покажем — берегись, понятно? Вы уж нас лучше похваливайте, так-то».

Впрочем, со времен Диккенса Америка ушла далеко вперед, и теперь

ей едва ли нужно, чтобы кто-то посторонний «похваливал» ее.

Подобно Квилпу и маленькой Нелл, «Мартин Чезлвит» вызывает сегодня иное чувство, чем во времена Диккенса. Тогда симпатии были на стороне Тома Пинча, а Пексниф вызывал отвращение. В наши дни Том Пинч кажется несносным, Пексниф же доставляет нам массу удовольствия — это одна из самых курьезных фигур в литературе. «Ах, уж эта мне человеческая натура! Злосчастная натура человеческая!» — заметил мистер Пексниф, сокрушенно покачивая головой, как будто он сам не имел к человеческой натуре ни малейшего отношения. И хотя Пексниф — персонаж пародийный, в нем столько этой самой «человеческой натуры», что мы в конце концов предпочитаем его всем героям-паинькам. Здесь снова повторилась та же история, что и с Квилпом: Диккенс безотчетно наделил Пекснифа очень многими особенностями самого себя. Так же бессознательно вложил он в «Мартина Чезлвита» и еще кое-что, вероятно немало озадачив тех читателей, которые считают, что литературное произведение никак не связано с личностью автора. В пятидесятой главе Мартин упрекает своего друга Тома Пинча в вероломстве, и неизвестно почему: Мартин ни слова не говорит о том, какой поступок друга послужил поводом для этих упреков. Не упоминает он об этом и в дальнейшем. Эта сцена — совершенно лишняя в повествовании, смысл ее так и остается неясным. Разгадка же такова: устами Тома и Мартина здесь говорит сам Диккенс, этот эпизод — отражение тех душевных переживаний, которые он в то время испытал.

26 февраля 1844 года Чарльз Диккенс открыл вечер Ливерпульской школы для рабочих. Объявив собравшимся, что сейчас перед ними выступит пианистка, он добавил, что произносит ее фамилию с особым и нежным чувством: мисс Уэллер<sup>[8]</sup>. Взрыв хохота, которыми были встречены эти слова, совсем было сконфузил мисс Уэллер, но Диккенс шепнул ей, что когда-нибудь, он надеется, она переменит фамилию и будет очень счастлива. Один лишь вид этой девушки, напомнившей ему Мэри Хогарт, произвел на Диккенса необычайное впечатление. Он вновь почувствовал, как мучительно ему не хватает духовной близости и сочувствия женщины, понимающей его и живущей им одним; им вновь овладела тоска по идеальной любви. На другой же день он пригласил мисс Уэллер и ее отца к завтраку и познакомил со своим другом Т. Дж. Томпсоном, с которым в дальнейшем надеялся беседовать и переписываться об этом интересном для него предмете. Из Бирмингема, куда он отправился, чтобы председательствовать на вечере Политехнического института, он писал Томпсону: «Я не могу говорить о

мисс Уэллер в шутливом тоне: она слишком хороша. Интерес, пробудившийся во мне к этому созданию — такому юному и, боюсь, осужденному на раннюю смерть, перешел в серьезное чувство. Боже, каким безумцем сочли бы меня, если бы кто-нибудь смог разгадать, какое удивительное чувство внушила она мне!» Дня через два он написал своей сестре Фанни: «Не знаю, но, кажется, если бы не воспоминания о мисс Уэллер (хотя и в них кроется немало терзаний), я бы тихонько и с большим удовольствием повесился, чтобы не жить больше в этом суетном, вздорном, сумасшедшем, неустроенном и ни на что не похожем мире». Он послал мисс Уэллер томик стихотворений Теннисона, подаренный ему самим поэтом, и написал ее отцу о ее необыкновенных душевных качествах. 11 марта, через двенадцать дней после того, как Диккенс познакомил ее с Т. Дж. Томпсоном, он узнал, что его друг влюблен в мисс Уэллер и хочет на ней жениться. «Клянусь, когда я вскрыл сегодня утром Ваше письмо и прочел его, — писал Диккенс, — я почувствовал, как кровь отхлынула у меня от лица — не знаю уже куда. У меня даже губы побелели. Никогда в жизни не был я так поражен. Вся жизнь, казалось, замерла во мне на мгновение, когда, лишь взглянув на Ваше письмо, я понял, о чем в нем говорится». Оправившись от потрясения, он научил Томпсона, как уговорить отца девушки, и 29 марта уже поздравил друга, обручившегося с Кристианой Уэллер. Помолвку Томпсона, признался он невесте, он принимает так близко к сердцу, что, не будь сам женат, он был бы «чрезвычайно рад и счастлив» пронзить тело друга «добрым стальным клинком». Итак, вдохновив Диккенса на создание вышеупомянутого любопытного эпизода в «Мартине Чезлвите», Томпсон женился на Кристиане и имел от нее двух дочерей, одна из которых, леди Батлер, стала известной художницей, а другая, миссис Элис Мейнелл, — писательницей. Чувство безнадежности, вызванное у Диккенса этим увлечением, проскальзывает под конец романа в словах Огастеса Моддля:

«— Странно, — заметил Том, — что на этих улицах, запруженных народом, пешеходы не попадают под колеса чаще.

— Кучерам бы это все равно не удалось, — с мрачным видом отозвался мистер Моддль.

— Вы хотите сказать... — начал было Том.

— Что есть на свете люди, — прервал его Моддль с невеселым смешком, — которых никак не задавишь. Они как будто заколдованы. Фургоны с углем так и отскакивают от них. Даже кэбы не желают их задавить. О да, — добавил Огастес, заметив, как удивился Том, — есть такие люди. Один мой друг как раз таков».



Но вот в Америку прибыли выпуски, посвященные приключениям Мартина за океаном. История литературы не знает ни одного произведения, вызвавшего такую бешеную злобу, какая охватила заокеанский материк. По словам Карлейля, «Янки Дудль зашипел, как гигантская бутылка с содовой», а Диккенс заметил, что «за океаном из-за Мартина одурели, взбесились и ополоумели». К нему приходили сотни писем с оскорблениями, с непечатной бранью — часто, впрочем, напечатанной: присылали и газеты. Диккенс, не вскрывая, отправлял их обратно на почту. Поток обвинений и проклятий принял такие размеры, что осенью 1843 года, когда Макриди собрался за океан, Диккенс не поехал в Ливерпуль провожать его: об этом могли пронюхать, и актеру не поздоровилось бы. «Что бы Вы обо мне ни прочли, что бы ни услышали, — писал Диккенс Макриди, — что бы ни сказали обо мне Вам или в Вашем присутствии, никогда не возражайте, никогда не оскорбляйтесь, не называйте меня своим другом и никоим образом не заступайтесь за меня. Я не только совершенно освобождаю Вас от этих услуг, но убедительно прошу Вас считать молчание Вашим долгом перед теми, кому Вы близки и дороги. С меня довольно и того, что я буду с Вами в Вашем сердце, быть еще и у Вас на устах я не желаю... Далее: не шлите мне писем по почте, а, когда будете писать другим, вкладывайте в конверт письма ко мне, и пусть они доходят до меня таким образом. Да смотрите держитесь твердо, не проговоритесь как-нибудь из дружеских чувств ко мне». Макриди, считавший прежде, что Диккенс обошелся с американцами слишком круто, убедился, что был не прав. «Лучше черствая корка в Англии, чем столы, уставленные яствами, здесь, — писал он в 1848 году из Бостона. — Лучше умереть в Англии, даже в грязной канаве, чем на нью-йоркской Пятой авеню».

Англичане оказались менее чувствительны к насмешкам, чем американцы: Пексниф — воплощение слабых черточек английской нации — лишь позабавил их. Впрочем, если судить по тому, как книга расходилась, он все-таки показался им недостаточно забавным. Из первых выпусков разошлось всего тысяч по двадцать экземпляров, а ведь «Пиквика» и «Никльби» расхватывали по сорок и пятьдесят тысяч, а еженедельные выпуски «Барнеби Раджа» и «Лавки древностей» — по шестьдесят и семьдесят. Диккенс был больно задет: он-то чувствовал, что «Мартин» гораздо лучше его прежних романов. А тут еще Чэпмен и Холл подлили масла в огонь, потребовав на основании одного из пунктов договора, чтобы автор возместил им разницу между своим ежемесячным гонораром и выручкой от продажи романа. Диккенс, и без того крайне раздосадованный, окончательно рассвирепел. «Меня так раздражают, так

бьют по самым больным местам, — писал он Форстеру, — что в груди моей бушует огонь — и вовсе не творческий». Он стал немедленно искать себе другого издателя, попросил Форстера начать переговоры с фирмой «Бредбери и Эванс» и объявил о своем решении уплатить Чэпмену и Холлу все деньги и выложить им все, что о них думает.

Плачевный финансовый итог его следующей книги, «Рождественской песни», еще больше усложнил положение вещей. Этот рассказ был начат осенью 1843 года, то есть именно в то время, когда рождался в муках «Чезлвит», и овладел Диккенсом безраздельно. Он «рыдал и смеялся и снова рыдал», работая над «Песнью», и, взволнованный, «не раз вышагивал по пятнадцать, а то и двадцать миль по темным улицам ночного Лондона, когда все здравомыслящие люди уже давным-давно улеглись спать». Чтобы обуздать непомерный аппетит Чэпмена и Холла, Диккенс решил издать «Рождественскую песнь» на комиссионных началах: то есть все расходы по ее изданию взять на себя и заплатить издателям комиссионные от продажи. Однако его расчеты не оправдались. Повесть имела большой успех, но вместо желанной тысячи фунтов стерлингов принесла автору тысячи лестных отзывов от самых различных читателей. Диккенс, естественно, заключил, что издатели «умышленно раздули издержки, чтобы запугать меня непомерными затратами и заставить вернуться к прежним условиям». На самом же деле выручка от продажи небольшой книжки, по-видимому, просто не могла покрыть расходов по ее изданию, а издана она была роскошно. Как бы там ни было, но только Диккенс, глядя на растущие счета, тревожился не на шутку. «Мало сказать, что мне ставят палки в колеса, я вообще того и гляди окажусь в тупике. Нежданно-негаданно — и такая неприятность! Со мной в жизни не случалось ничего подобного!» Он уже видел себя окончательно разоренным и решил сдать свой дом, уехать вместе с семьей за границу и зажить скромной, размеренной жизнью. Но прежде всего нужно было все-таки порвать с Чэпменом и Холлом. Форстер был у них литературным консультантом, так что все хлопоты пришлось поручить другу юности Томасу Миттону.

Печатники Бредбери и Эванс сначала с опаской отнеслись к перспективе стать издателями. Прельстила их в конце концов другая перспектива: возможность выкачать неплохой капиталец из Чарльза Диккенса. Итак, Бредбери и Эванс рискнули. За две тысячи восемьсот фунтов Диккенс обязался отдать им четвертую долю всего, что заработает за ближайшие восемь лет. Когда и что он будет писать, полностью предоставлялось решать ему самому. Все расчеты с Чэпменом и Холлом

были закончены, и их деловые отношения с Диккенсом — тоже. А между тем каких-либо семь лет назад он уверял их в том, что «все мои усилия сейчас направлены на то, чтобы упрочить наше приятнейшее содружество».

Те, кто строго осуждает Диккенса за его манеру обращаться со своими издателями, просто страдают недостатком воображения. Ведь без этого горячего темперамента — причины всех его «взрывов» — он не был бы Диккенсом. Те же самые качества, которые помогали ему создавать его поразительные книги, мешали ему сохранять спокойствие, когда он считал, что с ним поступают несправедливо. Это был человек легковозбудимый, с резко меняющимися настроениями, иногда мягкий и жалостливый, а иногда непреклонный и беспощадный. Этим и объясняется отчасти необыкновенное богатство и разнообразие его творчества. За работой это был не один человек, а двадцать; в нем появлялись двадцать разных качеств, казалось бы никак между собою не связанных. Да и в жизни с ним случались не менее удивительные превращения. Так он мог до глубины души растрогать читателей — а заодно и самого себя — невзгодами Крэтчитов из «Рождественской песни»; написать проникновенную проповедь о том, что любовь к деньгам страшное зло, а потом расвирепеть лишь из-за того, что получил за эту самую «Рождественскую песнь» меньше, чем рассчитывал. Что касается Чэпмена и Холла, они имели вполне законные основания для того, чтобы обязать автора выполнить условия договора. Первые выпуски «Чезлвита» расходились плохо, и не было никаких признаков того, что дела поправятся. Но Чэпмен и Холл действовали неумно и неблагородно. Неумно потому, что не поняли, как отнесется к их поступку человек, отдающий своей работе все: мозг, душу — лучшее, на что он способен; неблагородно потому, что на его книгах они нажили целое состояние. Многочисленное семейство, которое нужно кормить: отец, мать, братья, жена и дети! Гости, которых нужно принимать, хочешь ты этого или нет! Сознание своей крепнущей силы и вместе с этим уверенность в том, что твои издатели зарабатывают на твоих трудах куда больше, чем ты сам! Да Диккенс был бы просто ангелом, если ответил бы этой паре скруджей в духа Боба Крэтчита. Диккенс не был ангелом, и осуждать его мог бы разве что святой, если он к тому же и гений, изнемогающий от непомерной работы. Потеряв Диккенса, Чэпмен и Холл лишь получили по заслугам.

Стремясь поправить собственные дела, Диккенс не забывал и о своих собратях по перу. «Условия, на которых Вы заключили договор, — писал он Томасу Худу, — позорны. Я хочу сказать, позорны для мистера

Кольберна, издателя. Нет сомнений в том, что он поступил как ростовщик, как биржевой спекулянт, как еврей-старьевщик, как скряга, выжимающий из Вас все соки, воспользовавшись Вашими временными трудностями».

Кое-кто был не прочь поживиться и за счет Диккенса, считая, что если некоторым его героям свойственны доверчивость и великодушие, то и автор, должно быть, безудержно щедр. Таких людей ждало быстрое и полное разочарование. Они попросту не учли, что самые веские причины выступать против алчности и крохоборства имеет человек, добывающий хлеб свой насущный в борьбе с вымогателями и Шейлоками. Какой-то бойкий еженедельник, посрамив даже литературно-театральных «пиратов», напечатал «сокращенный» вариант «Рождественской песни». Диккенс потребовал, чтобы этот номер еженедельника был запрещен, а владельцы издания возместили ему убытки — тысячу фунтов стерлингов. Тогда к нему явился ходатай от издателей, заявивший, что он взывает к его лучшим чувствам, в существовании которых он не сомневается, ибо в книгах мистера Диккенса выражены чувства, которые позволяют верить... и так далее и тому подобное. Диккенс возразил, что вышеупомянутые чувства вовсе не означают, что автор разрешает грабить себя со всех сторон. Чувства были истолкованы неверно, и автор надеется это доказать. Тогда издатели поспешили объявить себя банкротами, и Диккенсу пришлось уплатить около семисот фунтов судебных издержек. Из этой истории он извлек для себя полезный урок: лучше иметь дело с грабителем, чем с правосудием; грабитель только запустит руку тебе в карман, а правосудие оберет до нитки.

Работая над «Мартинотом Чезлвитом», Диккенс не забывал и о развлечениях, предаваясь им с присущим ему жаром и энергией. В Бродстерсе он совершал дальние прогулки — миль за двадцать, почти не сбавляя шагу. В Лондоне он иногда в хорошую погоду доходил до Хемпстеда и обедал с Форстером и Маклизом в «Джек Строз Касл». Бывал он и на светских вечерах, но увеселения такого рода не слишком привлекали его. На одном из вечеров в мае 1843 года его с женою встретил Теккерей. «Не помню, писал ли я Вам о шумном бале у миссис Проктер, о том, как великолепно была миссис Диккенс в розовом атласе и мистер Диккенс в желто-красном жилете и пышных кудрях». Легко представить себе, как поразились бы гости, услышав, что думает о них джентльмен «в желто-красном и в кудрях». «Торжественно заявляю, что, попадая в так называемое «высшее общество», всякий раз чувствую, что оно меня утомляет, что я ненавижу, презираю, отвергаю его. Какое неслыханное тщеславие, какое невообразимое невежество во всем, что происходит за его

дверью! Чем больше я наблюдаю его, тем глубже проникаюсь уверенностью, что близится время, когда, не сумев избавиться от собственных пороков, высшее общество будет вынуждено подчиниться людям, которые раз и навсегда избавят его от пороков, стерев его с лица земли». Страницы его книг, рисующие жизнь «света», также дышат далеко не добрым чувством.

Время от времени писателю приходилось бывать на так называемых «благотворительных обедах», где, икая от обильной и вкусной еды, толкуют о пожертвованиях в пользу бедняков, — и эти обеды тоже не приводили его в восторг: «Силы небесные! Посидели бы Вы со мной в этот понедельник на благотворительном обеде! Там были аристократы нашего Сити, произносившие такие речи! Любой мало-мальски сообразительный дворник сторел бы со стыда, если бы ему пришло в голову что-нибудь подобное. Прилизанные, слюнявые, толстобрюхие, перекормленные, краснорожие и сопящие скоты! И гости вскакивали с мест от восторга! Никогда в жизни не видел более наглядного доказательства власти Тугой Мошны! Никогда не видел и не слышал ничего более отталкивающего и унижительного». Как правило, он был слишком занят, чтобы посещать подобные сборища. В разгар работы над очередным романом заманить его куда-нибудь на званый обед могло лишь нечто «совершенно из ряда вон выходящее — как если бы в Китае у меня объявился брат-близнец, приехавший на родину всего на один день. Но такое ведь случается не часто». Подготавливая к печати очередной выпуск книги, он был вынужден отказывать себе в удовольствии встречаться с друзьями; более того: у себя дома ему тоже приходилось жить в тишине и одиночестве. Однажды он чуть было не сбежал из Бродстерса из-за того, что в соседнем доме оказалось пианино, «каждая нота которого — сплошная пытка».

Но было у него одно развлечение, которому он предавался так искренне и непосредственно, что его радость сообщалась окружающим и все невольно заражались его весельем. Джейн Карлейль рассказывает об одном безудержно веселом празднике, душою и заводилой которого был не кто иной, как Диккенс. Он заранее купил себе полный набор «магических» предметов, необходимых фокуснику, и у себя в комнате, один, каждый вечер учился проделывать таинственные и загадочные вещи. Он заставлял карманные часы исчезать и вновь появляться неведомо откуда совсем в другом месте. По его велению деньги из правого кармана вдруг оказывались в левом. Он сжигал носовые платки, дотрагивался до золы волшебной палочкой — и платки были снова целехоньки. Он мог превратить ящик с отрубями в живую морскую свинку, насыпать в

мужскую шляпу муки, добавить сырых яиц и еще кое-каких специй, поддержать все это на большом огне и затем извлечь из шляпы горячий, дымящийся пудинг с изюмом, а шляпу вернуть владельцу целой и невредимой. 21 декабря 1843 года на Кларенс-Террас справляли день рождения Нины, дочери Макриди. Сам Макриди находился в то время в Америке, и это было очень кстати, потому что с ним такого веселья не получилось бы. Обычно, если верить Диккенсу, отпрыскам Макриди разрешалось показываться, только «когда подавали сладкое. Каждому полагалось печенье и стакан воды, причем я глубоко уверен, что сей прохладительный напиток они неизменно пили с зубовным скрежетом: «Чтоб им лопнуть, этим прожорливым и жадным взрослым!» Поэтому более чем вероятно, что даже день рождения в присутствии Макриди был бы омрачен печатью послушания. Но актер был в Америке, и можно было резвиться вовсю. Перед знаменательным событием Джейн Карлейль целую неделю мучилась от бессонницы и чувствовала себя совершенно разбитой. Уезжая на Кларенс-Террас, Джейн выслушала утешительное напутствие своего супруга: «Уж не желтуха ли у тебя? Что за вид: лицо зеленое, глаза налиты кровью!» Но Джейн говорит, что ни одно лекарство не помогло бы ей лучше, «чем эта вечеринка, на которую я отправилась с тайным содроганием. Из всех вечеров, на которых я побывала в Лондоне, этот оказался, бесспорно, самым приятным». Помогать фокуснику Диккенсу вызвался Форстер, и оба «так старались, что пот лил с них градом, и они как будто *охмелели* от возбуждения!» Лучшего фокусника, чем Диккенс, Джейн, по ее словам, никогда не видела. Он откалывал такие номера, что мог бы отлично зарабатывать, выступая перед широкой публикой.

Потом начались танцы. «Диккенс чуть ли не на коленях упрасивал *меня* станцевать с ним вальс. Я, по-моему, и без того неплохо справилась со своей ролью: болтала несусветный вздор с *ним*, Форстером, Теккереем и Маклизом. Стоило ли еще искушать судьбу, пробуя совершить невозможное? И тем не менее *после ужина*, когда мы разошлись вовсю, оглушенные треском хлопушек и бесчисленными тостами, одурманенные шампанским, кто-то предложил контрданс, и Форстер, *обхватив меня за талию*, увлек на середину круга, в самую толчею, и *заставил* танцевать. Я закружилась в водовороте, иначе меня бы стерло в порошок! Улучив минутку, я взмолилась: «Отпустите меня, ради всех святых! Вы разобьете мне голову о створку двери!» На что он возразил (можете себе представить, каким тоном): «Хм, *голову!* Кому тут какое дело до голов? Пусть *катятся ко всем чертям!*»

Сказать по правде, все это уже становилось похожим на *похищение*

сабинянок!.. Но тут кто-то взглянул на часы и воскликнул: «Уже двенадцать!» После чего все мы ринулись в гардеробную, где веселье вспыхнуло с новой силой, перекинулось в прихожую и бушевало до последней минуты. Диккенс с женой забрали к себе Теккерей и Форстера «*скоротать вечерок дома*». Воображаю, что это будет за тихий вечерок! Завершится он, чего доброго, визитом в полицейский участок». В заключение Джейн пишет, что самое веселое общество — это нахалы и головорезы, вернее сказать, те, у кого достаточно нахальства, чтобы не считаться с «приличиями и всяческими *церемониями*». Вернувшись домой, она «заснула как убитая»: вечер, очевидно, действительно оказался для нее лучшим лекарством. А «доктор Диккенс» снова выступил в роли фокусника — под Новый год у Форстера, а потом вместе с ним и на Девоншир-Террас, где, облачившись в «магические одеяния», они выступали перед целой толпой детей и взрослых, собравшихся на день рождения его сына Чарли.

Вскоре после всех этих празднеств Диккенс выступил с речами в Ливерпуле и Бирмингеме перед питомцами технических училищ для рабочих, причем во втором случае для бодрости духа выпил за обедом пинту шампанского и пинту хереса. Выступать для слушателей учебных заведений он был готов когда угодно, и толпы народа, привлеченные его громкой славой, с восторгом убеждались в том, что великий писатель может быть и превосходным оратором. С радостью и не жалея сил он брался за дела, которых писатели обычно боятся больше всего на свете: устраивал званые обеды; добывал деньги, чтобы заплатить долги своего папеньки; сочинял стихи в альбом леди Блессингтон; обследовал тюрьмы; собирал средства в помощь семерым детям какого-то актера, попавшего в нужду; давал советы писателям; написал введение к книге одного рабочего; принимал большое участие в организации школы для детей бедняков и вел оживленную переписку с районным инспектором о неисправном дымоходе в доме на Девоншир-Террас. Диккенс просил инспектора прийти и посмотреть его камин; инспектор возразил, что не имеет никакого отношения к каминам. Инспектор предложил Диккенсу прийти к нему, на что Диккенс ответил, что таскать с собой камин крайне неудобно. Пусть лучше все-таки инспектор пожалует к нему, обследует камин и скажет, в порядке ли он. Инспектор продолжал упорствовать, а камин на Девоншир-Террас — дымить.



Во время работы над «Чезлвитом» Диккенс не жаловался на здоровье, если не считать простуды, от которой у него «оба уха оглохли, горло охрипло, нос покраснел, а физиономия позеленела, глаза слезятся и терпение лопается по каждому поводу». Впрочем, это не мешало ему воевать с издателями и «литературными пиратами». Но здоровье здоровьем, а все-таки нужно было отдохнуть и переменить обстановку; не мешало сократить и расходы, и Диккенс решил вместе со всем своим семейством на год уехать за границу. Он сдал свой дом, нанял курьера по имени Луи Рош, купил подходящую для путешествия огромную карету и начал с увлечением готовиться к прощальному обеду на Оснабург-Террас, где провел две недели перед отъездом: в его собственный дом уже въехали новые жильцы. Прощальный обед удался на славу, но с одним из гостей, Сиднеем Смитом, Диккенс, не зная того, прощался навсегда: пока он жил в Италии, Сидней Смит умер. Еще один обед — только для мужчин — в Гринвиче, и Диккенсы приплыли в Булонь, где глава семьи пошел в банк за деньгами и долго и мучительно объяснял по-французски цель своего



визита, пока чиновник не спросил его на великолепном английском языке: «Какими купюрами прикажете, сэр?»

И, звеня колокольцами, громяхая колесами, покати́лась по Европе вместительная карета, унося Чарльза Диккенса, его жену, свояченицу, пятерых его детей, трех слуг, курьера и няню.

## Тревоги и волнения

В СРЕДНИХ числах июля 1844 года путешественники прибыли в приморский пригород Генуи — Альбаро и поселились на вилле ди Баньярелло, которую снял для них Ангус Флетчер, уплатив раза в четыре больше, чем следовало. Флетчеру они отдали первый этаж, а сами заняли остальную часть дома. Дом был просторный, пустой, неудобный и горячо любимый жуками, комарами, блохами, мухами, скорпионами, ящерицами, лягушками, крысами и великим множеством кошек. Зато из окон открывался божественный вид. Диккенс привез с собою рекомендательные письма ко многим именитым генуэзцам, но не воспользовался ими, а вскоре именитые жители Генуи и сами пожаловали к нему и в их числе — английский и французский консулы. «Я очень часто прибегаю к своему старому верному приему: скрываюсь от гостей и предоставляю Кэт принимать их», — рассказывал Диккенс. Он купался, обследовал окрестности, гулял по холмам, забирался в глухие уголки Генуи, и у него создалось впечатление, что всю страну заполонили священники, причем самого гнусного вида. (То же самое наблюдали в романских стенах и другие англичане — как тогда, так и шестьдесят лет спустя.)

И в добродетели крупница зла бывает,  
Лишь следует получше присмотреться... —

как мог бы сказать по этому поводу Шекспир. Что касается Диккенса, то ему были в равной степени отвратительны как зловещие отцы католической церкви, так и велеречивые пастыри его родной Англии. Не в пример прочим английским путешественникам он с усердием принялся изучать язык чужой страны: занимался каждый день, нашел себе итальянца, который приходил с ним разговаривать, и в конце концов стал чувствовать себя «на улицах храбрым, как лев. Удивительно, с какой наглостью начинаешь изъясняться, зная, что другого выхода нет». И хотя все здесь глаз ласкало — и мерзок был лишь человек<sup>[104]</sup>, — климат на первых порах тоже не оправдал его ожиданий. Стояла такая гнетущая жара, что он чувствовал непреодолимое желание «свалиться где-нибудь — все равно где, — да так и лежать». Небо здесь было не более лазурным, чем над Хемпстед-Хит, но Северное море все-таки значительно уступало по

синеве Средиземному. Все прочее, начиная от насекомых и кончая людьми, имело здесь по сравнению с Англией гораздо более внушительный вид. Кузнечики были, очевидно, из Страны великанов, судя по тому, как громко они стрекотали. Если двое генуэзцев останавливаются посреди улицы, чтобы «потолковать по-дружески, кажется, что они вот-вот кинутся друг на друга с ножами». Даже в прачечной к делу относились с южной страстью: «Через шесть недель после первого знакомства с прачечной мои белые брюки могли бы отлично сойти за рыбацкую сеть».

Неизменная любознательность и живой темперамент не давали Диккенсу усидеть на месте, и по крайней мере раза два он поплатился за это. На званом обеде у французского генерального консула какой-то итальянский маркиз стал читать свои стихи в его честь. В стихах торжественным слогом, столь милым сердцу патриота, говорилось о взятии Танжера Жуанвилем, и Диккенсу стоило немалого труда, сдерживая улыбку и сохраняя на лице выражение самого крайнего восторга, внимательно смотреть в рот чтецу, как будто стараясь не пропустить ни слова. Усилия его, видимо, увенчались полным успехом: маркиз пригласил его к себе на пышный вечер. Диккенс пришел. Сначала все шло сносно: мороженое, танцы... Но когда стало ясно, что в ближайшие четыре часа, кроме танцев и мороженого, ждать нечего, Диккенс решил спастись бегством до полуночи, пока не закроются генуэзские ворота. Спускаясь под гору в темноте, он на бегу споткнулся о шест, перекинутый через улицу, и растянулся. Вскочив, весь белый от пыли, он ощупал себя, убедился, что костюм порван, но сам он, кажется, невредим, и успел добежать до ворот в самый последний момент. До дому он дошел пешком. Все бы ничего, но от сильного удара у него начался приступ той самой «нестерпимой и неопишимо мучительной боли в боку», от которой он страдал с детства.

А три недели спустя он перенес настоящее потрясение. Его брат Фредерик, приехавший к нему в гости, купаясь, попал в полосу сильного течения и, конечно, утонул бы, если бы не рыбацье суденышко, как раз в это время выходившее из гавани. Это происшествие разыгралось прямо на глазах у всей семьи: «За эти четыре-пять страшных минут мы пережили целую вечность ужаса и отчаяния».

В октябре Диккенсы приехали из Альбаро в Геную и поселились в Палаццо Пескьера (Дворце рыбных прудов), одном из красивейших итальянских дворцов с изумительным видом на город и гавань. Окруженный парком дворец, с огромным залом в пятьдесят футов высотой и фресками, написанными итальянским художником, тезкой Микеланджело, с фонтанами, террасами и благоухающими садами,

очаровал Диккенса. Он был похож на «дворец из волшебной сказки», и Диккенс часто и подолгу простаивал в холле, любуясь видом, «как в каком-то счастливом сне». Платил он за дворец пять фунтов в неделю: оказалось, что в Италии можно жить по-царски на те деньги, которых едва хватило бы на жизнь бедному поэту в Англии. У Диккенсов появилась ложа в опере, завелись друзья и знакомые, погода тоже наладилась, и все-таки Диккенс никак не мог взяться за работу, скучая по Лондону и чувствуя себя, как рыба на песке: «Писал ли я вам, сколько у нас здесь фонтанов? Но что толку! Даже если бы из них струился нектар, они не понравились бы мне так, как наши, вест-миддлсекские, на Девоншир-Террас». Без лондонских улиц и лондонской толпы у него пропадало вдохновение. «Поставьте меня часов в восемь вечера на мосту Ватерлоо, дайте побродить, сколько мне вздумается, и я, как Вы знаете, вернусь домой, горя желанием работать и работать. А здесь все как-то не по мне. Не могу взяться за дело».

Прошло уже более года, как он задумал написать новую книгу, опять на рождественскую тему, «возвысить голос в защиту бедняков», но с тех пор, как он поселился в Италии, он еще не написал ни строчки. Что сказать — он знал, но как? Однажды он сидел за столом, пытаясь заставить себя работать, как вдруг раздался благовест. Забили, затрезвонили все генуэзские колокола, мешая ему сосредоточиться, наполняя бессильной яростью. Но вот перезвон затих, Диккенс успокоился, и в голове у него зазвучала фраза Фальстафа: «Да, приходилось нам слышать, как бьет полночь, мистер Пустозвон». И с этого момента он уже был целиком во власти своих «Колоколов». Вскоре в Генуе был устроен раут по случаю приезда губернатора. Диккенс попросил английского консула объяснить, что он не может прийти.

— А где же великий бард? — спросил губернатор. — Я хочу видеть великого барда.

— Великий бард работает, ваше превосходительство. Он пишет книгу и просит вас извинить его.

— Извинить? — воскликнул губернатор. — Такому занятию я не решился бы помешать ни за что на свете. Пожалуйста, передайте синьору Диккенсу, что, когда бы он ни решил почтить меня своим присутствием, мой дом для него открыт. Но только когда ему удобно, не иначе. И пусть никто из вас, джентльмены, не нарушает покой синьора Диккенса, пока не станет известно, что он свободен.

Вот хороший пример того, как правителям следует относиться к художникам.

Диккенса больше не беспокоили колокола: «Пусть теперь звонят себе,

сколько им вздумается, во всех церквях и монастырях Генуи: я ничего не вижу, кроме старинной лондонской колокольни, куда я их перенес». «Все в порядке, — сообщил он Форстеру. — Одержим «Колоколами». Встаю в семь. Холодный душ, завтрак, и часов до трех работаю, работаю как безумный. В три обычно кончаю, если нет дождя... Из-за этой книги стал здесь, на чужбине, бледен как мел. Щеки, начинавшие уж было округляться, снова провалились, глаза стали огромными, волосы повисли безжизненными прядями, а в голове под этими прядями горячо и туманно. Перечтите сцену в конце третьей части. Я ни за что на свете не написал бы ее снова. Я пережил столько горя и волнений, как будто все это случилось наяву. Книга будила меня по ночам. Дописав ее вчера, я был вынужден запереться в доме, потому что мое лицо распухло, стало почти вдвое больше обычного, и я имел невообразимо нелепый вид... Пойду прогуляюсь как следует, чтобы голова стала ясной. Доработался: все плывет перед глазами. На сегодня достаточно». 4 ноября, проливая горькие слезы, он дописал «Колокола». «Сюда вросли, вплелись все мои страсти и привязанности, — говорил он. — Потрясающая книга! «Рождественская песнь» — ничто перед нею».

Его так волновала судьба «Колоколов», что он решил съездить в Лондон, держать корректуру, отобрать иллюстрации и прочесть повесть в тесном кругу друзей у Форстера. Перед отъездом он побывал в нескольких городах северной Италии: в Парме, Болонье и Вероне — и был «слегка обескуражен», увидев, что Мантуя — место изгнания Ромео — находится всего за двадцать миль от Вероны. Заехал он и в Венецию, которая поразила его больше любого города на свете: «Великолепие и красота Венеции не поддаются описанию. Такого города не увидит во сне курильщик опиума. Даже волшебные чары не в силах создать видение более пленительное... Ее нельзя видеть без слез... Прелесть ее невыразима. Никогда прежде не видел города, о котором страшно говорить. Я чувствую, что рассказать о Венеции невозможно». Кисть, перо, карандаш — все это могло дать лишь самое общее представление о невообразимо прекрасной действительности. Память о Венеции осталась с ним на всю жизнь. «Эти три дня были подобны сказкам «Тысячи и одной ночи», но только в тысячу и один раз необычайнее и фантастичнее». Жена и свояченица на несколько дней приехали к нему в Милан и вернулись в Геную. Диккенс переправился через Симплон и поехал через Страсбург и Париж в Лондон.

Сразу же по приезде он отправился на Ковент-гарден в кафе «Пьяцца» и «попал прямехонько в объятия» Маклиза и Форстера. Две из

иллюстраций к его рождественскому рассказу — гравюры Ричарда Дойла и Джона Лича — ему не понравились. Он пригласил обоих художников позавтракать вместе с ним. «Пустил в ход то неотразимое обаяние, с которым ты хорошо знакома, — писал он жене, — и оба в отличнейшем расположении духа взялись сделать гравюры заново». Состоялось и чтение у Форстера. Пришли Карлейль, Маклиз, Стэнфилд, Макриди, Ламан Бленчард, Дуглас Джеролд и еще кое-кто. Рассказ имел успех, о чем Диккенс незамедлительно сообщил жене: «Если бы ты видела, как плакал вчера Макриди, как он рыдал, не стыдясь своих слез, ты почувствовала бы вместе со мною, что значит власть над людьми». Впоследствии это желание наслаждаться ощущением своей власти значительно сократило ему жизнь.

Вскоре после этого чтения Макриди приехал в Париж, чтобы играть там в шекспировских спектаклях, и Диккенс на обратном пути в Геную несколько дней провел вместе с другом в столице Франции. В день его отъезда Макриди написал в дневнике: «С нами обедал Диккенс. В половине шестого он уехал, так что это, очевидно, мой последний хороший день в Париже». Дело было в середине декабря, всю дорогу стоял лютый холод. Диккенс пишет, что в Марселе его вынули из кареты «совершенно окоченевшим и приняли за часть багажа. Но, не обнаружив на мне почтового адреса, решили осмотреть меня более тщательно и, наконец, заметили «признаки жизни», выражаясь языком газет. Потом на борту парохода меня одолел такой приступ морской болезни, что мне по-настоящему следовало бы тут же написать завещание — если бы у меня было что завещать. Правда, у меня был тазик, но с ним я в те минуты расстаться не мог».

Возвратившись в свой дворец, он снова захотел поближе познакомиться с Италией и в конце января 1845 года поехал вместе с женою на юг. Для Кэт эта поездка сложилась не особенно удачно: в Риме они встретили чету де ля Рю и дальше путешествовали вместе. С банкиром де ля Рю, швейцарцем по национальности, и с его женой англичанкой Диккенсы познакомились еще в Генуе. Обо всем остальном написал сам Диккенс двадцать пять лет спустя: «Я близко сошелся с ее мужем... Узнав, что она ужасно страдает от невралгии (о том, что у нее есть и другие болезни, я в то время не знал), я признался ему, что обладаю животным магнетизмом редкостной силы (в его эффективности при нервных расстройствах я уже имел возможность убедиться). Я сказал, что буду рад помочь ей. Ни одного из обычных явлений у нее не было, но через месяц она стала спать по ночам, хотя уже много лет не спала, и так поразительно изменилась, что даже ее мать была потрясена. Потом она мне призналась,

что ее давно уже преследуют мириады кровавых видений, самых чудовищных, но теперь они все поблекли и *опустили покрывала на лица*. С тех пор она с мужем сопровождала меня во всех поездках по Италии. Я гипнотизировал ее ежедневно, иногда где-нибудь под оливой, иногда в винограднике, в экипаже, а то и в придорожной таверне в час полуденного зноя. Однажды ночью, в Риме, меня вызвал к ней ее муж. У нее был нервный припадок. Она лежала, свернувшись плотным клубком, и понять, где у нее голова, можно было, лишь проведя рукою по ее длинным волосам и нащупав их корни. Прежде такой припадок продолжался у нее по крайней мере часов тридцать. Это была страшная картина; я уж стал сомневаться, смогу ли ей помочь. Однако через полчаса она спала покойным и естественным сном, и на другое утро была совсем здорова. Когда я в тот раз уехал из Италии, ее видения исчезли. С течением времени они появились снова и с тех пор мучали ее всегда».

Миссис де ля Рю казалась Диккенсу «превосходнейшим и нежнейшим созданием», и нужно полагать, что так оно и было. К несчастью, всем женам органически противны самые лучшие человеческие качества женщин, вызывающих у их мужей сочувствие и интерес. В конце концов Кэт пришлось сознаться Чарльзу, что общество супругов де ля Рю для нее невыносимо. Да, эти дни, несомненно, были для Кэт тяжелым испытанием. Можно ли порицать женщину, которой больно видеть, как ее муж в три часа ночи пускает в ход магнетические флюиды, пытаясь придать естественное положение телу дамы в ночной рубашке? Пришлось Диккенсу «взять на себя тягостную миссию: сообщить чете де ля Рю о твоём душевном состоянии». Однако лет через девять, снова приехав в Геную и встретившись с супругами де ля Рю, он написал жене, что она поступает неправильно. Одним из качеств, отличающих его от всех прочих людей, писал он, является способность «неустанно стремиться к осуществлению идеи, целиком захватившей меня». Эта его особенность дала Кэт богатство и положение в обществе, но ею же объясняются и гипнотические сеансы с миссис де ля Рю. Он дал жене понять, что, вкушая прелести первого, она могла бы примириться и со вторым. Супруги де ля Рю шлют ей поклон, и ей следовало бы ответить тем же, ибо «по отношению к этим людям ты поступаешь нехорошо, нелюбезно, невеликодушно — и это недостойно тебя». Он ни о чем ее не просит. Пусть ее сердце подскажет ей, как уместно и справедливо поступить. Она должна решить сама и действовать по собственному усмотрению. Что ж, он был прав, утверждая, что не просит ее поступать так, как ему хочется. Письмо его звучит вовсе не как просьба — это приказание. Кэт безропотно

повиновалась. Не прошло и трех месяцев с того дня, как он отправил свое назидательное послание, — и он уже передал мистеру де ля Рю поклон от своей жены, спрашивая, получила ли миссис де ля Рю ее письмо «с рецептами итальянской кухни».

В Генуе для Кэт сложилась тяжелая обстановка. Диккенс был недоволен еще и ее отношением к Сьюзен, дочери Макриди. По той же причине впала в немилость и Джорджина, ее сестра. Сьюзен Макриди приехала к ним в гости осенью 1844 года. Это была, судя по всему, глупая девчонка с удивительной способностью действовать окружающим на нервы. Кэт и Джорджина с трудом скрывали свое раздражение. Тогда Диккенс написал жене из Пармы, напомнив, как они обязаны Макриди: ведь когда они были в Америке, актер взял на свое попечение их детей. «Ни в коем случае не допускай, чтобы естественное неудовольствие ее глупыми выходками (я говорю о Сьюзен) хотя бы в какой-то степени помешало тебе исполнить твой священный долг, — предостерегал он. — Ты в подобных случаях слишком уж легко поддаешься минутной вспышке досады или недовольства, Джорджи — тоже... Я огорчился (о чем непременно сказал бы Джорджи перед отъездом, если бы представилась возможность), видя, как она совершает вопиющее, непростительное безрассудство, — я имею в виду ее письмо к Форстеру (она поймет, о чем идет речь). Это письмо для него — отличная возможность совершенно исказить все события, и он будет рад ею воспользоваться. Я никогда не простил бы себе — и тебе, — если бы по столь чудовищно нелепой причине между мною и Макриди возникла хоть тень отчуждения или неприязни. А я предсказываю тебе, что это произойдет непременно, если ты не будешь обращаться с девочкой осторожнее, чем с раскаленным железом, если не станешь мягче, нежнее. Можешь быть уверена, что весь этот месяц в Пескьере она никому так не мешала, как мне... Я, однако, так высоко чту гостеприимство (даже если оно не связано ни с какими другими обязательствами), что не позволю себе задеть даже Флетчера, хотя иной раз едва сдерживаюсь, чтобы не «осадить» его». Заключив свое письмо новыми наставлениями по поводу того, как его жене вести себя со Сьюзен, Диккенс отправился в Лондон, чтобы прочесть там свои «Колокола» и увидеться с тем самым Форстером, которого, судя по этому письму, уже видел насквозь. Впрочем, когда у Форстера примерно в это же время умер единственный брат, Диккенс написал ему: «У Вас остался еще один брат, связанный с Вами не менее прочными узами, чем узы кровного родства». О непостоянстве его нрава свидетельствует еще и такой поступок: лишь неделю спустя после сурового письма из Пармы он пригласил в Геную на рождество Дугласа Джеролда с женой и, уговаривая



его приехать, сделал приписку: «Ручаюсь, что такой доброй души, как моя женушка, такой противницы жеманства и чопорных манер не сыщешь на белом свете».

В начале 1845 года, возвратившись из Лондона, Диккенс, как уже было сказано, уехал с женою на юг Италии. В Риме супругам довелось побывать на карнавале: «Каждый день в два часа пополудни мы выплываем в открытой карете, захватив большущий пакет леденцов и по крайней мере пятьсот букетиков, которыми забрасываем прохожих... Жаль, что Вы не увидите, как, встретившись с шикарным «разбойником», я ловко швыряю пригоршню огромных конфетти прямо ему в нос! Ничто в жизни не удавалось мне с таким блеском. «Колокола» — ничто в сравнении с этим!» Старый город, Колизей и Кампанья произвели на него глубокое впечатление, зато современная часть Рима не понравилась вовсе, а собор Святого Петра<sup>[105]</sup> он охотно променял бы на любой английский собор. В Неаполе их догнала Джорджина, и они втроем взбирались на Везувий, пережив, как и полагается в таких случаях, массу всяческих страхов и ужасов. Знаменитый залив оказался «несравненно хуже Генуэзского», город был грязен, неаполитанцы, как выяснилось, препротивный народ, а дом неаполитанца похож на свиной хлев. Вернувшись в Рим, Диккенсы встретили чету де ля Рю — и начались неприятности...

Заехав во Флоренцию, путешественники в начале апреля вернулись в Геную, где не были вот уж около десяти недель. За время отсутствия Диккенс потолстел. «Я замечаю, что от моего жилета нет-нет да и отлетит пуговица, и с какой еще силой!» Физиономию его украсили довольно длинные усы, без которых, объявил он, «жизнь утратила бы всякую прелесть!». В июне Диккенсы отправились к себе на родину, миновав по дороге в Швейцарию Сен-Готардский перевал (что было в те дни не на шутку опасно) и на неделю задержавшись во Фландрии, где отлично провели время с Форстером, Маклизом и Джеролдом — без усталости болтали, осматривали достопримечательности и оглашали воздух громким хохотом.

Возвращаться домой всегда приятно, а его к тому же ждало известие о том, что Бредбери и Эванс заплатят ему за «Колокола» значительно больше, чем Чэпмен и Холл за «Рождественскую песнь». Казалось бы, куй железо, пока горячо, и берись за новую повесть! Но Диккенс задумал совсем другое. Не теряя ни минуты, он взялся за создание журнала — еженедельника, такого же жизнерадостного, как и его основатель, пронизанного «духом сердечности и тепла, щедрого веселья и благожелательности — словом, всего, что связано с понятием «домашний

очаг». Ему хотелось назвать еженедельник «Диккенсом», но это было неловко (ведь «диккенс» значит еще и «черт»), и он придумал другое название: «Сверчок». «Будет себе стрекотать в каждом номере, — писал он Форстеру, — «чирп» да «чирп», — глядишь, и настрекочет мне тысяч эдак — ну, вам лучше знать сколько!» Но Форстер «отстрекотал» его от этой затеи, и вскоре он был уже поглощен новыми, более широкими планами — теперь уже выпускать газету, которая могла бы конкурировать с «Таймсом», выступать в поддержку радикальных реформ и защищать прогрессивные идеи. От первоначального замысла уцелело лишь слово «Сверчок» — половина названия его новой «рождественской» книги: «Сверчок на печи». (Книга вышла в декабре 1845 года, и спрос на нее оказался вдвое больше, чем на все предыдущие.)

Что касается новой газеты, она приобрела известность под названием «Дейли ньюс». Бредбери и Эванс издавали и частично финансировали ее, но большую часть капитала для своего нового предприятия Диккенс раздобыл у друзей — главным образом у Джозефа Пакстона<sup>[106]</sup> (будущего автора Хрустального дворца). Итак, начало было положено, и Диккенс взялся за дело. Он обратился к ведущим критикам, писателям и журналистам, предложив им лучшие условия, чем те, на которых они работали. Редактору, то есть себе самому, он предложил две тысячи фунтов в год, и редактор согласился. Нужно сказать, что Бредбери и Эванс назначили редактору более скромное жалованье — всего тысячу фунтов. Дело кончилось тем, что другим газетам пришлось либо расстаться со своими лучшими сотрудниками, либо прибавить им жалованье. Едва ли нужно говорить, как возмутились и встревожились владельцы, издатели и редакторы. Среди газетчиков — не считая, конечно, тех, кому такая щедрость оказалась на руку, — имя Диккенса приобрело самую дурную известность. Все вакансии в газете он, по мере возможности, постарался распределить между своими родными и знакомыми, что с точки зрения дружбы было очень похвально, но службе зачастую шло во вред. Диккенс-отец ведал репортерами, тесть Диккенса получил отдел музыкальной и театральной критики, дядя стал штатным сотрудником газеты, леди Блессингтон согласилась доставать по секрету материал для светской хроники. Статьи тоже заказывались друзьям: Форстеру, Джеролду, Ли Ханту и Марку Лемону. Дел было хоть отбавляй, но они не мешали Диккенсу совершать свой обычный моцион: в канун рождества 1845 года он писал: «Я по-прежнему хожу пешком в Харроу, вчера меня едва не унесло ветром на Хемпстед-Хит, а на днях под проливным дождем ходил в Финчли. Каждое утро принимаю холодную ванну и до вечера налаживаю

механику «Дейли ньюс».

В газете все уже шло как по маслу, когда начались неприятности с Бредбери и Эвансом. То ли им пришлось не по вкусу размеры диккенсовского жалованья, то ли чересчур властные манеры редактора — как знать? Форстер, например, сообщил Макриди, что худшего редактора, чем Диккенс, представить себе невозможно. Впрочем, «деликатность» Форстера-биографа в данном вопросе граничит с искажением фактов; ему не следует доверять еще и потому, что несколько лет спустя Диккенс опять работал в качестве редактора, и блестяще. Более того, по свидетельству У. Дж. Фокса, одного из виднейших представителей Лиги борьбы против хлебных законов<sup>[107]</sup> и главного автора передовиц, Форстер постоянно затевал в редакции склоки: «Как только мнения разделяются, Форстер почти всегда выступает против меня и Диккенса». Как бы то ни было, но через неделю после выхода в свет первого номера газеты Бредбери и Эванс нанесли Диккенсу серьезное оскорбление. Первый номер вышел 21 января 1846 года, хотя в четыре часа утра это было еще очень сомнительно. Если верить Джозефу Пакстону, оказалось, что печатник ничего не смыслит в типографском деле и нужны были нечеловеческие усилия, чтобы все-таки выпустить номер. «Четыре часа тянулось томительное ожидание, какого я не испытывал никогда в жизни, — пишет Пакстон, — даже в тот день, когда моя любимая жена разрешалась от бремени». Читатели наинулись на газету и за несколько часов расхватили более десяти тысяч экземпляров. В ней был напечатан первый выпуск диккенсовских «Картинок Италии» — лакомая приманка! Зато редакторы-конкуренты, взглянув на «Дейли ньюс», успокоились: неумело сверстана, неудачный шрифт, плохая бумага. Вечером издательства-конкуренты ликовали. В издательствах-конкурентах люди поздравляли друг друга. А «Дейли ньюс» после многочисленных злоключений все-таки добилась успеха. Диккенс же, оказавший немалую услугу газетчикам, повысив им жалованье, три недели спустя расстался с «Дейли ньюс». (Его место в редакторском кресле занял Форстер, и тоже ненадолго.)

Отчего это произошло? Заглянем в письмо Бредбери и Эванса от 28 января. «Кое-кто, — писали Бредбери и Эванс, не называя имен, — считает, что один из сотрудников Диккенса не годится как помощник редактора». 30 января в ответном письме Диккенс потребовал, чтобы ему сказали, чье это мнение. «Я категорически заявляю, что немедленно уйду из газеты, если вы не сообщите, кто это сказал. Впрочем, считаю своим долгом добавить, что я, весьма вероятно, все равно уйду. Решительно всякий — тем более на моем месте — расценил бы Ваш поступок как вопиющую и

непростительную грубость. Я глубоко возмущен и намерен поступить соответственно». С владельцами газет — или даже совладельцами — редакторы обычно не разговаривают в подобном тоне. Боясь, что он передумает, один из партнеров, Бредбери, старался систематически доводить Диккенса до белого каления, не давая ему остыть, и так в этом преуспел, что через полмесяца после ухода из газеты Диккенс писал Эвансу: «Что касается Вашего партнера, я сейчас не настроен вести с ним личные переговоры. Я считаю, что его постоянное вмешательство во все, что бы я ни делал, было в равной степени невежливо по отношению ко мне и вредно для газеты». Далее Диккенс подробно перечисляет все неприятности, которые причинил ему Бредбери, главным образом тем, что платил некоторым из сотрудников меньше, чем обещал Диккенс: «...он всякий раз ставил меня в такое гнусное и оскорбительное положение, что одно воспоминание об этом снова приводит меня в бешенство». Судя по всему, можно заключить, что для Бредбери «каждый, кто в вознаграждение за свои услуги получает жалованье, — личный враг, к которому следует относиться подозрительно и недоверчиво». К этим обвинениям Диккенс счел нужным добавить: «Больно сознаться, но я замечал, что часто отношение мистера Бредбери к моему отцу вовсе не делает чести ему и бестактно по отношению ко мне. Между тем нужно сказать, что среди людей, связанных с газетой, нет сотрудника более ревностного, бескорыстного и полезного». Вполне вероятно, что Бредбери и Эванс были чем-то вроде Спенлоу и Джоркинса<sup>[108]</sup>, поменявшихся ролями, и в критические моменты по очереди расплачивались за промахи своей совместной политики. Диккенс постарался уверить Эванса, что там, где дело не касается газеты, он по-прежнему высоко ценит Бредбери. (Сказать об этом, по-видимому, не мешало: фирма «Бредбери и Эванс» как раз готовилась издать его «Картинки Италии».)

Поразительная вещь! Все это время — налаживая сложный механизм «Дейли ньюс» и готовясь к выпуску газеты (где дел было столько, что обычный человек увяз бы по горло) — Диккенс был не меньше занят еще и в театре. Он ставил две пьесы: «Всяк молодец на свой образец» Джонсона — в сентябре и ноябре 1845 года — и «Старший брат» Бомонта и Флетчера — в январе 1846 года. Мало того, он еще и играл в них. В постановке принимали участие все его друзья, каждый помогал как мог. Марк Лемон<sup>[109]</sup>, новый приятель — ни дать ни взять шекспировский Фальстаф, — играл с таким блеском, что в будущем Диккенс всегда старался занять его в каждой своей постановке. Не обошлось и без Макриди: актер помогал,

давал советы, считая все это в общем детской затеей, и был немало раздосадован, когда печать встретила джонсоновскую пьесу многочисленными восторженными отзывами. Как обычно, почти все делал сам Диккенс; он проводил репетиции, добиваясь лучшего, на что были способны актеры, придумывал декорации, костюмы, писал тексты афиш, учил плотника и давал указания дирижеру; он оформлял здание театра, ставил номера на креслах, приглашал актеров на сцену и был одновременно ведущим актером, бутафором, режиссером и суфлером. Удивительно, как терпеливо этот горячий человек относился к актерам. Он писал Кеттермолу, что притащит своего брата Фредерика в театр за волосы, «чтобы Вы могли в понедельник репетировать с ним, сколько душе угодно. Меня не так-то просто утомить!» Спектакль «Всяк молодец на свой образец», поставленный в театре «Роялти» (Сохо), произвел сенсацию, и через два месяца его пришлось повторить в Сент-Джеймском театре перед принцем Альбертом и знатью, заполнившей зал до отказа. Теккерей вызвался петь в антрактах, но его услугами не воспользовались, чем он был весьма обижен. Сборы пошли на благотворительные цели. Впрочем, судя по одной фразе лорда Мельбурна<sup>[110]</sup>, эта публика была плохо знакома со щедростью, во всяком случае душевной. Лорд Мельбурн во время антракта во всеуслышание заявил: «Я знал, что пьеса будет скучная, но это такая беспросветная скучища, которой даже я не ожидал».

Что касается Диккенса, то он не искал общества знатных особ, хотя был человеком необыкновенно общительным. Ставя спектакли, выпуская газету, работая над книгой путевых заметок и побивая для собственного удовольствия рекорды по ходьбе, он находил еще время принимать гостей у себя на Девоншир-Террас. В театре и газете он вникал во всякую мелочь и дома точно так же умел своевременно позаботиться обо всем, что требовалось по хозяйству. Так, в крещенский праздник 1846 года он второпях писал Кэт из своей редакции на Уайтфрайрс: «Ужас, что за погода! Не послать ли тебе к Эджинтону на Пиккадилли? Может быть, его люди возьмутся за сходную плату построить навес от нашей парадной двери до обочины тротуара? Их теперь делают повсюду. Дамам, право же, слишком далеко приходится идти по дождю». Что ни говори, а на приемы уходила масса денег, и он знал, что единственный способ пожить экономно — это уехать за границу. Осенью 1845 года жена подарила ему шестого ребенка, и теперь при мысли о будущем ему становилось жутковато: быть может, детям, носящим столь громкие имена, нужно дать в жизни что-то особенное? Первенец Диккенса был назван Чарльзом в честь отца, старшая дочь (прозванная в семейном кругу Мэми) носила имя покойной Мэри,

сестры Кэт. Остальным детям отец дал имена своих друзей: Макриди, Лендора, Джеффри, д'Орсэ, Теннисона, Бульвер-Литтона и Сиднея Смита. Одного в честь знаменитого писателя окрестили Генри Филдингом. Младшего отпрыска нарекли Альфредом д'Орсэ Теннисоном, и оба крестных отца давали традиционные обещания у купели Мэрилебонской церкви. Обеспокоенный участием обладателей всех этих знаменитых имен, полубольной от передряг, связанных с газетой, чувствуя, что его творческая мощь иссякает, Диккенс обратился к одному из членов кабинета с просьбой предоставить ему должность в лондонском магистрате. Ответ пришел необнадёживающий, и Диккенс снова решил сдать свой дом, поехать за границу, начать новую книгу и скопить денег. Им уже овладело привычное возбуждение — предвестник очередного творческого «запоя». «Смутные мысли о новой книге роятся во мне, — писал он в марте 1846 года леди Блессингтон. — Я брожу по ночам бог весть где — Вы же знаете, что со мной всегда творится в такие дни: алчу покоя и не нахожу его». История с газетой взволновала и огорчила его. Ему стало казаться, что больше всего ему нужны покой и отдых, но, когда у него бывала реальная возможность насладиться и тем и другим, он терял покой, а об отдыхе не хотел и думать.

Ехать снова в Геную, где все напоминало о де ля Рю, Кэт решительно отказалась, хотя он всячески уговаривал ее. Зато от поездки по Швейцарии у них остались самые лучшие воспоминания, и супруги поладили на том, что проведут шесть месяцев у Женевского озера. 1 июня 1846 года, снова в сопровождении Луи Роша, Диккенсы покинули старую добрую Англию и отправились вниз по Рейну, обнаружив по дороге (в Майнце), что диккенсовские произведения пользуются широкой известностью в Германии. Из Базеля в трех каретах отправились в Лозанну. Ехали трое суток, причем по дороге случилось происшествие, о котором Диккенс любил потом рассказывать с соответствующей мимикой и интонацией. В одной таверне, где они остановились, плохо кормили, о чем их кучер заявил хозяину. «После недолгого обмена любезностями хозяин произнес:

— *Scelerat! Mecreant! Je vous boaxerai!*<sup>[9]</sup>

На что наш «вуатюрщик»<sup>[10]</sup> отвечал:

— *Aha! Comment ditez-vous? Voulez-vous boaxer? Eh? Voulez-vous? Ah! Boaxez-moi donc!*<sup>[11]</sup>

Эти реплики сопровождались жестами, полными зловещего смысла и говорившими яснее всяких слов, что новый глагол образован от популярного английского глагола «боксировать», то есть попросту залепить оплеуху. Повторили они это свое «набоуксировать» по меньшей мере раз



сто, неизменно приводя этим друг друга в полнейшее бешенство».

В Лозанне на первых порах остановились в отеле «Жибон», а потом Чарльз и Кэт подыскивали и постоянное жилье — прелестную маленькую виллу «Розмон», расположенную на холме, прямо над водою, и окруженную чудными садами. Из окон открывался великолепный вид на озеро и горы, а стоило это великолепие десять фунтов в месяц.

Понимая, что духовное развитие детей тоже лежит на его ответственности, Диккенс не сразу взялся за новую серьезную вещь, а написал сначала житие Иисуса Христа, простым, понятным для детей языком. Вскоре вокруг него образовался кружок знакомых: бывший член парламента Уильям Холдиманд, швейцарский джентльмен по имени де Сержа и Ричард Уотсон с женою, у которых Диккенс впоследствии иногда гостил в Рокингемском замке в Нортгемтоншире. Окрестности Лозанны напоминали нашим путешественникам Англию, да и швейцарским протестантам были свойственны черты лучшей части английской нации: это был жизнерадостный народ, опрятный, чистоплотный и трудолюбивый — народ, на который можно положиться. Книжные лавки на улицах Лозанны попадались на каждом шагу, а монахи и священники, к счастью, очень редко. Зато стоило заехать в католический кантон, и сразу же все вокруг менялось: «грязь, болезни, невежество, мрак и нищета». Так и «в Ирландии, — писал Диккенс, — причина всех зол — религия, а в Англии — порочная система правления и подлые дела тори».

Кто только не побывал у них, пока они жили в Швейцарии! И Тальфуры, и Гаррисон Эйнсворт, и молодожены Томпсоны. Приехал Теннисон, которым Диккенс искренне восхищался, но без взаимности: Теннисона раздражала диккенсовская сентиментальность. Диккенс пригласил поэта в Швейцарию на все лето, но Теннисон, чувствуя, что, живя бок о бок, им не поладить, отказался; и умно поступил: первые две недели Диккенс обычно бывал чудо как гостеприимен, потом гость ему надоедал. Много, но ненадолго — вот что было ему по душе! Диккенс усердно занялся французским языком и вскоре свободно говорил на нем, хотя так и не смог избавиться от сильного английского акцента. Ходил он без устали, как всегда, чаще всего вечером, после работы, миль по пятнадцать каждый день. Лето близилось к концу, и он повез Кэт и Джорджину в Шамони и на Сен-Бернардский перевал. «Мон-Блан, долина Шамони, Мэр де Гляс и вообще все чудеса этого чудеснейшего уголка превзошли все ожидания. Не могу представить себе ничего более грандиозного и величественного. С ума схожу при мысли о том, что можно написать об этом. Впечатления так и клокают во мне».

За новую свою вещь — «Домби и сын» — он взялся в конце июня, но писать в привычном стремительном темпе не мог. Мешало тревожное сознание, что одновременно с новым романом придется готовить очередную рождественскую повесть; мешало отчасти и подавленное настроение, от которого он то и дело страдал, живя в Лозанне, настолько, что стал даже серьезно опасаться полного упадка сил или нервного расстройства. А кроме того, ему не хватало лондонских улиц — ночных улиц, запруженных народом. «Сказать не могу, как они мне нужны. Они как будто дают моему мозгу нечто жизненно необходимое для работы». Он был, как всегда, неистощимо изобретателен и с трудом сдерживал себя, чтобы «не поддаться соблазну потешить душу фантастическими выдумками». Некоторые отрывки получались настолько смешными, и он так хохотал над ними, что слезы застилали ему глаза, мешая работать. В сентябре он на время отложил «Домби», чтобы начать обещанную рождественскую повесть «Битва жизни». Однако, написав приблизительно треть ее, вдруг испугался: как бы «Домби» не пострадал из-за того, что он отдает столько энергии другой книге, торопясь закончить ее в срок. Бог с ней, с повестью, он вообще не станет ее писать. Но на душе стало еще тревожнее. Так недолго и заболеть! Чтобы прийти в себя и передохнуть, он помчался в Женеву, надеясь, что перемена обстановки поможет ему принять правильное решение. Так оно и случилось. Ему стало лучше, и он вновь почувствовал, что способен одолеть обе книжки. Возвратившись в Лозанну, он быстро закончил «Битву жизни», подготовил новый выпуск «Домби», снова поехал в Женеву и здесь в «Отеле де Лекю» «испек» еще один выпуск, посвященный воспоминаниям ранних лет. «Надеюсь, что заведение миссис Пипчин вам понравится. Оно взято из жизни. Я и сам в нем побывал — кажется, мне не было тогда и восьми лет. Впрочем, я помню его, как сейчас, и, уж конечно, понимал его тогда не хуже, чем нынче... Об этом раннем кусочке моей жизни вспомнилось мне в Женеве».

Первый выпуск «Домби и сына» был напечатан в октябре 1846 года и имел, к радости автора, огромный успех: по сравнению с его последней книгой, «Мартинотом Чезлвитом», было продано на двенадцать тысяч экземпляров больше. Выпуски выходили ежемесячно вплоть до апреля 1848 года. Сам Диккенс был о «Домби» высокого мнения. «Я возлагаю на «Домби» большие надежды, — признался он своему тестю, — верю, что его надолго запомнят и будут читать даже много лет спустя... С самого начала я отдавал ему все свои силы и время — и в каком же я странном состоянии теперь, когда мы с ним расстались!» В «Домби», как и во всех его книгах, очень много хорошего, такого, что мог создать только он, но не



меньше и плохого, чего, кроме него, никто и не осмелился бы написать. Его творческие удачи великолепны, промахи его чудовищны. Быть может, лишь тот, кому удалось создать Каттля, способен придумать Каркера. Это ведь вообще не человек, а просто орудие, которым Диккенс воспользовался, чтобы излить свою ненависть и отвращение. Каркер «с ног до головы пропитан коварством», он сидит за работой, «как кот, подстерегающий мышонка у норы», он мурлычет и гладит «мягкой», бархатной лапкой, готовый в любой момент выпустить острые когти». Когда он проезжает мимо хозяйского крыльца, пес Диоген рычит и лает, а с невозмутимого летописца вдруг будто ветром сдувает всякую сдержанность: он неистовствует так, что Флобер был бы просто шокирован<sup>[111]</sup>. «Так его, Ди! И держись поближе к хозяйке! — восклицает Диккенс. — Ату его, ату! Выше голову! Глаза горят, свирепая пасть готова рвать на части. Так его! Не давай ему прокрасться мимо! Ты не ошибся, почуяв добычу, — это кот, Ди, это кот!» Из чего мы можем заключить, что Диккенс не слишком-то жаловал кошек. Каркеру уготована не безмятежная кончина — это ясно; но Диккенс полумер не признает. Каркер попадает под скорый поезд. Он «пронзительно закричал, его сбilo с ног, подхватило, затянуло под колеса, закрутило, искромсало, изрезало, и огненное чудовище, слизнув лужицу жизни, выплюнуло в воздух раздробленные черепки». Уф! Право же, можно подумать, что Каркер — это переодетый издатель!

Первые читатели «Домби и сына» жили в те времена, когда железные дороги и паровозы были в новинку, потому-то мы и читаем так много о железных гигантах, которые мчатся по земле, изрыгая пар и языки пламени. Клубы дыма сгустились в воздухе, и, как бы в ответ на это, сгустились тучи на горизонте духовной жизни века, и творчество Диккенса, это волшебное зеркало эпохи, уже отражает их. Чего стоит, например, его «падшее созданье», это исчадие тьмы, которое он посылает «во мглу ночи, под воющий ветер и хлещущий дождь»! Но есть в книге и сцены, пронизанные тончайшим юмором. Одна из них посвящена миссис Чик, возмущенной коварными намерениями мисс Токс. «Ну, теперь у меня с глаз пеленка спала, — и миссис Чик сорвала с глаз невидимую детскую пеленку». Да и капитану Каттлю не сыщешь равных среди всех книжных моряков. Он один из немногих диккенсовских героев, которые будят в душе читателя чувство умиротворения, — оттого, быть может, что, любуясь морем, автор книги всегда вкушал душевный покой (насколько это было возможно при его темпераменте). Даже от любимых книг капитана веет миром и тишиной; «ибо он поставил себе за правило читать по воскресным дням одни только толстые книги из уважения к их солидному виду. Много

лет назад он приобрел в книжной лавке преогромную книжищу. Когда бы он ни взялся за нее, пяти строк бывало достаточно, чтобы у него начали путаться мысли. Он еще так и не выяснил, о чем в ней говорится».

В середине ноября 1846 года Диккенс увез свое семейство в Париж, испытав несколько неприятных моментов в пограничной таможне, где «взвешивали наше столовое серебро — каждую ложечку, каждую вилку. Мы торчали тут же, в густом тумане, на трескучем морозе, три с половиной часа! И какой только чепухой не занимались в это время чиновники! О чем только не спорили с моим храбрым курьером!» Споры, по-видимому, были вызваны тем, что «курьер Рош добровольно, упорно и без всякой надобности нес несусветную чушь о моих книгах, исключительно ради удовольствия подурочить чиновников». Остановившись в отеле «Брайтон», Диккенс тут же принялся ходить по всему городу, то и дело забираясь бог весть куда и не зная, как попасть домой. «Найти жилье, оказывается, ужасающе трудно», — писал он, уже водворившись в доме № 48 по Рю де Курсель. «Четыре дня подряд — сплошная пытка. Но в конце концов дом у нас все-таки есть, и к тому же, по-моему, самый нелепый на свете (о чем Вам с гордостью и сообщаю). Ничего подобного, насколько мне известно, на земном шаре нет и быть не может. Спальни — как театральные ложи. В столовых, коридорах и лестницах разобраться совершенно невозможно. Столовая представляет собою нечто вроде пещеры, размалеванной с пола до потолка под рощицу, причем между ветками деревьев натканы зачем-то осколки зеркала. В отделке гостиной виден проблеск здравого смысла, но попасть в нее можно только сквозь вереницу малюсеньких комнатушек, похожих на суставы телескопа и увешанных драпировками загадочного назначения. Подобную анфиладу мог бы с успехом задумать и осуществить (получив нужные материалы) безнадежный и неизлечимый пациент какого-нибудь сумасшедшего дома». На первых порах он даже не мог работать в этом диковинном сооружении и часами просиживал за столом, не написав ни слова. Пришел декабрь, и с ним лютые холода: «Вода в умывальных кувшинах застывает твердыми глыбами с горлышка до дна; кувшины взрываются, как пушечные ядра, а твердые, как гранит, глыбы выкатываются на стол и в умывальник». Но толпы на улицах разгоняли уныние, а вид трупов — он изредка бывал в Морге — действовал успокоительно, и вскоре он уже работал на полную мощность. Немало огорчений доставляли ему иллюстраторы. Физ составил себе совершенно неверное представление о миссис Пипчин, а Лич допустил серьезную ошибку в одной из гравюр к «Битве жизни». Первому были посланы подробные наставления, но изъять гравюру Лича было поздно, да и

обижать художника не хотелось, и Диккенс смолчал. А кроме того, автор «Домби» заметил, что вещи, которые ему «кажутся чудовищными, другим могут представляться в совершенно ином свете».

С 15 по 20 декабря он пробыл в Лондоне, чтобы присутствовать на репетициях «Битвы жизни»: его новая рождественская повесть была переделана для сцены. Обнаружив, что очень немногие из исполнителей понимают, о чем идет речь и как нужно играть, он устроил для них читку у Форстера. «Состоялась читка пьесы. Форстер расщедрился на семьдесят шесть бутербродов с ветчиной (закупленных в Гольборне) — наогромнейших размеров и с наисвежайшим хлебом. Когда вышеупомянутые продукты попали в желудки присутствующих и уютно расположились в них (в результате чего пропорции дамских фигур чудовищно исказились), Форстер распорядился, чтобы сорок два несъеденных бутерброда роздали беднякам. Генри было приказано найти самых бедных женщин, но не отдавать им ни одного бутерброда, не разузнав хорошенько, кто они, какого поведения, какую жизнь прожили. Форстер неподражаем!» Пьеса имела бурный успех, театр ревел, вызывая на сцену автора. После спектакля автор вернулся в Париж, узнав накануне отъезда, что в первый же день по выходе в свет было распродано двадцать три тысячи экземпляров «Битвы жизни».

Но старый враг — газета «Таймс» не унималась. «Сверчок на печи» на ее страницах был назван «пустой болтовней, распиской в собственной глупости». Автору советовали пополнить свое скудное образование, занявшись чтением на досуге, и обвиняли его в том, что он восстанавливает бедных против богатых. А между тем, внимательно прочитав страницы, посвященные домашней жизни трудового люда, можно сказать, что дело обстоит как раз наоборот. Отзывов о своей работе он обычно не читал — разве что когда друзья обращали его внимание на что-нибудь особенно лестное. Но сейчас ему попалась на глаза чья-то ссылка на статью «Таймс» о «Битве жизни». Статья была особенно гнусной. В ней говорилось, что именно Диккенс повинен в том, что книжный рынок ежегодно наводняется «потокм макулатуры», то есть рождественскими рассказами, — мало того, что сам он состряпал, «безусловно, самый бездарный из них». Во всех его последних книгах, разглагольствовал критик, нет «и тени самобытности, жизненной правды, естественности или красоты», а так как он, несомненно, не лишен таланта — это ясно из «Пиквика», — его «неслыханное бесстыдство непростительно». Ему следует «остеречься и не повторять больше подобных промахов», поучал автор статьи. «Еще раз прошлись тупой бритвой по нервам мистера Б... — писал об этой рецензии

Диккенс. — Неподражаемый — в тоске и унынии. Едва может работать. Всю ночь снились «Таймсы». Подумывает о том, чтобы уехать в Новую Зеландию и выпускать там журнал». Впрочем, приступ тяжелого настроения оказался недолгим: не прошло и двух дней, как он уже с головой ушел в работу над очередным выпуском романа. Выпуск закончился смертью Поля Домби и сопровождался размышлениями автора о том, не потребовать ли, чтоб ему «выдали паспорт на выезд ввиду той гигантской популярности, которой пользуется среди французской нации стена моего дома в качестве ватерклозета».

С Полем Домби он разделался 14 января 1847 года, в 10 часов вечера, «и, не питая никакой надежды на то, что мне потом удастся заснуть, вышел и до завтрака бродил по Парижу». Смерть маленького Поля потрясла английских читателей не меньше, чем в свое время кончина малютки Нелл, и навела американцев на мысль о том, что «Мартин Чезлвит» был лишь временным помрачением рассудка. Париж, если верить Диккенсу, был изумлен. Теккерей, только что напечатавший второй выпуск своей «Ярмарки тщеславия», ворвался в издательство «Панча» с криком: «Равного этому написать невозможно, нечего и надеяться! Это грандиозно!» А Джеффри писал ему: «Милый, милый мой Диккенс!.. Как я плакал, как рыдал я над Полем и вчера и сегодня! Я чувствовал, что душа у меня становится чище от этих слез, и благословлял, и любил Вас, за то, что Вы заставили меня их пролить — и всегда будут безмерны мое благоговение и любовь к Вам». Все это помогло Диккенсу окончательно забыть про «Таймс».

Во второй половине января к другу в Париж приехал Форстер, и приятели постарались за две недели увидеть решительно все: людей, тюрьмы, дворцы, картинные галереи и увеселительные заведения. Они съездили в Версаль и Сен-Клу, осмотрели Лувр и Морг, побывали в опере, драме, варьете, ужинали с Александром Дюма и Эженом Сю, были в гостях у Виктора Гюго и Шатобриана, встречались с Теофилом Готье, с Ламартином и Скрибом и проделали кучу других вещей, которые делают люди, которым нравится делать вещи подобного рода.

Пребывание Диккенса в Париже было внезапно прервано известием о том, что старший сын его, находившийся в это время в школе Кингз Колледж, заболел скарлатиной. Диккенс с женой немедленно возвратились в Лондон, а вслед за ними — и Джорджина с остальными детьми. Их дом на Девоншир-Террас был все еще занят, так что пришлось снять другой — № 1 на Честер-Плейс (Риджент-парк). Там они прожили с начала марта и до июня, а потом уехали на лето в Бродстерс. Мальчик поправился. В

апреле у Диккенса родился пятый сын. Это был его седьмой ребенок, а Диккенс еще после того, как на свет появился четвертый, выразил надежду на то, что «моя хозяйюшка никогда больше ничего такого себе не позволит». Можно себе представить, как он обрадовался бы, узнав, что в один прекрасный день она подарит ему десятого младенца!..

АКТЕР, подобно человеку, дающему объявление в газете, создает спрос, и в области театра спрос возникает вслед за предложением. Вначале пьесы создавались не для публики, а для исполнителей: пьесы породили потребность в зрелищах, но их самих породила потребность актера: играть! Отчего Диккенсу и его труппе понадобилось ставить спектакли? Причин приводилось множество, кроме единственно верной: Диккенс хотел играть и заражал этим желанием других. Чтобы возобновить свое театральное подвижничество, он в 1847 году ухватился за первый удобный предлог: помочь Ли Ханту. Но не успели актеры объявить о своих намерениях, как правительство предоставило Ханту пенсию. Эта опрометчивая поспешность, столь несвойственная правительствам, обычно отличающимся неповоротливостью, заставила Диккенса и его актеров, не теряя времени, взяться за поиски нового предлога. И снова на помощь явился Хант: оказалось, что он погряз в долгах. Тут подвернулся и другой писатель — Джон Пул<sup>[113]</sup>, автор комедии «Пол Прай», пользовавшейся лет двадцать назад большим успехом: Джон Пул тоже испытывал финансовые затруднения. Итак, в июле труппа прибыла в Манчестер, чтобы вновь сыграть пьесу Бена Джонсона, и Диккенс опять оказался в своей стихии. «Я часто думал, что на подмостках, безусловно, добился бы не меньшего успеха, чем в переплете», — сказал он однажды. Он был не только прирожденным актером, но и постановщиком и возился со своей труппой с терпением, которому мог бы позавидовать сам Иов<sup>[114]</sup>. Он давал актерам уроки постановки голоса; учил их свободно держаться на сцене, советовал, как тренировать свою память. Когда они нервничали, он вселял в них уверенность, а если были слишком самоуверенны, учил их относиться к себе критически. Когда они говорили, что «на премьере все будет в порядке», он добивался того, чтобы все было в порядке еще на репетиции. Неловкое движение, натянутая интонация, фальшивый жест — ничто не могло ускользнуть от его внимания. Он муштровал свою труппу часами, доводя всех, кроме себя, до изнеможения, а на завтра вскакивал свежий, бодрый и готовый снова взяться за свою тяжелую, утомительную и нервную работу.

В 1848 году Диккенс узнал о том, что драматург Шеридан Ноулс<sup>[115]</sup>, чьи пьесы «Виргиниус» и «Горбун» вызвали в свое время такую бурю

восторга, находится в стесненных обстоятельствах. В это же время в Лондоне начался сбор средств, чтобы купить дом Шекспира в Стрэтфорде-на-Эйвоне и устроить в нем музей. Ухватившись за этот предлог, Диккенс задумал поставить пьесу, учредить на собранные деньги пост хранителя музея и отдать его Ноулсу. И снова его похвальный порыв закончился неудачей — на сей раз по вине стрэтфордских властей, взявших на себя заботы о сохранении дома и пригласивших хранителя тоже по собственному усмотрению. Но Диккенс не унимался: в мае, июне и июле 1848 года он дал со своей труппой ряд спектаклей в Лондоне, Бирмингеме, Эдинбурге, Глазго, Манчестере и Ливерпуле и львиную долю сборов передал Шеридану Ноулсу, который незадолго до этого стал баптистским священником и был рад звонкой монете гораздо больше, чем месту хранителя музея. На этот раз диккенсовская труппа поставила «Виндзорских насмешниц». Роль Фальстафа исполнял Марк Лемон, а судьи Шеллоу — Диккенс. Дважды сыграли они эту пьесу и в лондонском театре «Хеймаркет», причем на одном из спектаклей присутствовали королева Виктория и принц Альберт. Каждое представление завершалось водевилем. Потом для актеров устраивался ужин, и Диккенс, на которого заботы актера, режиссера и мастера на все руки действовали, как освежающий душ, разыгрывал роль хозяина, да так, что с начала и до конца ужина за столом царило буйное веселье. Такие затеи были нужны ему как воздух, без них он тосковал, жалуясь на скуку и однообразие будничной жизни. «Вся моя энергия исчезла, и я очень несчастен, — писал он миссис Каунден Кларк, игравшей в спектакле роль мистрис Квикли. — Терпеть не могу домашние очаги! Томлюсь желанием побродяжничать... После парусинового домика, в котором я был так счастлив, настоящий дом кажется несносным». И опять: «Я совершенно отупел и выдохся. До смерти хочется волнений и забот. Неужели никто не придумает что-нибудь такое, от чего мое сердце забьется быстрее, а волосы встанут дыбом?.. Воспоминания! Ох, уж эти воспоминания!» Он мечтал о том, чтобы разъезжать по всей стране и играть, играть везде, ибо «ничто на свете не может сравниться с тем мгновеньем, когда весь театр встает перед тобою морем сияющих лиц, единым всплеском восторга и несется на тебя волной аплодисментов!». Под конец жизни он признался, что всегда хотел быть актером, «великим, единственным — кумиром публики».

1849–1850 годы, как мы скоро узнаем, были до отказа заполнены множеством всяких дел, зато в период от ноября 1850 до сентября 1852 года его страсть к бродячей жизни была отчасти удовлетворена. Дело в том, что Бульвер-Литтон, стремясь заручиться голосами избирателей своего

округа, задумал показать своим избирателям в Нейворте пьесу «Всяк молодец на свой образец»<sup>[116]</sup> в исполнении Диккенса и его труппы. Как к этому отнеслись избиратели, неизвестно, но Диккенс очень обрадовался. Да что там! Он, наверное, согласился бы отдать свой голос даже за тори, ради того чтобы сыграть для них. Приступив к постановке с обычным для него увлечением, он вскоре уже держал в руках все нити спектакля, выступая в привычной роли «человека-машины». «По-моему, если уж взялся за такую штуку, то берись за все сразу, — это как мощное предприятие, которому нужно отдать душу и сердце», — писал он Литтону. На одной из первых репетиций Кэт провалилась в люк и сильно повредила связки на ноге, но не успел доктор сказать, что она не сможет принять участие в пьесе, как через несколько часов Диккенс уже репетировал ее роль с Джорджиной. «Ах, сэр, — сказал ему на репетиции главный театральный плотник, — в театре, сэр, все так думают, что публика очень много потеряла, когда вы взялись писать книжки». В ноябре 1850 года джонсоновскую комедию три раза сыграли в Нейворте, а в январе, приехав к Уотсонам в Рокингемский замок, Диккенс познакомился с другой любительской труппой и, «прощупав» ее возможности, поставил с нею для гостей и прислуги две коротенькие пьески.

В Нейворте он обсудил с Литтоном проект, которому суждено было в ближайшие два года принести ему множество радостей и забот. Оба — и Литтон и Диккенс — считали, что следует создать фонд помощи нуждающимся писателям и художникам. Так как поддерживать неудачников — долг преуспевающих, то друзья решили засучить рукава и взяться за дело. (Фонд стал впоследствии известен как «Гильдия Литературы и Искусства».) Литтон отдал в дар Гильдии участок земли близ Нейворта, пообещав при этом написать комедию, которую Диккенс будет повсюду играть со своими друзьями. Сборы пойдут в фонд и на постройку домов на участке Литтона. Оба считали, что для успеха дела нужно, чтобы на первом представлении были королева и принц Альберт. Диккенс обратился к герцогу Девонширскому с просьбой предоставить для спектакля его лондонский дом. «Я спроектировал передвижной театр, в котором декорации, машины и все прочее можно поставить в любом подходящем помещении и снова разобрать за каких-нибудь несколько часов». «Мои услуги, мой дом и мое имя — в Вашем распоряжении», — тотчас же отозвался герцог. Он действительно помогал Диккенсу чем только мог, так что последний постепенно проникся к нему большой симпатией и даже вопреки своему обычному правилу гостил у герцога в Четсворте. Королева и принц Альберт обещали явиться на спектакль, и в



середине марта 1851 года Диккенс уже репетировал новую комедию Литтона «Не так плохи, как кажемся», вихрем летая от плотников к художникам-декораторам, от портных к механикам, от парикмахеров к осветителям и лихорадочно готовясь к спектаклю. «Я часами простаиваю на сцене, и мои ноги так распухают, что трудно снять чулки... — говорил он. — Я так хорошо выучил все роли, что забываю свою собственную». Спектакль состоялся 16 мая 1851 года в Девоншир-хаусе. Собралась аристократическая публика, и каждый из зрителей заплатил за билет пять гиней. Трудно сказать, кого им больше хотелось увидеть: королеву Викторию или Чарльза Диккенса. Затем было дано несколько представлений в Гановер-сквер-румс, а осенью труппа побывала во многих провинциальных городах. Поездки продолжались и в 1852 году. После первого представления в программу был включен водевиль под названием «Дневник мистера Найтингейля». Он принадлежал перу Марка Лемона, но был наново переписан Диккенсом, исполнявшим в нем шесть ролей: адвоката, лакея, пешехода, ипохондрика, старой дамы и глухого пономаря.

Нет нужды говорить о том, что именно в водевиле Диккенс мог развернуться по-настоящему. Он, как уже говорилось, был прирожденным характерным актером: мудрено ли, что и на подмостках он заблистал именно в характерных ролях? В жизни он редко выдерживал один и тот же характер долгое время, удивительно быстро переходя от одной крайности к другой. То же самое происходило на сцене. Он наслаждался, исполняя в какие-то считанные минуты полдюжины совершенно различных ролей. Он был настоящим артистом-трансформатором. Подвернув манжеты или подняв воротник, он был способен перевоплотиться в мгновение ока. Представ перед зрителями в каком-нибудь диковинном образе, он мог, например, закинув фалды своего фрака на плечи, молниеносно переключиться на совершенно новую роль. Зоркий, верный глаз, живой ум, быстрые движения, богатая мимика и умение управлять своим голосом — все это помогало ему создавать необычайно разнообразные и живые портреты. Хорош он был в роли Бобадила<sup>[117]</sup> из джонсоновской пьесы; еще лучше — в роли Шеллоу из «Виндзорских насмешниц». Нужно было видеть эти деревенеющие члены, эту дрожащую походку, трясущуюся голову, слышать это беззубое шамканье! Каждое его движение, каждая нота дышали старостью, не приемлющей старости! А эти мнимознергичные жесты, это неестественное воодушевление, эти жалкие попытки держаться с достоинством! И уже совершенно великолепен был он в «Дневнике мистера Найтингейля», где он так быстро и неузнаваемо менял голос, выражение лица, манеры, платье, осанку — одним словом, весь облик, что

зрители не верили своим ушам, узнав в конце спектакля, что большинство ролей исполнял Чарльз Диккенс. Однако роли «героические» ему, как легко догадаться, не удавались. Изобразить мгновенно — это было по его части, но если нужно было создавать портрет медленно, нанося один штрих за другим, — здесь он пасовал. Так, герой комедии Бульвер-Литтона лорд Вильмот, легкомысленный молодой франт, в диккенсовском исполнении сильно смахивал на капитана какого-нибудь голландского капера: чопорного, с деревянными манерами, сухого, приличного и скучного. Однако это была очень ответственная роль, и он не решился доверить ее кому-нибудь другому. «Я по опыту знаю, что, если я сам не возьмусь за Вильмота, пьеса провалится и никто ее не спасет». Ему хотелось сыграть совсем другую роль, но он скрепя сердце отказался от нее. В письме к автору пьесы он признается: «Стать кем-то другим — сколько прелести заключено в этом для меня! Отчего? Бог его знает! Причин множество, и самых нелепых. Это для меня такое наслаждение, что, потеряв возможность стать кем-то вовсе не похожим на меня, я ощущаю утрату. Ведь как славно можно было бы подурачиться!» Что ж, он наверстал упущенное, всласть подурачившись в водевиле!

Эта настоящая потребность «побывать кем-нибудь другим» заставляет нас остановиться и посмотреть, каков же был он сам. И сразу же бросается в глаза его главная отличительная черта: высокий накал энергии. За что бы он ни взялся, он делал все без тени осмотрительности или неуверенности; он целиком отдавался всему: работе, удовольствиям, симпатиям и антипатиям, дружбе, привязанности, интересам, восторгу и негодованию. «Все, что делает гений, он делает хорошо, — сказал он как-то корреспонденту одной газеты. — А тот, кто за все берется и ничего не доводит до конца, — это не гений, поверьте мне». Вот что советовал он человеку, мечтавшему стать писателем: «Отдайте этому занятию столько терпения, сколько потребовалось бы для всех других профессий на свете, вместе взятых». Так подходил к своей работе он сам. Судя по тому, что он то и дело впадал из одной крайности в другую, можно было бы подумать, что это человек непостоянный, ненадежный. Однако чрезмерная эмоциональность уживалась в нем с твердой волей, помогавшей ему сохранять хладнокровие и целеустремленность. Лучший пример тому — его друзья. Большая часть мужчин отдает предпочтение женскому обществу; большинство женщин — тоже. Диккенса интересовали мужчины. Среди них он чувствовал себя в своей стихии и, как видно из его романов и писем, проявлял значительно меньший интерес к прекрасному полу, не считая случаев, когда к этому интересу примешивались более

нежные чувства. Быть другом человека, столь беспокойного и своевольного, не так-то просто, и временами казалось, что той или иной дружбе пришел конец, а между тем ни одного из друзей он не потерял навсегда. Особенно верен он был привязанностям ранних лет: Миттону, Бирду... «Мне свойственно очень тепло относиться ко всем, кого я знал в менее счастливые времена», — сказал он однажды.

Однако лучшая иллюстрация этой его особенности — отношения с Форстером. Властные, собственнические манеры Форстера неизбежно должны были вызвать многочисленные вспышки протеста со стороны такого горячего и независимого человека, как Диккенс. Макриди, например, пишет о том, что он, «к сожалению, слышал, в каких несдержанных выражениях они говорят друг с другом», а ведь это было пять лет спустя после той «очень тяжелой сцены», о которой актер писал в своем дневнике в августе 1840 года. К концу 1845 года друзья, очевидно, ссорились постоянно, во всяком случае Форстер жаловался Макриди, что его обижают. «Диккенс, — говорил он, — так свято верит в непогрешимость своих суждений, так восхищен своими произведениями...», что он, Форстер, чувствует, что советовать ему бесполезно. Он добавил, что Диккенс глух к критике и его пристрастное отношение к своему творчеству будет постепенно расти, пока не станет неизлечимым злом. Еще через два года Форстер сообщил Макриди, что его прежней дружбе с Диккенсом скорей всего придет конец. И все-таки, хотя деспотизм Форстера, его любовь к трескучим фразам, его важничанье, конечно, не раз выводили Диккенса из себя, они остались друзьями до конца жизни. Правда, в тот период, когда Форстер женился, а Диккенс отыскивал себе более подходящего приятеля, друзья все-таки сильно охладели друг к другу.

Утверждение, что Диккенс не желает читать критические статьи, посвященные его работам, касается еще одной важной стороны его натуры и дает основание внимательно отнестись к словам о том, что он упоен собственными произведениями. Чем более человек самонадеян, тем менее он тщеславен, ибо самонадеянность основывается на преувеличенном мнении о собственных достоинствах, а тщеславие — на высоком мнении других. Писатель, по-настоящему самонадеянный, может с улыбкой читать суровую критику своих произведений: ничье осуждение — ни близких ему людей, ни посторонних — не может повлиять на его отношение к своим работам. Тщеславный человек, напротив, извивается, как червь, под злым пером критики и проводит бессонные ночи, безуспешно пытаясь внушить себе, что на него нападают просто из зависти. Диккенс был тщеславен и

жаждал признания. «Сидит во мне эдакий бес и очень больно дает о себе знать, — писал он в 1843 году. — Когда мне кажется, что на меня нападают несправедливо, во мне поднимается кипучая злоба. Впрочем, она отлично помогает мне перенести несправедливость, а потом я вообще все забываю. Когда я только начинал писать, я мучился, читая рецензии, и дал себе торжественный зарок впредь узнавать о них только от других». Он никогда не нарушал свое правило и только выиграл от этого. Да, он отдавал работе себя всего, уходил в нее без остатка, и его творения были для него более живыми, чем настоящие люди. И, конечно, нельзя сказать, что он недооценивал свои книги. Но он всегда понимал, что для других они не могут значить так же много, как для него, и поэтому отводил себе скромное место в литературе и редко говорил о своих произведениях. Если учесть то обожание, которым он был окружен с молодых лет и до самой смерти, то удивительно еще, как он вообще не потерял голову и сохранил способность трезво оценивать свои достижения. Если бы Форстер сказал, что Диккенс всегда питает самые нежные чувства к своим книгам, он был бы прав. Но, заявив Макриди, что Диккенс не желает считаться с мнением других, он умышленно солгал. Диккенс до конца своей жизни внимательно прислушивался к советам друзей и даже испортил конец «Больших надежд», вняв чужому совету. Да и десятки его писем к Форстеру свидетельствуют о том, что, пока они были близкими друзьями, он советовался с Форстером о своих произведениях и очень часто следовал его советам. Со свойственной ему прямоотой и горячностью он восхищался Карлейлем и Теннисоном, Браунингом, Вашингтоном Ирвингом, Гансом Андерсеном и еще двумя-тремя писателями, не скрывая этого ни от них, ни от своих друзей. В этом преклонении перед некоторыми его современниками и полном отсутствии зависти к собратьям по перу кроется один из секретов диккенсовского обаяния.

Сила воли, пронизывавшая все его существо и направлявшая его талант, делала его в некоторых отношениях жестоким и эгоистичным. В нем чувствовался избалованный ребенок, хотя редко кого так мало баловали в детстве. «Я знаю, что во многих случаях бываю раздражителен и своеволен», — признавался он. Не приходится сомневаться, что свой собственный мир — тот, в котором он вращался, — он совершенно подчинил себе, навязывал ему свои желания, руководил и распоряжался им. И в его доме тоже все было подчинено его вкусам и прихотям. Обеды устраивались так, как велел он, комнаты обставлялись по его указаниям, увеселительные, да и вообще все поездки предпринимались по его воле. Его деспотическим наклонностям немало способствовала и жена,

безответная и безответственная. Не будь он добр по природе, не будь он «благожелательным деспотом», их семейная жизнь стала бы на редкость тяжела. Ведь и так Кэт и детям часто приходилось одергивать себя, как будто они не у себя дома, а в гостях. Об опрятности и пунктуальности, например, нельзя было забыть ни на мгновение. Глава семьи так следил за порядком, что его домашние, наверное, подсакивали, как ужаленные, при виде книжки, свалившейся со стола, и трепетали от ужаса, заслышав бой часов. «Ручаюсь, что я точен, как часы на здании Главного штаба», — хвастался Диккенс. Он являлся на свидания минута в минуту, а к столу в его доме садились вместе с первым ударом часов. Мебель в комнатах была расставлена так, как он того желал; место каждого стула, дивана, стола, каждой безделушки было определено с точностью до квадратного дюйма. «Следи, чтобы вещи стояли на своих местах. Терпеть не могу беспорядка», — подобные фразы то и дело встречаются в его письмах к Кэт. Стоило ему приехать в меблированный дом или гостиницу, как он все переставлял по-своему, даже гардероб и кровать. Все, разумеется, в полном порядке, — писал он на борту корабля. — Мои бритвенные принадлежности, несессер, щетки, книги и бумаги разложены с такой же аккуратностью, как если бы мы собрались прожить здесь месяц». Накануне возвращения из Америки его занимали «мысли о том, в порядке ли мои книги, где стоят столы, стулья и прочая обстановка».

Но, несмотря на его педантичность (отчасти возникшую как протест против беспорядка и сумбура, среди которых протекало его детство), у него была счастливая семья: он был привязан к детям, любил смотреть, как они веселятся, и вместе с ними сам резвился, как маленький. Летними вечерами он часто возил Кэт, Джорджину и двух своих дочерей в Хемпстед гулять по вересковой пустоши. Дамы собирали цветы, а он рассказывал им занятные истории. После прогулки компания закусывала в «Джек Строз Касл», а потом возвращалась домой. Люди почти всегда говорят, что любят детей; но часто за этим скрывается не что иное, как властолюбие. Нетрудно заметить, что любовью обычно пользуются лишь примерные дети, паиньки, она никак не распространяется на «дурных», трудных детей. Но любовь Диккенса к детям была прежде всего тоской о своем утраченном детстве и желанием вновь обрести его в кругу собственных детей. Когда он не читал им наставления о чистоплотности, опрятности и пунктуальности, он был им больше товарищем, чем отцом. А если кому-нибудь из них случалось заболеть, он ухаживал за ними лучше всякой няньки: не только часами просиживал у их кроваток, развлекая их сказками, но и знал, что нужно делать в минуты опасности. Он был практичен, бодр, энергичен,

хладнокровен и полон сочувствия.

Желание управлять, руководить, добиваться своего вместе с жаждой цельной и все понимающей любви, которую он не мог найти, рождали в нем постоянное беспокойство, усугубленное творческим, пытливым умом и пламенным темпераментом. «Это невыразимое, томительное нечто», эта «смутная и ненасытная жажда чего-то неопределенного», казалось бы, более естественна для дельца или актера, чем для художника, знакомого и с раздумьем и с тайнами творчества. Но Диккенс ее испытал в большей мере, быть может, чем любой другой великий писатель. Бывали дни, когда он шагал по улицам и окрестностям Лондона как одержимый, шагал все быстрее, как будто, подобно Николасу Никльби, надеялся обогнать свои мысли. С годами этот высокий духовный накал становился все сильнее, толкая его на подвижнические поступки, которые раньше свели его в могилу. Эта постоянная душевная тревога чувствуется и в его работах: в навязчивых звуках шагов на улицах — от «Лавки древностей» до «Повести о двух городах»: «Эти непрерывные шаги, то затихающие, то вновь приближающиеся, это извечное движение, поступь этих ног, непрерывно ступающих по грубым камням и шлифующих их до блеска». И — «Снова и снова гулким эхом отдавались в тупике звуки шагов; одни слышались под самыми окнами; другие как будто раздавались в комнате. Одни приближались, другие удалялись, одни внезапно обрывались, другие замирали постепенно где-то на дальних улицах. А вокруг — ни души».

С энергией и неутомимым, мятежным духом в нем сочеталась феноменальная способность к детальным и точным наблюдениям. Бывают на свете люди (к их числу относились Маколей, Оскар Уайльд, Сидней Уэбб<sup>[118]</sup>), обладающие поразительным даром: они могут читать книги, как бы фотографируя их в памяти. Они переворачивают страницу, и весь текст мгновенно отпечатывается в их мозгу: много лет спустя они могут повторить его слово в слово. Обладал этой способностью и Диккенс, но только он видел не страницы. У него был «нюх» на людей, места, события; каждая подробность так врезалась ему в память, что он мог мгновенно припомнить мимолетное выражение лица, случайную интонацию, неприметную деталь обстановки, неуловимую перемену атмосферы, оттенок настроения, тон беседы. Он мог бы затмить самого Босуэлла<sup>[119]</sup>, но предпочитал быть Босуэллом собственных впечатлений, регистрировать собственное мироощущение. Эти мысленные фотографические снимки обретали на бумаге форму слов, и сцены, написанные им, остаются непревзойденными по яркости и многообразию красок. Однако он и в

работе был артистом-трансформатором и не мог долго выдерживать один и тот же характер, не повторяясь. На сцене или в короткой литературной зарисовке это забавно; в большом романе — утомительно. Правда, сразу же бросается в глаза одно исключение: старый Доррит, — но ведь это портрет отца, к которому он питал слабость с самого детства. В целом же комические герои Диккенса написаны живо, но поверхностно, совсем как театральные персонажи. Им несвойственны глубина и богатство красок, обаяние и значительность комических героев Шекспира и Скотта, но они более блистательны и гротескны, они как будто наэлектризованы энергией автора. Освещенные лучами его небывалой наблюдательности, они стоят как живые, и по сей день случается, что какого-нибудь странного и эксцентричного человека сразу же назовут «диккенсовским персонажем».

Сила и верность его наблюдений подтверждается еще и той сверхъестественной точностью, с которой он, описывает случаи душевных заболеваний. Не имея никакого медицинского образования, создавая свои творения в эпоху, когда о неврозах фактически ничего еще не было известно, он, по мнению специалиста У. Рассела Брейна, описывал симптомы нервных болезней «не менее подробно и верно, чем некоторые выдающиеся клиницисты»<sup>[12]</sup>. Один из примеров тому — миссис Гарджери из «Больших надежд». Можно упомянуть и миссис Скъютон из «Домби и сына», страдающую церебральным артериосклерозом. «Диккенсовский отчет о течении ее болезни поражает не только точностью описаний отдельных симптомов, но более всего, пожалуй, тем искусством, с которым он изображает неумолимый ход болезни, подползающей к больному вначале крадучись, коварно, а затем катастрофически обостряющейся». Показав, как безошибочно описывает Диккенс случаи старческого слабоумия, гипомании, аграфии, афазии, паранойи, нарколепсии, параплегии и моторной атаксии (от одних этих названий героя нашей книги бросило бы в холодный пот), Рассел Брейн утверждает, что «в неврологии Диккенс так же силен, как в психиатрии». Преступникам, очевидно, повезло, что Диккенс не вздумал попытать свои силы на поприще следователя: он бы оставил без работы всех шерлоков холмсов.

# DAVID COPPERFIELD.

BY  
CHARLES DICKENS.



Впрочем, зачем ему было отбивать хлеб у сыщиков? Ему вполне хватало и своих забот. Лето 1847 года он провел в Бродстерсе, работая над «Домби» и устраивая себе в виде отдыха такой моцион, который каждый обычный человек приравнял бы к каторжным работам. В конце года он поехал в Шотландию, чтобы выступить на открытии Литературного клуба в Глазго. В поезде у Кэт произошел выкидыш, и она не смогла присутствовать на торжестве. Диккенсу устроили грандиозный прием, ухаживали за ним, носились с ним, приглашали на ленчи и обеды. Он съездил в Эбботсфорд, побывал у Джеффри. Все ему очень понравилось, кроме памятника Скотту на Принсес-стрит: «Такое впечатление, как будто с готического собора сняли шпиль и воткнули в землю». В начале 1848 года в Брайтоне он почти дописал «Домби», окончательно завершив его в конце марта, уже на Девоншир-Террас, а потом помчался в Солсбери, остановился в «Белом олене» и целый день провел верхом на лошади вместе с Форстером, Личем и Лемоном: посетил «избушку» Хэзлитта<sup>[120]</sup> в Уинтерслоу, осмотрел Стоунхедж<sup>[121]</sup>, галопом промчался по Равнине,



заехал в Мальборо<sup>[122]</sup> и вернулся домой, чтобы отметить окончание романа традиционным праздничным обедом и начать репетиции «Виндзорских насмешниц». Летом он снова поехал в Бродстерс, где жена его чуть не погибла; она каталась в коляске, запряженной пони, и лошадки вдруг понесли: с Кэт постоянно случалось если не одно несчастье, то другое, как будто ей это на роду было написано. Что же касается ее супруга, он устроил себе, как он говорил, «безделье» — иными словами, каждый день в половине восьмого утра купался, потом играл с детьми, принимал гостей, совершал двадцатимильные прогулки, ездил в Маргет<sup>[123]</sup> и Рамсгет<sup>[124]</sup> в театр, а в промежутках переодевался, потому что вечно был мокр до нитки — либо от дождя, либо от пота. В сентябре умерла его сестра Фанни, оставив детей и молодого мужа. У Фанни была чахотка, и Чарльз часами сидел у ее постели, вспоминая детство, Четем, Рочестер, Кобэмские леса. Смерть сестры глубоко потрясла его: оборвалась первая нить, связывавшая его с юностью. Быть может, именно это и определило тему его следующего большого произведения. Впрочем, о новом романе нечего было и думать, не закончив пятую и последнюю рождественскую повесть «Одержимый», из-за которой он снова стал «бродить по ночным, полным видений улицам». «Одержимый» был закончен в ноябре, в брайтонском отеле «Бедфорд», где автор «вот уже три дня подряд плакал над ним, но не горькими, а легкими, приятными слезами, как, надеюсь, будут плакать над ним и читатели».

Теперь он был готов приступить к роману, ставшему самым популярным из всех его произведений и самым дорогим для него самого, — роману, который, несомненно, входит в число трех его лучших книг. Это вещь в основном автобиографическая, но, чтобы это не слишком бросалось в глаза, автор изменил место действия и множество других обстоятельств, среди которых протекала его юность. Героев, взятых из жизни, он изобразил такими, что едва ли кто-нибудь из них мог узнать себя. Решив, что его главный герой проведет свои детские годы где-нибудь в районе Ярмута (может быть, потому, что автору книги хотелось побывать близ Нориджа, где только что произошло сенсационное убийство), Диккенс в начале января 1849 года отправился туда вместе с Личем и Лемоном. В поезде на Бишоп Стортфорд они встретили попутчиков, ехавших в гости к приятелю, «недавно ставшему владельцем имения и винного погребка, полученных в наследство от дяди. На станции гостей встречал сам хозяин, и это было зрелище, равного которому я ничего в жизни не видывал. С первого взгляда мне стало ясно, что наследства покойного дядюшки хватит

ненадолго, что не пройдет и пяти минут, как портвейн лишит хозяина последних проблесков рассудка, и сей джентльмен (не без посторонней помощи) проследует в спальню, предоставив гостям развлекаться по собственному усмотрению». По дороге в Лоустофт, недалеко от Ярмута, им попался указательный столб с надписью «Бландерстоун». Диккенс решил, что так и будет называться родная деревенька его героя. В настоящем Бландерстоуне он никогда не бывал, поэтому в романе он так же не похож на себя, как Чатем не похож на Ярмут. Удалось ли ему более правдиво передать атмосферу Ярмута, теперь судить нельзя, даже съездив в этот колоритный приморский городок. Ярмут показался Диккенсу «самым диковинным местечком на всем белом свете». Таким он его и изобразил, а с тех пор этот городок стал еще более диковинным. Друзья остановились в «Королевском отеле», и Диккенс немедленно потащил всех гулять в Лоустофт и обратно — всего за каких-нибудь двадцать с лишним миль! После прогулки Лемон, устав как собака, заснул, сидя у камина. «Сию минуту, кажется, человек был бодр и свеж, и вот он уже храпит, и как храпит! Чудеса!»

В феврале 1849 года у Диккенса появился шестой сынок. Счастливый отец повез Кэт в Брайтон и, поселившись в доме № 148 по Кингс-роуд, вовсю принялся за «Дэвида Копперфилда». Вместе с ними жили Лич с женой. Через несколько дней после их приезда хозяин их дома внезапно сошел с ума, а за ним и его дочь, и жильцам пришлось провести время довольно оживленно: «Слышали бы Вы только, как вопили и ругались эти двое; видели бы, как врач и сестра пулей вылетели из комнаты больного в коридор, как мы с Личем бросились спасать эскулапа, как нас тащили назад наши жены, как доктор медицины шлепнулся в обморок от страха и к нему на помощь подоспели еще три доктора медицины. И все это на фоне смиренных рубашек, среди друзей и прислуги, пытающихся унять больных. Не хватало только миссис Гэмп! Вы, конечно, сказали бы, что все это достойно меня и вполне в моем духе». Они переехали в отель «Бедфорд», где Диккенс с удвоенным жаром набросился на «Дэвида». Название для своего романа он нашел не сразу, отвергнув, по зрелом размышлении, «Признания Копперфилда», «Копперфилдскую летопись», «Мир Копперфилда-младшего», «Последнюю волю и завещание мистера Дэвида Копперфилда», «Все о Копперфилде» и многие другие. Остановился он в конце концов на «Жизни Дэвида Копперфилда, рассказанной им самим». Он был так занят, что его дочь Мэми с беспокойством спросила, приедет ли он домой в день ее рождения. «Будь я даже связан обязательством исключительной важности, — успокоил он ее,

— я пожертвовал бы всеми делами ради удовольствия отпраздновать у себя дома, среди детей, день, который принес мне такую милую, такую хорошую дочку». Весну он провел в Лондоне, устраивая один званый обед за другим, и сам то и дело обедал в гостях и работал, не зная усталости.

Первый выпуск «Дэвида Копперфилда» появился в мае 1849 года, последний — в ноябре 1850-го. После успеха «Домби» материальное положение Диккенса настолько упрочилось, что вопрос о деньгах больше не тревожил его. Однако «Копперфилда» раскупали хуже, чем его предшественника, что на время повергло Диккенса в уныние. Да и писать оказалось труднее, чем он предполагал: «С «Копперфилдом» что-то не клеится. За вчера и сегодня не сделал ничего. Знаю, чего хочу, но все-таки двигаюсь вперед с трудом и скрипом, как почтовая колымага». А тут еще одна неприятность: он упал и сильно ушибся, отчего роман тоже, конечно, не выиграл. Поставив себе банки и украсившись волдырями, он отправился в Бродстерс, поселился в «Альбионе» и стал ждать, не поможет ли ему морской воздух. Воздух действительно помог, но вскоре его снова расстроило одно незначительное событие.

Заглянув в лавчонку за бумагой, он услышал, как какая-то женщина просит дать ей последний выпуск «Дэвида Копперфилда». «Нет, этот я уже читала, — сказала она, когда ей протянули книжку. — Мне нужен следующий». — «Следующий, — заметил продавец, — выйдет в конце месяца». В конце месяца! И ни слова еще не написано! Вот когда Диккенсу, по его собственному признанию, впервые в жизни стало страшно...

Нужно было найти местечко поспокойнее Бродстерса, и, дописав выпуск, которого с таким нетерпением дожидалась покупательница, Диккенс срочно предпринял поездку по острову Уайт и вскоре нашел недалеко от Бончерча «преlestное местечко, лучше которого я еще ничего не видел ни дома, ни за границей». Это было имение Уинтербурн, принадлежавшее его другу, преподобному Джемсу Уайту, который жил поблизости. Диккенс тотчас же снял его, договорился, что плотник устроит у водопада, находившегося на участке, «вечный» душ, и помчался домой за своим семейством. В Райде ему встретился Теккерей. «Бегу сломя голову вдоль пирса, — писал Теккерей миссис Брукфилд 24 июля. — И вдруг мне навстречу великий Диккенс со своей женою, своими детьми, своею мисс Хогарт, и у всех до неприличия грубый, вульгарный и довольный вид». К ним снова приехали супруги Лич, и на первых порах все шло как нельзя лучше. Все чудесно проводили время: устраивали пикники, гуляли, лазили по холмам, плавали, ездили верхом, устраивали всевозможные развлечения, затевали разные игры, показывали фокусы, а Диккенс каждый день еще и

работал до двух часов. Но вот прошло несколько недель, и всех одолела лень и сонливость. Даже сам Диккенс едва мог заставить себя пройти десять миль и с утра до вечера чувствовал «непреодолимую слезливость». Силы покидали его. Делать ничего не хотелось. «Жизнь утратила решительно всякий смысл». Причесываясь по утрам, он чувствовал такое утомление, что был вынужден проделывать эту процедуру сидя. Читать он не мог. Он становился развалиной — физически и духовно. Он понял, что если останется здесь на целый год, ему грозит смерть. В конце сентября во время купанья Лича сбило с ног большой волной, и он слег с сотрясением мозга. Диккенс долгие часы проводил у его постели. Поняв, что его друг не поправится, если не заснет, он попросил у миссис Лич разрешения загипнотизировать ее мужа и, получив согласие на это, взялся за дело. «После очень утомительного сеанса я усыпил его на час тридцать пять минут». После этого Личу сразу стало лучше, и вскоре он совсем выздоровел. Как только опасность миновала, Диккенс уехал из Бончерча в Бродстерс, где свежий живительный воздух быстро вернул ему бодрость духа, здоровье, крепкий сон и страсть к далеким прогулкам.

Возвратившись домой, он присутствовал в ноябре на публичной казни Маннингов и пришел в ужас: равнодушная, грубая, жестокая толпа, шуточки и брань пьяного палача — что за мерзость! Он отправил два письма в «Таймс», рассказав об этом тошнотворном зрелище и решительно требуя, чтобы публичные экзекуции прекратились. «Ум способен дать человеку несравненно более сильные впечатления, чем глаза. Мне кажется даже, что, увидев вещь, нам труднее оценить ее по достоинству». Эти слова Филдинга Диккенс приводит в одном из писем. Началась широкая дискуссия, и Диккенс едва не утонул в потоке корреспонденции. Его протест не прошел бесследно, и ему довелось своими глазами увидеть, как этим позорным зрелищам был положен конец.

В конце того же месяца он и Кэт побывали у Уотсонов в Рокингемском замке. Вместе с ними гостила горячая поклонница Диккенса по имени Мэри Бойл. У Мэри было незаурядное сценическое дарование, и Диккенс сыграл с нею несколько сценок из «Школы злословия», а также эпизод с сумасшедшим из «Николаса Никльби». После этого Мэри Бойл стала его другом на всю жизнь. Как всегда после волнующих событий подобного рода, у Диккенса наступила реакция, и он, выражаясь его собственными словами, «стал сущим несчастьем для чад и домочадцев». Впрочем, это скоро прошло.

Весь 1850 год был занят не только «Дэвидом Копперфилдом», но и еще одним делом, о котором мы более подробно поговорим в следующей

главе. Любому другому этого за глаза хватило бы, чтобы чувствовать себя занятым по горло. Но Диккенсу ничто не могло помешать пуститься по белу свету, когда ему не сиделось на месте. Так в середине 1850 года он прибыл в парижский отель «Виндзор», заскучал, «осматривая то, что меня вовсе не интересует», и потащил Маклиза в Морг, где его другу стало «так дурно, что он, к моему полному замешательству, опустился на какие-то ступеньки и просидел так минут десять, подпершись ладонью». Август, сентябрь и октябрь Диккенс провел в бродстерском Форт-Хаусе, заканчивая «Копперфилда» и ежедневно вышагивая пешком многие мили, принимая гостей и чувствуя, что ему становится все труднее выносить общество своего будущего биографа. В один прекрасный день он вместе со своим сыном Чарли, Форстером и еще двумя гостями «прошелся» до Ричборского дворца и обратно. «Форстер был в отличнейшем расположении духа, но разглагольствовал, по-моему, вдвое громче, чем всегда (!). Право же, он совсем выбил меня из колеи, и потом, разгоряченный к тому же прогулкой, я никакими силами не мог заснуть. Наконец, махнув на сон рукой, я встал и бродил вокруг дома часов до 5 утра. Зашел к Джорджине и стащил ее с кровати, чтобы она составила мне компанию... А сегодня в половине восьмого утра я уже успел вынырнуть из постели и нырнуть в море». Иногда по вечерам играли в «vingt-et-un»<sup>[13]</sup>. Впрочем, Диккенс никогда особенно не увлекался карточной игрой. Кроме того, он был так поглощен своей книгой, что то и дело, забыв об игре, вскакивал из-за стола и поправлял картину на стене или ставил на место какой-нибудь стул.

Работая над «Дэвидом», он вновь переживал свое детство, и ему часто стоило большого труда отобрать среди нахлынувших на него воспоминаний лишь те, которые были действительно необходимы для сюжета. Прошрое, всегда живое и яркое, часто вставало перед ним во сне. «Мне обычно снятся события двадцатилетней давности, — писал он в феврале 1851 года. — Иногда в них вплетаются какие-то факты моей нынешней жизни, но как-то бессвязно, между тем как все, что было двадцать лет назад, я вижу очень четко. Я уже четырнадцать лет женат, имею десять человек детей, но не помню, чтобы хоть однажды видел себя во сне обремененным обязанностями отца и супруга или окруженным моими близкими». «Дэвид Копперфилд» воскресил его детские годы, и поэтому, как он заметил незадолго до смерти, он любил эту книгу «больше всех других. Подобно многим любящим родителям, я в глубине души знаю, что у меня есть любимое дитя, и зовут его — Дэвид Копперфилд». На этот раз ему понадобилось немало времени, чтобы «пустить машину в ход», но, наконец, он. вошел во вкус, и слова так и полились из-под его пера.

Пригодился для романа и отрывок автобиографии, написанный им несколько лет назад. О том, как подвигалась работа, можно проследить по отдельным фразам его писем.

6 июня 1849 года: «Ну, слава тебе, господи, чувствую, что роман пойдет. Что случится в этом месяце, уже обдумал. На два ближайших месяца план тоже готов».

17 ноября: «Я весь ушел в работу. Чудесно! Ничто не задевает и не тревожит».

20 ноября: «После двух дней очень трудной работы сделал «Копперфилда». Выпуск, по-моему, превосходен! Надеюсь, что первое «грехопадение» моего героя покажется читателю кусочком курьезной правды, достойным внимания».

23 января 1850 года: «Я очень надеюсь, что из-за малютки Эмили меня будут помнить долгие годы».

20 февраля: «Боюсь, что не смогу к Вам присоединиться: «Копперфилд» идет полным ходом и завтра должен быть закончен. Из всех сил постараюсь успеть. В этом выпуске есть любовная история, по-моему, прелестная и смешная».

7 мая: «Все еще не решил, как быть с Дорой, но сегодня должен решить».

13 августа: «Работа идет вполне прилично, несмотря на домашние осложнения. Надеюсь, что выпуск будет отличный. Чувствую эту вещь всем своим существом до последней мелочи». (Под домашними осложнениями имеется в виду Кэт, которая 16 августа преподнесла ему третью дочь. В честь героини «Дэвида Копперфилда» новорожденную назвали Дорой. Через год она умерла.)

20 августа: «Три дня работаю как проклятый, а мне еще предстоит убить Дору. Если повезет, может быть, удастся сделать это завтра».

26 августа (жене): «Вчера читал новый выпуск Стоуну и Джорджи и привел обоих (особенно Стоуна) в ужасающее волнение. Надеюсь, и ты не осталась равнодушной». (Речь идет о выпуске, где описана смерть Доры.)

15 сентября: «Эти два дня работал как каторжный; вчера — шесть часов подряд, сегодня — шесть с половиной. А все виновата глава о Хэме и Стирфорсе, совершенно измучившая меня. Я уж чуть было не сложил руки!»

17 сентября: «Опасно заболел «Копперфилдом» — сейчас в работе самое сильное место книги, и я смело могу брать заказы на изготовление семидесятичетырехфунтовых пушек... Теперь я все могу».

24 сентября: «После «Копперфилда» понемногу прихожу в более или

менее нормальное состояние — на. время, конечно. Готовлюсь окунуться в театральные дела. В очередном выпуске «Копперфилда» кое-что, на мой взгляд, удалось лучше, чем когда бы то ни было. Так, между прочим, всегда: поверю в удачу всей душой, а в результате — пожалуйста: пишу так, что глазом не разобрать и умом не понять».

21 октября: «До берега осталось каких-нибудь три страницы. А у меня, как всегда, двойственное чувство: и радостно и печально. Ах, милый мой Форстер, вздумай я Вам рассказать хотя бы половину того, что заставил меня сегодня пережить Копперфилд, и как странно, даже для Вас, прозвучали бы мои откровения! Я как будто посылаю в Страну Призраков частицу самого себя».

23 октября: «Только что кончил «Копперфилда» и не знаю, смеяться мне или плакать... Думаю уехать куда-нибудь на денек-другой — скорее всего, в Рочестер, где жил мальчиком, — и выбросить из головы все, что написано за эти две недели...»



Он работал над «Копперфилдом» и в Брайтоне, и в Бончерче, и в Лондоне, но львиная доля работы была проделана в Бродстерсе, которому он отдавал безусловное предпочтение перед всеми маленькими приморскими курортами. Здесь, конечно, жила и его Бетси Тротувуд, хотя в романе и сказано, что ее дом находится в Дувре. Диккенс на все лады расхваливает Бродстерс в своих письмах: «Бродстерс — очарование. Зеленеют хлеба, заливаются жаворонки, сверкает море, и все это делается

как нельзя лучше!» Там он, пожалуй, провел больше счастливых дней, чем где-либо еще. Душевный покой, относительный, конечно, которым он здесь наслаждался, чувствуется и в «Копперфилде» — самом гармоничном из его произведений. Это его самая «личная» книга, гораздо более правдивая, чем большинство так называемых автобиографий. Но в одном отношении она оказалась чересчур правдивой. Некая дама по имени миссис Хилл узнала себя в мисс Моучер, и так как нрав у этой мисс злобный, а вид отталкивающий, то миссис Хилл сочла нужным пожаловаться автору. Диккенс ответил, что герои его произведений — фигуры собирательные. Некоторые их качества, несомненно, можно найти у миссис Хилл, другие — еще у кого-то. Впрочем, он признает, что был к ней несправедлив и поэтому откажется от своего намерения изобразить мисс Моучер исчадием ада и сделает ее весьма достойной особой, с которой другие члены общества могут брать пример. Сказано — сделано! Успокоенная миссис Хилл, очевидно, с удовольствием следила за тем, как шагает из выпуска в выпуск переродившаяся духовно, но — увы! — по-прежнему уродливая физически мисс Моучер.

Мы не знаем, сумел ли мистер Джон Диккенс, отец писателя, уловить известное сходство мистера Микобера с самим собою. Но нет сомнений, что именно он послужил прообразом этого героя. Достаточно обратить внимание на стиль нескольких его фраз, которые его сын приводит в своих письмах:

«Лишиться, в известной мере, связанных с этим преимуществ, в чем бы они ни заключались, являющихся результатом его врачебного искусства, каким бы оно ни было, и профессионального характера оказываемых им услуг, если их можно рассматривать как таковые...»

«...Само собой очевидно для любого среднеинтеллигентного человека — да будет нам позволено воспользоваться этим термином...»

«И я должен признаться, что его долговечность представляется мне (по меньшей мере) чрезвычайно сомнительной».

«Всевышний был бы вовсе не тем, за кого я имею все основания его принимать, если бы проявил хотя бы малейшую склонность к обществу твоих родственников».

Конечно, это он устами Микобера говорит своей жене: «Душенька, твой папочка по-своему был превосходным человеком, и боже меня упаси умалять его достоинства. Что там ни говори, а нам уж, наверное, никогда... я хочу сказать — нам никогда больше не встретить человека, на котором — в его-то годы — так красиво сидели бы гамаши и который смог бы разбирать такой мелкий шрифт без очков».



Что касается миссис Микобер, то она кое в чем напоминает матушку Диккенса. Есть в романе и другие персонажи, прообразы которых известны: например, Стирфорс и Крикль. О миссис Гэммидж и говорить нечего: почти в каждой семье можно найти подобную особу, сетующую на свою горькую участь. Агнес — это все то же идеальное существо, каким Диккенсу представлялась Мэри Хогарт: бесплотная женщина, совершенство, встречающееся разве что в воображении, но никак не наяву. Ей противостоит еще одна из его «неприкасаемых», отчасти обязанная своим появлением современной автору мелодраме и отчасти викторианскому пониманию того, что «прилично» для женщины (Марта — женщина «неприличная»), но главным образом порожденная чувством вины перед такими, как она. То, что одна эпоха свято чтит как непреложную истину, другой эпохе кажется ложью. Ни одна пропасть так не отделяет нас от викторианцев, как разный подход к соблюдению женщиной целомудрия до замужества и верности после него. Распушенность мужчин и безграничное лицемерие — естественное следствие подобной установки — в расчет не принимались. Главы «Дэвида Копперфилда», посвященные этой теме, были бы просто тягостны, не будь они так комичны. Впрочем, читатель, не видящий в них ничего забавного, может расстаться с ними так же, как расстается Марта со своими добродетельными друзьями: «Глухой стон послышался из-под шали, все тот же тоскливый, мучительный стон — и она ушла».

Первые четырнадцать глав — самое лучшее, что когда-либо написано о детстве и юности. Правда, после сцены, в которой Бетси Тротвуд дает отпор Мэрдстонам, повествование развивается несколько вяло, и новая живительная струя вливается в него лишь с появлением Доры. Не считая чисто комических или гротескных героинь, Дора — самый удачный из всех женских портретов Диккенса. Как видно, Мария Биднелл сумела проникнуть в самую кровь и плоть его: Дора — это и есть Мария Биднелл, лукавая и пленительная. Никто лучше Диккенса не сумел еще рассказать о юношеской любви, с ее безрассудствами, ее неистовыми порывами, радостями, мучениями, восторгами и унижениями, подозрениями и наивной верой. Зная, какой он был щеголь, мы можем вполне поверить, что нижеследующий отрывок нисколько не грешит против истины: «В первую же неделю я приобрел четыре роскошных жилета... взял себе за правило появляться на улице в бледно-желтых лайковых перчатках и подготовил почву для всех своих настоящих и будущих мозолей. Если бы только можно было раздобыть откуда-нибудь ботинки, которые я носил в ту пору, и сравнить их с размером моей ноги, они бы послужили самым трогательным

доказательством того, что творилось тогда в моем сердце».

И хотя Дэвида Копперфилда отнюдь нельзя считать копией Чарльза Диккенса, он все-таки наделен некоторыми главными качествами автора книги:

«Я, кажется, ни на что особенно не смотрел, но видел все».

«Я никогда бы не смог ничего добиться в жизни без тех привычек, которые выработал для себя в те дни: аккуратности, пунктуальности, прилежания».

«За что бы я в жизни ни взялся, я все старался сделать хорошо... Я отдавался целиком всему, чему бы себя ни посвятил... Как к малым, так и к большим задачам я всегда подходил основательно и серьезно. Я никогда не верил, что можно добиться чего-то только способностями — природными или благоприобретенными, не подкрепив их другими качествами: упорством, скромностью, трудолюбием».

«Никогда не делай кое-как то, чему можешь отдать все свои силы; никогда не позволяй себе пренебрежительно относиться к делу, каким бы оно ни было, — вот в чем, как я теперь вижу, заключалось мое золотое правило».

Подобно автору книги, Дэвид одержим духом беспокойства и во многом повторяет жизненный путь Диккенса. Фабрика ваксы, Маршалси, первая любовь, Докторс-Коммонс, репортерские скамьи парламента, первые книги, успех. Есть в характере Дэвида и актерские черты: узнав о том, что умерла его мать, он идет во время занятий на школьную площадку для игр и прохаживается по ней. «Видя, как товарищи, направляясь на уроки, глядят на меня из окна, я почувствовал, что я человек особенный, не такой, как другие, и придал своему лицу еще более скорбное выражение и замедлил шаг». И, наконец, Дэвид, подобно Диккенсу, разочарован своей женитьбой. Кэт, должно быть, призадумалась, читая эти строки:

«Порою — правда, ненадолго — я все-таки чувствовал, что в жене мне недостает советчицы, что ей не хватает твердости и силы характера, чтобы стать мне поддержкой и примером, заполнить ту пустоту, которую я смутно чувствовал вокруг себя».

«Так вот и получилось, что все труды и заботы нашей жизни легли на меня, и облегчить мою ношу было некому».

«Ни одно неравенство так не страшно в браке, как несходство склонностей и убеждений».

«Но я знал, что было бы лучше, если б жена могла мне больше помогать, делить со мною мысли, которые мне некому было поведать. Знал я и то, что так могло бы быть».

Автобиографический роман Диккенса — самый популярный из шедевров английской литературы. И хотя не лишен, быть может, основания довод, что «Том Джонс», «Пуритане», «Ярмарка тщеславия» и «Крошка Доррит» — произведения более значительные, немногие решились бы оспаривать тот факт, что «Дэвид Копперфилд» находится в первом десятке великих английских романов. В июне 1850 года, собираясь на лето в Бродстерс, Диккенс писал Макриди: «Верчусь как белка в колесе: то «Копперфилд», то «Домашнее чтение». Надеюсь вскоре поехать на побережье к старому символу Вечности, который я так люблю, и под его нестройную музыку покончить с романом. Дай бог, чтобы книга получилась хорошей; я очень надеюсь на это. Чтобы читали ее Ваши дети, и дети Ваших детей, и их дети», Мы знаем, что желание его осуществилось.

## Дела редакционные и пр

ПОКИНУВ «Дейли ньюс», Диккенс стал все чаще возвращаться к своей заветной мечте: создать еженедельник, который стал бы летописью текущих событий и отражал дух эпохи, — критический солидный журнал, логично построенный, направленный на «всестороннее улучшение наших социальных условий» и, самое главное, интересный. «Копперфилд» не был еще и наполовину закончен, когда его автор стал опять писать об этом Форстеру и подбирать для журнала названия: «Малиновка», «Человечество», «Чарльз Диккенс», «Товарищ», «Домашние голоса». В конце концов он отыскал именно то, что было нужно, у Шекспира: «Домашнее чтение»<sup>[125]</sup>. Издавать еженедельник взялись Бредбери и Эванс, за что им причиталась четверть доходов. Диккенс, как редактор, получал пятьсот фунтов в год и половину барышей. Форстеру отводилась восьмая доля, а У. Дж. Уиллс<sup>[126]</sup> (бывший секретарь Диккенса по «Дейли ньюс») стал помощником редактора с жалованьем восемь фунтов в неделю и получал оставшуюся восьмую долю доходов. Первый номер журнала вышел 30 марта 1850 года. «Домашнее чтение» просуществовало до конца мая 1859 года, когда Диккенс — по причинам, которые будут со временем изложены, — основал свой собственный еженедельник под другим названием.

Естественно было бы предположить, что плодовитый писатель, режиссер, актер, оратор, общественный деятель, ведущий обширную переписку, и глава семьи, после того как первый порыв энтузиазма миновал, мог бы переложить чисто редакторские обязанности на своего помощника. Но не тут-то было! Диккенс держал под строгим контролем каждый номер журнала. Где бы он ни находился — дома или в отъезде, он был в курсе всех дел, посылал бесчисленные советы Уиллсу, читал материалы, отбирал и переделывал статьи и рассказы, присланные ему на отзыв, находил новых авторов, предлагал новые темы, чаще всего сокращал, изредка добавлял что-нибудь, иногда переписывал чужие вещи наново и точно в срок готовил собственные очерки и заметки. Некоторые авторы приходили в крайнее возмущение, прочитав в журнале свою сокращенную и исправленную статью. Миссис Гаскелл, чей «Крэнфорд» печатался в «Домашнем чтении» частями, весьма разгневалась и запротестовала, увидев, как поработал на страницах некоторых ее рукописей синий карандаш Диккенса. Напрасно! Раскаяние было

несвойственно этому редактору, зато платил он вовремя и щедро, так что муки уязвленного самолюбия обычно быстро утихали под приятный звон монеты. Имена авторов газета хранила в строжайшей тайне, и читатели нередко удивлялись тому, что так много статей написано в диккенсовском стиле. Разгадка отчасти заключалась в том, что значительную долю материала корректировал редактор, тративший, должно быть, на письма, объяснения и советы авторам не меньше времени, чем обычный редактор — на передовые статьи. Его отец и тесть тоже сотрудничали в журнале; кроме того, он на первых же порах «открыл» Джорджа Огастеса Сейла<sup>[127]</sup>, который, работая в «Домашнем чтении», быстро приобрел известность и сделался заметной фигурой на Флит-стрит. Живя в городе, Диккенс почти ежедневно с восьми до одиннадцати утра работал в редакции на Веллингтон-стрит и, диктуя, расхаживал по кабинету, чтобы сочетать умственные упражнения с физическими.

Особенность нового еженедельника состояла в том, что он называл вещи своими именами — в пределах приличия. Здесь не давали пощады порокам общества, но чувства все-таки старались щадить. «Остерегайтесь писать для широкого читателя то, что Вам было бы не совсем удобно произнести вслух, — написал Диккенс однажды автору, который прислал статью об Уоте Тайлере. — Миссис Скатфидж, может быть, и в самом деле разделась на людях донага. Я в этом даже уверен. Но не следует сообщать об этом юным леди девятнадцатого века». В те времена добрым христианам полагалось влачить по воскресеньям беспросветно-унылое существование — очевидно, потому, что слова «праведный» и «несчастный» довольно близки по смыслу. Диккенс отнюдь не разделял эту точку зрения и беспрестанно твердил, что запрещение всяких развлечений по воскресным дням — большое зло и что беднякам были бы очень дороги воскресные развлечения. Он любил смотреть, как люди веселятся, и радовался, видя, как развлекаются даже не слишком почтенные члены общества. Явившись в театр, где самый дорогой билет стоил один шиллинг, он «заметил несколько знакомых карманных воришек; но поскольку они, совершенно очевидно, находились здесь как частные лица, временно сложив с себя свои общественные обязанности, нас не слишком тревожило их присутствие. Мы полагаем, что часы, проведенные этим классом общества в праздности, — чистая прибыль для общества в целом; мы отнюдь не присоединяемся к жалостным воплям, издаваемым некоторыми недалёковидными людьми, даже при виде карманника, свободного от исполнения его прямых обязанностей». Лишь одна форма праздности представлялась ему грозной опасностью для демократического общества

— вынужденное безделье, следствие забастовок: «Кто бы ни был прав или виноват — хозяин, рабочий или они оба — все равно. Если производство будет постоянно или хотя бы часто останавливаться, это сулит верную гибель и тому и другому. Много ли чистых капель останется в общественном океане, когда все ширятся мутные воды застоя?» А между тем он прекрасно знал, что значит работать на хозяина: «Невесело... представлять себе английского труженика в узде или ярме; невесело думать и о том, что кто-то считает это необходимым. Английский рабочий — человек самой высокой, самой благородной души. Он сын великой нации, он завоевал себе на земле славное имя. Если он сделал неверный шаг, его нужно великодушно простить, ибо никто так не заслуживает прощения, как он». От парламента Диккенс не ждал ничего хорошего. Аристократы ни на что не способны, члены Палаты общин — народ несведущий, и повсюду царит бюрократизм. Государству как воздух нужны люди дела. «Что, если мы побережем Ничтожество для памятников, звезд и орденов, отдадим ему чины, звания, пенсии без заслуг, а настоящее дело поручим Человеку?» — предлагал он. Ничто не ускользало от внимания Диккенса: он доказывал, что общества пацифистов организованы неумно, а разговоры о разоружении — необдуманны; он бичевал всякое угнетение, клеймил лицемеров всех мастей, высмеивал глупость и разоблачал жестокость, над одним смеялся, другое осуждал, и его журнал приобрел куда большую популярность на окраинах, чем в фешенебельном районе Мэйфер<sup>[128]</sup>.

Он знал, что один урок его авторам следует усвоить прежде всего: каждая статья должна быть написана живо и занимательно. Он твердил им об этом без устали, и Уиллсу и всем прочим. Умная мысль, глубокая, верная? Безразлично! Если она плохо изложена, лучше не высказать ее совсем. «Это поручите Джону Холлингсхеду, — говорил он бывало Уиллсу. — Он у нас, правда, большой невежда, но ничего: зато он скомкает факты и не будет терзать нас статьями, подходящими разве что для энциклопедии». А одно из его писем к Уиллсу, касающееся очередного номера «Домашнего чтения», кончается словами: «Веселей, веселей, веселей!» У редактора с помощником не сразу установились весьма дружеские отношения, к великому удовольствию Джона Форстера, заподозрившего, что Уиллс посягает на его «собственность». «Форстер, — писал Диккенс, — жалуется, что Уиллс мало с ним советуется, по-видимому, это его больно задело». На самом же деле Форстера задевало другое: все более крепнущая дружба Диккенса с Уиллсом. Услышав, что Уиллс восхищен тем, как удачно он договорился с Бредбери и Эвансом об издании журнала, Форстер взорвался: «Искренне сожалею, милый Диккенс, но не могу ответить

Вашему другу таким же восхищением, потому что за всю свою жизнь не встречал большего осла!» Форстер изо всех сил старался посеять раздор между Диккенсом и Уиллсом, хотя, прочитав его книгу «Жизнь Диккенса», можно подумать, что он и Уиллс были закадычными друзьями. В конце концов, однако, видя, что из его стараний ничего не получается, он махнул рукой и в 1856 году отказался от своей доли участия в «Домашнем чтении».

Как ни серьезно относился Диккенс к своим редакторским обязанностям, на него порой находил комический «стих», когда он не мог совладать с собою и дурачился вовсю. На одно совещание в редакцию пришли только он да еще один член редакционного совета — Джон Робинсон. Робинсон чувствовал себя не совсем в своей тарелке, зная, что Диккенс привык проводить все собрания по-деловому, и предвидя, что и на этот раз он не отступит от заведенных порядков. Встретились. Обсудили новости. И в ту самую минуту, когда должно было начаться собрание, Диккенс произнес: «Будьте любезны, предложите мою кандидатуру в председатели». Робинсон послушался, решившись, с нервным смешком, сострить, что, если на таком большом собрании председателем будет сам Диккенс, оно, безусловно, пройдет в образцовом порядке. Был оглашен протокол последнего совещания, затем повестка дня. Диккенс с непроницаемо-серьезным видом высказывался по всем пунктам за каждого из отсутствующих членов совета, всякий раз меняя голос и манеры. Каждое предложение обсуждалось в отдельности, причем в прениях участвовали автор предложения, те, кто его поддерживал, и председатель. Дебаты иногда прерывались замечаниями Диккенса, Робинсона и воображаемых сотрудников редакции, и в каждом выступающем можно было безошибочно угадать Форстера, Уиллса, Бредбери, Эванса или другого мнимого оратора. После того как предложение было принято, Диккенс торжественно заносил его в протокол.





«Домашнее чтение» сразу же полюбилось читателям, и в 1850 году, закончив «Копперфилда», Диккенс стал посвящать журналу еще больше внимания. Впрочем, в 1851 году у него отнимали много времени и другие дела: постановка комедии Литтона, спектакли, публичные выступления и личные заботы. После появления на свет третьей дочери Кэт Диккенс тяжело заболела; одно время совсем уж казалось, что ни мать, ни ребенок не выживут. Но маленькая Дора поправилась, и Кэт почувствовала себя лучше — во всяком случае, настолько, что в марте 1851 года ее уже можно было перевезти в Мальверн. Однако ее душевное состояние продолжало внушать серьезную тревогу; еще раньше, «живя за городом даже у близких друзей», она вела себя как-то странно, и ее муж предупредил врача, что с ней следует обращаться «крайне осторожно». Приехав в Большой Мальверн, супруги поселились в имении Натсфорд Лодж, и в ближайшие недели Диккенс провел немало часов в скорых поездках между Лондоном и Мальверном. Ведь дети остались на Девоншир-Террас, а Джорджина жила с сестрой.



После прощального спектакля Макриди и банкета в его честь (и то и другое устраивал Диккенс) он занялся репетициями комедии Бульвер-Литтона и статьями для «Домашнего чтения», и вдруг в самый разгар работы случилось новое несчастье. Его отцу, у которого, оказывается, давно уже были нелады с мочевым пузырем (о чем он никому не сказал ни слова), внезапно стало совсем плохо. Его забрали в больницу и сделали ему без наркоза «самую страшную операцию, какая только известна в хирургии. Это был единственный шанс спасти его. Он держался с поразительным мужеством: меня пустили к нему сразу же после операции. Вся палата была в крови, как на бойне. Он был необычайно бодр и тверд духом... Мне пришлось изрядно похлопотать, чтобы раздобыть то, что ему нужно. Пищу неразборчиво — так дрожит рука... У меня все это немедленно «вышло боком»: болит так, как будто меня ударили в бок дубинкой со свинцовым набалдашником». 31 марта, шестидесяти пяти лет от роду, Джон Диккенс скончался и был похоронен на Хайгетском кладбище. На надгробном памятнике высечена составленная его сыном эпитафия, в которой восхваляются его «таланты, неутомимый и бодрый дух». Чарльз до конца не изменил мнения о своем отце. «Чем больше я живу на свете, тем все лучше и лучше думаю о нем», — такова была искренняя дань его сыновнего восхищения.

Измученный трудами и заботами, Диккенс несколько ночей томился от бессонницы, расхаживая по улицам Лондона, пока не наступал новый день, приносивший новые тревоги и заботы. Много часов он провел у колыбели своей пятимесячной дочери. 14 апреля он пронянчился с нею до самого вечера и затем отправился на банкет Всеобщего театрального фонда, на котором должен был председательствовать. За полчаса до его выступления стало известно, что Дора внезапно умерла. Форстер сообщил ему об этом, когда кончился банкет. Всю ночь у Диккенса просидел Марк Лемон, а Форстер ранним утром поехал с его письмом в Мальверн. Судя по этому письму, Кэт в то время находилась в истерическом состоянии и была, по существу, не способна здраво рассуждать. «Послушай меня, — начиналось письмо. — Ты должна прочесть это письмо очень медленно и внимательно». Он писал, что Дора тяжело больна. «И знай, — я не хочу тебя обманывать, — писал он, хотя каждое его слово было вынужденной ложью, потому что в таком состоянии ей нельзя было сразу сказать всю правду. — По-моему, она *очень* тяжело больна... У меня нет — зачем я буду скрывать это от тебя, дорогая? — никакой надежды на ее выздоровление». Он писал, что Форстер привезет ее домой и что он не может кончить письмо, «не добавив, что я умоляю тебя, приказываю тебе, возвращаясь

домой, призвать на помощь все свое самообладание. Помнишь, я часто говорил тебе: у нас много детей, и нельзя надеяться, что нас минуют горести, уготованные другим родителям. И если — *если* — когда ты приедешь, мне даже придется сказать тебе: «Наша малютка умерла», — ты обязана исполнить свой долг по отношению к другим детям. Их судьбы доверены тебе, и ты должна быть достойна этой великой ответственности». Кэт с честью вынесла испытание и была «так ровна и приветлива, что я боюсь, как бы ей это не повредило». Маленькую Дору похоронили на том же Хайгетском кладбище, куда за две недели до этого отнесли ее деда. Пережить два таких удара подряд было нелегко. Диккенс отложил премьеру «Не так плохи, как кажемся», и королеве вместе с принцем Альбертом, и всеми герцогами, герцогинями и прочими важными птицами пришлось соответственно перестроить программу своих дел и развлечений.

Всю весну он работал с раннего утра до поздней ночи, справляясь со своими многочисленными обязанностями, и еще ухитрялся «под разными предлогами» уводить Кэт из дому, чтобы она могла развлечься, рассеяться. Но ей все-таки не становилось лучше. Тогда он вновь снял Форт-хаус в Бродстерсе с мая по октябрь, и они поехали туда — в последний раз: здесь стало так шумно, что трудно было работать. Ему уже пять лет назад мешали «бродячие музыканты. Если только на улице нет проливного дождя, то не успеешь поработать и получаса, как начинается пытка: и шарманщики, и куплетисты, и скрипки, и бубенцы!» Но теперь здесь стоял такой гомон, что писать можно было, только закрыв все окна и двери, а чтобы погулять в тишине, нужно было уходить куда-нибудь подальше. То было лето Всемирной выставки в Гайд-парке<sup>[129]</sup>, и Диккенс был рад, что живет не в Лондоне. К выставке он испытывал «инстинктивное чувство неприязни, смутное и необъяснимое». Он считал, что выставка «скучна и утомительна». Он побывал на ней дважды, и от количества экспонатов у него закружилась голова. «Зрелища всегда внушали мне безотчетный страх, и при виде такого множества зрелищ, слитых воедино, это чувство отнюдь не рассеялось... Ужасно, когда приходится кривить душой, но если кто-нибудь спрашивает: «А вы уже видели?..» — я отвечаю: «Да», — зная, что иначе мне начнут рассказывать о ней, а этого я не выдержу». Его, как всегда, навещали друзья; приехал в Форт-хаус и его будущий биограф. «Здесь побывал Форстер и, снисходительно потрепав городишко по плечу, уехал, внушив Тому Коллинзу<sup>[130]</sup> глубокую уверенность в том, что он (Ф.) делает океану огромное одолжение, купаясь в нем».

Все лето Диккенс лихорадочно переделывал и перестраивал свой

новый дом. Срок аренды дома № 1 на Девоншир-Террас истекал, и осенью семейству Диккенсов предстояло переехать в Тэвисток-хаус (на площади Тэвисток). Все заботы в связи с переездом легли на Диккенса, и он проявлял при этом больше предусмотрительности, энергии, расторопности, силы воли, сосредоточенности и внимания к каждой мелочи, чем какой-нибудь премьер-министр, управляя целой страной. Когда Диккенс вселялся в новый дом, это было похоже на землетрясение. Ремонтом распоряжался Генри Остин, муж его младшей сестры, и из писем Диккенса, адресованных ему, видно, что хозяйина дома чрезвычайно раздражала медлительность английских рабочих. «Я то и дело брожу (в воображении) по всему дому, на каждом шагу наталкиваясь на рабочих, — писал он из Бродстерса. — Когда у них начинается обеденный перерыв, я падаю духом, а при мысли о том, что в воскресенье они вообще не притронутся к работе, становлюсь несчастнейшим из людей. За обедом мне чудится в подливке вкус клея. В морском воздухе я слышу запах краски. Известка преследует меня днем и ночью, как страшный призрак. Мне снится, что я плотник и никак не могу поставить перегородку в холле. Мне часто снится, что я принимаю в своей гостиной избранное общество и во время танцев проваливаюсь в кухню, так как одной балки не хватает... И каждую ночь мне снятся рабочие. Они строят мне рожи, но ничего другого строить не желают». И месяц спустя: «Ох, неужели это надолго? Все внимание поглощает новая книга! Сюжет так и вертится в голове! А тут еще эти рабочие, эта тупая голова, эта безумная необходимость — и полная неспособность — писать, это брр! Я, кажется, скоро попаду кое-куда!»

Он составил план сада, дал садовнику подробные указания о том, как пересадить деревья и осушить дорожки; потребовал, чтобы ему предоставили смету расходов и назвали «максимальный срок, который понадобится, чтобы закончить все работы. Точность и быстрота — это условия, на которых я всегда настаиваю в первую очередь и оговариваю особо, о чем бы ни шла речь... Я придаю им первостепенное значение и считаю нужным обратить на них ваше внимание, как на главный пункт договора». У него возникла забавная идея пополнить свою библиотеку несуществующими книгами. Были изготовлены разноцветные корешки, которые он потом расставил по полкам, как настоящие книги. На корешках были названия: «История весьма Средних веков» в шести томах, «Рассказы Ионы<sup>[131]</sup> о Ките», «Взгляд и Нечто», (Воспоминания сони), «Моисей и Сыновья. Заповеди (в двух томах)», «Сущность христианства» с примерами из жизни короля Генриха Восьмого<sup>[132]</sup>», «Леди Годива<sup>[133]</sup> на коне»,

«Средство от бессонницы Хенсарда» и прочее в том же духе. Не один гость, должно быть, тщетно пытался достать с полки тот или иной из этих фолиантов, что, разумеется, служило обильным источником беззлобного веселья. В конце октября 1851 года Диккенс сообщил Генри Остину, что в ремонте нового дома произошли заметные сдвиги, хотя маляры большую часть времени посвистывают, плотники о чем-то мечтают, рабочие-ирландцы стонут, обойщики глядят в потолок, а драпировщики отстукивают песенки на металлических прутьях для укрепления ковров на лестницах. В начале ноября семейство, наконец, въехало в Тэвисток-хаус, и Диккенс успел еще до Нового года подготовить первый выпуск своего нового романа — «Холодный дом», напечатанного в марте 1852 года. Роман выходил ежемесячными выпусками до сентября 1853 года. По сравнению с «Копперфилдом» было продано в два раза меньше экземпляров.

Как всегда, предвестником новой книги было нервное возбуждение, на этот раз небывало сильное. В августе 1851 года, обдумывая сюжет «Холодного дома» в Бродстерсе, он писал: «Дело обстоит неладно; симптомы — отчаянная душевная тревога и смутное желание уехать, неведомо куда и зачем». И далее: «Я чуть было не уложил чемодан и не отправился... в Швейцарию, в горы, один! Меня по-прежнему гложет мучительное беспокойство. Не удивляйтесь, если в одно прекрасное утро получите письмо откуда-нибудь с подножия Монблана. Время от времени принимаюсь обдумывать свою новую вещь, и, по мере того как она принимает все более ясные очертания, на меня нападает такая страшная тоска! Быть бы где угодно, лишь бы не здесь... Меня так и тянет отсюда». Затем на некоторое время «Холодный дом» уступил место дому на Тэвисток-сквер. Впрочем, едва только переехав в этот последний, Диккенс сразу же стал прилежно возводить фундамент первого. Первые главы имели большой успех и появились на свет одновременно с его последним ребенком, Эдвардом Бульвером Литтоном Диккенсом, родившимся 13 марта. Диккенс давал своим сыновьям самые невероятные прозвища; новорожденный был прозван Плорнишгентером, или, сокращенно, Плорном. Появление мальчугана, ставшего потом любимцем отца, было встречено не слишком радостно. Через два месяца после рождения его Диккенс писал: «Моя жена, любезно наградив меня номером десятым (ох, кажется, я бы вполне обошелся и без этой любезности), снова чувствует себя прекрасно». И — через четыре месяца: «Идея! Поскольку жена у меня всего одна и больше за душой ничего особенного не имеется, не похлопотать ли мне перед лондонским епископом, чтобы в соборе Святого Павла отслужили небольшой молебен? Пусть замолвят за меня словечко на

небесах, чтобы считалось, что я уже достаточно позаботился о приросте населения моей страны». Что ж, это вполне естественно, если у отца многочисленного семейства, человека, по горло заваленного работой, появляются подобные мысли. Но едва ли тут виновата только его жена.

Впрочем, разве могли родовые муки миссис Диккенс сравниться с его собственными! Он отдавал своим литературным «чадам» все свои мысли, в муках производя их на свет из месяца в месяц. «Горю, как в лихорадке, заболел «Холодным домом». Страшно интересно! Встал в пять часов и яростно накинулся на работу, так что к двенадцати дня почти потерял способность что-либо воспринимать». Герцог Devonshire пригласил его к себе в Четсворт, но он был не в состоянии оторваться от книги даже на «уикэнд». Он отклонял самые соблазнительные приглашения: «Серьезно говоря, я давно уже научен горьким опытом, что, если пишешь книгу, она должна занимать первое место в твоей жизни и безраздельно властвовать над всеми твоими мыслями. Я смирился с тем, что мой удел не светские развлечения, а труды и заботы, которые я посвящаю ей, и что почетные места на моих пирах занимают герои моих романов». Один из этих вымышленных сотрапезников действительно не раз пировал с ним за одним столом и мог бы причинить писателю немало хлопот, если бы не беспокоился прежде всего о том, чтобы сохранить за собою место на пирах. Это был Ли Хант, которого Диккенс совершенно правдиво, прелестно и вместе с тем чрезвычайно нелестно изобразил под видом Гарольда Скимпола. Разумеется, многие обвиняли Диккенса в том, что он проявил дурной вкус, изобразив в таком свете человека, с которым был на короткой ноге. Но ведь нет такого крупного писателя, которого его современники не винили бы в безвкусных поступках, с досадой чувствуя его превосходство и цепляясь за то единственное, к чему мог бы придраться каждый дурак. Хорошим вкусом принято считать продиктованные условностями поступки обыкновенных людей, и великие писатели непременно должны совершать погрешности против хорошего вкуса, потому что они люди необыкновенные. Дурной вкус — один из отличительных признаков большого таланта. Сейчас нет более надобности развивать эту тему. Достаточно только добавить, что Ли Хант, проживший большую часть своей жизни за чужой счет, не имел никакого права жаловаться, когда ему оплатили той же монетой. А он как раз стал жаловаться, когда кто-то обратил его внимание на сходство между ним и Скимполом. Диккенс (который по совету Форстера уже и так значительно смягчил краски, создавая этот портрет) сначала пробовал исправить положение, сказав, что между Хаитом и Скимполом нет ничего общего, но потом чистосердечно

признался, что поступил неправильно и очень раскаивается. Хант стал было при каждой встрече ныть о своих обидах, и некоторое время Диккенс старался держаться от него подальше. Затем, в 1855 году, Хант стал зазывать его к себе в гости, и Диккенс обещал приехать. «Надеюсь, однако, — добавил он, — что Вы не будете вновь касаться в разговоре со мной этого тягостного предмета». После смерти Ханта Диккенс поспешил уверить читателей своего журнала в том, что единственное сходство между Хантом и Скимполом заключается в их обаянии. Эту беззастенчивую ложь, безусловно, сочли доказательством отменного вкуса. Если же говорить правду, Диккенсу удалось с величайшим мастерством передать житейскую философию Ханта, вернее — отношение этого неунывающего эгоиста и эпикурейца к самому себе. Портрет Ханта-Скимпола — это непревзойденный литературный шедевр.

«Я никому так не завидую, как вам, великодушные создания, — произнес мистер Скимпол, адресуясь не к кому-либо в особенности, а вообще к нам, своим новым друзьям. — Завидую, что вам дано так поступать. Будь у меня этот дар, я упивался бы им. Испытывать к вам благодарность было бы слишком банально. Нет! Скорее уж вам, по-моему, нужно было бы сказать спасибо *мне*, ибо я даю вам возможность вкусить сладость собственного великодушия. Ведь вам это нравится, я уверен. Как знать, уж не пришел ли я в этот мир именно затем, чтобы вы могли полнее насладиться счастьем? Не рожден ли я лишь для того, чтобы стать вашим добрым гением, разрешая вам изредка выручать меня, если мне не совсем повезло? Мне ли сожалеть о моей житейской непрактичности и невнимании к мелочам? Ведь последствия так благотворны. Нет, я ничуть не жалею».

Скимпол, естественно, стремился осчастливить своими благодеяниями как можно больше людей. Одолжив денег у старого друга, он обращается к двум новым знакомым, говоря, что «предпочитает посеять семена щедрости в новую почву, дабы она могла распуститься невиданно прекрасным цветком». Он предоставляет друзьям решать его участь: «Бабочки свободны. Неужто человечество решится отнять у Гарольда Скимпола то, в чем оно не отказывает даже мотыльку!» Он и сам зарабатывает деньги от случая к случаю, но всякая его деятельность отличается тем же легкомыслием, с которым он залезает в долги или пускает деньги на ветер.

«Воулс? С ним, дорогая мисс Клэр, меня свели те же обстоятельства, что и с его коллегами. Он что-то там такое затеял — очень мило и любезно — возбудил против меня дело — так, кажется, принято говорить? А это

дело кончилось тем, что я угодил в тюрьму. Один добрый человек не смог этого так оставить и внес за меня выкуп — сколько-то фунтов и шиллингов, уж и не припомню, и четыре пенса. Я точно знаю, что в конце там стояли четыре пенса — меня еще тогда поразило: как это я вдруг должен кому-то четыре пенса! Да... Ну, потом я свел этого доброго человека с Воулсом. Воулс меня попросил их познакомить, я и познакомил. Постойте! Ведь если разобраться, — и он с обезоруживающей улыбкой обвел нас изумленным взглядом, как будто его только что осенила эта идея, — выходит, что Воулс дал мне взятку? Он еще мне тогда что-то всучил и сказал, что это коммиссионные. Что это было? Уж не бумажка ли в пять фунтов? А знаете, ей-богу, пять фунтов!»

Хант был не одинок: попали в «Холодный дом» и другие знаменитые современники Диккенса. Так Бойторн — дружеский шарж на Уолтера Сэведжа Лендора — во всяком случае, он был задуман как дружеский и казался таким автору. Что же касается Лендора, то он не испытывал по этому поводу особенного восторга. Впрочем, очень немногие способны видеть себя в смешном свете, а уж тем более радоваться тому, что кто-то высмеивает их странности на страницах книги. Нужно полагать, что Лендор счел этот поступок проявлением дурного вкуса со стороны человека, которым так восхищался. Во всяком случае, с тех пор он отзывался о Диккенсе довольно резко, хотя внешне в их отношениях ничто не изменилось.

Есть в романе еще три особенности, заслуживающие того, чтобы на них остановиться. Во-первых, здесь отчетливо ощущается влияние Карлейля, перед которым так преклонялся Диккенс: книга написана тем же отрывистым стилем, которым славится «Французская революция». Во-вторых, из романа очевидно, что чем ближе автор узнает «высшее общество», тем большей неприязнью проникается к нему: достаточно назвать сцены, происходящие в доме и загородном имении сэра Лестера Дедлока. В жизни Диккенсу так и не довелось как следует познакомиться с дедлоками, но, несмотря на это, он сумел безошибочно угадать многие их отличительные свойства. В то время принято было считать, что Диккенсу не по силам создать тип джентльмена — представителя старой земельной знати. Так, должно быть, думали и эти самые джентльмены, отнюдь не догадывавшиеся о собственных странностях, и те, кто ими восхищался и мечтал стать одним из них, — иными словами, так думало большинство. Редкостная удача (впрочем, в этой книге такие удачи не редкость) — портрет сэра Лестера, когда он сидит в глубоком кресле и смотрит в камин, слушая, как стряпчий читает ему показания, данные под присягой, и,

видимо, «одобряя, с высоты своего величия, все эти юридические повторения и длинноты, представляющие собой одну из твердынь британской нации». Порхают по страницам романа светские мотыльки, перелетая с места на место в поисках сплетен и новостей, в надежде уйти от скуки, от самих себя, — такие же, как сегодня, как сто, как тысячу лет назад, такие же, какими останутся они и еще тысячу лет: «Близкие подруги на самом модном светском жаргоне перемывают ей косточки, щеголяя самыми модными фразами и манерами, кокетливо растягивая слова по самой последней моде с мастерски разыгранным вежливым безразличием».

И, наконец, мы замечаем, как все более гнетущей становится с каждой новой книгой атмосфера Лондона. Дым заводских труб и паровозов застилал все небо, наполнив воздух непроглядным туманом. Диккенс начинал ненавидеть город, всегда служивший для него источником вдохновения. «Лондон, по моему чистосердечному убеждению, отвратительное место, — писал он в 1851 году. — Однажды побывав за границей, я уже не могу заставить себя относиться к нему с прежней теплотой. Теперь, возвращаясь из-за города и видя это мглистое небо, гигантским куполом нависшее над крышами, я всякий раз заново удивляюсь: с какой это стати я здесь торчу? Вот только дела заставляют...» В «Холодном доме» туман становится, можно сказать, одним из героев романа. Другим таким персонажем стал Канцлерский суд. Лорд Денман<sup>[134]</sup>, бывший председатель суда и старинный друг Диккенса, обрушил на новую книгу пулеметную очередь критических статей. Многочисленные коллегии адвокатов, чувствуя, что их безбедному существованию угрожает опасность, высказали свое просвещенное мнение о книге как о чудовищном искажении фактов. Но, несмотря на все это, вскоре после выхода в свет «Холодного дома» была проведена реформа Канцлерского суда.

Когда разбираешь творчество Диккенса, невольно хочется сравнить его гений с огнедышащим вулканом, почти со всех сторон окруженным трясинной недомыслия и тупости. Нигде не сверкает Диккенс так ярко, как в «Холодном доме», и нигде не несет такую несусветную чушь. Любому другому писателю, чтобы прославиться, достаточно было бы одного Гарольда Скимпола. Здесь есть десяток других портретов, достойных занять свое место в Национальной галерее шедевров, созданных Диккенсом. И в то же время многое в дневнике Эстер Саммерсон неизбежно погубило бы кого угодно, кроме Диккенса. Быть может, он решил, что поскольку совсем недавно ему отлично удалась автобиография мальчика, то почему бы не взяться и за девичий дневник! Опрометчивое решение!



В июле 1852 года он отправился к морю — на этот раз изменив Бродстерсу — в Дувр, где прожил до октября в доме № 10 по Кэмден-кресент. «...город... страсть какой утонченный. Зато море здесь дивное и прогулки удивительно хороши. Две дороги на Фолскстон, одна лучше и живописнее другой; тут тебе и вершины, и спуски, и тропинки, и уж не знаю что еще». Прежде чем взяться за очередной выпуск романа, он почти всегда надолго уходил гулять один. «Сегодня у меня, что называется, «бродячий день» перед началом долгой работы. В такие дни я всегда разыскиваю то, чего не нашел в жизни, но что, может статься, встречу через несколько тысяч лет где-нибудь в иной части совсем другой системы. Бог его знает... Пойду-ка поищу на Кентерберийской дороге, среди хмельников и фруктовых садов...»

Пока он был в Дувре, ушли из жизни трое его друзей: хозяин Рокингемского замка Уотсон, граф д'Орсэ и миссис Макриди. Жизнь представлялась ему теперь огромным полем битвы, и он спрашивал себя, не сон ли это все и не кроется ли в смерти пробуждение. А в жизни и вправду случались фантастические вещи: «Есть во мне что-то неотразимо привлекательное для всех сумасшедших: им *непременно* хочется посвятить меня во все свои тайны. Одна дамочка в Шотландии оставила мне в наследство такое колоссальное состояние (правда, воображаемое), что я подумываю, уж не удалиться ли от дел и не зажить ли себе припеваючи?» В августе и сентябре он совершил со своей труппой поездку по северной части Англии, показывая в разных городах комедию Литтона и выручив при этом кругленькую сумму для Литературной гильдии. В Манчестере на спектакль в Фри Трейд Холле собралось четыре тысячи человек. В Ньюкасле представление состоялось в здании, которое многие местные жители считали ненадежным. Диккенс вызвал специалиста и, услышав, что бояться нечего, решил поверить ему на слово. Актерам он об этих слухах ничего не сказал, но, когда в зале гремели аплодисменты, трепетал от ужаса, как бы здание не рухнуло. От банкетов, визитов, речей, выступлений и ежедневных бдений в театре он ухитрялся урывать время еще и для прогулок: из Ноттингема сходил пешком в Дерби, а из Ньюкасла — в Сандерленд. В октябре он вместе с Кэт и Джорджиной на две недели отправился в Булонь, чтобы посмотреть, стоит ли сюда приезжать на летние каникулы. Город показался им восхитительным, и, решив провести здесь будущее лето, они вернулись домой.

Тэвисток-хаус, расположенный в уютом уголке, в стороне от людной площади, привлекал к себе множество дворняжек, своим лаем мешавших Диккенсу работать. Взяв напрокат дробовик, хозяин дома

встретил неприятеля шквалом дробы, и вокруг снова воцарились мир и покой. Но уединение порой бывает чревато неприятностями. Из письма Диккенса к соседу мы узнаем, что за мир и покой приходится иногда расплачиваться еще и другой ценою: «Я видел сегодня утром, как работник из Вашей булочной решил приспособить для своих сугубо личных надобностей тот угол, что находится как раз у наших ворот, выходящих на площадь, прямо у меня под окном. Совершенно недопустимо — всем нам крайне неприятно. Я обратился к нему, сказав, что Вы, насколько я знаю, ни в коем случае не одобрили бы такое поведение. Он отвечал *очень дерзко*, и я предупредил его, что все расскажу Вам и что если только что-либо подобное повторится, я от имени нас всех потребую, чтобы он был арестован на основании соответствующего полицейского указа. Тут он возымел настоятельное желание узнать, как поступил бы я, «будь вы, допустим, на моем месте». Но на такой полет фантазии я оказался не способен».

До июня 1853 года Диккенс безвыездно находился в Лондоне (не считая мартовской поездки в Брайтон). В июне всей семьей прибыли в Булонь и до октября прожили в Шато де Мулино на Рю Борепэр. Из всех мест, где ему довелось пожить за границей, это, не считая генуэзского дворца, было самое лучшее. Хозяин, мосье Бокур, оказался превосходнейшим человеком, страшно гордился своим «поместьем» и лез из кожи вон, чтобы угодить жильцам. Вилла (или, как ее называл мосье Бокур, шато) стояла высоко на холме в очень красивом месте, окруженная садом, «разбитым террасами по склону». За домом начиналась рощица, которую мосье Бокур предпочитал именовать лесом. Хозяин был большим поклонником Наполеона, и различные части сада были названы в честь наполеоновских сражений. Весь дом был заставлен бюстами Бонапарта, завешан его портретами, завален медальонами. «Первый месяц мы то и дело низвергали Наполеона — это было просто стихийное бедствие. Стоило только притронуться к полке в темном углу, как на тебя с треском опрокидывался император. Стоило открыть любую дверь — и очередной Бонапарт трясся как в лихорадке». Перед отъездом в Булонь Диккенса посетил знакомый с детства недуг: приступ почечных колик, на сей раз очень тяжелый. Впервые в жизни он шесть дней пролежал в постели, и ему не советовали уезжать. Но, приехав во Францию, он через день-другой совершенно выздоровел и стал писать друзьям веселые письма о том, какой здесь дивный сад и какой чудак его хозяин, как восхитительны здешние места и как превосходен климат и что это будет за преступление, если они не приедут к нему погостить — ради него, ради них самих, ради кого

удовно, наконец. «Если Вам нужно что-то делать, Вы не найдете лучшего места для работы. А если Вам делать нечего, то и для этого здесь место самое подходящее», — писал он Уилки Коллинзу, с которым его в начале 1851 года познакомил художник Огастес Эгг Коллинз, так же как и Эгг, играл вместе с Диккенсом в комедии Литтона и очень быстро завоевал его симпатию. Он воспользовался приглашением; побывали в Булони и Лич с женою, Форстер, Бирд, Мэри Бойл и многие другие. Диккенс как раз кончал «Холодный дом». Кроме того, он занимался множеством дел, связанных с «Домашним чтением», диктовал «Историю Англии для детей» и умудрялся еще совершать вместе с гостями экскурсии в Амьен, Бовэ и другие места. Четверо из его сыновей — правда, в разное время — посещали в Булони школу, которую открыли здесь два англичанина, и из письма Диккенса к Лендору видно, каким образом в семействе поддерживалась дисциплина: «Уолтер — это был крестник Лендора — мальчик очень хороший. Из школы приносит похвальные грамоты. Прошное воскресенье провел в одиночном заключении (в ванной комнате) на хлебе и воде за то, что завершил какой-то спор с нянькой, бросив в нее стулом. Это его первая провинность и первое наказание, потому что, вообще говоря, он в доме общий любимец и самый славный мальчишка во всем мальчишечьем мире. По праздникам закалывает галстук булавкой и становится просто неотразим».

Закончив, почти одновременно, две книги, он решил отдохнуть от дел и семьи и уехать «на каникулы» вместе с Огастесом Эггом и Уилки Коллинзом. Но прежде всего нужно было съездить в Лондон на банкет, устроенный в его честь Литературной гильдией, для которой он сделал так много. Председательствовал Форстер, который, наконец, дал волю своему раздражению по поводу дружбы Диккенса с Уиллсом и Коллинзом. Еще в июле 1851 года Диккенс писал, что Форстер «ставит Гильдии палки в колеса»: вышел из состава исполнителей пьесы «Не так плохи, как кажемся», да еще постарался внушить всем и каждому, что ни один уважающий себя джентльмен не согласится разъезжать с театром по провинции. Теперь, в октябре 1853 года, Диккенс написал жене, что банкет удался бы на славу, если бы не председатель, «весьма бестактный и взбалмошный». Оно и не удивительно: мог ли такой человек, как Форстер, справиться с ролью председателя, требующей и выдержки и деликатности? Ведь за столом сидели новые друзья Диккенса, Коллинз и Уиллс, и сам Диккенс вот-вот собирался в Европу, и тоже в сопровождении новых друзей.

В начале октября путешественники поехали в Швейцарию, где в

Лозанне Диккенс встретился со своими старыми знакомыми. Оттуда путь их лежал в Шамони. Здесь в «Отель де Лондр» друзья немедленно заказали три горячие ванны. «Затопили устрашающего вида печь, поднялся дым, наполнивший всю долину», но две стихии — вода и огонь — действовали как-то несогласованно: шесть часов спустя после того, как начались лихорадочные приготовления, все трое сидели еще не вымытые. Зато все остальное, что полагается проделать в Шамони уважающим себя туристам, они выполнили успешно. Еще в начале путешествия Диккенс с удовольствием убедился в том, что Коллинз «смотрит на вещи просто и не расстраивается из-за мелочей, а это главное». Кроме того, он, как выяснилось, «ест и пьет все подряд, везде со всеми умеет ладить и всегда в отличном настроении». Но в Шамони у его спутников выявились качества и менее приятные: «В таких местах, как, например, здесь, Эгг иногда требует такого комфорта, какого не сыщешь и в Париже, а Коллинз бывает скуповат, расплачиваясь за услуги... Коллинз (вытянув свои коротенькие ножки, насколько это возможно) читает, а Эгг делает записи в своем немыслимом дневнике — удручающе ничтожных размеров и сверхъестественной формы. Записывает он факты, о которых ровным счетом ничего не помнит, и, пока я пишу это письмо, поминутно спрашивает у Коллинза названия мест, где мы побывали, отелей, где мы останавливались, и так далее, а Коллинз с перекошенным лицом, чихая одной ноздрей и втягивая новую понюшку табака другой, вещает, словно оракул». Коллинз, наверное, немало удивился бы, узнав, как точно запротоколированы все его привычки и в особенности манера храпеть и плевать по утрам, с воодушевлением, едва ли приятным его другу. Был и еще один повод для недовольства, и вполне основательный: и Коллинз и Эгг чересчур уж гордились своими бородками и усами. Отрачивать их оба начали в подражание Диккенсу. Но у Диккенса ведь были весьма внушительные усы и отличная борода, не то что эти страшилища! «С самого всемирного потопа свет не создавал ничего подобного: это нечто жалкое, смешное, жиденькое и хилое, растущее кустиками, беспорядочно; жесткое, щетинистое, бесформенное, расползающееся бог весть куда, пускающее ростки по всему носу и уныло свисающее под подбородок. Коллинз пристрастился вытирать свою растительность за обедом салфеткой (а ее и всего-то не больше, чем на бровях у нашего Плорнишгентера), а у Эгга вся эта история начинается не от носа, а где-то в углах рта, как у макбетовских ведьм<sup>[135]</sup>. Я вытерпел столько мучений, созерцая в тесной карете эти кошмарные объекты с ранней зорьки до полунощной тьмы, что сегодня утром, обнаружив у себя в комнате

приличное зеркало и светлое окно, я схватил свою лучшую бритву и, решив подать им хороший пример, начисто соскоблил с подбородка свою эспаньолку! Усы остались и кажутся теперь огромными, но бороду я принес в жертву, чтобы это послужило моим соперникам грозным предостережением!.. И что же? Ни малейшего впечатления: взглянули и невозмутимо заявили, что «так вам гораздо лучше».

Подобно многим мужьям, Диккенс никогда так сильно не любил жену, как в разлуке с нею. Через десять дней после отъезда он ей писал: «Ужасно хотелось бы вас всех повидать». И через месяц: «Буду очень счастлив, когда вернусь домой и обниму тебя, потому что, разумеется, *очень* скучаю по тебе». Да, двум спутникам-мужчинам труднее навязать свою волю, чем жене. Несколько раз за время поездки он жаловался на то, что друзья никак «не поймут, что можно вообще не ложиться спать». После целого дня пути им не улыбалось путешествовать еще и по ночам, и они решительно отказывались вышагивать бесконечные диккенсовские мили. И все-таки они отлично ладили друг с другом и получали массу удовольствия от своих поездок в экипажах, похожих «на качели, на корабли, на ноевы ковчеги, на баржи, на гигантские кровати с балдахинами». Переправившись через Симплонский перевал, они, минуя Милан, приехали в Геную. Здесь, конечно же, Диккенс навестил всех своих старых знакомых, в том числе и чету де ля Рю. Одна дама не узнала его, пока он не назвался, чем доставила ему большое удовольствие: «Я-то думала, что увижу развалину: говорят, вы так болели, — сказала она. — И вот, пожалуйста, вы только помолодели и выглядите как нельзя лучше. Но как непривычно видеть вас без яркого жилета! Почему вы не надели его?» Он делился с женой новостями, маленькими сплетнями: леди Уолпол, например, ушла от мужа. «Браун слышал, как кто-то божился, что лорд Уолпол имел привычку стаскивать ее вниз по лестнице за косы и, швырнув на пол, забрасывать ее сверху горящими поленьями...»

Морем отправились в Неаполь — «один из самых отвратительных городов на земле», где теплые ванны были куда более необходимы, чем в Швейцарии, — правда, здесь они были и гораздо доступнее: «Меня с головы до ног намылили неаполитанским мылом, терли мочалкой, скребли щеткой, подстригали мне ногти, вырезали мозоли и проделывали надо мной еще какие-то немыслимые манипуляции. Он (банщик) был явно разочарован и удивлен, обнаружив, что я не так уж грязен, и то и дело негромко сокрушался: «О небо, до чего же он чист, этот англичанин!» Он заметил также, что кожа у англичанина белая, как у красивой женщины, но этим, добавил он, сходство ограничивается». По приезде в Рим он был

встревожен тем, что от Кэт нет письма. На другой день письмо пришло, и он сообщил ей о причине задержки: «Я вообще не совсем понимаю, как оно все-таки до меня дошло. Поверь, что мое имя на конверте написано так неразборчиво, что ни одна почтовая контора за границей не справилась бы с его доставкой. Уму непостижимо, как это вообще французу или итальянцу удалось добиться первого необходимого условия — разобрать, что моя фамилия начинается на букву «Д». Насколько я понимаю, люди просто приходили в отчаяние и откладывали твое письмо в сторону».

Само собой разумеется, это Эггу и Коллинзу — хотели они того или нет — пришлось карабкаться на Везувий. Впрочем, они не остались в долгу: «Коллинзовские усы подрастают понемногу, — писал Диккенс. — Помнишь, как у него ползут вниз углы рта, как он поглядывает сквозь очки и что выделяет ногами? Уж и не знаю, как и почему, но только в сочетании с усами все это выглядит чудовищно. Он их и крутит и приглаживает, подражая великому Прообразу, сидящему тут же, и в какой бы мы карете ни ехали, только этим и занимается. А не то он сообщает Эггу, что должен их «подрезать, чтобы не лезли в рот», и они с Эггом принимаются делать друг другу комплименты по поводу этих атрибутов своей красоты. И, что самое смешное, Эдвард, то ли не в силах устоять против соблазна, то ли, наоборот, ободренный их явной неудачей, тоже отпускает усы!» (Эдвардом звали нового слугу Диккенса; Рош умер.)



Из Рима друзья поехали во Флоренцию, и Коллинз, который был когда-то художником, снова оказался в центре событий. «Изобразительные искусства, — пишет Диккенс, — служат темой для разговоров, в которые я никогда не вступаю. Как только заспорят, я тут же притворяюсь, что впал в глубокую задумчивость. По картинным галереям я с ними тоже не хожу. Послушать только, как Коллинз с ученым видом толкует Эггу (который ненавидит весь этот вздор, как ни один художник на свете) о красных и зеленых тонах; о том, как что-то одно «играет» на фоне чего-то другого; о линиях верных, о линиях неверных — никакая пародия с этим не сравнится! Мне этого никогда не забыть. Весьма наслышан он также о музыке и часто доводит меня до белого каления, бубня или насвистывая целые увертюры, причем с начала и до конца кет ни единого верного такта. Позавчера я не выдержал и попросил его не свистеть больше увертюру к Вильгельму Теллю<sup>[136]</sup>. «Честное слово, — сказал я ему, — у вас что-то не в порядке со слухом. Не вата ли вам мешает? Чтобы так расправиться с простейшим мотивом!» Иногда он принимается излагать нам Моральные

Устои, почерпнутые из французских романов, а я немедленно и с приличествующей случаю серьезностью не оставляю от них камня на камне. Но лучше всего он разглагольствует о винах, которые, бывало, пивал он в здешних местах, — о «Монте Пульчиано» и великом множестве других, и все в неслыханных количествах! И какие выдающиеся персоны шли к нему за советом, и что они ему при этом говорили, и что он им отвечал... А было ему в то время, кстати сказать, ровно тринадцать годков от роду. При этом Эгг всегда очень удачно острит, и я смеюсь от души. Все это, конечно, ребячество, и очень невинное. Пишу об этом просто потому, что больше не о чем. На самом деле мы — лучшие друзья и у нас не было ни единой размолвки».

Из Венеции Диккенс написал жене, попросив ее купить новое покрывало для каминной доски в его кабинете и снабдив ее подробными указаниями о том, какого именно оттенка зеленый бархат требуется для этого случая. Из Турина он послал ей письмо, о котором уже говорилось выше, — то, где предлагает ей изменить свое отношение к миссис де ля Рю. А в середине октября он был уже в Тэвисток-хаусе.

1853 год закончился для Диккенса громом оваций, в шуме которых автору этой книги слышится зловещее предостережение. Чтобы собрать денег для нужд Бирмингемского и Мидлендского институтов, Диккенс устроил публичные чтения: 27 декабря в здании бирмингемской Ратуши он выступил с чтением «Рождественской песни», 29-го читал «Сверчка на печи», а 30-го вызвался повторить чтение «Сверчка» перед рабочей аудиторией, для которой была назначена специальная цена за билет: шесть пенсов. Около шести тысяч человек побывали на этих чтениях, вызвавших такую бурю восторга, что к нему со всех концов страны посыпались письма благотворительных организаций с просьбой выступить снова и снова. Для того, кто рожден актером, устоять против подобного соблазна невозможно. Со временем Диккенс осуществил это самое заветное свое желание, подписав себе тем самым смертный приговор.



## «Мрачный социалист»

РАБОТАЯ над своим «Холодным домом», Диккенс одновременно диктовал свояченице «Историю Англии для детей» — единственную свою книжку, написанную чужой рукой. Еще десять лет назад он задумал написать нечто подобное, чтобы не дать старшему сыну вырасти консерватором в вопросах религии или политики, внушить ему отвращение к войнам и научить скептически относиться к определенному сорту «героев». Тем самым Диккенс выказал удивительную наивность, однако в этом смысле он не отличается от многих своих современников и значительной части наших. Тому, кто искренне верит, что чтение исторических книг идет людям на пользу, нужно было бы самому почитать историю и убедиться, что меньше всего пользы из нее извлекают сами историки. Хроника кровавых войн и безрассудств, именуемая историей, содержит лишь кое-какие факты, но зато сколько угодно фантазии. Человек разумный чутьем поймет все, что нужно, о себе подобных, руководствуясь личными наблюдениями, подкрепленными еще и глубоким знанием Шекспира. Ум — свойство врожденное, а не благоприобретенное, и сказывается он очень рано: даже школьники и те поступают умно, отказываясь учить то, чего им не хочется знать. А вот Диккенс искренне верил, что стоит дать людям образование, как они сразу же поумнеют. С равным основанием можно утверждать, что, зная, что такое зло, человек должен всегда творить добро. В высшей степени странное заблуждение! Кроме того, у Диккенса и темперамент был неподходящий: он был не способен бесстрастно излагать зловещую и драматическую повесть человеческой подлости и низости. Но если к истории не подходить иронически, она становится скучной, потому что запас бранных слов в человеческом языке недостаточно богат и разнообразен, чтобы воздать должное предмету и в то же время не утомить читателя. Хорошо, конечно, когда человек понимает, что вероучения порождают преступников и что история человечества — это в основном перечень преступлений, совершаемых во имя господне, — хорошо, но недостаточно, чтобы создать книгу из тридцати семи глав, напечатанную в «Домашнем чтении» и продиктованную преимущественно крайним раздражением.

Мораль «Истории» можно выразить словами, которые Диккенс еще в «Барнеби Радже» вложил в уста Хэрдейля: «Пусть никто ни на шаг не сойдет с честного пути под тем благовидным предлогом, что это

оправдывается благородной целью. Любой прекрасной цели можно добиться честными средствами. А если нельзя, то цель эта плоха». Вот только проповедует он эту мораль слишком уж горячо: «О завоеватель, — восклицает он, обращаясь к Вильгельму I<sup>[137]</sup>, — ты, которым ныне гордятся столько славных фамилий и которого столько славных фамилий и в грош не ставили в те дни, — лучше бы ты завоевал одно-единственное верное сердце, чем всю Англию». Его характеристикам не хватает тонкости: вот, например, как представлен читателю король Джон<sup>[138]</sup>: «Едва ли во всей Англии, даже если ее обыскать от края до края, нашелся бы другой такой подлый трус и гнусный злодей, как тот, кто был увенчан короной». Да, с Джоном автор обходится круто. Покончив с ним все счета в Ньюарке<sup>[139]</sup>, он посылает ему последнее «прости»: «И там, восемнадцатого октября, на сорок девятом году его жизни и семнадцатом году его подлого царствования, этому гнусному животному пришел конец». Достается и преемнику Джона — Генриху III<sup>[140]</sup>: «Король так огорчился, что мы с вами могли бы его пожалеть, но едва ли достойна жалости личность столь ничтожная и смешная». Орден Подвязки<sup>[141]</sup>, учрежденный Эдуардом III<sup>[142]</sup>, быть может, и очень неплох в своем роде, но, как считает автор, едва ли «более важен для подданных, чем добротное платье». Зато к Уоту Тайлеру наш историк относится сочувственно: «Уот был человек трудолюбивый, работающий. Он много выстрадал; испытал самую гнусную несправедливость. Вполне вероятно, что он был гораздо более возвышенным по натуре и отважным человеком, чем любой из тунеядцев, которые с той поры и доныне так радуются его поражению». О Жанне д'Арк Диккенс говорит с симпатией, возмущаясь теми, кто преследовал ее в Англии и предавал во Франции. Впрочем, он порицает и ее за привычку «хандрить и выдумывать бог весть что. Она была девушкой хоть и очень хорошей, но чуточку слишком тщеславной и честолюбивой».

Относительно того, что представляют собой римские папы, автор не питает ни малейших иллюзий: «В Риме тогда было два папы»<sup>[143]</sup>, пишет он, добавляя в скобках: «Как будто мало одного!» Один папа, по его мнению, был готов трудиться «не покладая рук, только бы втянуть мир в какую-нибудь грязную историю». Ничуть не лучше отзывается он и о «первом из негодяев», Генрихе VIII, «которого я позволю себе назвать, без обиняков, одним из самых черных злодеев, когда-либо осквернявших собою землю». Он называет Генриха «низким и себялюбивым трусом», «озверевшим псом», «венценосной свиньей», «позором рода человеческого», «кровавым, несмываемым пятном на страницах

Английской Истории». Заметим, что в викторианскую эпоху к Генриху VIII было принято относиться несколько иначе. Впрочем, говоря о дочери Генриха, Мэри, Диккенс склонен разделить общее мнение: «Кровавой Мэри<sup>[144]</sup> нарекла молва эту женщину; воистину Кровавой останется она навсегда в памяти англичан, и вспоминать о ней будут с ужасом и ненавистью... Костер и виселица — вот плоды ее царствования, и лишь по ним мы будем судить об этой королеве».

Не многим лучше Тюдоров<sup>[145]</sup>, по мнению Диккенса, и Стюарты<sup>[146]</sup>. «...если на троне восседает существо, подобное его величеству Борову, это хуже чумы, — оно сеет заразу повсюду», — пишет он о Якове I<sup>[147]</sup>. Внук Якова Карл I<sup>[148]</sup>, этот «иуда-весельчак, вполне заслужил того, чтобы расстаться со своей развеселой головой на плахе, будь у него даже не одна голова, а целых десять». Яков II<sup>[149]</sup> был «безмозглой дубиной». О Кромвеле<sup>[150]</sup> в книге говорится благосклонно, зато те, кого он вел за собой, не по вкусу нашему историку. «Солдаты, барабанщики, трубачи и те совсем некстати завели себе привычку пускаться при каждом удобном случае в длительные и нудные разглагольствования. Ни за что на свете не хотел бы я оказаться в такой армии».

Из этих отрывков видно, что стать настоящим историком Диккенс не смог: он был слишком горяч. Многим его современникам казалось, что и за реформы он ратует чересчур горячо, но таков уж был этот человек: встретившись с жестокостью, несправедливостью, равнодушием, он не рассуждал, отчего да почему, он разоблачал зло и воевал с ним не на живот, а на смерть. Многие свойства его натуры проявились в его отношении к социальным проблемам — отношении, столь не схожем с позицией того самого Карлейля, которого Диккенс любил и почитал превыше всех своих знаменитых современников. Впрочем, сам Диккенс не отдавал себе отчета в этом несходстве. До нас дошло описание одного званого обеда, на котором были Диккенс, Карлейль и еще кое-кто из их друзей. Как почтительно и любовно держался Диккенс с Карлейлем, как он шутил и радовался! Совсем как Дэвид Гаррик в обществе доктора Джонсона. И нужно сказать, что Карлейль наслаждался всем этим не меньше, чем Джонсон. Но если Диккенс как личность несравненно значительнее великого Гаррика и, быть может, не уступает ему как актер, Карлейль лишь притворяется Джонсоном, втайне завидуя колоссальному успеху диккенсовских произведений, хотя и делая вид, что презирает его славу. В «Прошлом и настоящем» он пишет о Святом Эдмунде (англосаксе, по преданию замученном данами) и позволяет себе совершенно неуместный

выпад в связи с диккенсовским визитом в Америку. «Если вся Янкляндия<sup>[151]</sup> ходила по пятам за добрым маленьким «Schnuspel, известным писателем», с пылающими факелами, приглашениями на банкеты и единодушным «гип-гип-ура», понимая, что, как он ни мал, он все-таки кое-что представляет собою, — как же должна была когда-то вся земля англов чтить героя-мученика, великого и верного Сына Небес!» Еще более безвкусное замечание мы находим в «Жизни Стерлинга»<sup>[152]</sup>, где Карлейль приводит письмо Стерлинга к матери: «Я достал два первых номера «Брильянта Хоггарты»<sup>[153]</sup> и прочел их с невыразимым наслаждением... В каждом из них правды и жизни больше, чем во всех романах... вместе взятых». Карлейль комментирует: «Пусть Теккерея, верный и близкий друг дома Стерлингов, обратит внимание на то, что это письмо написано в 1845, а не в 1851 году, и сделает собственные выводы!» Иными словами, здесь сказано, что Карлейль, как и Стерлинг, задолго до появления «Ярмарки тщеславия»<sup>[154]</sup> уже считал Теккерея значительно более крупным писателем, чем Диккенс. Не приходится сомневаться, что Диккенс читал все это: он с жадностью проглатывал каждую строчку, написанную Карлейлем. Знать, что о тебе говорят так недоброжелательно, и кто! Это была, наверное, большая обида. Впрочем, он никогда ни одним словом не выдал ее. Один-единственный раз позволил он себе маленькую вольность по отношению к Карлейлю — в письме к Уилки Коллинзу от 1867 года, где, говоря о французском актере Франсуа Ренье, он пародирует стиль своего кумира: «Искусный, ловкий человек, быстрый и подвижной, наделенный поразительными способностями к плотничьему делу и не лишенный строительных талантов более высокого класса, чем у Бобров. И при всем том актер, хотя и несколько грубоватого пошиба. Возлюбите же его, о сыновья человеческие!»

Приличия ради Карлейль отзывался о Диккенсе с симпатией, но неизменно свысока: «славный малый», «невинная и жизнерадостная натура, какие редко встречаются», «единственный писатель моего времени, чьи творения дышат неподдельным юмором» и т. д. Он от души смеялся над веселыми страницами диккенсовских романов, но автора считал невежественным человеком с совершенно неверными взглядами на жизнь: «Он думает, что людей следует гладить по головке, построить для них уютный тепленький мирок, где каждый ест себе индейку на рождество. Он, не задумываясь, отменил бы надзор, наказания, силу и начал склонять людей на добрые дела лаской, уговорами, лестью. Но извечные законы действуют совсем иначе. Диккенс не написал ничего, что могло бы помочь

решению жизненных проблем. Впрочем, не скупитесь отдать медную монетку за его книгу: ее стоит почитать вечером, на сон грядущий». Не станем задаваться вопросом, намного ли лучше Диккенса был знаком с «извечными законами» сам Карлейль. Сказанного вполне достаточно, чтобы показать различие между ними, различие, грубо говоря, между пророком и художником.

Пророк чаще всего неудачник. Не сумев стать действующим лицом, он становится зрителем, вооруженным до зубов всевозможными знаниями. Он предрекает человечеству неминуемую катастрофу, избежать которой оно может, лишь последовав его учению. Дурные предзнаменования — его любимый конек, а так как несчастья в мире случаются на каждом шагу, то пророк во все времена личность чрезвычайно популярная. Покидая вместе с Евой райский сад, Адам, по-видимому, воспользовался случаем, чтобы напроорочить ей всяческих бед, и с Адамовых дней провидец был всегда окружен почтительным вниманием, а люди с тех пор постоянно живут в предчувствии чего-то ужасного. Правда, нынешние прорицатели, как видно, решили, что монополия на зловещие пророчества принадлежит только им, забыв, должно быть, в пылу усердия, что, если верить их предшественникам, мир только и делал, что катился ко всем чертям, а цивилизация неизменно стояла на краю гибели. Пророк нередко бывает наполовину художником, но делает вид, что презирует свой талант и пользуется им лишь для того, чтобы придать вящую убедительность своим прорицаниям. Вот и Карлейль с раздражением называет художников вроде Диккенса и Теккерея канатными плясунами, а не жрецами, а так как пророка в Англии всегда принимают всерьез, то к художнику соответственно относятся с недоверием.

Если пророк стоит на одном полюсе, то художник находится на противоположном. Впрочем, правильнее было бы сказать, что художник находится в гуще жизни, а пророк — в стороне от нее. «Диккенс лезет из кожи вон, стараясь выложить все, что в нем есть лучшего, и всегда улыбается, и вечно чему-то рад», — свысока бросает Карлейль. Иными словами, как всякий большой художник, Диккенс умел наслаждаться жизнью, принимая ее во всем ее многообразии безоговорочно и от всей души. Он не разбирался в статистике, Синие книги<sup>[155]</sup> не занимали его. Он понимал, что цивилизация грешит множеством пороков, но не собирался анализировать их, предвидя приход жрецов современной экономики, с ее таинственными цифрами и знаками, с помощью которых можно при случае доказать что угодно. В «Домби и сыне» он говорит о женщине, «наделенной от природы удивительной способностью видеть все в

беспросветно-мрачном и унылом свете и в подтверждение своих взглядов извлекать на свет божий ужасающие факты, имеющие какое-либо касательство к происходящим событиям, находя в этом величайшую душевную усладу. То же самое можно было бы сказать о Карлейле и большинстве других самовлюбленных интеллигентов, занятых болтовней о вселенной, ее жалком настоящем и безотрадном будущем. В отличие от них и им подобных Диккенс старался каждый день сделать таким, чтобы было ради чего жить на свете, а когда ему бывало плохо, не требовал, чтобы другие тоже рвали на себе волосы. «То, что принято считать прекрасным, на самом деле не так уж прекрасно», — заметил однажды на званом обеде лорд Мельбурн. «А что считают плохим, не так уж плохо», — тут же вставил Диккенс. «Поэту не подобает ныть о своих невзгодах или учить других предаваться скорби», — наставляет он одного стихотворца. Человек, для которого жизнь — сплошное горе, сам является источником страданий и, возмущаясь людскими пороками, возмущается самим собою. «Те, кто, глядя на мир, на людей, стонет, что все черно и пасмурно, правы, — писал Диккенс в «Оливере Твисте». — Но эти мрачные краски — лишь отражение их собственных настроений и взглядов. Подлинные тона нежнее, мягче, но видит их только ясное око». Вообще говоря, Диккенс считал, что жизнь — забавная и увлекательная штука, и не верил, что ее можно сделать лучше, примкнув к той или иной системе политических убеждений. Точка зрения Карлейля, верившего в диктатуру сверхчеловека, была для него неприемлема, потому что он прекрасно знал, что такой супермен отдаст свой народ во власть полчища суперменов рангом ниже. Тираны древности казались ему симпатичнее современных: тем по крайней мере не было надобности вымещать на других свои старые обиды. Не испытывая особенной уверенности в том, что любая известная форма правления способна принести людям счастье, Диккенс довольствовался тем, что разоблачал зло, где и в какой форме оно бы ни попало ему на глаза, и проповедовал христианские добродетели, терпимость и милосердие. Впрочем, сам он относился к политикам и бюрократам приблизительно так же, как Христос — к фарисеям и книжникам. В то, что природа человеческая постепенно совершенствуется, он не верил, утверждая, что писатели, например, способны объединиться ради своих же собственных интересов, разве что «денька за два до конца света». Он люто ненавидел «измы»: «Ох, чего бы я не отдал за то, чтобы избавить мир от «измов»! Мы возмемся с нашими «измами», как слепые кроты, совершая по отношению друг к другу столько низостей, что еще тысячу лет назад нужно было бы запустить нам в голову какой-нибудь кометой». Некий автор,

наделенный богатым воображением, утверждает, будто, прочитав книги Карла Маркса, Диккенс стал бы коммунистом. С равным успехом можно сказать, что, прочитав Новый завет, атеист сделался бы добрым христианином, а англичанин, научившись читать по-эскимосски, превратился в эскимоса. Человеку несвойственно менять свои убеждения под влиянием того, к чему у него нет природной склонности. Диккенс был прирожденным индивидуалистом. Все, что поклонники «государственности» боготворят, он ненавидел, неустанно обличая в своих книгах пороки государственной системы и тех, кто, прикрываясь этой системой, пытается уйти от личной ответственности. Он был бунтовщиком по натуре, он восставал против всего, что не вязалось с его понятиями о справедливости. Короче говоря, Диккенс был диккенсовцем.

Питая глубочайшее презрение к парламентскому режиму, он всякий раз отвечал отказом на многочисленные предложения войти в парламент, хотя с него обещали снять расходы по проведению предвыборной кампании. Он не питал никакого доверия к правительствам — будь то консерваторы или либералы, — отлично зная, что и те и другие ставят превыше всего свои личные интересы. «Нас то и дело будоражат слухи: чартисты! Нам страшно: чартисты! — писал он в 1848 году. — А между тем правительство, как я подозреваю, преспокойно использует и слухи и страхи в своих корыстных целях». Шесть лет спустя, в разгар Крымской кампании<sup>[156]</sup>, он говорил, что «война послужит оправданием каких угодно административных изъятий». Разве нельзя сказать то же самое о каждой войне? Правда, ему нравились отдельные члены парламента, особенно лорд Джон Рассел с его безграничной самоуверенностью и энергией. Зато Бенджамина Дизраэли, величайшего политического деятеля эпохи, он недолюбливал, объясняя свою антипатию множеством причин и не догадываясь, что на самом деле она не что иное, как исконная неприязнь «характерного» актера к «герою», который в своей карьере делает ставку на одну-единственную, тщательно продуманную роль. Как Диккенс относился к «высшему обществу», мы уже знаем: аристократов в целом он терпеть не мог, хотя отдельные особи были ему симпатичны и с этими он обычно вел себя свободно и непринужденно. Карлейль страшно развеселился, увидев, что, знакомясь с лордом Холландом, Диккенс «легонько хлопнул его по плечу», как будто говоря, что это для него не такая уж честь. Но с какой стати Диккенс должен был делать вид, что это «такая уж» честь, если он ничего подобного не чувствовал? Об этом Карлейль умалчивает.

К религиозным верованиям своего времени Диккенс относился так же независимо, как и к политическим убеждениям. Он был согласен с учением



Христа, но отнюдь не с доктринами христианской церкви. Да, он не спорил, что приход в целом важнее любого из прихожан, но даже самый последний прихожанин был для него важнее церкви. Живя на Девоншир-Террас, он близко сошелся с Эдвардом Тэгартom, священником унитарийской церкви<sup>[157]</sup> на Литтл-Портленд-стрит, и года два-три посещал ее вместе со своей семьей. Однако с течением времени он предпочел ей англиканскую церковь<sup>[158]</sup>, традиции и учение которой оказались для него наиболее приемлемы. Правда, когда какой-нибудь догматик терзал верующих особенно скучной проповедью, Диккенс начинал нервничать и был просто не в состоянии усидеть спокойно. Ему было вполне достаточно учения самого Христа, которое казалось ему простым и ясным, жизнь и поступки Христа он считал безупречными. Не одну борьбу с собственным темпераментом пришлось ему выдержать, чтобы поступать как истинный христианин. Посмотрим же, насколько он в этом преуспел.

Он был доброжелателен к людям: хотел им добра и не стремился узнать их с худшей стороны. «Даже отведав белены, мисс Мигсс не смогла бы уснуть, предвкушая удовольствие уличить кого-нибудь в неблагоприятном поступке», — писал он в «Барнеби Радже». К нему эти слова отнюдь не относились. Он хотел видеть в людях только лучшее, но когда ему все-таки приходилось сталкиваться с их пороками, на смену утраченным иллюзиям быстро приходила ирония. Комизм некоторых его портретов, взятых из жизни, нередко прямо пропорционален глубине его разочарования. Он был, как известно, на редкость щедр к членам своей семьи. Но ведь доброе отношение к родственникам не ахти какая добродетель. Крысы и кролики тоже очень мило относятся к своим родичам, и человека делают существом более высокого порядка его чувства к себе подобным, а не к своей родне. Давать деньги жене или мужу, детям, родителям, братьям, сестрам и так далее — это лишь разновидность эгоизма, фамильной гордости; эти деньги окупаются выгодным впечатлением, которое производит подобная щедрость. «Кто мне мать? Кто мои сестры и братья?» — спросил Христос, и ответ на эти слова вовсе не был: «Мои близкие родственники». Помощь Диккенса близким еще не доказывает, что он был человеком широкой натуры, а только свидетельствует о его сходстве с большинством смертных, в том числе и кроликов. Христианские добродетели придется поискать в чем-то ином.

«Ни один состоятельный человек на свете не придает меньшего значения богатству, чем я, — заметил он однажды. — И не проявляет большего уважения к бедности». С этим замечанием не согласился бы ни



один его издатель, но так как все они — Бентли, Чэпмен и Холл, Бредбери и Эванс — нажили состояние на его книгах, то у них нет оснований брюзжать, если только их не возмущало то обстоятельство, что он помог им разбогатеть. С ним самим дело обстояло иначе: он почувствовал твердую финансовую почву под ногами только во второй половине своего писательского пути. Стяжателем он, конечно, не был, и вот один из многих примеров тому: как руководителю «Домашнего чтения», ему была бы выгодна отмена налога на бумагу. Тем не менее он не настаивал на этом, считая, что первым долгом следует отменить налоги, от которых страдают бедняки: скажем, налог на мыло. Ни его литературный гений, ни его газета не были для него средством обогащения. Он никогда не скупился, выручая друзей, когда тем приходилось туго; часто и помногу давал им займы; не отказывал беднякам, обращавшимся к нему за помощью, посылая им продукты, платье, уголь или деньги; щедро платил прислуге и делал все, что мог, для артистов и художников, попавших в нужду. Творить добрые дела ему помогали его помощник по «Домашнему чтению» Уиллс и еще один сотрудник газеты, Холдсворт. Когда Диккенс бывал в отъезде, он то и дело посылал им деньги на благотворительные нужды, требуя, однако, чтобы они наводили точные справки о каждом просителе, чтобы выяснить, действительно ли человек нуждается. Среди тех, кто осаждал его просьбами о помощи, попадались люди самого разного сорта, некоторые из которых на свою милостыню жили припеваючи. На одного такого профессионального попрошайку Общество борьбы с нищенством подало в суд, и Диккенса попросили выступить свидетелем, так как главной жертвой был именно он. Но, уступая просьбам жены подсудимого, главная жертва отказалась быть свидетелем. Беспризорные дети и жены пьяниц могли твердо рассчитывать на его помощь: он либо давал им деньги, либо устраивал в какой-нибудь приют. Об актерах и писателях и говорить нечего: он собирал им в помощь деньги, добивался пенсий и субсидий — одним словом, делал больше, чем иные филантропы, которые ничем другим не занимаются.

Мало того, он стал советчиком и доверенным лицом богачки Анджелы Бердетт Куттс, которая была о нем самого высокого мнения и беспрекословно слушалась его советов, о чем бы ни шла речь: об очередном пожертвовании или строительстве нового приюта. Он ведал распределением пожертвований, а поле деятельности для филантропа было в то время весьма и весьма обширным. Лондон середины викторианской эпохи представлял собой клоаку, помойную яму, рассадник болезней и преступлений. Безработица и крайняя нищета породили новое племя

лондонцев: полуголодных, одичавших родителей, полуголых беспризорных детей, ютящихся по отвратительным дворикам и зловонным улочкам, сгрудившихся в тесных комнатухах, без окон, с прогнившим полом, стенами, покрытыми плесенью и пропитанными едким запахом испражнений. Вшивые, грязные, они питались отбросами и были источниками эпидемий. Это дно выглядело так жутко, такой тяжкий смрад поднимался от гниющих трущоб, что те, кому приходилось навещать эти гиблые места, нередко теряли сознание или не могли сдержать тошноты. Диккенс рассказывает читателям, что больше народу гибнет у себя на родине от антисанитарных условий, чем где-нибудь на чужбине во время войны, и что деньги, идущие на разрушительные войны, могли бы спасти жизнь бесчисленному множеству англичан. Известиями о сражениях и раздутой псевдопатриотической шумихой умышленно отвлекают внимание от страданий бедняков и несправедливостей, которые совершаются по отношению к ним. В Англии и Уэльсе за один год Крымской войны только от холеры погибло более двадцати тысяч человек.

Много ли хорошего могла в одиночку сделать женщина-филантроп в этой бездонной, зловещей, гиблой трясине? И все-таки Анджела Бердетт Куттс делала что могла. Сначала она помогала лишь особо нуждающимся. Диккенс лично узнавал о них все необходимое, посылая ей пространные отчеты и сообщая новые имена из своих собственных списков. Затем ее внимание привлекли школы для нищих детей. Диккенс отсоветовал ей участвовать в сборе средств на церковные школы, потому что главное не религиозные таинства и не тонкости различных вероучений: детей нужно прежде всего дочиста отмыть. Немало писал он об этих школах и лорду Джону Расселу. Затем встал вопрос о том, чтобы основать приют для падших женщин. Диккенс предложил купить в Шепердс Буш участок земли и несколько зданий, следил за ремонтом и установкой мебели, составил список правил, объезжал тюрьмы, отбирая наименее безнадежных кандидаток и водворяя их в приют. Он посвящал этому заведению многие и многие страницы писем, советуя, как лучше его организовать. Привычные методы ортодоксальной религии были здесь, по его мнению, неприемлемы. Священникам надлежало усвоить, что не страх должен толкать на стезю добродетели; она должна стать заманчивой целью. Он считал, что в принципе неправильно посылать миссионеров в колонии. На эти средства стоило бы попробовать обратить в христианскую веру самих англичан; увести с улиц толпы беспризорных, незнакомых со школой ребятишек и поместить их в дома, где их будут содержать в чистоте, сытно кормить и предоставлять им возможность учиться.

И, наконец, вместе с Анджелой Бердетт Куттс Диккенс взялся за расчистку трущоб. Поехав в Бетнал Грин, они присмотрели там подходящее место — Нова Скоуша Гарденс. Это было не что иное, как огромная свалка мусора, на которой играли дети, грязные, оборванные и босые дети воров и проституток. Участок был расчищен, и в 1862 году здесь уже вырос Колумбия-сквер — четыре квартала домов со стандартными квартирами, в которых разместилось около тысячи жильцов. Дело это было новое, и Диккенс отдавал ему столько времени, как будто ему больше нечем было заниматься. А между тем, помимо всех своих многочисленных и разнообразных дел, он был занят еще и обширной перепиской и ежедневно писал десять, а то и двадцать писем — и деловых и личных: ведь очень многие обращались к нему за советом. Он воевал не только против скверных жилищных условий, но и против сквернословия, хотя Христос едва ли отнесся бы одобрительно к методам, которыми он при этом пользовался. Он считал, что брань развращает человека, и утверждал, что на улицах Лондона услышишь больше нецензурных выражений, чем во всех европейских странах, вместе взятых. Пользуется этими выражениями главным образом молодежь, причем открыто, не стесняясь. Парламент в свое время издал указ о наказании нарушителей общественного порядка, но полиция не обращала на него никакого внимания. Диккенс решил, что пора вывести полицию из сладкого забытья и заставить ее соблюдать указ. Жил он в то время в Девоншир-Террас, и каждый день няньки водили его детей гулять в Риджентс-парк, так что, кроме интересов общественных, он руководствовался и личными: оградить детей от площадной ругани, звучавшей в парке на каждом шагу. Повод для открытия военных действий не замедлил представиться. Как-то на улице с Диккенсом поравнялась компания молодых людей, среди которых была девица лет восемнадцати, отпустившая по его адресу неприличное замечание, которое ее спутники приняли с горячим одобрением. Диккенс последовал за ними по другой стороне улицы. Он прошел целую милю, служа молодчикам и их даме мишенью для непристойных шуток. Наконец на горизонте показался полицейский, но не успел Диккенс заговорить с ним, как юнцы бросились наутек, оставив спутницу на произвол судьбы. Назвав себя полисмену, Диккенс потребовал, чтобы «эту особу взяли под стражу за то, что она употребляла нецензурные выражения в общественном месте». Полисмен заявил, что слышит подобное обвинение первый раз в жизни, но Диккенс дал ему слово, что неприятностей у него не будет. Девушка была арестована. Диккенс зашел домой и, захватив с собой указ, явился в полицейский участок, где инспектор, тоже не подозревавший о

существовании указа, читал и перечитывал уголовный кодекс. На другое утро Диккенс явился к мировому судье давать свидетельские показания. Оказалось, что и судья не знаком с указом. Довольно хмуро выслушав свидетеля, он начал совещаться о чем-то со своим клерком. «Оба явно считали, что я гораздо больше заслуживаю осуждения, чем арестованная: я ведь по собственной воле потревожил их своим приходом, чего об арестованной никак нельзя было сказать». Судья заявил, что сомневается, подсудно ли это дело, так как о подобных обвинениях никто даже не слышал. Не слышали, так услышат, ответил Диккенс. Уж он постарается. И он вручил судье свой экземпляр указа, в котором был специально помечен пункт, запрещающий браниться в общественных местах. Это вызвало новый обмен мнениями между судьей и клерком, после чего судья спросил:

— Мистер Диккенс, вы действительно хотите посадить эту девушку в тюрьму?

— А зачем бы я иначе пожаловал сюда, по-вашему? — холодно возразил Диккенс.

Его привели к присяге, выслушали показания и приговорили арестованную к штрафу в десять шиллингов или несколькими дням тюремного заключения.

— Эх, сэр, — сказал Диккенсу полицейский, провожая его до дверей суда, — этой тюрьма будет не в новинку. Она же с Чарльз-стрит, что рядом с Друри-лейн!

Излишняя горячность? Возможно, но было ведь и другое: разве не он ходил по трущобам, отыскивая беспризорных, чтобы дать им хлеб или кров? Часто это были совсем еще девочки, сезонные работницы, сборщицы хмеля, приехавшие в Лондон в поисках работы. Не найдя ее и истратив свои скудные сбережения, девочки становились нищенками или проститутками. Диккенс писал об одном своем посещении трущоб. Дождливой зимней ночью, пробираясь вместе с приятелем по слякоти Уайтчепельского квартала<sup>[159]</sup>, он вышел к рабочему дому, у стены которого валялись «пять свертков грязного тряпья». Это были люди, отчаявшиеся и измученные, те, кого не пустили ночевать: ночлежка была переполнена. Диккенс быстро проник в рабочий дом и разыскал коменданта.

— Вы знаете, что у ваших ворот лежат пятеро несчастных?

— Не видел, но допускаю.

— Вы что, сомневаетесь?

— Вовсе нет. Могло быть и гораздо больше.

— Это мужчины или женщины?

— Наверное, женщины. Вполне возможно, что они там ночевали и вчера и позавчера.

— Всю ночь?

— Думаю, да.

Комендант, оказывается, пускал в первую очередь женщин с детьми, и ни одного свободного места в ночлежке не осталось.

Друзья вышли на улицу и заговорили с женщинами. Все пять были измучены, грязны и молоды. Все были истощены до последней степени. «Ни капли интереса, ни проблеска любознательности. Все какие-то вялые, понурые. Ни одна не рассказала ничего о себе; ни одна не пожаловалась. Ни одна не поблагодарила меня». Каждой из них он дал денег на ужин и ночлег и ушел с чувством полной безнадежности: к чему приведет социальная система, при которой возможно такое положение вещей?

На этот океан человеческого горя, kloкотавший у самых дверей, имущие классы взирали с полнейшим безразличием. Модные ученые-экономисты с игривым оптимизмом твердили, что страна процветает, и им с сытым самодовольством внимали преуспевающие бизнесмены, зная, что их дела действительно идут отлично. Все это вместе взятое и побудило Диккенса написать новую книгу — «Тяжелые времена». С 1 апреля по 12 августа роман выходил частями в «Домашнем чтении». Для того чтобы лучше изучить местный колорит, Диккенс побывал в Престоне (Ланкашир) во время забастовки. Все выглядело куда менее интересно, чем он ожидал. «Гнуснейшая дыра, — писал он. — Сижу в гостинице «Булл». Недавно перед зданием гостиницы собрались рабочие, требуя, чтобы к ним вышли хозяева. Появилась хозяйка — не фабрики, а гостиницы — и принялась их увещевать. Потом я прочел заметку об этом событии в одной итальянской газете: «Затем народ стал окружать Палаццо Булл, пока в верхнем окне палаццо не появилась его героическая *padrona*<sup>[14]</sup> и не обратилась к ним с речью». Легко представить себе картину, которая может возникнуть в воображении пылкого итальянца! Как далека она от действительности: старый кирпичный дом, грязный, закоптелый, убогий и до отвращения симметричный, узкие ворота, заваленный мусором двор!» Диккенс хотел показать, что по-настоящему английского рабочего мало кто понимает. «Насколько мне известно, — утверждает он в одном из своих писем, — никому на свете не приходится так надрываться, как английскому рабочему. Скажите же спасибо, если, урвав жалкую минуту отдыха, он читает, а не ищет менее невинных развлечений. Он тянет лямку с первого и до последнего вздоха, он всю жизнь в ярме. Господи боже, да чего еще можем

мы требовать от него?»

С июня по октябрь 1854 года Диккенсы снова жили в Булони, у того же мосье Бокура, но на сей раз в вилле дю Кан де Друат, стоявшей на холме за пресловутым шато. «Наш дом — это торжество идей французского зодчества: сплошь окна и двери. От каждого окна идет сквозняк, от которого каждая соответствующая дверь открывается, а одежда и все предметы обстановки (из тех, что полегче) разлетаются на все четыре стороны. Как раз сегодня утром моя любимая рубашка отправилась, судя по направлению ветра, в Париж». Переставив все в доме по-своему, Диккенс взялся за очередной выпуск романа. Вскоре по соседству был разбит военный лагерь; на каждом шагу появились солдаты; заиграли горнисты. Тишина и уединение кончились: к императору Франции приехал с визитом супруг королевы Виктории, и под Вимеро должен был состояться военный парад. Встретив обоих во время прогулки, Диккенс приподнял шляпу; император и принц-консорт ответили ему тем же. По случаю торжества в Булони была устроена иллюминация; французские солдаты братались с английскими, а Диккенс взобрался на стог сена и воткнул в него флаг Соединенного королевства. Восемнадцать окон, украшающих фасад виллы, осветились пламенем ста двадцати восковых свечей, к величайшему удовольствию мосье Бокура.

«На три четверти обезумел; четвертая — в горячечном бреду, — писал Диккенс 14 июня. — Причина — «Тяжелые времена», то и дело набрасываюсь на них с остервенением». 17 июля роман был готов. «Кончено! Чувствую, что мне уже никогда в жизни не удастся восстановить душевное равновесие, даже обычным способом: бросаясь то туда, то сюда». Один «бросок» — в Лондон — он все-таки предпринял, заранее сообщив Уилки Коллинзу, что намерен провести время «в вихре невинных, но легкомысленных развлечений, безудержно предаваясь всяческому беспутству... Согласны ли Вы по первому зову отправиться вместе со мною завтракать — куда угодно — часов в двенадцать ночи и уж больше не ложиться спать, пока мы вновь не прилетим к сим тихим пастушеским кущам? Я бы с восторгом приветствовал столь безнравственного сообщника!» Вернувшись вместе с Коллинзом в Булонь, он на несколько недель устроил себе «легкую жизнь»: валялся в траве, грелся на солнышке, читал, спал... Он говорил, что рассчитывал целый год провести в праздности, но потом в него, «как тигр, вцепился новый роман» и замучали сжатые сроки: ведь каждую неделю нужно было готовить очередной выпуск. Вот теперь и напала лень.

С появлением в «Домашнем чтении» нового романа спрос на газету

подскочил вдвое. Впрочем, увлечение «Тяжелыми временами» оказалось недолгим: слишком уж очевиден был пропагандистский характер книги. Диккенс посвятил ее Карлейлю, надеясь, что ему будут близки идеи романа. «Тяжелые времена» рисуют ужасающую картину жизни фабричных городов. Автор говорит, что бедняки имеют такое же право на справедливость, здоровые условия жизни и свободу, что и богатые. Он яростно обрушивается на всех и всяческих тунеядцев и паразитов, особенно тех, кто кричит о любви к народу, а думает о личной выгоде. Он издевается над бюрократами, подменяющими живую мечту сухими научными выкладками, свято веря, что факты и цифры важнее всего, а фантазия, воображение — сущий вздор. Да Диккенс, вероятно, не удивился бы, узнав, что общество пошло по стопам того самого государственного инспектора, которому «высокие власти поручили организовать приход великого Века Государственных Учреждений, когда править землею будут Специальные Уполномоченные». Образование нынче тоже построено вполне в духе миссис Гредграйнд, советующей своей дочери: «Немедленно ступай и берись за какую-нибудь ологию». Маколей угодил пальцем в небо, назвав «Тяжелые времена» мрачным социализмом. Лучше уж было бы сказать: «безудержный анархизм», хотя и это тоже далеко не точное определение. Как?! Автор утверждает, что Прекрасным по праву должны наслаждаться и бедняки? Маколей, по-видимому, решил, что это уж слишком! Ведь в своей «Истории Англии» он жалуется, что «теперь тысячи клерков и модисток охают от восторга на берегу Лох Катрин и Лох Ломонд»<sup>[160]</sup>. «Во Франции и Германии, — отозвался на это Диккенс в «Домашнем чтении», — ни один порядочный джентльмен, будь то историк или кто-нибудь другой, не позволит себе глумиться над безобидным и полезным для общества классом своих сограждан. Вообразите... величавый историк блуждает по берегам сих вод в надежде встретить какого-нибудь члена парламента (предпочтительно виг), чтобы разделить с ним восторги по поводу красот природы. И вдруг какие-то клерки и модистки смеют отравлять ему все удовольствие своим присутствием. Вообразите же себе всю нелепость этой картины, о клерки и модистки, и вы отмщены!» И все же, если отвлечься от того обстоятельства, что героя «Тяжелых времен», пролетария, предают анафеме его товарищи и проклинаят хозяева, книга в целом имеет индивидуалистическую направленность. Этот роман — вещь гуманистическая, антибюрократическая и антисоциалистическая<sup>[161]</sup>; так что эту главу вполне можно было бы озаглавить не «Мрачный социалист», а

«Заблуждение Маколея».

Однако интерес к общественным делам не мешал Диккенсу бывать и в обществе. Вернувшись на родину из Булони в октябре 1854 года, он убедился, что все просто помешались на Крымской войне, а особенно Форстер. Этот разглагольствовал с таким видом, как будто только он знает, как выиграть кампанию. «Форстеру, сами понимаете, приходится одному везти на своих плечах всю войну, — писал Диккенс Ли Ханту. — Его одолевают сомнения: перед Севастопольской битвой, например, наши ввели в бой корабли — а так ли, как нужно? По вторникам и четвергам он совершенно невменяем, так что вы уж лучше не трогайте его по этим дням. Ради него самого и в интересах всего человечества». Слухи, рассуждения, теории — и все на одну и ту же тему! Спасаясь от этой скучищи, Диккенс принял участие в публичных чтениях, устроенных с благотворительной целью. В декабре он читал «Рождественскую песнь» в Рединге, Бредфорде и Шерборне, куда приехал навестить своего старого друга Макриди, покинувшего сцену и жившего теперь на покое. В Бредфорде слушать его собралась «небольшая, уютная компания — тысячи четыре человек. Я обнаружил, что комитет собирается посадить шестьдесят из них в два ряда у меня за спиной. Эти ряды (которыми так гордились организаторы вечера) я немедленно раскидал по сторонам, к несказанному ужасу и удивлению присутствующих. «А куда же сядет мэр?» — сокрушенно спросили меня. Я ответил, что мэр может идти к... куда угодно, только не ко мне».

Он завершил год, поставив несколько маленьких пьес в миниатюрном театре, устроенном в Тэвисток-хаусе. В спектаклях принимала участие вся семья, а быть зрителем удаивались лишь избранные. Теккерей на одном представлении так хохотал, что свалился со стула. В программе было объявлено «первое выступление на этой, а также и любой другой сцене мистера Плорниршмарунтигунтера (которого дирекция, не жалея затрат, сумела извлечь из постели)». Речь шла о младшем отпрыске Чарльза Диккенса, двух лет и девяти месяцев от роду.



## Новый друг

В ФЕВРАЛЕ 1855 года, собираясь с Уилки Коллинзом на десять дней в Париж, Диккенс получил письмо от миссис Винтер. Миссис Винтер? Мария Биднелл! Его первая любовь! Долгие годы разлуки мгновенно «исчезли, точно сон, и я развернул письмо трепетно, как мой юный друг Дэвид Копперфилд, когда он был влюблен». Тоска о прошлом всегда владела Диккенсом с необыкновенной силой. Стремление завязать дружбу с новым человеком, новый взрыв необъяснимой тревоги — таковы были проявления страстной тоски по недостижаемому счастью. Именно в такой момент перед ним возник из небытия образ былой любви, вселив в него надежду, что, быть может, Марии все-таки суждено стать его путеводной звездой. Он ответил, что ничего не забыл, что помнит былые дни «отчетливо, ярко, живо, как будто ни разу с тех пор не окружали меня толпы людей, как будто я не видел и не слышал имени «Диккенс» нигде, кроме собственного дома. Чего бы стоил я, а со мною и труд мой и моя слава, будь это иначе!» Он писал, что едет в Париж, спрашивая, нельзя ли ему купить там что-нибудь для нее или ее детей. Вспомнив горькое время своей неразделенной любви, он в заключение добавил: «Все, что связано в моих воспоминаниях с Вами, делает Ваше письмо... — нет, не то слово — трогает меня так живо, как не могло бы тронуть письмо, написанное любой другой рукой. Надеюсь, что мистер Винтер простит мне это...»

Остановились они с Коллинзом в отеле «Мерис», но Коллинзу что-то нездоровилось, и Диккенс рыскал по Парижу один. Впрочем, обедали они все-таки в ресторанах, и каждый день в разных, и в театре побывали не раз, и неплохо поработали. В Париже Диккенс получил еще одно письмо от Марии. Миссис Винтер ясно видела теперь, как много она потеряла, отвергнув его любовь. Какая известность! И какое богатство! Его сердечное письмо привело ее в восторг. Быть может, решила она, не все еще потеряно. Дружба с самым знаменитым писателем мира — это тоже неплохо. Особенно, если все узнают, что его первая и самая страстная любовь не кто иной, как она. Второе письмо, пришедшее к ней из Парижа, оказалось еще более взволнованным, интимным, обещающим. Диккенс писал, что обязан ей своим ранним успехом. «В самые невинные, самые пылкие, самые чистые дни моей жизни Вы были моим солнцем... Никогда я не был лучше, чем в те времена, когда был так безгранично несчастлив по Вашей милости». Она вдохновила его написать Дору, героиню «Дэвида

Копперфилда»: «Я всей душой верю — и надеюсь (в этом ведь нет ничего дурного), — что Вы, быть может, раз или два закрыли эту книгу, подумав: «Как сильно, должно быть, любил меня этот мальчик! И как хорошо помнит свою любовь этот человек!»

Третье письмо, написанное уже по возвращении домой, начинается словами: «Дорогая моя Мария». Миссис Винтер, по-видимому, успела намекнуть, что причиной их разрыва в юности явилось простое недоразумение. «Ах, как поздно написаны знакомой рукой эти слова! Никогда я не читал их прежде и все-таки читаю теперь с глубоким чувством, с былою нежностью, овеянной воспоминанием, непередаваемо грустным... Я достаточно хорошо знаю себя и совершенно уверен, что добился бы всего на свете, если бы Вы тогда хоть раз сказали то же, что и теперь: столько простой веры и энергии было в моей любви». Но разве не могут они и сейчас верить друг другу свои сокровенные думы? Она пишет, что стала «беззубой, толстой, старой и безобразной». Этого не может быть! Она осталась такой же, как всегда! Чего стоит самая громкая слава, если нужно проститься с видением своей юности? «Вы просите, чтобы я сохранил Ваши слова в своем сердце. Смотрите же, что пронес я в нем сквозь все эти годы, сквозь превратности судьбы!» Они должны встретиться — сначала одни, а потом вместе с его женою и ее мужем. «Помните, — пишет он в заключение, — я от души все принимаю и плачу тем же. Навсегда Ваш любящий друг».

«Плачу тем же»? Гм! Чем именно он отплатил ей, становится ясно, когда раскроешь его следующий роман — «Крошку Доррит», где Мария появляется в образе Флоры Финчинг. Можно не сомневаться в том, что на этот раз Мария не узнала себя или, узнав, решила, что на Дору из «Дэвида Копперфилда» она все-таки похожа гораздо больше. Диккенс, должно быть, не поверил своим глазам, увидев мечту своей юности в образе располневшей и удручающе глупой дамы. «Едва только Кленнэм взглянул на предмет своей прежней любви, как от любви этой не осталось и следа... Флора, которая была когда-то лилией, стала теперь пионом — но это бы еще полбеда. Флора, в каждом слове и каждой мысли которой сквозило столько очарования, стала глупа и не в меру словоохотлива, что было значительно хуже. Флора, прежде избалованная, ребячливая, держалась и теперь ребячливой баловницей. Это была уже катастрофа». Но недаром в характере Диккенса уживались бок о бок десятки самых различных человеческих свойств. Он был не только трагический герой, но еще и клоун, умевший обратить повесть о разбитой мечте в комедию, нежные любовные воспоминания — в пасквиль. Это относится к литературе. Что

же касается реальных событий, то здесь он поспешил выйти из игры. Не прошло и месяца со дня их встречи, как он написал Марии — толстой и глупой Марии Винтер: «Я уезжаю, чтобы обдумать, а что — и сам не знаю. Куда, надолго ли — бог весть». Все ее попытки сблизиться с ним оказались тщетными. Он сообщил ей, что в будни занят по горло, а «все воскресенья в ближайшее время» намерен проводить за городом. У нее умер ребенок, но его и под этим предлогом не удалось заманить: «Я совершенно уверен, что мне не следует приходить к Вам. Лучше, если я буду думать о Вас наедине с собою». Держать Марию на расстоянии было поручено Джорджине, и обе дамы время от времени обменивались письмами.

Работе над «Крошкой Доррит» предшествовал обычный период смятения и душевной тревоги. Уже в октябре 1854 года Диккенсом «овладело неотвязное желание уехать совсем одному» и начать новую книгу где-нибудь в недостижимой дали, в Пиренеях или «на одной из снежных вершин Швейцарии, в каком-нибудь диковинном монастыре». В него как будто вселился дух беспокойства, и в январе 1855 года он был уже в весьма «растрепанных чувствах: в пыльном воздухе мелькают обрывки новых книг, а прежние невзгоды тоже, того и гляди, начнут сводить со мною старые счеты». В мае он дошел до такого состояния, когда «все время куда-то тянет, все не ладится и нет ни минуты покоя, — когда, одним словом, пора начинать новую книгу. В такие периоды я не уверен в себе, как Макбет<sup>[162]</sup>, космат и оборван, как Тимон<sup>[163]</sup>, путаюсь в мыслях, как Бедный Том. Сажусь за работу, посижу немного без дела, встану, пройду миль десять, вернусь домой. На другой день снова сажусь работать — и не могу, встаю, отправляюсь за город, нахожу подходящее местечко, решаю прожить здесь месяц. На другое утро приезжаю домой, иду гулять, часами где-то болтаюсь, отказываюсь от всех приглашений, чтобы побыть наедине с собою, надоедаю себе, но не могу выйти из собственной скорлупы настолько, чтобы мое общество могло хоть кому-нибудь доставить удовольствие. И так топчусь и топчусь на месте, верчусь по кругу, пока, наверное, не сойду в могилу». Он расхаживал ночами по комнате, бродил по всему дому, по улицам, назначал свидания и отменял их, мечтал поехать куда-нибудь на пароходе, полететь на воздушном шаре; в обществе стремился к уединению; оставаясь один, томился по обществу; смеялся собственным мыслям, рыдал от наплыва чувств — одним словом, вел себя как безумец, как поэт и влюбленный.

Из этого состояния его на время вывел Уилки Коллинз, приславший ему мелодраму «Маяк», которую Диккенс немедленно захотел поставить в своем театрике. Начались репетиции, и новый роман был на время забыт. В

доме на Тэвисток-сквер кипела работа. В комнатах и коридорах толпились декораторы и плотники, осветители и костюмеры, актеры и музыканты. Слышался стук молотков и визг пилы, шум голосов и пикивание скрипок. Передвигали мебель, устанавливали декорации, и что-то ухало и скрипело на весь дом. Диккенс вновь оказался в своей стихии: театральный мирок был для него живым, реальным миром, и он радовался своей затее, как ребенок новой игрушке. И когда измученные актеры садились после репетиции за традиционный ужин и наблюдали, как он готовит пунш, он тоже волновался, как ребенок, которого взяли в гости. Стэнфилд расписал занавес (он и сейчас хранится в Хемпстедском Кенвуд-хаусе). Диккенс играл роль зрителя маяка. Кроме него, в спектакле принимали участие его дочь Мэри, Марк Лемон, Огастес Эгг и Уилки Коллинз. Сцену пришлось расширить, и в зале теперь оставалось всего двадцать пять мест, поэтому в середине июня состоялось три спектакля, а в начале июля в Кемпден-хаусе был устроен еще один — благотворительный. Над мелодрамой зрители громко плакали, над водевилем смеялись от души, причем и рыдания и хохот становились особенно бурными, когда на сцене появлялся Диккенс. «Ох, мистер Диккенс, как жаль, что вы занимаетесь другим делом!» — в полном изнеможении простонала однажды какая-то дама. Кто-то видел, как «книгопродавец Лонгман заливался горячими слезами — уж и не знаю, что к этому можно добавить!»

К этому времени Форстер отошел на второй план; лучшим другом Диккенса стал автор «Маяка». Приглядимся же к нему повнимательнее. Впрочем, даже самый зоркий глаз едва ли сможет различить что-либо, кроме самых общих очертаний: «Уилки Коллинз умел замечать следы, и, очевидно, ему было что прятать. Мисс Дороти Сейерс рассказала автору этой книги, что она «задумала было написать биографию Коллинза, но отказалась от этого замысла, так как вся его личная жизнь скрыта плотной завесой неизвестности».

Уилки Коллинз родился в Лондоне 8 января 1824 года, то есть почти ровно на двенадцать лет позже Диккенса. В юные годы Уилки во всем подчинялся матери шотландке, женщине властной и волевой. Отец его был художником, и сын унаследовал от него известную долю таланта — достаточную, во всяком случае, для того, чтобы служить поводом для шуток над самим собою. «Ну еще бы! — говорил он, бывало, в зрелые годы. — Этот шедевр не случайно внушает вам такое восхищение. Его написал сам знаменитый Уилки Коллинз, оставив всех остальных художников-пейзажистов так далеко позади, что из сострадания к ним решил расстаться с этой профессией». В действительности же вопрос о

выборе профессии решился для него, по его словам, еще в школе, где сосед по дортуару, драчун и сорвиголова, заставлял его рассказывать на сон грядущий разные истории. «Мой тиран сделал себе плетку, и, когда голос мой замирал, он, перегнувшись над кроватью, отвешивал мне парочку «горячих», и я, подскочив как ужаленный, начинал сначала... И все же я должен быть благодарен ему, потому что именно этот изверг раскрыл во мне дар, о существовании которого я мог бы так и не догадаться... Окончив школу, я продолжал выдумывать истории — уже для собственного удовольствия». По-видимому, у этого сорванца он научился большему, чем у своих учителей, потому что спустя, двадцать лет, став профессиональным литератором, он признался: «Я до сих пор пишу с самыми невообразимыми орфографическими ошибками, а с грамматикой у меня творится нечто ужасное. Поверьте, что наборщикам приходится исправлять мои ошибки».

В 1846 году он поступил в юридическую корпорацию Линькольс-инн и пять лет спустя стал адвокатом. Одним из первых его литературных опытов было жизнеописание его отца. Став взрослым, он решил, что пора и поразвлечься. Скупые строчки в «Национальном биографическом справочнике» могут лишь раздражить наше любопытство: «Когда он стал знаменит, знакомства, завязанные им в юности, начали доставлять ему массу беспокойства, что весьма пагубно отражалось на его душевном состоянии». Ясно одно: молодость его изобиловала любовными похождениями и бурными попойками, и с приличиями своего времени он ничуть не считался. Так, например, он помог художнику Э. М. Уорду «уводом» жениться на девушке, которой не было еще и шестнадцати лет, и был посаженным отцом на свадьбе. Когда родился первый ребенок Уордов, Коллинза попросили быть крестным отцом. На крестинах почетный гость достойно отметил торжественное событие и, тщетно пытаясь разглядеть младенца, лежавшего на руках священника, произнес: «Ребеночек двигается как-то ш-штранно. Смотрите, он морщится. Ба, да ведь он пьян, ей-богу, пьян!»

Внешность у него была довольно невзрачная: тщедушное тело, маленькие руки и ноги, рост — футов пять с небольшим, но замечательный лоб: высокий, белый, очень крутой. Он носил очки и в пятидесятых годах отпустил себе бороду и усы. Выражение его лица обычно было серьезным, зато глаза искрились юмором. Он был бледен и не отличался крепким здоровьем. У него было вечно что-нибудь неладно: то с сердцем, то с печенью, то с желудком или легкими. Он слишком много ел и пил, поэтому ему то и дело нездоровилось и приходилось отсиживаться дома. Однажды во время тяжелой болезни он принял опиум и почувствовал себя настолько

лучше, что мало-помалу стал наркоманом, а под конец жизни ежедневно глотал такую дозу опийной настойки, которая легко уложила бы в гроб несколько новичков.

Личная жизнь его была сплошным отступлением от общепринятых норм, и даже те его друзья, у которых тоже были любовницы, считали, что Коллинз заходит чересчур далеко. Он жил то с одной дамой, то с другой, и не помышляя о том, чтобы освятить очередной союз браком. В гости его всегда приглашали одного, и у себя он устраивал только холостяцкие пирушки. «Бросьте эти свои приличия и обещайте, что придете», — так приглашал он к себе друзей. Он был интересным собеседником, циничным, острым, непринужденным, с откровенностью, которая порой казалась вульгарной. Он был, если можно так выразиться, веселым пессимистом и, когда чувствовал себя сносно, мог болтать и острить без устали. Порядочные женщины считали его чуть ли не злодеем, на самом же деле он был добр, мягкосердечен, ленив и скромен и вовсе не обижался, когда кто-нибудь говорил, что его книги «читают все судомойки». Он был противником всего, что требует усилий, напряжения, и терпеть не мог спорт за то, что он порождает дух соревнования и воспитывает драчунов и задира. Играя в крикет, он с удивительным проворством увертывался от мяча, вместо того чтобы отбить его, и написал пьесу, доказывающую, что страсть к спортивным играм воспитывает в молодых англичанах низменные чувства. Он органически не выносил жестокости и под конец жизни выступил в одном из своих романов против вивисекции<sup>[164]</sup>. Вообще же говоря, он был вполне доволен и жизнью и самим собой.

Таков был в общих чертах человек, захвативший в сердце Диккенса место, в котором прежде безраздельно господствовал Форстер, — человек, которому Форстер так мучительно завидовал, что даже искажил биографию Диккенса, почти ничего не сказав о его отношениях с Коллинзом. А между тем именно эти отношения служат разгадкой многих событий, случившихся с героем нашего жизнеописания в зрелые годы. Не мудрено, что, прочитав книгу Форстера, Гаррисон Эйнсворт сказал: «Здесь, как я вижу, только половина всей правды». Коллинз же назвал эту книгу «Биографией Джона Форстера с отдельными эпизодами из жизни Чарльза Диккенса».

Многие привычки и особенности Коллинза так резко отличались от диккенсовских, что только диву даешься, как это им удавалось ладить друг с другом. (Это, кстати, лишний раз свидетельствует о том, как нужен был Диккенсу человек, совершенно не похожий на Джона Форстера.) Вот несколько примеров: Диккенс был помешан на пунктуальности; Коллинз

никогда не смотрел на часы. Диккенс был чрезвычайно опрятен; Коллинз — неряшлив. Диккенс был щедр и безрассуден; Коллинз — скуповат и благоразумен. Диккенс был необыкновенно энергичен и горяч; Коллинз — невероятно ленив и скептичен. Для Диккенса праздность заключалась в том, чтобы заниматься каким-нибудь ненужным делом. Он отдыхал активно; Коллинз — пассивно. «Вы все превращаете в работу, — говорил Коллинз. — По-моему, тот, кто ничем не может заниматься, вполсилы, — страшный человек». А когда Диккенс, возвратившись однажды с прогулки, рассказал, что только что осмотрел сумасшедший дом, Коллинз, лежавший на диване, поднял свой взор к потолку и воскликнул: «Осмотрел сумасшедший дом! Мало того, что он, как капитан Баркли, с ослиным упорством вышагивает милю за милей, ему еще нужно стать инспектором психиатрических больниц — и все это бесплатно!» Даже в вопросе о туалетах у них были разные вкусы. «Что мне делать с этой штукой?» — спросил кто-то Коллинза, показывая яркий шелковый лоскут. «Пошлите Диккенсу, — отозвался тот. — Он сошьет себе жилет».

Почему же все-таки в последние четырнадцать лет жизни Диккенс предпочитал общество Коллинза любому другому? Да потому, что для него наступило время, когда человек больше всего жаждет свободы от всех и всяческих уз. Для такого, как он, новая обстановка и новые люди так же необходимы, как новая роль или новая книга. Форстер начинал надоедать ему своей ревностью, своими ссорами, эгоизмом, неумением считаться с другими; начинала надоедать и Кэт с ее безмятежным спокойствием, ограниченностью и вялостью. Форстер был символом добропорядочности, воздержания и претенциозности. Коллинз — символом неограниченной свободы, неблагонадежности и безнравственности, а для Диккенса в тот период земля, плоть и дьявол значили больше, чем все десять заповедей, которыми он и так уже был сыт по горло. «Буду счастлив предпринять любую вылазку в гарун-аль-рашидовском духе», — писал он Коллинзу в конце 1855 года. И опять: «Очень похоже, что в этот день я буду кутить вовсю». В мае 1857 года он писал: «Какую безумную авантюру Вы ни затеяли бы, ее с бешеной радостью поддержит Ваш покорный слуга». И тогда же: «Если придумаете что-нибудь эдакое, в стиле сибаритствующего Рима эпохи предельного сластолюбия и изнеженности, я Ваш... Если знаете, как провести вечер особенно бурно... скажите. Мне все равно, как. Благоразумие? Бог с ним (на этот вечер!)».

Если Коллинз помогал Диккенсу отрешиться от забот, развлечься, то Диккенс, в свою очередь, умел заражать Коллинза желанием работать, и один из первых своих романов, «Прятки», Коллинз посвятил своему другу

и наставнику. «Ни ты, ни Кэтрин не сумели по достоинству оценить книгу Коллинза, — писал Диккенс Джорджине. — По-моему, это, бесспорно, самый талантливый из всех известных мне романов начинающих писателей. Он несравненно лучше книг миссис Гаскелл и во многих отношениях написан мастерски». Весною 1853 года Коллинз начал сотрудничать в «Домашнем чтении», а в сентябре 1856-го был принят в штат с жалованьем пять гиней в неделю. Кроме того, ему щедро платили за романы, которые печатались в журнале частями. Диккенс трудился над произведениями Коллинза, как над своими собственными: корректировал, добавлял, вычеркивал и даже, нарушив собственное правило — печатать все вещи анонимно, — объявил, что автор таких-то романов, напечатанных в «Домашнем чтении», — Коллинз. Так и пришла к Коллинзу известность. Несмотря на несходство характеров и привычек, они отлично ладили друг с другом. Диккенса пленяли и в то же время смешили коллинзовские причуды, его знание жизни и манера рассуждать, его независимое поведение. Коллинзу льстила дружба со зрелым человеком и знаменитым писателем, подкупало его щедрое гостеприимство и то нескрываемое удовольствие, которое Диккенсу доставляло его общество.

После того как был сыгран «Маяк», они стали неразлучны, и, когда Диккенс в июле 1855 года поехал со своей семьей в Фолкстон, Коллинз, конечно, должен был тоже приехать к ним. Дом № 3 в Альбион Виллас (теперь он называется «Копперфилд») — «очень симпатичный домик» — стоял на лугу. Прожили они здесь три месяца. Диккенс работал над первыми выпусками «Крошки Доррит», и от одной его фразы остается более яркое впечатление о старом городе, чем от целого романа Герберта Уэллса: «Посередине крутой и кривой улочки, похожей на хромую старую лестницу, я остановился под дождем, чтобы заглянуть в лавчонку каретника...» За окнами шумело море, и каждый день он работал как одержимый с утра до двух, а потом мчался гулять, но как! Он карабкался на вершины холмов, скользил вниз, «взбирался на гигантскую отвесную скалу» и отступал от этой программы, только когда с ним были друзья и приходилось «ползать, а не гулять». Время от времени заботы о «Домашнем чтении» призывали его в «гигантское пекло» — Лондон. Им уже безраздельно завладел новый роман, и, начиная очередной выпуск, он всякий раз переживал «мучительнейшее состояние: через каждые пять минут я бегу вниз по лестнице, через каждые две — кидаюсь к окну и больше ничего не делаю... Я с головой ушел в роман — то взлетаю, то падаю духом, то загораюсь, то гасну». Даже на прогулке мысли о работе не оставляли его: «Новая книга повсюду — вздымается на морской волне,



плывет в облаках, прилетает с ветром». Сначала он назвал ее «Ничья вина», но в последнюю минуту перед выходом в свет первой части переименовал название. Двери его дома были гостеприимно открыты для друзей, и многие из них побывали в «санитарно-гигиеническом заведении, которое легко узнать с первого взгляда: все окна его открыты, и из каждой спальни летят брызги воды и хлопья мыльной пены». Он еще успевал справляться со своей корреспонденцией: «Каждую неделю самые разные люди, о существовании которых я не имел до сих пор ни малейшего представления, пишут мне сотни писем на все возможные и невозможные темы, не имеющие ко мне никакого отношения». Каждый божий день его забрасывали просьбами устроить публичное чтение с благотворительной целью. Всем приходилось отказывать — впрочем, он согласился выступить в Фолкстоне с чтением «Рождественской песни» для Литературного объединения, назначив для членов Рабочего объединения особую входную плату — три пенса. Чтение состоялось в большой столярной мастерской.

В середине октября он поехал в Париж, чтобы найти для своей семьи подходящую квартиру, в которой им предстояло прожить полгода. Он нашел то, что хотел, в доме № 49 на Елисейских полях, прямо над Зимним садом: двенадцать комнат за семьсот франков в месяц. Помещение нужно было хорошенько вымыть и вычистить, о чем он и сообщил домовладельцам, заявив, что грязь сводит его с ума и что он готов взяться за уборку хоть сам. «Вообразите компаньонов-домовладельцев: сначала они изумлены, пытаются доказать, что «это не принято», заколебались, уступили, поверяют Неподражаемому сокровеннейшие личные горести, предлагают сменить ковры (принято) и заключить Неподражаемого в свои объятия (отклоняется). Совсем как пара Бриков — только французских»<sup>[165]</sup>. Приведя дом в порядок, послал за своим семейством, водворил его на новое место и умчался в Лондон. Отсюда он послал Кэт подробные указания о том, как обращаться с аккредитивом: где он лежит, куда его предъявить, как добраться до этого места и так далее — и все в таком тоне, каким разговаривают с восьмилетним ребенком. Грозился приехать в Париж и Форстер, но в последний момент, к величайшему облегчению Диккенса, передумал. Коллинз — вот кто был нужен Диккенсу, и он не на шутку рассердился, когда Джорджина в начале 1856 года не приготовила в их парижском доме комнату к приезду Уилки и написала ему об этом.

Во Франции — как, впрочем, в России и Германии — книги Диккенса читали повсюду, и он убедился, что пользуется среди простых людей Франции почти такой же известностью, как его прославленные

современники французы. В газетах было объявлено о том, что в Париж прибывает «L'illustre Romancier, SirDickens»<sup>[15]</sup>, или «Лорд Чарльз Боз», а предъявив в магазине свою визитную карточку, он обычно слышал восклицания: «Ah! C'est l'ecrivain celebre! Monsieur porte un nom tres distingue. Mais! Je suis honore et interesse de voir Monsieur Dick-in. Je lis un des livres de Monsieur tous les jours»<sup>[16]</sup>.

«Мартин Чезлвит» печатался частями в «Монитере», и привратник по секрету сказал Джорджине, что мадам Тожэр (Тоджерс) — *drole et precisement comme une dame que je connais a Calais*<sup>[17]</sup>. А тот, кто придумал эту самую Тоджерс, уже договорился с фирмой «Ашетт» об издании полного собрания своих сочинений на французском языке.

Он со многими встречался в Париже, в том числе с Обэром, Ламартином, Скрибом, Дюма и Жорж Санд («которую с виду вполне можно принять за сиделку нашей королевы»). Он был почетным гостем на лукулловом пиру, устроенном газетным магнатом Эмилем де Жирардэном. Однажды он получил любопытное приглашение от Александра Дюма, решившего «угостить» Диккенса таинственным походом. В назначенный день и час Диккенс должен был стоять на углу одной из парижских улиц, где к нему подойдет незнакомец в маске и в испанском плаще и проводит его к карете, запряженной четверкой лошадей. Карета доставит его в некое таинственное место. Все это, однако, было немного уж слишком для «знаменитого романиста», чьи представления о романтических похождениях в духе «Тысячи и одной ночи» несколько расходились с понятиями графа Монте-Кристо. Он предпочитал менее эффектные развлечения. Так, «в субботу вечером, заплатив три франка... я попал в одиннадцать часов на какой-то бал... Видны хорошенькие лица, но все четко делится на две группы: либо злые, холодные, расчетливые; либо изможденные, несчастные, поблекшие. Среди последних была женщина лет тридцати с индийской шалью на плечах. Пока я оставался там, она сидела, не шелохнувшись, в своем углу, красивая, равнодушная, хмурая, и вместе с тем в очертаниях ее лба угадывалось своеобразное благородство... Собираюсь сегодня пойти поискать ее. Я не заговорил с ней, а теперь захотелось узнать ее поближе. Впрочем, из этого, должно быть, ничего не выйдет».

От одного скучнейшего занятия ему не удалось избавиться — Ари Шеффер<sup>[166]</sup> писал его портрет. «Не могу передать, как это неудобно и беспокойно, — ничто не идет на ум, кроме маленькой Доррит, а тут сиди да сиди без конца». То обстоятельство, что в портрете нельзя было уловить ни

малейшего сходства с оригиналом, тоже отнюдь не способствовало более терпимому отношению оригинала к этим сеансам. Надоедали ему и околотературные попрошайки. «Каждый француз, умеющий составить прошение, непременно пишет такое письмо и отправляет его мне. Но сначала он покупает первую попавшуюся литературную стряпню, напечатанную на бумажных четвертушках (в таких обычно развешивают чай), и, нацарапав на тощем переплете «Hommage a Charles Dickens, L'illustre Romancier»<sup>[18]</sup>, вкладывает в грязный, воняющий табачищем конверт. Потом, закутавшись в длинный плащ и обернув шею огромным, как одеяло, кашне, он целыми днями, как убийца, подстерегающий жертву, рыщет вокруг парадной двери и торчит подле железной скобы, о которую мы счищаем грязь с подметок». Но, конечно же, не все свободное время он проводил на званных обедах или спасаясь от парижских попрошаек. Если кому-нибудь из молодых английских литераторов, сотрудничающих в «Домашнем чтении», случалось наведаться в столицу Франции, он знал, что редактор накормит его, напоит, а если надо, то даст и денег в счет будущих статей. Так однажды, рассчитывая раздобыть денег, к нему явился Джордж Огастес Сейла и увидел, что хозяин дома сидит в кресле над книгой, сжимая голову обеими руками. Оказалось, что Диккенс твердо решил одолеть третий и четвертый тома маколеевской «Истории Англии» — они только что вышли в свет. Обратив внимание на то, что Сейла «так и благоухает винной лавкой и бильярдной», Диккенс тем не менее одолжил ему пять фунтов стерлингов.

«Домашнее чтение» то и дело требовало присутствия редактора, и Диккенсу не раз приходилось совершать поездки в Лондон. Во время одного такого визита, 11 марта 1856 года, он услышал «по секрету новость, которую даже объединенными усилиями не в состоянии были бы представить себе все подданные Британской империи, — новость непостижимую, грандиозную, подавляющую, потрясающую, ослепительную, оглушительную, сокрушительную и умопомрачительную. Новость, героем которой является Форстер. Узнав ее (от него же самого) сегодня утром, я упал пластом, как будто на меня свалился паровоз вместе с тендером». Секрет, исторгнувший из груди Диккенса все эти громоподобные эпитеты, заключался в том, что Форстер, который слыл среди друзей убежденным холостяком, обручился с вдовой известного издателя Генри Колберна. Тридцатилетняя вдовушка была, во-первых, очень мила и приветлива, во-вторых, недурна собою, а в-третьих, так богата, что это уж просто казалось несправедливым. Правда, если верить Макклизу, от перспективы брака с Форстером ее прелести значительно

поблекли. «Клянусь богом, сэр, с этой женщиной творится нечто страшное. Какая порча! — рассказывал Маклиз Диккенсу в мае 1856 года. — В ней нет ни кровинки, сэр, ни тени румянца, голос и тот пропал. Вся она сжалась, съежилась — ее как будто гложет тайное горе. А Форстер, сэр, неистов и буен — такой разительный контраст, что просто деваться некуда. Она, конечно, *может* когда-нибудь прийти в себя — *может* пополнеть, *может* приободриться, *может* заговорить внятным голосом, но сейчас, клянусь Утренней звездой, сэр, это жуткое зрелище!»

В другой раз, приехав в Лондон по делу, Диккенс оказал большую услугу своему заместителю Уиллсу, устроив его работать к Анджеле Бердетт Куттс. Уиллс должен был помогать Анджеле в осуществлении ее многочисленных благотворительных мероприятий и получать за это двести фунтов в год. Неплохую услугу оказал он и самому себе, купив 14 мая 1856 года дом на Гэдсхиллском холме около Рочестера — тот самый, единственный в мире дом, о котором он мечтал с самого детства. Именно этот дом имел в виду Диккенс-отец, говоря, что когда-нибудь Чарльз, возможно, и станет его хозяином, если только будет упорно трудиться. О том, что дом продается, Диккенс узнал неожиданно и, поторговавшись немного, купил его за тысячу семьсот девяносто фунтов. Многое нужно было починить и переделать, кроме того, дом переходил в его владение только в 1857 году. Диккенс рассчитывал, что будет проводить здесь каждое лето, а на зиму пускать жильцов. Однако судьба распорядилась по-иному.

В начале 1856 года в Париж приехал Уилки Коллинз и поселился рядом с Диккенсом. Спал и работал он у себя, но обедал каждый день у друга, вместе с ним совершал экскурсии и часто ходил в театр. Диккенс придумал сюжет для новой мелодрамы, которую он задумал поставить в Тэвисток-хаусе в канун крещения. Коллинз взялся написать текст, и мелодрама стала главной темой их разговоров. Из месяца в месяц Диккенс упорно работал над «Крошкой Доррит», первые выпуски которой разошлись в сорока с лишним тысячах экземпляров, — такого успеха не имел даже «Холодный дом». Каждому выпуску предшествовал обычный душевный кризис. Ему хотелось то оказаться «среди ослепительных снегов» Сен-Бернардского монастыря<sup>[167]</sup>, то через минуту «вдруг приходило в голову, что нужно немедленно сорваться с места и отправиться в Кале. Почему — не знаю. Стоит мне только попасть туда, как я тут же захочу куда-нибудь еще». Иногда он пробовал спастись от вездесущей «Крошки» бегством: «образы этой книги впиваются мне в мозг, голова гудит, и я собираюсь, как говорится у нас, французов, разгрузить ее, укрывшись в одном из тех незнакомых мне мест, куда меня в сих широтах

заносит по ночам».

Он знал, что в такие периоды с ним трудно жить под одной крышей, но все же не мог совладать с душевной тревогой, терзавшей его безжалостно, причиняя ему почти физические страдания. Принимаясь за новый выпуск, «я рыскаю по комнатам, сажусь, встаю, помешиваю угли в камине, смотрю в окно, рву на себе волосы, сажусь писать, не пишу ничего, пишу что-то, рву, ухожу, возвращаюсь. В такие минуты я изверг для всей семьи, я сам себе ужасен!» Он вполне уверился в том, что не найдет покоя на этом свете. «Не знать ни отдыха, ни успокоения, вечно стремиться к чему-то недостижимому, изнывая под бременем замыслов, планов, тревог и забот! Но как это ни странно, нет сомнений, что именно так и должно быть и что непреодолимая сила влечет и гонит тебя, пока не станет виден конец пути. Гораздо лучше терзаться, но идти вперед, чем терзаться, стоя на месте. А покой, как видно, не каждому суждено вкусить в этой жизни». В первых числах мая 1856 года, когда он сражался с очередной главой романа, его семья собралась домой. Предоставив им делать все по собственному усмотрению, он поехал один в Дувр и там в гостинице «Старый корабль» три дня работал как одержимый и только после этого вернулся в Тэвисток-хаус.

На этот раз он провел в Лондоне немногим больше месяца, успев за это время выступить с речью по поручению Общества содействия художникам. «Под конец каждый из присутствующих одной рукою прижимал к глазам салфетку, а другой лез в карман за бумажником». Затем вместе с семьей он на три месяца уехал в Булонь, где, как и в первый свой приезд, поселился на вилле Молино и тут уж целиком, без остатка ушел в работу над «Крошкой Доррит».

Роман печатался с декабря 1855 по июнь 1857 года, но, как видно, никто, кроме простого читателя, не догадался, что именно в эту книгу Диккенс вложил лучшее, на что был способен. Карлейлю, правда, понравилась сатира на режим правящей партии, но он по обыкновению тут же свел на нет свою похвалу, сказав, что эта сатира «в некотором роде бесценна». Кое-кому из высоких военных чинов, пострадавших от неразберихи, которую Министерство Волокиты вносило в Крымскую кампанию<sup>[168]</sup>, показалась очень правдивой семейка Полипов. Однако ни один из выдающихся современников писателя не понял, что старый Доррит, под видом которого автор изобразил своего отца, кое-что изменив, кое-что преувеличив, — фигура, с которой по тонкости замысла не может соперничать ни один из диккенсовских героев. Лишь он один из всех ведущих персонажей диккенсовских романов с начала и до конца написан с

поразительным блеском. Развивая этот образ, Диккенс решительно ни в чем не погрешил против правды. В серьезной английской литературе старый Доррит — самый удачный портрет «во весь рост». А между тем «Блэквудс мэгэзин» не нашел для этой книги лучшего определения, чем «пустая болтовня». Когда этот же эпитет случайно попался Диккенсу на глаза в другой газете, он «был так возмущен, что даже рассердился на собственную глупость». Теккерей заявил, что это «непроходимо глупая» книга, «идиотская дребедень», но ему-то как раз подобное суждение простительно. Дело в том, что он один, вероятно, сумел догадаться (никому другому это не пришло в голову), что Генри Гоуэн появился на свет лишь затем, чтобы выразить мнение Чарльза Диккенса об Уильяме Теккерее. Впрочем, нельзя сказать, что этот портрет так же точен, как, скажем, Скимпол — пародия на Ли Ханта. Вот как, например, относится Теккерей к искусству (Диккенс возражает ему устами Кленнэма): «Кленнэм, мне жаль лишать вас ваших благородных заблуждений. Будь у меня деньги, я бы дорого заплатил за то, чтобы подобно вам видеть все в розовом свете. Увы, я занимаюсь своим ремеслом ради денег. И не я один — все другие художники делают то же самое. Если бы мы не надеялись сбыть свой товар, и притом как можно дороже, мы не стали бы писать картины. Да, это работа, и с ней приходится возиться, но она легче других. Все остальное — пыль в глаза...»

Подобно Теккерее, Гоуэн противоречит самому себе на каждом шагу, рассуждая о жизни то с холодным цинизмом, то с воодушевлением: «Большинство людей, так или иначе, разочарованы в жизни, и это дает себя знать. И все-таки мы живем в симпатичнейшем мире, и я люблю его всей душой. Лучший из миров, ей-богу!.. А моя профессия и подавно — лучшая из профессий, и точка!» Все слабости писателя сказались в этом романе, и все они меркнут перед его мастерством. Ужасающее жеманство, с которым он рассказывает о любви Кленнэма к Бэби Миглз, вполне искупается восхитительным комизмом безнадежной страсти юного Чивери к Крошке Доррит. «Это его единственное развлечение, — молвила миссис Чивери, снова качая головой. — Он никуда не выходит, даже на задний двор, если там не сушится белье. Правда, когда я развешу белье, так что соседям ничего не видно, он там просиживает часами. Выйдет и сидит. Здесь, говорит, как в лесу». А миссис Плорниш! Что за великолепная фигура! Какая несравненная наблюдательность, какая бездна фантазии! Да, «Дэвид Копперфилд» — вещь более гармоничная, и «Николас Никльби» написан неповторимо свежо, зато «Крошка Доррит» — самое зрелое из всех творений диккенсовского гения.

Вернувшись на родину осенью 1856 года, Диккенс начал готовить к постановке пьесу Коллинза «Замерзшая пучина», написанную специально для театра Тэвисток-хауса. Каждую минуту, свободную от «Крошки Доррит», он посвящал театру. В конце октября он совершал двадцатимильные прогулки, твердя вслух свою роль и «наводя великий ужас на Финчли, Нисден, Вильсден и их окрестности»: местные жители, естественно, принимали его за кровавого маньяка, сбежавшего из психиатрической больницы. Десять недель он работал в крошечном аду, в царстве балок, лестниц, лесов, кусков холста, банок с красками, опилок, газовых труб и искусственного снега. Одно действие пьесы должно было происходить на Северном полюсе, и, стремясь изобразить как можно более правдиво даже незначительные детали, Диккенс перерыл множество книг полярных исследователей. Мало того, для пущей убедительности он вместо прежней эспаньолки отпустил себе настоящую бороду. А Коллинз завел ту кустистую растительность, с которой мы хорошо знакомы по его портретам. Главные женские роли исполняли Джорджина и две старшие дочери постановщика. Диккенсу досталась роль неудачливого влюбленного, который в критический момент, вместо того чтоб убить соперника, спасает его ради предмета своей страсти и после тяжелых испытаний умирает, успев перед смертью благословить счастливую пару. Не удивительно, что именно во время постановки «Замерзшей пучины» у Диккенса возникла идея нового произведения — «Повести о двух городах». В Тэвисток-хаусе трудился целый отряд рабочих, расширяя зрительный зал, чтобы в нем могло поместиться около ста человек. В начале января 1857 года уже начались спектакли, и снова зрители то утопали в слезах, то таяли от восторга.

Но вот улеглась суматоха, замолкли овации, ушли плотники, исчезли рабочие сцены, и Диккенс загрустил. Впрочем, в апреле он немного развлекся, поехав с женою и свояченицей в Грейвсенд, чтобы руководить перестройкой Гэдсхилл Плейс — было в этом занятии что-то общее с милыми его сердцу обязанностями театрального режиссера. В мае несколько друзей явились к нему на новоселье, а в июне на пять недель приехал Ганс Андерсен. О том, с каким восторгом готовился Диккенс к приезду знаменитого датчанина, можно судить по нескольким строчкам одного его письма: «Поверьте, для того чтобы описать, как я люблю и почитаю Вас, не хватило бы всей бумаги, которой можно устлать дорогу от моего дома до Копенгагена». О том, с каким облегчением он проводил своего прославленного гостя домой, мы тоже можем судить — по надписи, составленной в память об этом событии: «В этой комнате Ганс Андерсен



прожил однажды пять недель, которые всей семье показались *вечностью*».



В начале июня Диккенс с грустью узнал о смерти своего старого друга, Дугласа Джеролда. Постойте! Но ведь у Джеролда осталась семья, которая, по-видимому, терпит нужду! (Семья Джеролда и не подозревала об этом.) Как должны поступить друзья Джеролда? Они должны, как один человек, прийти на помощь семье покойного. А что это значит? Это значит, конечно, что нужно, не теряя ни минуты, возобновить представления «Замерзшей пучины» и выступить в Манчестере и Лондоне с чтением «Рождественской песни». Сборы пойдут на нужды семьи. Можно ли упустить такой удобный случай? Но тут сын Джеролда проявил удивительную бестактность, выступив против непростого, хоть и весьма благородного вмешательства в его дела, и недвусмысленно заявил о том, что его мать не нуждается в благотворительности. Но не тут-то было! Диккенса мог бы остановить разве что специальный правительственный указ, подкрепленный таким веским аргументом, как тяжелая артиллерия. Если он решил — значит,



быть по сему, и не успела еще семья Джеролда как следует уяснить себе весь ужас своего финансового положения, как уж были объявлены спектакли и начались репетиции. К тому времени как Джеролды поняли, что им все-таки предстоит стать невольными «жертвами» благотворительности, благодетели успели уже попросить и королеву поднять голос в защиту обездоленных. Со стороны «обездоленных» было бы просто некрасиво пытаться умерить пыл столь самоотверженных филантропов. Ее величество королева отнеслась к этой затее сочувственно, но не разрешила проводить кампанию от ее имени, боясь, что ее тут же засыплют бесчисленным множеством подобных прошений. Однако ей очень хотелось посмотреть спектакль с участием Диккенса, и она предложила устроить закрытый спектакль в одном из залов Букингемского дворца. Диккенс не согласился, чтобы его дочери появились перед королевой в качестве актрис во дворце, где они должны быть представлены ей официально. Закрытый спектакль — пожалуйста, но только где-нибудь еще, например в Картинной галерее на Риджент-стрит. Королева не возражала. Спектакль для королевы Виктории и ее приближенных состоялся 19 июля. После традиционного водевиля королева попросила передать Диккенсу, что хочет лично выразить ему свою благодарность. Диккенс ответил, что приносит ее величеству свои извинения: он еще не успел переодеться после водевиля. Она послала за ним опять — ничего страшного, если он придет в таком костюме. Диккенс и на этот раз вежливо отказался: он не желает предстать перед королевой в чужом обличье.

Под предлогом сбора средств в фонд Джеролда он трижды выступил с чтением «Рождественской песни»: в Лондоне и Манчестере; и в июне — июле дал пять представлений «Замерзшей пучины» — три в Лондоне и два в манчестерском Фри Трейд Холле. Зная, что в большом помещении его свояченицу и дочерей никто не услышит, он пригласил на их роли профессиональных актрис: миссис Тернан с дочерьми Эллен и Марией. Последняя так расчувствовалась во время сцены, где герой пьесы умирает, что у Диккенса от ее слез промокли костюм и борода. «Она рыдала, как будто у нее разрывается сердце, — писал он, — и была просто вне себя от горя... К тому моменту, как дали занавес, мы плакали уже все вместе...» Уилки Коллинз пишет, что Диккенс «играл главную роль правдиво, сильно, с глубоким чувством. Те, кому посчастливилось быть на его спектаклях, запомнят это событие на всю жизнь... В Манчестере играли дважды, на втором представлении было три тысячи зрителей... Диккенс превзошел самого себя. Его великолепную игру можно точно определить одной избитой фразой: он в буквальном смысле слова наэлектризовал зрителей».

С материальной точки зрения труды Диккенса увенчались успехом: вдове и незамужней дочери Дугласа Джеролда были вручены две тысячи фунтов. (Понравилось им это или нет, неизвестно; очень может быть, что и понравилось.) Для него самого манчестерские спектакли завершились, пожалуй, гораздо менее успешно, но разве могли знать об этом шесть тысяч зрителей, отдавших свои деньги в фонд Джеролда только ради того, чтобы увидеть, как играет Диккенс? Он влюбился, — нет, не в Марию... В Эллен Тернан. Этому событию суждено было повлиять на весь ход его жизни. Через неделю после того, как спектакли были закончены, он писал Уилки Коллинзу: «Нужно придумать кое-что для «Домашнего чтения» и бежать — бежать от самого себя. Ибо, когда я срываюсь с места и смотрю на свое помятое лицо (как сейчас), тоска моя невообразима, невысказанна, отчаяние мое беспредельно».

Для «Домашнего чтения» они с Коллинзом подготовили «Праздное путешествие двух праздных подмастерьев» — иными словами, описание своей поездки по Лейк-Дистрикт, предпринятой в сентябре 1857 года. Остановившись в гостинице «Корабль» в Аллонби, друзья решили подняться на гору Керрик-Фелл в сопровождении хозяина одной из местных гостиниц. По дороге хлынул страшный ливень, и путники забрели в густой и темный туман, потом у Диккенса сломался компас, и они заблудились. Коллинз то и дело отставал и сбивался с пути. Хозяин гостиницы время от времени впадал в отчаяние, а Диккенс пытался рассеять его мрачное настроение шутками. Наконец Коллинз свалился в какой-то ручей и растянул себе связки на ноге. Диккенс приволок его к подножию горы и кое-как уложил на камнях. Хозяин гостиницы отправился за дрожками. Несколько дней Диккенсу приходилось втаскивать Коллинза в карету и вынимать из нее, тащить на лестницы, спускать вниз и повсюду сопровождать его. Из-за этого несчастного случая друзья не смогли поехать в Мэрипорт, и Диккенс ходил туда пешком за почтой (двадцать пять миль). С хозяйкой их маленькой гостиницы Диккенс познакомился еще в Грета-Бридж, когда ездил в Йоркшир собирать материал для «Николаса Никльби». Она невероятно растолстела с тех пор, и ее муж сокрушался, вспоминая о том, как в былые времена обнимал ее за талию. «А теперь, бесчувственный вы злодей! — вскричал Диккенс. — Смотрите же и учитесь!» — И он заключив в свои объятия значительную часть дородной хозяйки и хвастался потом, что этот галантный поступок — вершина его блестящей карьеры.

В Ланкастере приятели остановились в «Кингс-Армс», импозантном старом здании с настоящими старинными покоем и необыкновенно

интересной лестницей. «Мне отвели парадную спальню с двумя огромными кроватями красного дерева под балдахинами». В первый же день на обед подали двух небольших форелей, бифштекс, пару куропаток, семь сладких блюд, пять сортов фруктов (в том числе вазу с грушами) и огромный торт: хозяин заявил, что такова традиция его заведения. «Коллинз побелел, высчитав, что обед обойдется каждому из нас в полгинеи». «Я знаю, что ты привыкла к почестям, которыми люди с восторгом осыпают Неподражаемого, — писал Диккенс из Ланкастера Джорджине. — Но масштабы этих почестей здесь, в этой северной земле, поразили бы даже тебя. Начальники станций поддерживают Неподражаемого под локоток, когда он выходит из вагона; в вестибюлях отелей его дожидаются делегации; хозяева гостиниц, завидев его, падают ниц и отводят ему королевские покои; провожать его приходит весь город, а коллинзовские растянутые связки попадают в газеты!!!»

Заехали в Донкастер, чтобы побывать на скачках. От скачек у Диккенса осталось неприятное впечатление: букмекеры<sup>[169]</sup>, «жучки», игроки и прочий сброд... Жестокость, алчность, расчет, бесчувственность и низость — и ничего больше. Он не участвовал в игре, но на скачках Сент-Леджер<sup>[170]</sup> купил себе билет и шулки ради написал на нем клички лошадей, которые должны были, по его мнению, прийти первыми в трех главных заездах. Ни об одной из них он никогда ничего не слышал, но во всех трех заездах первыми пришли именно эти лошади. Жаль, что он не мог с такой же легкостью угадывать «призеров» среди людей.

## Блистательный

ДОКТОР Джонсон называл Дэвида Гаррика самым жизнерадостным человеком на свете. Это же можно было бы сказать и о Диккенсе, который был источником радости для других. Он был как будто рожден для душевных бесед и веселья, любил бывать среди друзей и не на шутку огорчался, если между ними почему-либо возникало отчуждение. «Мне больше всего на свете нужно, чтобы было с кем посидеть и поговорить после обеда», — признавался он. Он необыкновенно сильно привязывался к близким и страстно хотел, чтобы ему платили тем же. «Дружба дороже критики, — заметил он однажды, — и я предпочитаю держать язык за зубами». Он любил друзей так нежно, что, расставаясь с ними даже ненадолго, терпеть не мог прощаться и шел на любые уловки, лишь бы не сказать «прощайте». «Всякое расставание, — писал он, — предвестник последней роковой разлуки».

До 1858 года (когда Диккенса, по мнению многих, как будто подменили) он никогда по собственной инициативе не порывал отношений с друзьями или знакомыми, хотя двое из них вели себя так, что ему порой было трудно найти с ними общий язык. Одним из них был Дуглас Джеролд, не согласившийся с его выступлениями против публичных казней<sup>[171]</sup>. Несколько месяцев Джеролд не разговаривал с ним. Потом в один прекрасный день они встретились в клубе, где оба угощали обедом своих друзей. Сидели они спиной друг к другу. Внезапно Джеролд круто повернулся на стуле и сказал: «Помирился, Диккенс, ради бога! Жизнь и так коротка». Они пожали друг другу руки. Вторым был Джордж Крукшенк, тоже любивший затевать бури в стакане воды. В молодости они с Диккенсом были неразлучны, и Диккенс не раз до слез потешал своих гостей, рассказывая об одной церемонии, на которой ему довелось побывать вместе с Крукшенком. Умер Уильям Хоуп, издатель и литератор, и Диккенсу с Крукшенком предстояло проводить его в последний путь. Ехать нужно было пять миль.

«Ну и денек тогда выдался! Нужно отдать справедливость матушке природе: такие дни часто бывают только в наших местах. Грязь, туман, сырость, темнотища, холод пробирает до костей — одним словом, со всех точек зрения непередаваемая мерзость. А у Крукшенка, надо вам сказать, огромнейшие бакенбарды, которые в такую погоду понуро свисают вниз, расползаются по всей шее и торчат, как полуразоренное птичье гнездо. Вид

у него и в самые счастливые минуты довольно странный, но уж когда он основательно помокнет на дожде, получается что-то неопишное — устоять невозможно. Он одновременно и весел (как всегда в моем обществе), и скорбит (все-таки, знаете, едем на похороны), и при этом все время отпускает самые странные замечания, какие только можно себе представить. И не то чтобы из желания сострить, а скорее в философском плане. Умора невозможная, я всю дорогу просто плакал от смеха. Гробовщик нарядил его в черное пальто и нацепил на его шляпу длинную черную креповую ленту. («Изумительный тип этот гробовщик. Надо бы сделать с него набросок», — прошептал мне Крукшенк со слезами на глазах: ведь они с Хоупом были знакомы столько лет!) Тут я по-настоящему испугался, как бы мне не пришлось немедленно убираться восвояси. Но ничего, обошлось. Вошли мы в тесную гостиную. Здесь собрались все провожающие, и, видит бог, нам уж было не до смеха. В одном углу горько плачут вдова и сиротки, а в другом равнодушно беседуют участники похоронной процессии, которые явились сюда только ради приличия и которым до покойного столько же дела, как, скажем, катафалку. Ужасающий контраст, смотреть больно. Был здесь и священник-диссидент<sup>[172]</sup> (преподобный Томас Бинни) в полном облачении и с библией под мышкой. Едва мы расселись по местам, как преподобный Бинни громко и выразительно говорит, обращаясь к Крукшенку:

— Мистер Крукшенк, видели вы сегодня статью, посвященную нашему усопшему другу и напечатанную во всех утренних газетах?

— Да, сэр, видел, — отвечает Крукшенк, во все глаза глядя на меня. (Дело в том, что по дороге он не без гордости сообщил мне, что эта статья принадлежит его перу.)

— Ах, так! — говорит священник. — Тогда вы согласитесь со мною, мистер Крукшенк, что она оскорбительна не только для меня, скромного слуги всевышнего, но и для всевышнего, которому я служу.

— Отчего же, сэр? — спрашивает Крукшенк.

— В этой статье, мистер Крукшенк, говорится, что, когда издательские дела мистера Хоупа пошли плохо, я будто бы уговаривал его попытаться счастья на церковной кафедре, что является ложью, клеветой и отчасти богохульством, недостойным христианина и заслуживающим всяческого презрения. Помолимся же.

Выпалив все это единым духом, он — честное слово — опускается на колени (а за ним и мы) и бессвязно бормочет какие-то жалкие обрывки молитв — как видно, первые, которые пришли ему в голову. Мне стало по-настоящему жалко родных покойного, но тут Крукшенк (стоя на коленях и

горько оплакивая старого друга) шепчет мне:

— Если бы не похороны и не будь он священником, он бы у меня получил!

Тогда я понял, что либо расхожусь на весь дом, либо мне конец».

В тридцатых и сороковых годах Крукшенк был настоящим пьянчужкой, но, постоянно вращаясь среди собратьев по искусству, стал более воздержан, а к пятидесятым годам превратился в ярого, более того, фанатического поборника трезвенности, столь милой сердцу каждого обжоры. Он писал, он выступал с речами, и Диккенс, в котором подобная разновидность тихого помешательства не вызвала ни малейшего сочувствия, согласился поместить в «Домашнем чтении» несколько статей, осуждавших манию трезвенности. Решив, что Диккенс к нему охладел, бедняга Джордж обиделся и написал ему горькое письмо. В апреле 1851 года Диккенс ответил: «Уверю Вас, что ни на мгновение не испытывал к Вам ни малейшего отчуждения и по-прежнему питаю к Вам все те же теплые дружеские чувства... Очень скоро я приеду к Вам, и тогда, надеюсь, одного рукопожатия будет достаточно, чтобы окончательно рассеять Ваши сомнения (если они еще существуют)». Но не так-то легко было выбить дурь из головы Крукшенка. Однажды, обедая у Диккенса, он выхватил из рук какой-то гостьи бокал с вином и чуть было не швырнул его на пол. Диккенс рассвирепел. «Как вы посмели дотронуться до бокала миссис Уорд? Что за непростительная вольность! Что это значит? Неужели в присутствии человека, который сорок лет беспробудно пьянствовал, нельзя выпить безобидную рюмку хереса!» Крукшенк оторопел, не нашелся, что ответить, и, едва только представилась возможность, ушел. В дальнейшем вода, должно быть, основательно ударила ему в голову: он утверждал, что героев «Оливера Твиста» и некоторых других книг создал не кто иной, как он сам... Впрочем, от фанатика-трезвенника, как и вообще от любого фанатика, можно ждать чего угодно.

С чужими Диккенс вел себя довольно сдержанно, но среди друзей был, что называется, душой общества. Его неистощимое веселье было так заразительно, что, приглашая к себе гостей, когда он был занят, друзья просили его зайти хотя бы ненадолго, только чтобы приготовить пунш или нарезать жареного гуся. Приготовление пунша было для него настоящим ритуалом, сопровождавшимся серьезными и шуточными замечаниями о составе смеси и действии, которое она произведет на того или иного гостя. Диккенс посвящал этому напитку спичи, составленные по всем правилам ораторского искусства, и, объявив, что пунш готов, разливал его по бокалам с видом фокусника, извлекающего дикивинные предметы из своей шляпы.

Он был повсюду желанным гостем, но сам предпочитал роль хозяина. Принимая гостей, он бывал в особенном ударе. Он любил всем распорядиться сам и устроить все по собственному вкусу. В чужом доме этого, разумеется, не сделаешь, и по-настоящему хорошо ему было только у себя. Первоклассному суфлеру, актеру и постановщику нетрудно провести званый обед или вечер как по нотам — так, чтобы все остались довольны. Никто не чувствовал себя неловко, никто не скучал. Все вели себя как дома и веселились до упаду. Правда, Джейн Карлейль казалось, что диккенсовские приемы обставлены не в меру пышно: «Обед был сервирован по новой моде: кушанья на стол не подавали, а обносили ими гостей, на столе — лишь масса *искусственных* цветов и исполинский десерт! Пирамиды апельсинов, пирамиды винных ягод и изюма — уф! У Эшбертонов обед был сервирован так же, но на столе были всего *четыре первоцвета* в фарфоровых вазочках, четыре серебряные раковины с конфетами и в центре стола серебряный филигранный храм. Здесь же каждая свеча поднималась из искусственной розы! О господи!» Что поделаешь: актер! Если уж прием — так с барабанным боем! Диккенс не мог не носить ярких жилетов, не причесываться на глазах у всех, не мог не прибавить к своей подписи лихую завитушку, не петь шуточных песенок и не танцевать с таким безудержным весельем, что даже самые чванные гости, забыв свою спесь, скакали и дурачились как дети. Он любил танцевать и, танцуя, забывал о работе, заботах, душевных волнениях. Он мог проделать на прямо на улице, вскочить с постели глубокой ночью и начать откалывать фигуры нового танца. Молодые люди не могли угнаться за ним: в конце бала, когда люди его возраста едва волочили ноги от усталости, он был по-прежнему свеж и бодр. Но веселиться с зелеными юнцами? Нет, этой ошибки он не допускал. Когда его старший сын Чарльз праздновал свое совершеннолетие, и, надо сказать, очень буйно, Диккенс, уходя спать, заглянул к нему на минутку, но, по-видимому, лишь затем, чтобы сказать молодым гостям, что они могут шуметь и кричать сколько пожелают.

Вот он сидит на почетном месте в конце стола: хозяин! Ничто не укроется от его быстрого взгляда, ни одному гостю он не позволит остаться в стороне от общего разговора. Он сам говорил не слишком много, не сыпал остротами; зато обладал даром не менее редким: умел слушать, умел заставить даже самых молчаливых принять участие в беседе. За его столом никому не разрешалось пускаться в долгие и скучные рассуждения. И если кто-нибудь — например, Форстер — обнаруживал склонность к этому, Диккенс мог, вовремя вставив какое-нибудь замечание, перевести разговор

на другую тему и дать возможность другим тоже поговорить. Он был очень находчив и редко упускал случай вернуть меткое словцо.

Однажды кто-то стал рассказывать, как один священник начал заниматься астрономией и изобрел огромный телескоп, желая увидеть в небе то... «что ему не помогла разглядеть его основная профессия», — вставил Диккенс. «Ах, как греховен этот мир!» — вздохнул некий поборник строгой морали. «Да, верно! И какое счастье, что мы с вами не имеем к нему ни малейшего отношения!» — подхватил Диккенс. Но главный его талант заключался в умении выявить лучшее в других. Его собственным «коронным номером» были смешные истории (не зря же он был актером). Это могло быть курьезное описание тех мест, где ему довелось побывать, или забавный случай, или дружеский шарж на кого-нибудь из знакомых. Он не рассказывал — он играл: живо, с выразительными жестами и богатой мимикой. Он не навязывал слушателям своих историй — они были естественным продолжением разговора. Так и видишь этот быстрый взгляд, подвижные черты, эти молниеносные перевоплощения. Вот голос его неузнаваемо изменился, вот он посмеивается, вздохнул, заразительно рассмеялся...

(О Сэмюэле Роджерсе, 91 года от роду.) «А знаете ли, я должен вам сказать, что этак за год до смерти он уже был рассеян, терял нить разговора — одним словом, начал впадать в детство. Однажды он пригласил к завтраку миссис Проктер и миссис Карлейль. Других гостей не было. Обе гостьи, необыкновенно разговорчивые, остроумные и живые, твердо решили, что не дадут ему скучать. И вот, после того как миссис Карлейль почти час сверкала и блистала перед ним, развивая какую-то тему, он поднял свои бедные старые очи на миссис Проктер и, указывая бедным старческим пальцем на сей бриллиант красноречия, произнес (с раздражением): «Это *кто?*» Тут миссис Проктер, перехватив нить разговора, мастерски, изящно и весело произнесла небольшую речь о жизни и творчестве Карлейля. (Все это, кстати сказать, рассказала мне она сама.) Он выслушал ее в полном молчании, не сводя с нее удручающе мрачного взгляда, а потом спросил (с таким же раздражением): «А *вы кто?*»

(О снах.) «Кстати, о снах. Странная вещь: писателям никогда не снятся их герои. Должно быть, мы даже во сне помним, что их на самом деле нет. Я никого из своих персонажей не видел во сне, это, по-моему, просто невозможно. Готов держать пари, что даже Вальтер Скотту не снились его герои, хотя вообще они у него как живые. А вот какую ерунду я видел дня два тому назад. Приснилось мне, что кто-то умер. Кто — не знаю, да это и не важно. Какое-то частное лицо и близкий мой друг. Я был сражен этой



вестью. Сообщил ее мне (очень деликатно) какой-то джентльмен в треуголке и сапогах с отворотами. Еще была на нем простыня. И больше ничего. «Боже, — сказал я. — Неужели он умер?» — «Умер, сэр, — отозвался джентльмен. — Крышка. Но ведь и все мы умрем, мистер Диккенс. Рано или поздно». — «Ах, вот что! — сказал я. — Да, действительно. Совершенно верно. Но он — отчего же он умер?» Тут джентльмен залился слезами и прерывающимся голосом ответил: «Сэр, он крестил своего младшего ребенка вилкой для поджаривания гренок». Я был потрясен, как никогда в жизни. Пасть жертвой такого страшного недуга! Я понял, что у покойного, конечно, не было ни малейших шансов выжить. Я твердо знал, что это самая сложная и неизлечимая болезнь на свете, и стиснул руку джентльмена почтительно и восхищенно, вполне понимая, что такой ответ делает честь его уму и сердцу».

(О жене своего издателя.) «Миссис Бредбери замечательно рассказывает о том, как Бредбери однажды при весьма необычных обстоятельствах устроил у себя в кровати пожар. Мы, бывало, изощрались, придумывая немыслимые подробности этого исторического события. Миссис Бредбери, как выяснилось, была тогда в «Брайтоне», и муж скрывал от нее это происшествие, пока она не вернулась домой. Но вот пышная фигура супруги уже лежит под простынею, и вдруг супруга вздрагивает и произносит: «Уильям, где моя кровать? *Это* не моя кровать, Уильям! Что случилось? Куда ты дел мою кровать? Я свою кровать знаю на ощупь, и *это*, Уильям, не моя кровать». После чего он во всем признался».

Во время общей беседы Диккенс больше молчал, но прекрасно умел выбрать подходящую тему для разговора. В свое время, когда вокруг только и слышно было о нашествии французов, доктор Джонсон возмутился: «Увы! Увы! Как эта пустая болтовня отравляет мне удовольствие от беседы с друзьями! Неужели она никогда не наскучит людям, и мне никогда уже не услышать фразы, в которой не было бы слова «француз»?.. Вы стонете и плачетесь, но что из того? Кто потерял аппетит? Кто лишился сна из-за того, что один генерал проиграл сражение, а другой сдался в плен?» О, Диккенс, несомненно, поддержал бы доктора Джонсона. Диккенс ненавидел ожесточенные споры и горячие дискуссии о войне, политике, экономике, религии и прочих «легковоспламеняющихся» предметах. Иногда, не выдержав, он «взрывался» и отводил душу в ядовитых статьях и выступлениях. Так, например, когда в Индии вспыхнуло восстание сипаев и все прожужжали друг другу уши рассказами о зверствах, учиненных повстанцами, он писал: «Жаль, что не я командую нашими войсками в Индии. Мне, безусловно, не пришлось бы в голову обращаться с повстанцами

как с жителями лондонского Стрэнда или Кэмден-Тауна. Первым долгом я удивил бы этих восточных людей, обратившись к ним на их собственном языке. «Мой пост, — объявил бы я, — милостью божией ниспослан мне лишь для того, чтобы всеми способами постараться истребить народ, запятнавший себя злодеяниями». Я попросил бы их в виде личного одолжения заметить, что приехал именно с этой целью и намерен без лишних слов, не откладывая, быстро и по-деловому стереть их всех с лица земли и отправить в иной мир». Иногда он изливал свое раздражение по поводу очередной «модной темы» в шутке, которую потом, конечно, не раз повторял за столом в кругу друзей. В пятидесятых годах лондонский «свет» охватило повальное увлечение спиритизмом<sup>[173]</sup>, нечто вроде массового помешательства. «Значит, можно договориться о том, чтобы в такой-то вечер грозный невидимый мир за приличное вознаграждение явился к тебе домой? Как-то не верится! Я всегда рад любому источнику полезных сведений, но боюсь, что не стоит рассчитывать на помощь духов, вещающих устами медиума. Уста эти, как я заметил, неизменно несут какую-нибудь чушь, а ее (как сказал бы Карлейль), наверное, вполне достаточно и среди простых смертных — как в наши с вами дни, так и в любые другие». Диккенс внимательно следил за тем, чтобы общая беседа не превратилась в мелкую ссору или перебранку. Он редко отклонялся от темы, которая всегда была и будет интересна всякому мыслящему человеку и может служить в цивилизованном обществе отличным предметом для разговора: человеческая сущность во всех ее проявлениях: в делах, искусстве, творчестве. Ведь даже очень скучный человек может на время стать интересным собеседником, заговорив о самом себе.

«Печаль только множит печаль. Исполним же свой долг и будем веселы», — писал доктор Джонсон своему другу. Диккенс выполнил свой долг по отношению к другим: он был весел, но ему при этом не нужно было совершать насилие над собою: так же, как Гаррик, он был жизнерадостен по натуре. Его интерес к людям был беспределен, поэтому он и бывал всегда в таком ударе, принимая у себя гостей. Он называл себя: Дик Спарклер — Блистательный, Искрометный Дик, Спарклер нации, Спарклер Альбиона, и, когда не блистал сам, старался заставить блеснуть других. За столом взгляд его летал с одного лица на другое, подмечая едва заметные особенности каждого, и, не в силах устоять против соблазна, он иногда начинал изображать, как ведет себя тот или иной гость. Доставалось и самым близким друзьям: Форстер, Бульвер-Литтон, Маклиз, Коллинз и Макриди вставляли перед зрителями как живые. Он передразнивал даже самого себя, потешно шаржируя собственные чудачества, так что

окружающие покатывались со смеху. Он обожал дурачиться и сам смеялся громче всех. Однажды за обедом какая-то дама назвала своего мужа «голубчик». Диккенс сполз со стула на пол, улегся на спину, задрал ногу и, содрогаясь от наплыва чувств, вскричал: «Как она сказала? Голубчик?!» Затем он с самым серьезным видом снова уселся на стул и как ни в чем не бывало продолжал разговор. Лицо его менялось так мгновенно и неузнаваемо, что в нем одном, казалось, прячется бесчисленное множество людей. Ему удавалось совершать свои поразительные перевоплощения, даже отрастив себе довольно длинную бороду, по поводу которой он заявил: «Если я восхищался своею наружностью еще в те дни, когда был чисто выбрит, то теперь я восхищен ею безмерно. Я никогда не пропущу случая полюбоваться собою в зеркале. Мои друзья тоже относятся к этому новшеству в высшей степени одобрительно, потому что теперь, как они говорят, меня самого почти не видно». Да и борода тоже как-то менялась с каждым новым выражением его лица: вот оно стало жестким — и борода воинственно торчит вперед; лицо подобрело — и борода легла шелковистыми мягкими прядями; вот он рассмеялся — и борода топорщится забавными кустиками; загрустил — и она уныло повисла вниз. Впрочем, грустным его случалось видеть только самым близким друзьям. Обычно же он одним своим присутствием бросал вызов всяческой хандре. Сколько неотразимой силы таилось в его энергичном рукопожатии, в звучном, бодром голосе, оживленном и подвижном лице, в его сердечных манерах и огненном темпераменте! Он входил — и сразу становилось теплее, самые безучастные и те оживлялись. Он умел поддерживать веселье даже в те минуты, когда вечер уже, в сущности, кончился, все притихли и отрезвели и не расходятся лишь потому, что еще не поданы экипажи.

Ни у себя дома, ни в гостях он не давал людям почувствовать, что перед ними важная персона. Ни один знаменитый писатель не держался в обществе более скромно. Свои истории он рассказывал, вернее — играл, только когда общий разговор касался какой-нибудь близкой темы. В остальное время он только изредка поддакивал собеседнику или вставлял шутки ради ироническое замечание, особенно если гости начинали скучать. По свидетельству нескольких современников, его застольные истории взяты им почти целиком из его же собственных писем, по которым можно судить о том, какое участие он принимал в общих беседах. Стоило ему увидеть забавную сцену, обнаружить за кем-нибудь тайный грешок — и готово письмо жене, Форстеру или кому-нибудь еще. Из письма история извлекалась на свет божий и рассказывалась на потеху окружающим. Кое-что в ней, возможно, было преувеличено, но одно можно сказать наверное:

была ли она смешной или трагической, слушатели никогда не оставались равнодушными. Так, например, если разговор заходил о спорте, гости могли услышать нижеследующее:

«Хочу поделиться с вами одной спортивной новостью, о которой я узнал, путешествуя по Италии. Побывал я во время этой поездки бог знает в каких местах и бог знает с кем ночевал вместе (преимущественно с мулами и курами)! И повсюду мне то и дело попадались на глаза какие-то таинственные личности — и под Неаполем и в окрестностях Рима: группы человек по шесть, судя по всему — спортсмены. Вид они имели кровожадный и устрашающий: пышные усищи, косматые бороды, волосы как вороново крыло, исполинские сапоги и сомбреро и охотничьи куртки, сшитые на английский манер, с обшлагами-рукавицами. Страшно интересно! А снаряжение! Гигантские патронташи, на одном дородном плече — бездонная охотничья сумка, на другом — тяжелая двустволка и в среднем фунтов пять пороха на каждого. Сидели они всегда где-нибудь в маленькой сельской таверне, расставив колени как можно шире, поглощая под мелодичный звон сдвинутых рюмок неслыханные количества еды и толкуя о прелестях *la caccia* (охоты).

В этих-то харчевнях я с ними и сталкивался и никак не мог догадаться, на кого же они охотятся. Из летающих тварей ни одна не подходила по размерам (драконы к тому времени уже вывелись). Львов, насколько я знаю, в Италии не бывает. Может быть, дикие медведи какой-то особо свирепой породы? Тоже как будто нет. Я просто извелся. Завидев такую компанию с ее вечными разговорами о *la caccia*, я бежал во двор, заглядывал во все двери, обследовал виноградники: вдруг натолкнусь на туши убитых зверей! И ни разу ничего не нашел. Но вот в один прекрасный день прихожу я в грязную и тесную таверну милях в двенадцати от Сонпера и вижу: сидят! Шестеро. Вооружены до зубов — на каждом лице ясно написано, что пощады не будет, вид самый свирепый, чокаются и говорят о *la caccia*. А надо вам сказать, что, подходя к таверне, я заметил под виноградной шпалерой неописуемо сонного крестьянина. Рядом с ним у стенки дома стоял длинный шест, к верхнему концу которого была привязана очень грустная сова. Шест прижал ее щекой к стене (живое существо? Что за важность!), и она водила по белой стене своим огромным глазом, выпачкав его краской. Просто сердце разрывалось от жалости. (Точь-в-точь как наш английский судья, в полном облачении, пьяненький и виновато поникший головой.) Проходя мимо сонного крестьянина и печальной совы, я, помнится, удивился: какая это нелегкая их сюда занесла? И вот, когда я уже сидел среди спортсменов, меня вдруг осенило: а

что, если между этими явлениями есть какая-то связь? Я вышел на улицу со стаканом вина (такого слабого, что о нем и говорить не стоит), угостил им сонного крестьянина, и мы разговорились. Здесь-то я и узнал, в чем заключается *la caccia*. Вся компания торжественно выступает в поход. Впереди — крестьянин с совой. В каком-нибудь месте, где водится множество мелких птичек, крестьянин поднимает шест и выставляет напоказ сову. Глупая мелюзга тотчас же слетается со всех сторон, чтобы подвергнуть сову публичному осмеянию. Тут наши спортсмены, ошестинившись двустволками, начинают лихорадочно палить во все стороны, так что от несмышленных пичужек летят только пух и перья. Бывает, что и от совы тоже. Если после этого побоища уцелеет крылышко или ножка (что случается не часто), их надлежащим образом приготавливают и съедают. Сова, насколько я понял, в раннем возрасте умирает от простуды».

Диккенса пленяли человеческие причуды и странности. Земля показалась бы ему унылым и скучным местом, если бы большинство ее обитателей стало, как говорится, нормальными людьми. К счастью, далеко ходить не было надобности: тут же под рукой было сколько угодно материала, именно такого, который нужен для полного счастья художника, любимые герои которого — чудаки. Смотри в оба, и чудаки попадутся на каждом шагу. Так две забавные старушки, героини одной из его историй, повстречались ему в Лозанне, но он с равным успехом мог бы найти (и находил) гораздо более диковинные экземпляры в Ламбете.

«Живут себе в Лозанне две сестры, две старенькие англичанки... Сначала их было четверо, но две сестры за восемнадцать лет потихоньку растаяли, и их останки лежат теперь на кладбище под боком у Джона Кембла. Обе старушки очень маленькие и худенькие, и у каждой на лбу фальшивые локоны, как ряд малюсеньких скалочек. Локоны опускаются на самые глаза, так что лба совсем не видно: брови, над бровями глубокая продольная морщина и сразу локончики. Живут они на мизерную ренту; и вот уже лет тридцать мечтают поселиться в Италии; старшая старушка говорит, что здешний климат вредит ее здоровью и портит настроение. Однако уехать из Швейцарии они никак не могут; им не под силу перевезти «книги». Библиотека, о которой идет речь, некогда принадлежала их бабушке, и «книг» в ней что-то около пятидесяти. Каких — мне так и не удалось выяснить, потому что одна из старушек всегда сидит перед ними. С виду «книги» очень похожи на старые-престарые доски для игры в триктрак. Две покойные сестры до последнего вздоха твердо верили, что это драгоценное имущество никоим образом не переправишь через

Симплонский перевал, что для этого нужно преодолеть гигантские трудности, с которыми семейство не в состоянии справиться даже объединенными усилиями. Те две старушки, которые пока еще живы, придерживаются того же мнения и умрут вместе с ним. Встретив однажды старшую сестру и видя, что она совсем уже поникла, я посоветовал ей поселиться в Женеве. Многозначительно взглянув на одетые зимними снегами горы, она ответила, что весной, когда установится теплая погода, кончатся снежные обвалы и дороги будут окончательно очищены от снега, она непременно попробует пожить в Женеве. Только за зиму нужно придумать, как перевезти библиотеку. А умрут они обе, и все «книги» пустят с молотка за один-единственный золотой, и какая-нибудь юная девица в два приема перетаскает их в корзинке к себе домой».

Свои рассказы Диккенс обильно усаждал диалогами, полными драматизма, и неподражаемо разыгрывал их так, что каждый герой вставал перед слушателями как живой. Но настоящей его страстью были эпизоды совсем иного рода — о них рассказывал с леденящими душу подробностями, и так натурально, что у присутствующих мурашки пробегали по коже. Их он тоже вспоминал не всегда, а только при удобном случае, но друзья, зная, как ему нравятся кошмары и ужасы, следили за тем, чтобы такой случай не замедлил представиться. Один незванный гость поспешно ретировался, услышав его восклицание: «Маньяки! Ха! Только с ними и позабавишься!» Действительно ли он находил их забавными? Как знать! Во всяком случае, они вызывали у него огромный интерес, все эти призраки, трупы, убийцы, сумасшедшие, преступники всех мастей, казни, палачи, пытки и прочая жуть. Страшные истории он рассказывал с особым смаком. Впрочем, многие современные писатели умеют делать это куда лучше, и эту часть его репертуара не стоит иллюстрировать примерами. Для биографа в его герое важно лишь неповторимое; те же его качества, которыми он обладает вместе с миллионами других людей, — это уже материал для историка. Концентрационные лагеря, тоталитарные системы, узаконенные пытки и две мировые войны — вот проявления некоторых из этих «общечеловеческих» качеств в так называемом цивилизованном обществе.

Главное же, чем отличается наш герой, это его юмор. Вот почему Диккенс живет и в наши дни, вот чем должна дышать каждая фраза книги о нем. Как в творчестве, так и в жизни самой пленительной его чертой была веселость. Те, кто видел его хоть раз, могли потом забыть его внешность, его манеру держаться, но его смех — никогда! В основе комического дарования Диккенса лежит его сверхъестественная наблюдательность: он

видел все и почти во всем подмечал что-нибудь смешное. Иногда в разгар общего веселья синие сверкающие глаза его приобретали какой-то неопределенный оттенок, как бы выцветали; вид его становился рассеянным, на лице появлялось какое-то блаженное выражение. Но и в эти минуты ничто не могло от него укрыться; отсутствующее выражение мгновенно сменялось живым, внимательным, и окружающие, оторопев, понимали, что он все видел и все слышал. Вот кто-то рассказывает смешную историю, и лицо хозяина стало лукавым, в глазах заплясали чертенята, бровь забавно поднялась, нос сморщился; вот рассказчик дошел до самого смешного места, и по щекам Диккенса разбежались морщинки, углы рта поползли вверх, глаза сощурились, и вся комната огласилась гомерическим смехом. Казалось, он смеется всем телом. Он смеялся с удовольствием, безудержно, от всего сердца и так заразительно, что устоять не мог никто: даже самые желчные скептики, самые мрачные пессимисты. Если героем смешной истории был какой-нибудь скряга, Диккенс вспоминал о том, как вели себя в Венеции Уилки Коллинз и Огастес Эгг. (Впрочем, если удобного случая не было, он сам рано или поздно придумывал его.) Историю эту он рассказывал только избранным — тем, кто хорошо знал и Эгга и Коллинза и мог вполне оценить искусство рассказчика. В первоначальном (письменном) варианте эта история звучит так:

«Нет в мире зрелища более курьезного, чем Коллинз и Эгг в припадке бережливости. Экономить они всегда начинают с каких-нибудь жалких мелочей, и обязательно после того, как решили на них не экономить. Ну вот, например, утром, на завтраком, они решают, что «сервиторе ди пьядца» (слуга) им на сегодня не понадобится. Я жду, пока обмен мнениями закончится, и говорю: «Но ведь вчера за обедом вы определенно сказали, что наняли его на сегодня». — «Да, конечно, так оно так, не то чтобы наняли, просто сговорились, но теперь он нам не нужен, так что все это неважно». Бьет одиннадцать. Идем вниз. В вестибюле сидит сервиторе. Коллинз по-итальянски (хотите знать, как он говорит по-итальянски, спросите у Джорджи, она вам расскажет) объясняет ему, что он им сегодня не нужен. Сервиторе почтительно напоминает, что ему было велено прийти, что он сидит уже целый час и что у него пропал весь день. Что им остается делать? Конечно, оставить его. В итоге (и так, между прочим, всегда) вся грандиозная затея сводится к мелочной, жалкой и совершенно напрасной уловке. Мы захватили с собой из Генуи отличный чай. Посмотрели бы вы, что творилось, когда они первый раз решили его отведать! Что за планы! Как бы получить в отеле бесплатно чайник с

кипятком! Я, разумеется, очень быстро разрешил все сомнения, распорядившись, чтобы мне подали порцию чаю. Стоил он мне десять пенсов, и пить его в конце концов никто не стал. Эгг, если с ним поговорить серьезно, всегда все понимает. Да и вообще он милейший человек. Но их, видите ли, раздирают противоречивые чувства: с одной стороны, им непременно нужно все самое лучшее (капризничают, готовы придраться к любому пустяку), а с другой стороны, как-то очень не хочется платить. Умора!»

Любознательность Диккенса не знала границ и делала его еще более неотразимым в обществе: он всегда стремился «выудить» как можно больше подробностей о жизни интересного ему человека. Один из его героев, внимая чужим откровениям, проявлял «приблизительно столько же участия и интереса, как гробовщик, слушающий подробный отчет о последней болезни своего клиента». Диккенс был не таков. В интимной беседе он слушал так же внимательно и жадно, как за обеденным столом в кругу друзей. Свою любимую игру под названием «Двадцать вопросов» он затевал специально для того, чтобы как можно лучше изучить вкусы и характеры людей. Человек, как правило, очень любит поговорить о собственной персоне и посмеяться над другими. Не удивительно, что Диккенс как при жизни, так и после смерти сумел доставить миллионам людей больше удовольствия, чем кто-нибудь другой.



## Дела домашние

МЫ ГОВОРИЛИ о хозяине. Ну, а хозяйка? И она тоже блистала? Умела легко взять с мужем тот же верный тон, который он сам умел находить с другими? Нет и еще раз нет! Именно поэтому отчасти так неудачно сложились их отношения после двадцатилетней супружеской жизни. (За это время Кэт родила десятерых детей, и, кроме того, несколько родились мертвыми.) Диккенсу, вообще говоря, нужна была бы подруга мощностью этак в сорок нормальных человеческих сил. Едва ли нашлась бы на свете такая женщина. Его жене, во всяком случае, эта роль была явно не по плечу. Кэт была приветлива, добра, нетороплива и довольно слабохарактерна. Она любила покой и тишину. Все, что требовало энергии, напряжения, причиняло ей муки. Она была поглощена домашними делами, любила детей, беспокоилась о них, пеклась об их здоровье, любила поговорить о малышах, о материнских радостях и печалях, о рукоделии. Она была дружелюбна и нежна и требовала от жизни только одного: чтобы ей дали спокойно жить в кругу своей семьи. Любая деятельность — и умственная и физическая — была ей не по душе: она неуклюже двигалась, то и дело спотыкалась, падала, что-то роняла, забывала, где что лежит и как с чем обращаться.

Могла ли такая женщина угодить своенравному и требовательному супругу? Для этого у нее не хватало ни темперамента, ни энергии. Мешали и частые роды. В молодости она старалась делать все, что могла. Она безропотно позволила мужу оторвать себя от детей, потащить куда-то за океан, возить по всей Америке, где на нее глазели, как на обезьяну в зверинце, где ей приходилось мириться с грубостью и разнузданными нравами. Ради него она исколесила всю Европу, путешествуя и днем и ночью, терпела тысячи лишений и опасностей. Она принимала его гостей, заставляла себя вести длинные разговоры на тысячу и одну совершенно не интересующую ее тему. Она десятки раз сопровождала его в поездках по Англии и Шотландии, присутствовала на торжественных церемониях, сидела рядом с ним на десятках трибун, с тоской внимала множеству скучных речей. Кончая очередной выпуск каждого романа, Диккенс тотчас же читал его жене, и она слушала, тщетно стараясь почувствовать такой же интерес к его произведениям, как и он сам. Она напрягала свою память и портила себе нервы, выступая в его спектаклях, когда все в ее доме периодически переворачивалось вверх дном. И, наконец, она без всякого

возмущения и раздражения постепенно уступила место хозяйки дома и матери семейства Джорджине, своей сестре.

Частые беременности отнюдь не пошли ей на пользу, и после рождения десятого ребенка она сделалась несколько инфантильной — впрочем, и в самые лучшие времена муж никогда не относился к ней, как к взрослой. До свадьбы они, по-видимому, были влюблены друг в друга не меньше, чем подавляющее большинство других юных пар: то есть достаточно сильно желали друг друга, чтобы решиться на брачную церемонию. Однако с самых первых дней их супружескому счастью мешали две привязанности Диккенса: сначала к Марии Биднелл, а затем к Мэри Хогарт. Иными словами, он сразу же дал почувствовать Кэт, что она, если можно так выразиться, жена-заместитель, лицо временно исполняющее обязанности жены. Но добродушную и нетребовательную Кэт не обидело даже это, и, когда в ее доме стала распоряжаться Джорджина, она была, пожалуй, даже благодарна сестре. По-настоящему тягостно, более того — нестерпимо было для нее другое: постоянные размолвки с мужем. Да и как им было ужиться вместе, этим супругам, так мало подходившим друг к другу и по характеру и по темпераменту! Шли годы, и разлад, естественно, становился все глубже, да и Диккенс с годами становился все более своенравен, беспокоен и раздражителен: сказывалось напряжение от непомерной работы, от бесчисленного множества обязанностей и забот. Вскоре после того как он основал «Домашнее чтение», Кэт впервые предложила ему расстаться.

Несколько лет он не желал даже слышать об этом. Он говорил, что их первый долг думать о детях и ради них оставаться вместе. Однако едва ли он говорил ей о главной причине — той, о которой действительно думал в первую очередь. Дело в том, что развод мог бы серьезно повлиять на его общественное положение. Нельзя забывать, что Диккенс был прежде всего обязан своей славой идиллическим описаниям семейной жизни, супружеского счастья и безмятежных вечеров у пылающего камина. Именно они помогли ему завоевать и сохранить любовь читателей. Наконец, как истинный сын своей эпохи, он не подвергал сомнению ее нравственные устои и всегда заботился о соблюдении приличий. Так однажды, живя в Париже, они с Кэт по просьбе Сэмюэла Роджерса пригласили обедать одну актрису. Во время следующей своей поездки в Париж Диккенс выяснил, что эта актриса любовница какого-то английского лорда и что в парижском свете это обстоятельство ни для кого не является тайной. Диккенс немедленно велел жене объехать всех дам, присутствовавших на злополучном обеде, и, «не вдаваясь в подробности,

сказать следующее: тебе стало известно, что ее репутация не безупречна, что Роджерс совершил ошибку, открыв для нее двери нашего дома, и что, ничего не говоря ему, ты считаешь своим долгом объяснить все им, так как именно ты познакомила их с нею. *И сделать это нужно без промедления*». Короче говоря, у Диккенса были достаточно веские основания соблюдать decorum. Если бы он не был так вспыльчив, так неуравновешен, если бы не был актером, а порой и сущим дьяволом; если бы не титаническая работа и тревоги, доводившие его иногда до полного исступления; если бы не глупцы, которых приходилось терпеть, сохраняя довольный вид, автору этой книги не пришлось бы писать главу о домашних делах Диккенса, и его судьба (а с нею и судьба его произведений) сложилась бы совсем иначе.

Глупее всех в этой истории вели себя Хогарты: отец, мать, тетка и младшая сестра Кэт. Их болтовня и привычки крайне раздражали Диккенса. «Мне до смерти надоел шотландский язык во всех его временах и наклонениях», — писал он Уилки Коллинзу в 1855 году. Как и все другие родственники писателя, Хогарты старались пожить за его счет чем только могли: подолгу гостили у него, жили в его доме, когда он уезжал, и часто заставляли его оплачивать их счета. В январе 1856 года он попросил Уиллса распорядиться, чтобы их домашний аптекарь записал на его счет «Оплату за услуги, оказанные им миссис Хогарт во время ее болезни: лекарства, визиты и прочее. Ни ей, ни кому-либо из семьи говорить ничего не нужно». Однако каких-нибудь три месяца спустя он был уже настроен совсем иначе, написав Уиллсу, что задерживается за границей, так как «Хогарты не выберутся из Тэвисток-хауса раньше той субботы, а я просто подумать не могу о том, чтобы все это время выносить их идиотизм. (Мое здоровье и так уже сильно пострадало от одного вида Хогарта за завтраком.) Джорджина вполне разделяла его мнение о своей родне. Объявив себя защитниками интересов Кэт, Хогарты ополчились против Джорджины и стали распускать слухи о том, что Диккенс поступил неприлично, разрешив свояченице стать хозяйкой своего дома. Вскоре эта сплетня дошла до Диккенса и, естественно, подлила масла в огонь: в те дни каждый булавоочный укол казался ему ударом бича.

Диккенс был весьма расположен к тому, чтобы жалеть себя, и эта склонность проявлялась особенно сильно, когда он жаловался, что ему не повезло в семейной жизни. Чтобы сделать брак счастливым, одного человека мало: нужны двое. Когда Диккенс в припадке хандры сетовал на то, что потерпел катастрофу, не испытав в жизни главного счастья, не сумев найти самого близкого друга, он забывал, что то же самое могла бы сказать и его жена. Жалость к себе — весьма распространенное свойство, но

особенность Диккенса заключалась в том, что он все переживал несравненно глубже и сильнее, чем обыкновенные люди. Шекспир понимал, как редко человек способен по-настоящему сочувствовать тому, чего не испытал сам. Чтобы пожалеть бедняка, нужно самому пожить в бедности; чтобы почувствовать сострадание к больному — изведать боль; чтобы понять несчастного — самому пройти через тяжкие испытания. Точно так же и пожалеть других может лишь тот, кто уже испытал жалость к самому себе. Король Лир говорит, как ему жаль сирых и обездоленных, участь которых он сам разделил, и Шекспир восклицает его устами:

...вот тебе урок,  
Богач надменный! Стань на место бедных,  
Почувствуй то, что чувствуют они,  
И дай им часть от своего избытка  
В знак высшей справедливости небес.

Но если Диккенс и жалел себя больше, чем Шекспир, и, уж конечно, гораздо больше, чем Скотт (никто другой из английских писателей не достоин занять место рядом с ним), то виноват в этом его актерский темперамент. Он слишком безудержно отдавался своим порывам, слишком привык видеть себя героем сентиментальной драмы. (Интересно, что самая популярная из всех когда-либо написанных пьес — шекспировский «Гамлет». Это ли не верный признак того, что жалость к себе — одно из самых распространенных человеческих чувств? Успех «Гамлета» за кулисами объясняется тем, что каждый актер мечтает сыграть в нем главную роль.) Видеть себя героем драмы — разве это не лучший способ насладиться жалостью к себе? Сколько в этом самолюбования! А самолюбование ведь не что иное, как игра. Диккенс нигде не был так счастлив, как на театральных подмостках, особенно в роли героя, пожертвовавшего собой ради любви и заставляющего публику таять от сочувствия и восхищения. Мы вскоре увидим, что семейная драма неизбежно должна была послужить ему поводом для создания наиболее сценичного из всех его произведений.

В мае 1858 года Диккенс заявил, что «несчастлив в семейной жизни уже много лет». Тем не менее еще в ноябре 1853 года он писал Кэт из Рима: «Я буду очень счастлив снова вернуться домой и обнять тебя, потому что, разумеется, *очень* по тебе соскучился». Таков уж был этот человек: в тот момент, когда он остро ощущал свою беду, ему начинало казаться, что он

страдает целую вечность. На самом же деле первые намеки на домашние неурядицы появляются в его письмах лишь в январе 1855 года, когда он говорит, что, подобно Дэвиду Копперфилду, не сумел найти себе подругу, спутницу. Те же ноты звучат и в письме, написанном в апреле 1856 года: «Где вы, бывшие дни! Смогу ли я когда-либо вернуть себе прежний душевный покой? Отчасти, быть может, но вполне — никогда! Мои семейные неприятности приобретают что-то очень уж грозные размеры». Писал он это в Париже, работая над «Крошкой Доррит», и это ощущение невозвратимой утраты видно и в неразделенной любви Кленнэма к Бэби Миглз и в его думах о том, что жизнь прошла мимо, и вот ему уже поздно жениться — и в том, что под видом ангелоподобной Крошки Доррит Диккенс опять изображает Мэри Хогарт. Бессмысленно гадать, разошелся бы Диккенс с женою, если бы Дуглас Джеролд остался в живых и Диккенс не пригласил профессиональных актрис для участия в благотворительном спектакле. Очевидно одно: в ту минуту, когда роль Марии Биднелл и Мэри Хогарт перешла к Эллен Тернан, судьба Кэт была решена. «Со времени последнего представления «Замерзшей пучины» я не ведаю ни покоя, ни радости, — писал Диккенс Уилки Коллинзу в марте 1858 года. — Никто и никогда не был так истерзан, так одержим одним неотвязным видением». В такой серьезный и ответственный момент он, разумеется, не мог обойтись без Форстера с его житейской мудростью. Форстер мог дать ценный совет, он знал Чарльза и Кэт, и уже долгие годы, и можно было не сомневаться в том, что он будет действовать осмотрительно, по-деловому, — одним словом, это был единственный человек, способный учесть интересы обеих сторон и уладить дело надлежащим образом. Коллинз совершенно не подходил для этой цели: он был слишком молод, ленив и неопытен и, как известно, придерживался несколько своеобразных взглядов на святость брака. Кэт едва ли рискнула бы довериться этому язычнику, имевшему столь сильное влияние на ее мужа.

Форстер прежде всего посоветовал действовать обдуманно и осторожно. В сентябре 1857 года Диккенс ответил ему: «Вы слишком нетерпимо относитесь к тому изменчивому, мучительному чувству, которое, по-моему, является неотъемлемой частью нашей внутренней жизни. Вам, без сомнения, хорошо известно, как часто и как безжалостно мне приходилось глушить в себе это чувство, — но довольно об этом. Я не намерен хныкать и жаловаться. Да, Вы правы: когда люди женятся очень рано, в их совместной жизни почти неизбежны частые конфликты, и даже более тяжелые, чем у нас. Я никогда не забываю, что мне посчастливилось видеть и испытать так много прекрасного. Я искренне и честно считал и

твердил себе много лет подряд, что, добившись такого блестящего успеха, не имею права роптать, если в чем-то одном мне не повезло... Однако с течением времени нам обоим становилось все тяжелее, и я не могу не думать о возможности все-таки что-то сделать, и не только ради меня, но и ради нее... Не думайте, пожалуйста, что я считаю себя безупречным. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что другая сторона тоже имеет все основания жаловаться. Наверное, и я во многом виноват — в тысячах причуд и капризов, в том, что у меня такой нелегкий нрав». В другом письме, написанном тогда же, в сентябре, он изливает Форстеру все, что накопилось в его душе: «Мы с бедняжкой Кэтрин не созданы друг для друга, и тут уж ничего не поделаешь. Беда не только в том, что она угнетает и раздражает меня. Я действую на нее точно так же, но только в тысячу раз сильнее. Да, она действительно такова, какой Вы ее знаете: незлобива и покладиста; но мы с ней удивительно неподходящая пара. Видит бог, она была бы в тысячу раз счастливее с человеком иного склада. Если б ее судьба сложилась иначе, она бы выиграла, конечно, не меньше, чем я. Я часто и с душевной болью думаю: как жаль, что ей было суждено встретиться именно со мною! Случись мне завтра заболеть или стать жертвой несчастного случая, я знаю, она горевала бы о том, что мы с ней потеряли друг друга. Да и я тоже! Но стоило бы мне выздороветь, и несовместимость характеров снова встала бы между нами, и никакие силы не могли бы помочь ей понять меня или нам обоим приноровиться друг к другу. Ее темперамент никак не вяжется с моим. Все это было не так уж важно, пока нам приходилось думать только о себе. Но с тех пор обстоятельства изменились: и теперь, пожалуй, бессмысленно даже пытаться наладить что-либо. То, что сейчас происходит со мною, случилось не вдруг. Я давно видел, как все это постепенно надвигается, еще с того дня — помните? — когда родилась моя Мэри...»

Говоря о том, что «обстоятельства изменились», Диккенс, безусловно, имел в виду многое; на самом же деле все причины, по существу, сводились к одной: он полюбил другую женщину. Необходимо было что-то делать, занять себя. Кроме того, нужно было зарабатывать деньги. О том, чтобы в таком душевном состоянии начать новый роман, не могло быть и речи, и вот двадцать один год спустя ему вновь пришла в голову мысль о публичных чтениях, но уже не с благотворительной целью. Форстер был категорически против этой идеи, считая, что знаменитому писателю не пристало потешать публику, как простому комедианту, и что такая роль унижительна для джентльмена. Он снова советовал Диккенсу взять себя в руки и действовать благоразумно. Все попытки Форстера образумить друга

ни к чему не привели: Диккенс лишь сильнее заупрямился. «Слишком поздно твердить мне, что нужно обуздать себя и не терять голову, да и не тот я человек, которому стоило бы говорить об этом. Ничто, кроме работы, не может принести мне теперь облегчения. Я не могу сидеть сложа руки. Поберечь свои силы? Да я покроюсь ржавчиной, зачахну, умру! Лучше уж умереть за делом. Я таков, каким меня создала природа, и моя жизнь за последнее время служит — увы! — подтверждением тому. Со своей бедой — будем называть вещи своими именами — я должен справляться теми средствами, которыми владею. Я обязан сделать то, что мне предназначено».

В конце октября 1857 года, вернувшись вместе с Коллинзом из поездки на Озера, Диккенс, как бы в доказательство того, что ничто его не заставит свернуть с избранного пути, предпринял символический шаг. Он написал из Гэдсхилл Плейс в Лондон своей бывшей горничной Энн (она вышла замуж, но продолжала присматривать за Тэвисток-хаусом, когда Диккенсы бывали в отъезде) и попросил ее устроить ему спальню в бывшей туалетной комнате, наглухо заделав дверь, ведущую в спальню жены. У него было много планов по перестройке Гэдсхилла, и работы уже велись полным ходом, но теперь ему было не до них. Форстер настойчиво убеждал его, что сейчас полезнее всего было бы начать новую книгу. «Ничто мне не поможет, — ответил Диккенс. — Я одержим одним только чувством: перемена неизбежна. Это чувство крепнет с каждым днем, и ничто не может рассеять его».

Январь 1858 года. Тэвисток-хаус. Диккенс и Кэт в разных комнатах. Диккенс подавлен, истерзан, он мечется, как тигр в клетке. «Все это похоже на сон: работаешь, добиваешься чего-то, а в конце концов все так ничтожно! — писал он Макриди в марте. — Не далее, как вчера, приснилось мне, что я связан по рукам и по ногам и изо всех сил пытаюсь преодолеть бесконечный ряд барьеров. Не правда ли, очень похоже на явь?» И Уилки Коллинзу: «Мои домашние беды так угнетают меня, что я не знаю покоя, кроме сна, и не могу писать». Впрочем, из другого письма, написанного тоже в марте, мы узнаем, что, без одобрения Форстера он не решится на окончательный шаг. «Раз и навсегда откажитесь от мысли о том, что мои домашние дела можно изменить к лучшему. Их ничто не поправит. Легче умереть и снова воскреснуть. Я могу стараться, и пробовать, и терпеть, и заставлять себя видеть только хорошее, делать хорошую мину при плохой игре или плохую мину при хорошей игре — теперь дело совсем не в этом. Все кончено раз и навсегда. Напрасно было бы думать, что я могу что-то изменить или питать какие-то надежды. Меня

постигла горькая неудача: с этим нужно смириться, и точка».

Тем временем, несмотря на протесты Форстера, он постепенно готовился к публичным чтениям. Правда, было одно обстоятельство, которое его беспокоило: что подумают читатели, узнав, что их любимый писатель стал профессиональным чтецом? Не повлияет ли это на популярность его произведений? И все-таки он сказал Коллинзу, что Форстер занимает в этом вопросе «чрезвычайно неразумную» позицию, оттого, вероятно, что «деньги окончательно вскружили ему голову». «Сыграть» собственных героев перед широкой аудиторией — разве это не волнующая идея? И не поможет ли она ему хоть на время забыть то волнение, которое царит в его душе? «Я должен заняться хоть *чем-нибудь*, — с отчаянием говорил он. — Иначе я просто изведусь». В марте он, наконец, решился, нашел себе импресарио — Артура Смита, старого знакомого, и объявил, что даст серию чтений «Рождественской песни». Выступления должны были начаться 29 апреля в лондонском Сен-Мартинз Холле<sup>[19]</sup>, продолжаться до начала июня, а осенью возобновиться в провинциальных городах. Узнав о его новой затее, королева Виктория сказала, что очень хотела бы послушать его, но не решается просить его выступить, помня, как он отказался прийти к ней в ложу после представления «Замерзшей пучины». Тогда Диккенс недвусмысленно дал ей понять, что если это действительно так, то королева окажет ему большую честь, посетив «одно из публичных чтений», так как он считает необходимым присутствие в зале большой аудитории. Но милость монархов не простирается так далеко, и с Диккенсом об этом больше никто не заговаривал. Итак, выступив на двух благотворительных вечерах (один был устроен в помощь детской лечебнице на Ормонд-стрит, другой — для Эдинбургского философского общества), Диккенс начал свои чтения. Постепенно репертуар его пополнился: в Сен-Мартинз Холле он читал еще и «Колокола». Успех был колоссальный. Став профессиональным чтецом и не занимаясь ничем другим, он мог бы заработать гораздо больше того, что принесли ему все его книги.

Накануне первого платного выступления Диккенса в Сен-Мартинз Холле его жена в сопровождении своей матери и своей сестры Хэлен покинула Тэвисток-хаус. Кэт, как мы уже видели, была очень простодушна, и родственникам не стоило большого труда убедить ее в том, что Джорджина действует ей во вред и что Эллен Тернан — любовница Чарльза. Их злобные чувства к Диккенсу объясняются очень просто: он ясно дал понять Хогартам, что их общество ему неприятно. Однажды вечером он ушел из Тэвисток-хауса и добрался за ночь до Гэдсхилла,



пройдя пешком тридцать миль, и заявил, что не вернется домой, пока оттуда не уедут Хогарты. По нескольким его письмам тоже ясно, что он давно перестал скрывать свое враждебное отношение к родственникам жены. Что касается Джорджины, она восстановила их против себя, встав на сторону Чарльза. Кроме того, она распоряжалась в его доме, и этого они тоже не могли простить ей: им хотелось бы видеть хозяйкой уступчивую Кэт, которой они могли бы командовать, как им вздумается. Давно уже (точнее, 8 мая 1843 года) Диккенс писал, что Джорджина по характеру и складу ума очень похожа на его незабвенную Мэри Хогарт. Сходство это «порою столь разительно, что когда мы сидим все вместе — Кэт, она и я, — все минувшее начинает казаться мне страшным сном, который только что кончился. Точно такой, как она, уже никогда не будет на свете, но ее душа так часто сияет передо мною в облике этой ее сестры, что иной раз бывшее сплетается с настоящим, и трудно понять, где кончаются воспоминания и начинается явь». С годами это сходство стало в его глазах еще заметнее, и Джорджина прочно воцарилась в его душе (и доме). Он видел в ней пусть не оригинал, но самую точную копию того идеального создания, духовная близость которого была ему так необходима.

Джорджина, естественно, была не в восторге от этого, ибо нет сомнений в том, что она обожала Диккенса. Но что поделаешь? Ей приходилось мириться с ролью воплощенной добродетели. Неестественное положение, в котором она поневоле оказалась, восстановило ее против Кэт, оставившей себе, по ее мнению, одни только радости супружества, переложив все заботы хозяйки и матери на плечи сестры.

Но вот на сцену выступила Эллен Тернан, и положение вещей, ставшее на первых порах еще более запутанным, вскоре упростилось. Как отнеслась к ее появлению Джорджина, легко догадаться. Что касается Хогартов, у них теперь было сколько угодно пищи для самого ядовитого злословия. Диккенс был не из тех, кто скрывает свои чувства от лучших друзей. Любой из них, поговорив с ним хотя бы полчаса, узнавал о его увлечении. Но поскольку каждый из его друзей был всего-навсего человеком с обычными человеческими слабостями, он все это передавал какому-нибудь приятелю, который, в свою очередь, поступал точно так же. Очень скоро эта история стала модной темой клубных сплетен; так о ней узнали Теккереи и Браунинг, не входившие в число близких друзей Диккенса; Кэт впервые узнала о случившемся, получив по ошибке какое-то украшение, купленное ее мужем для Эллен. Если у нее еще и оставались какие-нибудь сомнения, то недолго; напомнив ей об уговоре, заключенном еще до свадьбы (не скрывать, если он или она полюбят кого-нибудь

другого), Диккенс попросил жену нанести визит Эллен Тернан. Потрясенная Кэт рассказала обо всем миссис Хогарт и не смогла скрыть свое горе от дочерей. Одна из них, увидев мать в слезах, спросила, что случилось. «Твой отец требует, чтобы я поехала с визитом к Эллен Тернан», — жалобно ответила Кэт. Дочь убеждала ее не делать этого, но Кэт все-таки поехала. Так же откровенно Диккенс поговорил с Джорджиной и старшими детьми: Чарльзом, Мэми и Кэти, подчеркнув (очевидно, во избежание естественных подозрений), что питает к Эллен самые возвышенные чувства и что отношения их вполне «невинны». Хогарты не поверили — или сделали вид, что не верят, — и, внушив Кэт, что с ней поступают чудовищно, увезли ее из дому.

Вернувшись в Тэвисток-хаус из Гэдсхилла, Диккенс тотчас же узнал о том, что в «обществе» из уст в уста передаются скандальные истории о нем, о Джорджине и Эллен Тернан. В Гаррик-клубе кто-то начал рассказывать Теккерею, что Диккенс развелся с женой «из-за интрижки со свояченицей». «Свояченицей? — возразил Теккерей. — Ничего подобного. С актрисой!» Об этом немедленно донесли Диккенсу, и он написал Теккерею письмо, возмущенно отвергая все и всяческие обвинения против Эллен и самого себя, утверждая, что его разрыв с женой произошел из-за несходства характеров. Расспросив «с пристрастием» кое-кого из знакомых и выяснив, что кампания клеветы против него и Эллен возникла, быть может, и не по инициативе, но, уж безусловно, при активном участии миссис Хогарт и ее дочери Хэлен, Диккенс повел себя так, что у окружающих были все основания считать, что его рассудок помутился и он не способен больше управлять своими чувствами. Кое-кто в те дни говорил, что он стал другим, что его будто подменили. Однако подобные суждения всегда поверхностны. Характер человека с юных лет и до старости коренным образом не меняется. Просто некоторые обстоятельства выявляют в человеке те качества, которые прежде не всякий мог заметить. В действиях Диккенса, если вдуматься, не было ничего неожиданного: именно так и должен был поступить человек, сочетающий в себе актерскую впечатлительность и эмоциональность с энергией и трезвостью делового человека. Хогарты, которых он поддерживал и опекал более двадцати лет, проявили по отношению к нему черную неблагодарность, оклеветав его за его спиной. Да, он потерял самообладание, но и в этом нет ничего удивительного: он никогда не умел сдерживаться, если ему становились поперек дороги. С первого дня супружеской жизни его слово было законом: Кэт никогда и ни в чем не смела противоречить ему. В тот момент, когда она ушла из дому, полный разрыв стал неминуем. Уладить

все формальности было поручено Форстеру. Кэт выбрала своим доверенным лицом Марка Лемона, так как Форстер всегда относился к ней недружелюбно. В конце мая 1858 года был подписан акт, по условиям которого Кэт должна была получать пожизненно шестьсот фунтов в год и поселиться вместе со старшим сыном в доме № 70 по Глостер Кресент, Риджент-парк. Все другие дети оставались жить с отцом.

Пока все это происходило, Диккенс вел себя, как тигр в клетке, и едва ли его детям приходило теперь в голову затевать дома веселье. Но вот документ был подписан, и разъяренный тигр, вырвавшись на свободу, стал кидаться на всякого, кто попадался на его пути. Каждый, кто был не с ним, становился его врагом. Он резко одернул даже такого старого друга, как Джон Лич, когда тот посмел заикнуться о том, что Чарли, кажется, на стороне матери. «Вы задели меня за живое и больно ранили меня», — сказал Диккенс. Он чувствовал себя так несправедливо обиженным, так тяжело сказалось на нем напряжение этих мучительных лет, что сердце его, как он говорил, было «истерзано, искалечено и изуродовано». Его детям было велено прекратить всякие отношения с бабушкой миссис Хогарт и с теткой Хэлен. Бывать у матери им не запрещалось, но отец ясно дал им почувствовать, что не хотел бы этого. Он заставил Джорджину написать предмету его первой любви (нынешней миссис Винтер) и изложить обстоятельства дела (с его позиций, конечно). В этом письме содержится поистине из ряда вон выходящее утверждение, что Кэт «вследствие несчастных особенностей своего характера была не способна справиться со своими обязанностями и своих детей с младенческих лет вверяла попечению других, вследствие чего, когда дети подрастали, между ними и их матерью не возникали те прочные узы, которые были бы так естественны». Правильнее было бы сказать, однако, что Диккенс вместе с Форстером решили между собой, что Кэт не годится на роль воспитательницы собственных детей. Как могла она отказаться от материнских обязанностей, если ей не дали даже взяться за них? Кроме того, нет никаких доказательств тому, что младшие дети не любили ее, а из трех старших, которых отец посвятил во все, двое — Чарли и Кэти — были на стороне матери, и лишь Мэми приняла сторону отца. Самый зоркий наблюдатель не всегда бывает прозорлив, и тот, кто безошибочно подмечает чисто внешние приметы, оказывается порою неспособным здраво рассуждать. Что же произошло? Какие-то олухи стали чесать языки в своих клубах, а несколько завсегдатаев модных гостиных скуки ради пустили скандальный слухок. И вот человек, от которого никогда не могли укрыться ни один взгляд, жест или интонация, стал жертвой странного

заблуждения, решив, что весь мир только и делает, что судит о его семейных делах, и чтобы пресечь клевету и вернуть своим почитателям сон и покой, ему (еще более странное заблуждение) достаточно заявить в печати о том, как в действительности обстоят дела. Ему бы нужно было пропустить эти слухи мимо ушей — умел же он не замечать критических статей о своих романах! Где-то в глубине души он чувствовал, что сам дал пищу для сплетен. Ничто на свете так не бесило его, как сознание того, что ему, ни в чем (с его точки зрения) не повинному, бросают (как он был уверен) обвинение, основанное на его же сомнительном (с точки зрения других) поведении. У него было отлично развито чувство юмора, поэтому литературный успех не вскружил ему голову, но все-таки он стал так рано знаменит и так огромна была его слава, что он был не чужд некоторой доли самомнения. О своих читателях он говорил так, как будто их связывали с ним некие таинственные узы и ему оказано огромное доверие, которым он не имеет права злоупотреблять. Этим его искренним убеждением и глубокой обидой на клеветников отчасти объясняется самый удивительный поступок в жизни этого удивительного человека. Он опубликовал в «Домашнем чтении» «Обращение» к читателям и разослал его во все крупнейшие газеты страны с просьбой, чтобы и они напечатали его. В решении написать и предать гласности это «Обращение» главным образом сказалась его актерская жилка: он не мог устоять перед соблазном явиться перед всем светом в роли героя драмы. Это был, если можно так выразиться, его бенефис, театральная сенсация. Текст «Обращения» был готов, но Диккенс, на мгновение усомнившись в разумности этого шага, показал свое сочинение Форстеру и Лемону. Оба заявили, что они категорически против публикации «Обращения», чем только сильнее раззадорили Диккенса. Наконец Форстер посоветовал ему обратиться к Джону Дилейну, редактору газеты «Таймс», и поступить так, как скажет этот человек. Дилейну поверяли свои тайны премьер-министры; к нему шли за советом министры иностранных дел; считалось, что никто лучше его не знает, как отнесется публика к тому или иному известию. Казалось бы, на такого человека можно смело положиться. И когда Диккенс показал ему «Обращение», Дилейн посоветовал напечатать его. Чем это объясняется, неизвестно. Может быть, он недолго любил Диккенса, с произведениями которого «Таймс» всегда расправлялась очень круто. А может быть, ему было просто все равно, и, поняв, что Диккенс непременно поступит именно так, как ему вздумается, Дилейн решил, что отговаривать его не стоит.

Перед тем как напечатать «Обращение», Диккенс послал его текст

жене с просьбой сообщить, не вызывает ли он у нее возражений. Одновременно он сообщил ей, как он расценивает поступки ее матери, сестры и тетки. «Кто бы ни оказался сейчас в числе тех, кого я, живой или мертвый, не прощу никогда, я от души надеюсь, что между мною и тобой раз и навсегда покончено с какими бы то ни было недобрыми чувствами». «Милая Кэтрин», как он теперь ее называл, не возражала — как всегда. 12 июня 1858 года «Обращение» появилось в «Домашнем чтении». Многие другие газеты, которым Диккенс послал его, не обратили на него внимания, но многие и напечатали. В числе последних нашлись такие — и их оказалось немало, — которые поместили также и комментарии от редакции довольно неприятного свойства. Читатели не знали, что и думать. Подавляющее большинство из них вообще ничего не слыхало о его семейной драме. Его друзей, многим из которых было известно гораздо больше того, что он счел нужным упомянуть в «Обращении», оно привело в замешательство. Кое-кто позволил себе отнестись к его поступку критически, что привело его в бешенство. Он стал более холодно и сдержанно относиться к людям. Закадычные друзья стали теперь казаться ему тайными врагами. Очевидно, наиболее трезвые из его знакомых, прочитав нижеследующие строки «Обращения», резонно заключили, что было бы ошибкой обсуждать с ним это произведение в игриво-безучастном тоне.

«Вот уже некоторое время моя семейная жизнь осложнилась рядом тяжелых обстоятельств, о которых здесь уместно заметить лишь то, что они носят сугубо личный характер и потому, я надеюсь, имеют право на уважение. Недавно они завершились соглашением, отнюдь не продиктованным ни гневом, ни недоброжелательством. Мои дети с начала и до конца были полностью осведомлены о ходе событий. Соглашение заключено в дружественном духе. Что же касается причин, породивших его, то о них тем, кто имеет к нему отношение, остается только забыть.

Каким-то образом — по злему умыслу или по недомыслию, а может быть, и по дикой случайности — эти тягостные обстоятельства были неверно истолкованы, став предметом самых чудовищных, ложных и несправедливых слухов. Жертвой клеветы оказался не я один, но и мои близкие. Она коснулась и других невинных людей, о которых мне ничего не известно: я не знаю даже, реальные это лица или вымышленные. Клевета расплзлась так широко, что из каждой тысячи тех, кто читает сейчас эти строки, едва ли найдется один, которого хотя бы мимоходом не коснулось ее зловерное дыхание.

Тех, кто знаком со мною, нет нужды убеждать, что эти измышления

так же не вяжутся с самой моею сущностью, как и друг с другом, настолько они нелепы и противоречивы. Однако огромное множество людей знает меня лишь по моим произведениям и только по ним может судить обо мне. Мне кажется невыносимой мысль о том, что хотя бы у одного из них может зародиться даже тень сомнения. Но именно это может произойти, если я трусливо уклонюсь от того, чтобы поведать правду столь необычным способом.

Итак, я торжественно заявляю: все пересуды, которые с недавних пор ведутся о моих неприятностях, гнусный вымысел. Если после этого опровержения кто-нибудь станет все-таки повторять хотя бы один из этих слухов, он солжет умышленно и подло, как может лгать перед богом и людьми только бесчестный клятвопреступник».

Но все это были цветики. В своей слепой ярости он одновременно написал и другое, гораздо более откровенное заявление, передав его своему импресарио Артуру Смиту с просьбой показывать его и тем, кто верит клевете, и тем, кто хотел бы ее опровергнуть. К этому заявлению было приложено опровержение, подписанное миссис Хогарт и ее младшей дочерью. Подписать его Диккенс, очевидно, вынудил их угрозами, так как после они сожалели об этом. В опровержении между прочим говорилось: «Нам стало известно, что за последнее время распространилось определенное мнение относительно тех разногласий, которые привели к разрыву между мистером Диккенсом и его супругой. Согласно этому мнению вышеупомянутые разногласия вызваны обстоятельствами, бросающими тень на доброе имя и репутацию мистера Диккенса и других людей. Мы торжественно заявляем, что не верим этим слухам, и знаем, что миссис Диккенс им также не верит. Мы обязуемся отныне всякий раз опровергать эти слухи, как лишенные каких-либо оснований». Смит из самых лучших побуждений превысил свои полномочия, показав заявления какому-то корреспонденту, в результате чего оба они попали в нью-йоркскую «Трибюн», а оттуда и на страницы нескольких английских газет, и Диккенс был подвергнут публичному осуждению.

Вот некоторые выдержки из его заявления:

«На протяжении многих лет моя жизнь с миссис Диккенс протекала несчастливо. Всякий, кто был близко знаком с нами, не мог не заметить, что мы во всех отношениях удивительно не подходим друг к другу по характеру и темпераменту. Едва ли найдутся муж и жена (сами по себе неплохие люди), у которых было бы так мало общего, которым было бы так трудно понять друг друга...

Наш разрыв неминуемо произошел бы уже давно, если бы не сестра

миссис Диккенс, Джорджина Хогарт, с пятнадцати лет посвятившая себя нашему дому и нашим детям. Она была им подругой, няней, наставницей, другом, спутницей, защитницей и советчицей. Из уважения к чувствам миссис Диккенс (которые я, как джентльмен, обязан щадить) замечу лишь, что из-за некоторых особенностей ее характера все заботы о детях легли на плечи другой женщины. Я не знаю — не могу представить себе, — что случилось бы с ними, если бы не их тетка, к которой они привязаны, которая выросла вместе с ними и отдала им свою юность, лучшие годы своей жизни. Сколько стараний положила она на то, чтобы предотвратить разрыв между мною и миссис Диккенс! Сколько раз она увещевала, доказывала, сколько перестрадала!

За последние годы миссис Диккенс настойчиво убеждала меня, что ей было бы лучше уйти и жить отдельно, что наше растущее отчуждение часто является для нее причиной душевного расстройства, более того — что она считает себя человеком, не подходящим для той жизни, которую вынуждена вести как моя жена, и что ей будет гораздо лучше вдали от меня. Я неизменно отвечал, что мы должны смириться со своим несчастьем и мужественно нести свой крест, так как обязаны в первую очередь думать о детях и ради них соблюдать хотя бы видимость супружеских отношений».

Рассказав об условиях, на которых они расстались, он добавляет: «Что касается финансовой стороны, здесь... мне кажется, все обставлено с такой щедростью, как если бы миссис Диккенс была знатной дамой, а я — богачом».

«Мне стало достоверно известно, что двое низких людей, имеющих все основания для того, чтобы питать ко мне уважение и благодарность, назвали в связи с нашим разводом имя одной молодой особы, пользующейся моей глубокой привязанностью и уважением. Я не приведу здесь ее имени — я слишком высоко чту его. Клянусь своею честью и душой, что нет на земле существа более непорочного и достойного, чем эта молодая особа. Я знаю, что она так же невинна, чиста и добродетельна, как мои собственные милые дочери. Более того, я не сомневаюсь, что миссис Диккенс, узнав от меня всю правду, должна поверить ей, ибо она всегда относилась ко мне с уважением и в лучшие минуты совершенно полагалась на мою искренность...»

Диккенс был «чрезвычайно удручен», когда летом 1858 года это «сугубо личное сообщение» появилось в английских газетах, и тотчас же велел своему стряпчему сообщить Кэт, что он «не давал своего согласия на эту публикацию, что она ни для кого на свете так не оскорбительна», как

для него, и он «весьма потрясен и расстроен». По-видимому, жалость к себе совершенно лишила его способности видеть страдания других, ибо для Кэт публичное заявление о том, что она не заботилась о собственных детях, было в тысячу раз оскорбительнее, чем для него.

Итак, разрыв совершился, и к числу истерзанных и несчастных прибавилось еще двое. Для Диккенса началась жестокая война с собственной совестью; в глубине души он знал, что поступил с Кэт несправедливо. Он заставил себя ожесточиться; его воля одержала победу над совестью, но эта победа досталась ему ценою горьких душевных мук. Из коротенького письма Анджеле Бердетт Куттс, написанного в августе 1858 года, видно, как отчаянно он пытался переложить всю вину на Кэт, изо всех сил стараясь обмануть себя, увидеть себя в привычной роли благородного героя драмы. Его жена, утверждает он, никогда не любила своих детей, а дети — ее. За все время супружеской жизни она никогда и ни в чем ему не помогала, а теперь вместе с сообщниками — своей подлой родней, которую он всегда осыпал благодеяниями, — она же его еще и оклеветала. Он хочет, писал он, простить и забыть ее.

А Кэт? Она до последнего дня хранила в душе безутешное горе. Ее участь была вдвойне мучительна: как жена она невинно пострадала и была бессильна защитить себя. Как мать она потерпела неудачу, которую позаботились выставить напоказ всему свету. «Подумать только, после двадцати двух лет супружеской жизни покинуть свой дом! Бедная! — сокрушался Теккерей. — Увы! Чего стоит после этой истории все наше ремесло?» Вот какого невысокого мнения был о своем искусстве Генри Гоуэн из «Крошки Доррит». И не в этом ли главная причина того, что так неудачно сложились отношения двух крупнейших писателей викторианской эпохи?



## Разлад

В 1859 году У. П. Фрит<sup>[174]</sup> написал портрет Диккенса. «Жаль, что у него такое беспокойное и озабоченное лицо, — сказал Эдвин Лэндсир, увидев этот портрет. — И слишком отсутствующий и тревожный взгляд. Хотелось бы хоть когда-нибудь увидеть, что он спит или хотя бы спокоен». Диккенс высказался по этому поводу еще более определенно: «Похоже, как будто мне только что сказали, что горит соседний дом, но сосед — мой смертельный враг, а его дом не застрахован». Да, первые два года после разрыва с женою он представлял собой не слишком привлекательное зрелище; во всяком случае, ясно, что своей дочери Кэти он причинил много страданий, усердно разыгрывая роль обиженного супруга. Вскоре после ухода Кэт он поссорился с Теккереем. Правда, в их отношениях и раньше чувствовалась известная неловкость, но в другое время у Диккенса хватило бы самообладания, чтобы вести себя более осмотрительно и, быть может, избежать разрыва.

С 1836 года, когда Теккерей вызвался иллюстрировать «Пиквикский клуб», и до 1847 года, когда вышла в свет его знаменитая «Ярмарка тщеславия», они с Диккенсом были, что называется, приятелями: бывали друг у друга на обедах, встречались у общих знакомых и не раз в кругу друзей вместе «слышали, как бьет полночь»<sup>[175]</sup>. В то же время их воспитание, среда, привычки, взгляды и склонности были совершенно различны, и если говорить о характерах, у них нельзя было обнаружить ни одной сходной черты. Теккерей не был сыном своей эпохи, восемнадцатый век был ему гораздо ближе по духу. Ему бы хотелось писать с тою же свободой, что и Филдинг. Самодовольный и респектабельный викторианский век раздражал его. Он досадовал на приличия, мешавшие ему откровенно писать о проблемах пола. Чувствуя, что в угоду общепринятым вкусам ему приходится портить свои книги, он делал вид, что не придает им особенного значения, подтрунивал над собратьями по перу, покровительственно относился к читателям, всем своим поведением давая понять, что быть джентльменом для него важнее, чем гением. Вот что говорит он о своем искусстве устами Гоуэна из «Крошки Доррит»: «Что поделать, я не могу не предавать свою профессию на каждом шагу, хотя, ей-богу, люблю и почитаю ее всем сердцем». Могла ли такая позиция не злить Диккенса? Этот чувствовал себя в своем девятнадцатом веке как рыба в воде, как бы ни бранил его. К своей работе он подходил чрезвычайно

серьезно, считал ее важнее всего на свете, гордился своей профессией не меньше, чем самим собою, и к таланту испытывал куда больше уважения, чем к родословной. Несходство обнаруживалось даже в том, как они здоровались. Теккерей вяло протягивал мягкую руку; Диккенс отвечал энергичным, крепким рукопожатием.

Теккерей признался однажды, что никогда не ставит перед собою определенной цели и не знает заранее, что будет делать. Этой несобранностью, отсутствием твердых убеждений, уверенностью в том, что он опоздал родиться, объясняются частые недоразумения и досадные промахи в его отношениях с другими людьми. Вот несколько примеров:

1. Однажды в Париже он предложил Маколею явиться на какое-то торжественное собрание, обменявшись с ним ролями. Маколей выдаст себя за автора «Ярмарки тщеславия», а Теккерей объявит себя знатоком английской истории. И когда Маколей не ответил на это предложение радостным согласием, Теккерей искренне удивился.

2. Диккенс и Форстер отмечали 2 апреля два знаменательных события: Форстер — свой день рождения, Диккенс — очередную годовщину со дня своей свадьбы. «Поздравляю Вас с днем рождения, Диккенса — с днем свадьбы и был бы счастлив поздравить вас обоих с предшествующим днем», — написал Теккерей своему весьма сомнительному другу Форстеру.

3. Разбирая достоинства одной из книг с рисунками Джона Лича, Теккерей сказал: «Попробуйте представить себе номер «Панча» без личевских иллюстраций. Чего он будет стоить? Ученые мужи, которые печатаются в этом журнале, должны понимать, что, не будь Лича, им не имело бы смысла даже браться за перо». Так как он сам одно время тоже сотрудничал в «Панче», его бывшие коллеги сочли это замечание в высшей степени оскорбительным.

4. Теккерей обещал прислать Макриди свою «Ярмарку тщеславия», и действительно, в один прекрасный день актер получил этот роман с автографом, адресованным... его супруге. По этому поводу Макриди пишет в своем дневнике: «Недоволен выходкой Теккерей, быть может и неумышленной, впрочем, едва ли».

5. Теккерей был в дружеских отношениях с Генри Тейлором и его женой. Тейлор был очень богат, писал плохие стихи и был хлебосольным хозяином, нередко потчевавшим Теккерей за своим столом. Едва ли он получил большое удовольствие, увидев в «Панче» юмореску знаменитого сатирика, посвященную некоему Тимотеусу. Встретившись как-то раз с очень хорошенькой девушкой, Тимотеус (читай: Тейлор) почувствовал «восхищение, которое при виде ее не может не ощутить человек со вкусом».

Не будь миссис Тимотеус особой в высшей степени рассудительной, она могла бы, пожалуй, приревновать великого барда к юной красавице. Однако обворожительная миссис Тимотеус сама так прелестна, что может позволить себе простить этот недостаток другой женщине. Более того, она с примерным благоразумием говорит (быть может, чуточку слишком горячо), что сама вполне разделяет восхищение блистательного Тимотеуса». И Тейлор и все его друзья великолепно знали, о ком идет речь. Миссис Тейлор, — как видно, несколько менее рассудительная, чем считал автор юморески, — бушевала от ярости. Теккерей, твердо рассчитывавший на то, что к его очерку отнесутся с милой улыбкой, был поражен, узнав, что Тейлорам почему-то не смешно. Ему пришлось принести супругам самые глубокие извинения, которые были приняты.

Жертва своеобразного теккереевского юмора обычно оказывалась в положении человека, у которого на улице ветром сдуло шляпу. Он чувствует себя преглупо, кипит от ярости, но вынужден притворяться, что погоня за шляпой доставляет ему не меньше радости, чем зевакам, которые скалят зубы по сторонам. Теккерей писал литературные пародии на Бенджамина Дизраэли, на Чарльза Лёве́ра и Бульвер-Литтона, и хотя все они старались делать вид, что это очень забавно, ни один никогда не простил Теккерея, которого их упорная неприязнь приводила в недоумение. Как приятно прощать тем, кто согрешил против тебя! Какой это неисчерпаемый источник самодовольства! Теккерей же обладал качеством более редким: он прощал тех, против кого согрешил сам. Он уж совсем было собрался написать пародию на Боза — надо же было дать и тому возможность проявить свое великодушие! Но владельцы «Панча» решили, — возможно, не без участия Боза, — что дело и так зашло слишком уж далеко. Нужно сказать, что Диккенс был вообще весьма нелестного мнения об этих пародиях и однажды даже просил передать Теккерею, что они «не делают чести ни литературе, ни литераторам и их следовало бы предоставить неудачникам, писателям второго сорта». И все-таки для нас в Теккерее есть что-то очень симпатичное — в его опрометчивости, оплошностях, в безыскусственности, с которой он подходил к людям. Да это и в самом деле был милый человек, мягкий, добрый и простодушный, — близкие друзья любили его, а обе дочери просто обожали. Подобно многим людям, которые не слишком щадят чувства других, он был чрезвычайно чувствителен, если дело касалось его самого, и был бы, наверное, весьма озадачен, если бы те, кого задел он сам, проявили такую же обидчивость. Но у него был счастливый характер: его успех казался ему чудом, за которое он не переставал благодарить судьбу. Щедрости его не

было границ: он давал деньги всякому, кто попросит, и в этом опять-таки сильно отличался от Диккенса. Тот ради друга или дела был готов хлопотать и стараться, не жалея ни сил, ни времени, но деньги давал далеко не всякому. Теккерей, наоборот, увидев человека в беде, был готов отдать все до последнего гроша; но если нужно было написать рекомендательное письмо или вообще проявить энергию, сделать над собою какое-то усилие, он часами брюзжал, ворчал и откладывал со дня на день и с недели на неделю.

В отношениях Диккенса и Теккерей всегда чувствовалась некоторая натянутость, грозящая в один прекрасный день перерасти в неприязнь. Правда, когда Теккерей приходил в гости к Диккенсу, это еще бывало вполне сносно, потому что Диккенсу сам бог велел быть хозяином, а Теккерей был идеальным гостем. Но и тут не все обходилось гладко. На прощальном банкете в честь Макриди Диккенс появился в синем фраке с шелковой отделкой и медными пуговицами, черном атласном жилете и богато вышитой рубашке с белым атласным воротником. «Да, — заметил Теккерей своему соседу, — негодяй красив, как бабочка, особенно в районе манишки». Во всех прочих случаях жизни им было трудно найти общий язык. Диккенс был человек деловой и практический; Теккерей ненавидел дела и ничего в них не смыслил. Диккенс был энергичен; Теккерей — ленив. Диккенсу нужны были оvation бедняков; Теккерей — аплодисменты богатых. Гордому и самоуверенному Диккенсу было наплевать на аристократическое общество; Теккерей нравилось быть его любимцем и баловнем. Теккерей было совершенно необходимо женское общество, ему было так же легко и приятно в окружении дам, как Диккенсу — в мужской компании. Это, несомненно, объяснялось тем, что их детство протекало совершенно по-разному: Теккерей был единственным сыном, основательно избалованным матерью. Диккенс вырос в большой семье, и его матери было не до нежностей. Даже в клубе они вели себя удивительно непохоже: Теккерей, как человек праздный, торчал где-нибудь в баре, библиотеке или бильярдной, либо болтал, либо, сидя в кресле, засыпал или прятался за развернутой газетой. Диккенс терпеть не мог терять времени зря и приходил в клуб только по делу — обычно на деловое свидание. Теккерей в гостинице или клубе даже работалось лучше; Диккенсу нужны были абсолютная тишина и уединение. Завсегдатаи Гаррик-клуба заметили, что если один из них заходил в комнату, где разговаривал или сидел за книгой другой, вновь прибывший оглядывался по сторонам, как будто ища забытую вещь или нужного человека, и уходил. Они явно чувствовали себя неловко друг с другом, так как любили говорить о разных вещах: Теккерей

был склонен потолковать о литературе и живописи, Диккенс предпочитал театральные сплетни, рассказы о преступлениях и преступниках или анекдоты.

Но вот в их отношения вкралось нечто новое, в чем ни тот, ни другой не был повинен. Вышла в свет и прогремела на всю страну «Ярмарка тщеславия». Наконец-то — обрадовались в клубах — появился роман, написанный джентльменом для джентльменов. Этот клич подхватили некоторые критики, и литературный мир раскололся на два лагеря — сторонников Теккерея и приверженцев Диккенса. Невольные жертвы этой «гражданской войны» попали в атмосферу искусственно раздуваемого антагонизма. Почитатели превозносили каждого из них как величайшего писателя эпохи. Теккерей совершенно искренне считал Диккенса талантливее себя. Диккенс не менее искренне был совершенно равнодушен к произведениям Теккерея. Однако из-за шумихи, поднятой почитателями, из-за нелестных сравнений и лживых слухов, перелетающих из лагеря в лагерь, Диккенса стало раздражать то обстоятельство, что у него появился серьезный соперник, а Теккерей поверил, что собрат по перу завидует его успеху. Впрочем, обоим было чем утешиться: Диккенса, должно быть, радовало сознание того, что его книги расходятся десятками тысяч экземпляров, а книги соперника — только тысячами. Теккерей мог тешить себя мыслью о том, что люди со вкусом отдадут предпочтение ему. И все-таки автор бестселлера<sup>[20]</sup> всегда завидует престижу изысканного интеллигента, а последний — популярности бестселлера. Стоит ли удивляться, что Диккенс и Теккерей при встрече друг с другом не испытывали особенного восторга?

Фантазеру недолго сделать из мухи слона, и Теккерей в письме к своей матери говорит, что до того, как появилась «Ярмарка тщеславия», он пользовался в кругу литераторов любовью, но, когда он стал знаменит, многие (Джеролд, Эйнсворт, Форстер, Бульвер и Диккенс) стали относиться к нему либо неприязненно, либо недоверчиво. «Как печально видеть мелкую зависть в великих мудрецах и наставниках мира сего!.. Я уже с трудом понимаю, чем руководствуются люди — да и я сам — в своих поступках». Но не только успех был причиной того, что писатели недолюбливали Теккерея, — отчасти это объяснялось его неожиданными выходками, а еще больше тем, что он внезапно начинал изображать из себя бог весть какого аристократа. Ему доставляло какое-то странное удовольствие разыгрывать джентльмена среди артистов и артиста в обществе джентльменов, отчего и те и другие невольно чувствовали себя слегка пристыженными. «Мне больно, что наши коллеги раскрашивают

себе лица и кривляются для того, чтобы помочь неимущим собратьям», — так можно выразить отношение Теккерея к спектаклям Диккенса в помощь Литературной гильдии. Но, может быть, щеголяя своим утонченным воспитанием, Теккерей просто хотел отыграться, — ведь из-за того, что Диккенс пользовался феноменальным успехом, Теккерею в обществе богемы пришлось пережить не один неприятный момент. Так, зимою 1852 года его, Диккенса, Лича, Джеролда, Лемона и других пригласили в Уотфорд поохотиться. Когда компания совсем уже было собралась выступить в путь, принесли письмо от Диккенса, и Теккерей вручил его хозяйке. Та, развернув письмо, выбежала в холл, и все услышали, как она кричит повару: «Мартин, не нужно жарить овсянок, мистер Диккенс не придет». На что Теккерей заметил: «Я никогда не чувствовал себя таким маленьким и ничтожным. Вот оно, мерило славы! Никаких овсянок для Пенденниса!<sup>[176]</sup>»

Первая трещина в отношениях Диккенса и Теккерея наметилась в июне 1847 года, когда в клубах, в Мэйфер и на Флит-стрит заговорили о первых выпусках «Ярмарки тщеславия». Повод для размолвки подал Форстер, заметивший в присутствии драматурга Тома Тейлора, что Теккерей «вероломен, как сам сатана». Тейлору эта фраза показалась довольно забавной, и он передал ее Теккерею, который ничего забавного в ней не нашел и, встретившись с Форстером, сделал вид, что не узнает его. Форстер потребовал у Теккерея объяснения этой «вопиющей бестактности» и, получив его, написал, что не помнит, говорил ли он что-либо подобное, и что у него самого тоже был повод обидеться на Теккерея, но он тогда не сделал этого. Тут на сцену выступил Диккенс, заявивший одному из друзей Теккерея, что во всех этих недоразумениях повинен он сам, так как «слишком уж легко шутит и правдой и неправдой; забывает, чем обязан той и другой, и не всегда верен первой». Подумав, Теккерей понял, что причиной форстеровского гнева были его карикатуры на Великого Могола. Чтобы не подводить раскаявшегося Тейлора, Теккерей попросил Диккенса как-нибудь уладить эту историю. Примирение было отмечено банкетом в Гринвиче.

Следующее примечательное событие случилось в январе 1848 года, когда Теккерей горячо похвалил «Домби и сына». Диккенс ответил: «Ваше великодушное письмо тронуло меня до самой глубины души... Ничто, кажется, так не дорого в этом мире, как подобный знак дружеского внимания, которым Вы наградили меня с такой щедростью и благородством». И все-таки его письмо по-настоящему не доставило удовольствия адресату, потому что за этими любезными фразами следовали

совсем другие. Диккенс писал, что надеется улучшить положение английских литераторов, давая Теккерее понять, что его пародии на известных писателей способствуют как раз обратному, хотя и сокрушался шутливо, что в эту комическую галерею не попал его портрет. Кроме того, автор «Ярмарки тщеславия» узнал, что Диккенс не собирается читать его роман, пока не кончит «Домби». Оба добросовестно старались полюбить друг друга, но... в 1849 году этому помешало новое, хотя и довольно ничтожное обстоятельство: Теккерей был приглашен на торжественный банкет Королевской академии<sup>[177]</sup>, а Диккенс — нет. На следующий год эта оплошность была исправлена, однако Диккенс сухо отклонил приглашение. В марте 1855 года Теккерей в одной из своих лекций горячо отозвался о Диккенсе, назвав его «человеком, которому святым провидением назначено наставлять своих братьев на путь истинный». Прочитав в «Таймсе» сообщение об этой лекции, Диккенс написал: «...глубоко взволнован Вашей любезностью. Не могу Вам передать, как тепло у меня стало на сердце. Поверьте, что я никогда не забуду Вашей похвалы. Я уверен, что и у Вас стало бы светлее на душе, если бы Вы знали, как растрогали и воодушевили меня». Однако всего шесть месяцев спустя Диккенс написал Уиллсу о «неумеренных восторгах» Теккерее по поводу благотворительной кампании в помощь Дому для престарелых пенсионеров, предлагая напечатать на эту тему статью в «Домашнем чтении», чтобы «от этих вредных умилений по адресу несчастных собратьев не осталось камня на камне». С ним согласились, и в декабре 1855 года статья была напечатана.

Несмотря на это, они продолжали сохранять видимость дружеских отношений до июня 1858 года, пока один из членов Гаррик-клуба, молодой журналист Эдмунд Йетс, не напечатал в журнале «Таун Ток» очерк, посвященный Теккерее. Вот некоторые выдержки: «Он держится холодно и неприступно, от речей его веет либо неприкрытым цинизмом, либо наигранным благодушием. Его *bonhomie*<sup>[21]</sup> неестественно, остроты его злы, но сам он легко обижается на других... Никто не умеет так быстро менять свои симпатии в зависимости от обстоятельств: в Англии он льстил аристократам, а за океаном его кумиром стал Джордж Вашингтон... Мы считаем, что его слава клонится к закату...» В наши дни жертва подобной «критики» быстро утешилась бы, получив по суду солидную денежную компенсацию от автора статьи, редактора и издателя журнала, рискнувшего ее напечатать. В те времена самое разумное было бы не обращать на нее внимания. Теккерей избрал наихудший путь: узнав имя автора (которому он, надо сказать, сделал в прошлом немало добра), он послал ему гневное

письмо, называя очерк не только «враждебным и оскорбительным, но и лживым и клеветническим». Он писал, что бестактно предавать гласности разговор, подслушанный в клубе. «Я вправе требовать, чтобы Вы не позволяли себе больше комментировать в печати мои частные разговоры или, грубо искажая правду, обсуждать мои личные дела. Потрудитесь запомнить, что не Ваше дело судить о моей честности и искренности». Во время недавних домашних пертурбаций Йетс оказал Диккенсу кое-какие услуги. Воспользовавшись этим, он немедленно пришел к Диккенсу за советом, взяв с собой черновую копию ответного письма, в котором были названы все, кого Теккерей когда-либо высмеял в своих романах и статьях. Диккенс сказал, что считает очерк Йетса непростительной ошибкой, но что, получив письмо от Теккерей, Йетс уже не может просить у него извинения. Что же касается ответного письма, то оно показалось Диккенсу и недостаточно серьезным и чересчур несдержанным. Он предложил ответить Теккерей его же словами: «Если бы Ваше письмо не было «лживым и клеветническим», я охотно обсудил бы его вместе с Вами и чистосердечно признался в искреннем желании исправить ошибку, быть может допущенную мной. Однако на такое письмо, как Ваше, мне ответить нечем, кроме того, что здесь уже сказано». Получив этот ответ, Теккерей послал его вместе со статьей и копией своего письма в правление Гаррик-клуба с просьбой решить, «основательны ли мои претензии к мистеру Йетсу, не идут ли подобные поступки вразрез с интересами клуба и может ли общество джентльменов мириться с ними».

Диккенс заявил, что правлению не может быть решительно никакого дела до того, что два члена клуба поссорились. Правление не согласилось и предложило Йетсу либо «принести мистеру Теккерей самые глубокие извинения, либо уйти из клуба». Тогда Диккенс вышел из состава правления, заявив, что не может «исполнять тяжелые и неприятные обязанности, которые Вы возлагаете на членов правления». «Да они совсем с ума сошли, — писал он. — Не будь у меня других забот, я бы, подобно Фоксу, «кипел от возмущения». Сидят там у себя на заднем дворе и воображают, что вершат судьбы мира! При одной мысли об этом на меня нападает такой гомерический хохот, что мои дочери слышат его из Гэдсхилла и тоже смеются до слез... Не удивительно ли, что столько людей согласно быть орудием в руках этой прелестной инквизиции в миниатюре. Какая шумиха! Представляю себе, как глупо теперь выглядит вся эта история, да и клуб вместе с нею...» 18 июня вышел девятый выпуск теккереевского романа «Виргинцы». В нем под именем юного Грабстрита выведен Йетс, «который, сотрудничая сразу в трех бульварных листках,



пишет о личных качествах джентльменов, встречающихся ему в «клубах», и о подслушанных там разговорах». Прочитав это, Йетс написал в правление Гаррик-клуба, что не желает ни извиняться перед Теккереем, ни уходить из клуба, и потребовал вынести этот вопрос на общее собрание. 10 июля на общем собрании было прочитано письмо Йетса о том, что он готов принести свои извинения членам клуба за причиненные им неприятности, но не желает просить прощения у Теккерея. Семьюдесятью голосами против сорока шести правление подтвердило полномочия и одобрило решение правления. Йетса предупредили, что он будет исключен из клуба, если не извинится перед Теккереем. Йетс оставался по-прежнему глух ко всем предупреждениям, и правление вычеркнуло его из списка членов клуба, один из которых заметил по этому поводу, что «умный «Й» вел себя очень неумно».

Тогда Йетс обратился к юристу, узнав, что может с полным основанием возбудить судебное дело против секретаря Гаррик-клуба. Но прежде чем он обратился в суд, Диккенс решил поговорить с Теккереем. Только в августе, встретившись на пороге Реформ-клуба, они беседовали «как ни в чем не бывало», и теперь, в ноябре, Диккенс предложил «от имени мистера Йетса обсудить обстоятельства этой прискорбной истории» с доверенным лицом Теккерея и постараться «уладить ее тихо, спокойно и ко всеобщему удовольствию». Он признался, что это он посоветовал Йетсу написать Теккереему ответ на его письмо и выступил в защиту незадачливого журналиста на заседании правления. Если же его предложение по той или иной причине не подходит Теккереему, писал он, то «мы ничего не теряем: сожгите мое письмо, а я ваш ответ на него, и пусть все остается по-прежнему». Увы! В этом письме оказалось больше добрых чувств, чем здравого смысла. Теккерей, во всяком случае, принял его за доказательство скрытой вражды. «Мне было очень горько узнать, что в конфликте со мною Йетс, как явствует из Вашего письма, действовал по Вашему наущению, — писал Теккерей. — Именно его письмо заставило меня искать в Гаррик-клубе защиты от оскорблений, которые я не мог пресечь иным способом». Он отсылал Диккенса в правление Гаррик-клуба: «Это руководству клуба надлежит судить о том, возможно ли примирение между мною и Вашим другом». Сообщив правлению о просьбе Диккенса, он сказал, что первым будет рад, если удастся уладить это дело полюбовно. Но члены правления разбушевались, и унять их было невозможно. Потянулись судебные кляузы, завершившиеся победой правления и появлением в печати памфлета Йетса.

Итак, подведем итоги. В этой истории все вели себя достаточно глупо: Йетс совершил глупость, написав оскорбительную заметку о человеке, с

которым часто и по-приятельски встречался в клубе; Диккенс — посоветовав ему не отвечать Теккерее в примирительном духе; Теккерей совершил одну глупость, обратив внимание на эту заметку, и другую, передав ее на рассмотрение клуба, руководство которого, в свою очередь, не проявило особенной мудрости, раздув это дело до немислимых размеров. Всему этому можно, конечно, найти разумное объяснение. Йетс был молод и горяч, Теккерей — болен, Диккенс переживал тяжелый душевный кризис, а правление тоже страдало неизлечимым недугом: тем, что было правлением. Следует добавить, что, выйдя из состава правления, Диккенс все-таки не ушел из самого клуба. Впрочем, он уже дважды делал это: в первый раз, когда в Гаррик-клуб был принят человек, враждовавший с Макриди; во второй — когда приняли Альберта Смита, написавшего на Диккенса злую пародию, которой тот не мог ему простить. В третий и последний раз он покинул Гаррик-клуб в декабре 1865 года, когда был забаллотирован Уиллс, рекомендованный им в члены клуба.

История с Йетсом положила конец так называемой «дружбе» Диккенса с Теккереем, и надо полагать, что оба облегченно вздохнули. В начале 1861 года, встретившись в театре «Друри-лейн»<sup>[178]</sup>, они безмолвно обменялись рукопожатием. «Если он смог прочесть на моем лице все, что я чувствовал, — а такому умному человеку это нетрудно, — он знает, что я его понял до конца», — писал Теккерей в одном письме. Но Теккерей был человеком нежной души, и поэтому в конце 1863 года, перед самой его смертью, примирение все-таки состоялось. Произошло это в холле клуба «Атэнеум». Теккерей стоял, разговаривая с сэром Теодором Мартином, когда вдруг появился Диккенс и, делая вид, что никого не узнает, направился мимо собеседников к лестнице, ведущей в библиотеку. Не успел он подняться на первую ступеньку, как Теккерей повернулся и подошел к нему со словами: «Пора положить конец этой глупой размолвке и относиться друг к другу, как прежде. Вашу руку!» Диккенс на мгновение оторопел, но все же протянул руку, и несколько минут они мирно беседовали. Теккерей сказал, что три дня пролежал в постели и теперь страдает от сильного озноба, слабеет, не может работать, но собирается лечиться новым методом, — и он стал шуточно рассказывать, в чем заключается этот метод. Возвратившись к Мартину, Теккерей объяснил: «Не выдержал — люблю этого человека!» Через неделю он умер, и владельцы журнала «Корнхилл мэгэзин», который он редактировал, обратились к Диккенсу с просьбой написать статью, посвященную его памяти. «Я сделал то, от чего рад был бы отказаться, если б мог», — заметил Диккенс Уилки Коллинзу. Взявшись за статью с неохотой, он все-таки написал ее превосходно — правда, не удержался и

упомянул об одной слабости Теккерея, которой в свое время наделил Генри Гоуэна из «Крошки Доррит»: «Я думал, что он напрасно старается казаться равнодушным и притворяется, что не высоко ценит свое творчество. Это не шло на пользу его искусству».

Пока назревали и разворачивались все эти события, связанные с Теккереем, у Диккенса были и свои неприятности, причем гораздо более серьезные: конфликт с издателями. Его близкий друг Марк Лемон, защищавший интересы Кэт во время переговоров о разводе, отказался напечатать в «Панче» диккенсовское «Обращение». Владельцы «Панча» Бредбери и Эванс поддержали его. Диккенс с запальчивостью, свойственной человеку с нечистой совестью, поссорился с Лемоном, Бредбери, Эвансом — словом, со всеми, кто подходил к его семейным неурядицам беспристрастно (или пристрастно, как считал Диккенс). Он не только велел своим детям прекратить всякие отношения с этими людьми, но ждал, что и его «верные» друзья поступят так же. Эванс не скрывал того, что сочувствует Кэт, но вскоре Диккенс дал ему понять, что это сочувствие направлено не по адресу. «У меня были веские основания внушить моим детям, что их самое большое богатство — имя их отца, — писал он Эвансу в июле 1858 года, — что их отец счел бы себя ничтожным мотом, если бы лично или при их посредничестве стал поддерживать какие-либо отношения с теми, кто предал его в час его единственной великой нужды и тяжелой обиды. Вы очень хорошо знаете, почему (с чувством жестокой душевной боли и горького разочарования) я был вынужден и Вас отнести к этой категории. Мне больше нечего сказать». Негодование его было так велико, что три с лишним года спустя, когда его старший сын Чарли женился на дочери Эванса, Диккенс написал своему старому другу и крестному отцу своего сына Томасу Бирду, что вполне понимает его желание присутствовать на венчании, но искренне надеется, что даже и в этом случае Бирд «не переступит порог дома мистера Эванса».

Разумеется, он не мог продолжать работать с людьми, которые считали, что он жестоко обошелся с женою. Бредбери и Эванс не пожелали отказаться от своей доли участия в «Домашнем чтении». Тогда Диккенс, недолго думая, вообще положил конец этому журналу и основал новый. Он объявил, что отныне не имеет отношения к «Домашнему чтению» и будет издавать свой еженедельник. Этого оказалось достаточно, чтобы «Домашнее чтение» потеряло всякую ценность в глазах читателя. Дело кончилось канцлерским судом и продажей газетного имущества за 3 350 фунтов. Купил его Диккенс, и на этом его сотрудничеству с Бредбери и Эвансом пришел конец. Придумывая название новому журналу, Диккенс

ошеломил Форстера, предложив для этой цели шекспировские слова «Семейное согласие»<sup>[179]</sup>. Когда Форстер обратил его внимание на то, что это название не очень вяжется с последними событиями в его собственной семье, он получил резкий ответ: «Ясно одно; что бы я теперь ни придумал, все будет точно так же извращено и передернуто самым нелепым образом». Тем не менее, поняв, что в словах Форстера, несомненно, есть доля правды, и перебрав десяток других названий (в том числе и «Журнал Чарльза Диккенса»), он остановился на одном, тоже навеянном Шекспиром, — «Круглый год». («Повесть о нашей жизни из года в год»<sup>[180]</sup>.) Первый номер вышел 30 апреля 1859 года. Издательство помещалось на Веллингтон-стрит (Стрэнд) напротив театра «Лицеум»<sup>[181]</sup> — всего за несколько домов от бывшего издательства «Домашнего чтения». Совладельцем журнала и помощником редактора был Уиллс. Уилки Коллинз был штатным сотрудником журнала до 1863 года, а затем ушел по болезни. В «Круглом годе» печатались три самых известных его романа: «Женщина в белом» (1860 г.), «Без имени» (1862 г.) и «Лунный камень» (1868 г.).

Диккенс по обыкновению с головой ушел в работу и по истечении трех месяцев смог отметить, что журнал пользуется феноменальным успехом. «С «Круглым годом» дела обстоят так хорошо, что уже вчера окупилась — с процентами — все расходы, связанные с его изданием (бумага, шрифты и тому подобное; за все уплачено вплоть до последнего номера), и у меня на счету еще осталось добрых пятьсот фунтов чистой прибыли». Этот успех в значительной степени объясняется тем, что с первого же номера в журнале стал печататься новый роман Диккенса, выходивший еженедельными выпусками до 26 ноября того же года. С началом «Повести о двух городах» Диккенсу пришлось немало помучиться: в феврале 1859 года он признался, что не знает, как за него взяться и с какой стороны подойти. Впрочем, это и не удивительно. Если человек, только что пережив семейную катастрофу, разъезжает по всей стране, выступая с чтением своих произведений перед огромными аудиториями, если он должен организовать и наладить новый еженедельник — а на такое дело неизбежно уходит масса времени и сил, — его фантазия, естественно, работает хуже, чем обычно. А тут еще Карлейль в ответ на просьбу подобрать две-три работы по французской революции прислал две подводы, доверху груженные книгами: поди-ка повозись с ними! Значительная трудность заключалась еще и в том, что выпуски были короткими и материал приходилось сокращать. И, как на грех, вскоре после появления первого выпуска автор заболел, отчего работа, естественно, тоже

не пошла быстрее. Но с течением времени книга мало-помалу захватила его, и он уже писал, что «глубоко растроган и взволнован» сюжетом, что это его лучшая вещь, что он мечтает сыграть роль Сиднея Картона в театре. Карлейль, ворча, что терпеть не может читать книги «по чайной ложечке», объявил, что это удивительная повесть. Впрочем, под словом «удивительная» можно понимать что угодно — вполне вероятно, что Карлейль и тут остался верен своей привычке: сначала похвалить книгу, а в конце сразить злополучного автора несколькими уничтожающими словами. Вот, например, как он отозвался о книге доктора Роберта Уотсона «История испанских королей Филиппа II и Филиппа III»: «Интересное, ясное, четко построенное и довольно бездарное произведение». Легко представить себе, как это было обидно! Модный в те времена адвокат Эдвин Джеймс, самодовольный фанфарон, без сомнения, высказался бы о «Повести о двух городах» гораздо определеннее, чем Карлейль, узнав себя в одном из ее героев — Страйвере. Задумав для контраста изобразить в «Повести» человека, который был бы полной противоположностью Сиднею Картону, Диккенс решил получить материал, так сказать, из первых рук и вместе с Йетсом на несколько минут зашел в контору Джеймса. «Похож!» — сказал Йетс, когда Страйвер появился на страницах «Повести». «Да, для одного сеанса, кажется, неплохо», — согласился Диккенс.

Если говорить о сюжете, то Диккенс был прав: с этой точки зрения «Повесть о двух городах» действительно лучшая из его книг. Она так же (если не более) популярна, как «Дэвид Копперфилд», но это, быть может, объясняется тем, что она лет тридцать с грандиозным успехом шла в театре под названием «Другого пути нет». (В этом спектакле впервые прославился Джон Мартин Харвей.) Мы не знаем более удачной инсценировки первоклассного английского романа, и именно этот факт является решающим для определения места «Повести о двух городах» в творчестве Диккенса. Некоторые критики утверждают, что эта вещь наименее типична для писателя, однако в известном смысле она как раз наиболее типична для него: человек, созданный для сцены, создал чисто сценическое произведение. Оно и задумано было в то время, когда он играл роль в мелодраме, специально для него написанной. Каждый великий актер мечтает об идеальной роли в идеальном спектакле. Представим себе, что великий актер обладает еще и другим талантом: сделать свою мечту явью. Такой осуществленной мечтой и была «Повесть о двух городах». Среди бурлящих страстей, насилия и злодеяний, чередующихся с безмятежно-идиллическими картинами семейного счастья, герой «Повести», циник и развратник, вдруг под влиянием любви совершает благородные поступки:

спасает мужа любимой женщины, жертвует собственной жизнью ради ее счастья, и супруги свято чтят память о нем; он будет героем их детей, его пример будет вдохновлять их внуков. Может ли актер желать большего? «То, что делают и переживают герои этой книги, стало для меня таким реальным, как будто я все это проделал и пережил сам», — писал Диккенс, единственный в мире великий актер, который был в то же время и великим создателем и смог бы изобразить Сиднея Картона на сцене ничуть не хуже, чем на бумаге. Ни одна радостная нота не нарушает драматического звучания повести, в которой (как и в «Гамлете») единственная комическая фигура — это могильщик<sup>[182]</sup>, а вернее — нарушитель могил, Джерри Кранчер, с привычкой «как-то особенно покашливать себе в руку, что, как известно, редко является признаком откровенности и прямодушия». В те дни мало кто, кроме Диккенса (которому были присущи многие элементы стадного чувства), мог оценить по достоинству одну особенность любого стихийного движения: «Известно, что иногда, как бы в экстазе или опьянении, невинные люди с радостью шли на гильотину и умирали под ее ножом. И это было вовсе не пустое бахвальство, но частный случай массовой истерии, охватившей народ. Когда вокруг свирепствует чума, кому-то из нас она вдруг на мгновение покажется заманчивой — таким человеком овладевает тайное и страшное желание умереть от нее. Да, немало странных вещей таится в каждой душе до поры до времени, до первого удобного случая».

Эта книга, яркая и волнующая, непосредственно связана со всеми переживаниями, которые довелось тогда испытать Диккенсу. Она появилась в то время, когда ее автор влюбился, когда, как он полагал, его позорно предали и незаслуженно оскорбили люди, обязанные ему всем на свете; когда одни из его друзей открыто осудили его, а другие стали относиться к нему с молчаливым неодобрением; когда он почувствовал себя одиноким и непонятым. Защищаясь от этого, как ему казалось, враждебного мира, а заодно и от собственной совести, он в жизни разыгрывал комедию с самим собой, а в литературе создал произведение, полное драматизма. Он писал «Повесть о двух городах», чувствуя себя несправедливо обиженным мучеником, героем, и успех, которым пользуется эта книга, — убедительное свидетельство того, сколько еще в этом мире несправедливо обиженных, но гордых духом мучеников.

Это утешительное занятие очень неплохо отразилось и на его финансовых делах: «Круглый год» пользовался значительно большим спросом, чем «Домашнее чтение», и, не считая одного короткого периода (о котором будет сказано ниже), этот спрос неизменно возрастал. Прошло

десять лет со дня выхода в свет первого номера журнала, и тираж его достиг почти трехсот тысяч экземпляров. Кроме романов Уилки Коллинза, читатели познакомились со «Звонкой монетой» Чарльза Рида, «Странной историей» Бульвер-Литтона, а сам Диккенс, кроме «Повести о двух городах», опубликовал в журнале несколько рождественских рассказов и серию очерков, впоследствии собранных в однотомнике под названием «Записки путешественника по некоммерческим делам» (и оказавшихся, по-видимому, несколько более доходным делом, чем деловые поездки настоящего коммивояжера). Здесь трактовались самые различные предметы. Некоторые из записок можно объединить под заголовком «Лечение от бессонницы»: они посвящены прогулкам по городу и его окрестностям, предпринятым в те ночи, когда Диккенс не мог заснуть. «Я — вояжер и городской и сельский; я вечно в пути, — представляется он читателю. — Я, выражаясь фигурально, агент знаменитой фирмы «Товарищество Человеческих Интересов», и у меня немало постоянных клиентов — особенно велик спрос на товары с клеймом «Фантазия»<sup>[22]</sup>. Театры, работные дома, кораблекрушения, бродяжничество, церкви, судостроительные верфи, таверны и даже... вареная говядина! Он писал обо всем, что показалось ему интересным во время какого-нибудь ночного вояжа, стараясь заинтересовать и читателей. Это ему, безусловно, удалось: «Записки» стали одним из самых популярных разделов журнала.

Почти у каждого периодического издания бывают дни расцвета и дни неудач, но «Круглому году», казалось, не знакомы превратности судьбы. При жизни Диккенса в делах журнала только один раз наметился небольшой спад. Это произошло в августе 1860 года, когда в «Круглом годе» стала печататься повесть Чарльза Лавера «День в седле». Лавер много лет был в дружеских отношениях с Диккенсом, хотя, как и в случае с Гаррисоном Эйнсвортом, один из них, Диккенс, относился к своему другу с чистосердечным восхищением, в то время как этот друг за его спиной говорил о нем гадости; ругал «небрежный стиль и рыхлую композицию «Домби и сына» и объяснял популярность Диккенса его «вульгарным многословием и низкопробными картинами несуществующего мира». Лавер надеялся, что его собственные произведения помогут привить изящный вкус горемыкам, которые находят книги его знаменитого современника прелестными. «Я много выстрадал и страдаю поныне из-за своего стремления дать читателю более здоровую пищу — создать мужественную, истинно английскую литературу, — говорил Лавер. — Может статься, что, прежде чем ко мне придет успех — если он вообще когда-нибудь придет, — рука моя окостенеет, сердце замрет навсегда, и



окажется, что я только расчистил тропинку для тех, кто проложит настоящую дорогу». Здесь уместно рассказать об одном любопытном обстоятельстве. Вскоре после того как в «Круглом годе» появился «День в седле», отдельные номера журнала попали в руки дублинского мальчугана по имени Бернард Шоу. Мальчик прочел разрозненные части повести, и она произвела на него глубокое впечатление. Лет тридцать спустя, когда он уже писал пьесы, посвященные «трагикомическому конфликту между воображаемым и реальным» и критики обвинили его в том, что он находится под влиянием Ибсена<sup>[183]</sup>, он возразил, что его убеждения сложились под непосредственным влиянием повести Лёвера. Герой повести Поттс, как утверждает Шоу, — «наглядное свидетельство действительно научного подхода к естественной истории. Вместо того чтобы забросать камнями существо иного, низшего порядка, как делают обычные писатели-юмористы, автор исповедуется в собственных грехах и таким образом заставляет заговорить совесть не одного человека, а решительно всех, что очень болезненно задевает их чувство собственного достоинства».

У читателей «Круглого года» чувство собственного достоинства было задето так глубоко, что редактор журнала оказался в весьма затруднительном положении. Повесть Лёвера появилась вслед за романом Коллинза «Женщина в белом», вызвавшим настоящую сенсацию, и с ее появлением спрос на журнал стал катастрофически падать. С подобной проблемой Диккенс серьезно столкнулся впервые в жизни. Ситуация осложнялась еще и тем, что он уже не раз печатал статьи Лёвера, был весьма высокого мнения о его беллетристических произведениях и горячо ратовал за то, чтобы «День в седле» появился в журнале. «Мне никогда еще не приходилось иметь дело с таким искренним, сердечным, добрым и внимательным человеком, какого я нашел в Вас, — писал ему Диккенс. — Никогда не бойтесь отдать на суд читателя хорошую вещь, пусть даже очень длинную. Она превосходна, и это самое главное». Он всячески старался приободрить Лёвера и даже похвалил первые главы повести, «полные жизни и юмора, яркие и оригинальные... Вы, как мне кажется, открыли золотое дно! Вам предстоит славно поработать». Однако в октябре 1860 года он был вынужден сообщить Лёверу, что из-за «Дня в седле» спрос на журнал «быстро и безудержно падает. В чем тут дело, я не знаю. Быть может, в повести затронут слишком много общих и отвлеченных вопросов и это снижает ее интерес в глазах нашей аудитории; быть может, ее следовало бы издать в иной форме. Так или иначе, но вещь не идет». Он писал, что подписчики недовольны и, для того чтобы спасти положение, ему остается только одно: немедленно начать печатать что-нибудь свое. Он



умолял Лавера не принимать все это близко к сердцу: ведь такая история может случиться со всяким. «Но я так дорожу Вашей дружбой, так глубоко ценю Ваше великодушие и деликатность, что не хочу... боюсь... нет, положительно не могу писать это письмо!» На этот раз задето было чувство собственного достоинства самого Лавера, и Диккенсу пришлось писать ему пространное объяснение, вновь давая высокую оценку повести и говоря, что эта неудача нисколько не снижает достоинств произведения: «Прошу, умоляю Вас не думать о том, что наше сотрудничество оказалось для меня «несчастливым». Это было бы слишком несправедливо по отношению к нам обоим». Что касается повести, говорил он, то автор может поступать по своему усмотрению: либо закончить ее, либо продолжать печатать одновременно с новым романом Диккенса. «И, пожалуйста, возьмите себя в руки, не падайте духом», — закончил свое письмо «верный и любящий друг» Лавера. Быть может, нашлись бы писатели, которые смогли бы после всего этого «взять себя в руки» и продолжать повесть как ни в чем не бывало. Лавер не относился к их числу; он натянул поводья, спешился, и на этом «День в седле» был окончен.

Диккенс уговорил своих издателей выпустить повесть Лавера отдельной книгой и несколько лет после этого случая всячески старался хоть чем-нибудь помочь Лаверу: убедил Чэпмена и Холла взять на себя издание его романов; позаботился о том, чтобы создать им хорошую рекламу; защищал его интересы, ободрял его, не щадил своих сил, чтобы помочь ему, проявляя куда больше рвения и энергии, чем любой литературный агент, работающий на паях. «Круглый год» продолжал печатать его статьи, и Диккенс платил за них, как только получал рукопись. Сумел Лавер оценить эту помощь или нет, неизвестно. Во всяком случае, в 1862 году он посвятил Диккенсу один из своих романов с такими словами: «Среди многих тысяч людей, читающих и перечитывающих Ваши книги, никто не восхищается Вашим талантом больше, чем я». Правда, еще через три года он не менее горячо писал, что читать «Нашего общего друга» «просто противно; каждый из его героев по-своему омерзителен и гнусен». Вероятно, Чарльз Лавер не слишком хорошо разбирался в собственных чувствах.

## Исторические места

ШЕКСПИР был вначале актером и лишь со временем стал писателем. Диккенс начал свою жизнь писателем и постепенно превратился в актера. Именно поэтому герои Шекспира глубже диккенсовских, а герои Диккенса написаны с большим блеском. Герои Шекспира живут своей собственной жизнью независимо от окружения, от внешних условий пьесы. Герои Диккенса могут жить только в той обстановке, в которую их поместил автор. В английской литературе нет более блистательного писателя, чем Диккенс. Он как огненное колесо в фейерверке: изредка шипит, «заедает», но чаще всего горит, и сверкает, и сыплет снопами искр, медленно гаснущих во тьме. Должно быть, смутно чувствуя это, он во время своих публичных чтений сильно сокращал и переделывал характеристики своих героев, даря им новые краски силой своего сценического искусства.

Никогда не было и быть не может зрелища, подобного этим диккенсовским чтениям. Разумеется, было бы еще интереснее увидеть, как Шекспир исполняет главную роль в одной из своих пьес или как Бетховен дирижирует собственной симфонией. Но выступления Диккенса были единственными в своем роде. Сравнение стало бы возможным лишь в том случае, если бы Шекспир мог сыграть все роли в своей пьесе, а Бетховен — одновременно играть на всех инструментах в оркестре. «Я и не представлял себе раньше, — писал Карлейль, — какие возможности заложены в мимике и голосе человека. Ни на одной театральной сцене не было такого множества действующих лиц, как на одном этом лице. А голос! Никакого оркестра не нужно!» Впрочем, Карлейль недаром был пророком; он всегда перемежал слова похвалы с высокопарным пророческим вздором, недвусмысленно намекая на то, что сам стоит гораздо выше любой «клоунады». «Как бы там ни было, а у Диккенса эта штука получается замечательно; он играет лучше любого Макриди. Настоящий живой театр: комический, трагический и героический, — и все исполнители в одной персоне, и весь вечер гремит смех — сквозь слезы, как думает кое-кто из нас».

Диккенс разъезжал со своими чтениями по всей Англии, Шотландии и Ирландии, начиная с 1858 и кончая 1870 годом (точнее, в 1858–1859 годах, с 1861 по 1863, в 1866–1867 и с 1868 по 1870 год). Его импресарио Артур Смит не дожил до конца второго турне, а его преемник не понравился Диккенсу. Во время третьего и четвертого цикла чтений импресарио

Диккенса был Джордж Долби, представитель фирмы «Чеппел и компания», ведавший организационной и финансовой стороной дела. Каждое чтение было не менее сенсационным событием, чем выступление какого-нибудь знаменитого государственного мужа в былые времена, когда государственные мужи и искусство красноречия еще пользовались популярностью. Зарабатывал на них Диккенс не меньше, чем театральная «звезда» в те дни, когда театральный небосвод еще не был так похож на Млечный Путь. Тысячи и тысячи людей съезжались на его чтения в большие города и не могли попасть на концерты из-за нехватки мест. Его встречали громом оваций, на которые он не обращал ни малейшего внимания, и часто, когда чтение было окончено и Диккенс успевал уже переодеться и уехать домой, публика, стоя на ногах, все еще продолжала аплодировать. Толпы народа ждали его на улице, чтобы коснуться его руки или хотя бы тронуть за рукав пальто; женщины устраивали чуть ли не драку из-за каждого лепестка герани, выскочившей из его петлицы после какого-нибудь особенно энергичного жеста. Иногда, но очень редко, в ответ на бурные рукоплескания он снова выходил на подмостки и обращался к публике с небольшой речью. Неверно было бы сказать, что он получал от этих чтений такое же удовольствие, как его слушатели. Он упивался ими, он уносился в свой особый мир, он был в своей стихии. «Изумительное чувство — держать аудиторию в своих руках», — заявил он однажды. Он никогда не пресытился этим чувством; наоборот, чем больше он им наслаждался, тем сильнее жаждал его. По существу, Диккенс добился того, о чем мечтает всякий, кто рожден актером: он сыграл каждую роль в серии драматических произведений, созданных им самим. Он мог на свой страх и риск увеличить или сократить свою роль, вставить то, что он считал нужным, и убрать ненужное. При этом он сам был собственным режиссером. Он следил за тем, какое впечатление производит на публику новый прием, всякий раз меняя что-то в характеристике своих персонажей: то сильнее оттеняя какую-нибудь трогательную черту, то подчеркивая героическое звучание той или иной сцены. Он мог внушить зачарованной аудитории любое чувство, настроить ее на какой угодно лад. Со временем он пополнил свой репертуар и выучил все отрывки наизусть, так что мог выступать без книги. Он тщательно и непрерывно готовился к выступлениям. Однажды после пробного чтения, устроенного для нескольких друзей (в числе которых были Браунинг, Фехтер, Коллинз и Форстер), он сказал: «Ну вот! Этот кусок я репетировал не менее двухсот раз!» Он неустанно совершенствовался, работал над дикцией, повторяя на все лады то одну, то другую фразу, снова и снова повторяя в своем кабинете

каждую сцену, не менее тщательно, чем перед большой аудиторией. Он не успокаивался, пока не отделял каждый эпизод до полного блеска, исчерпав все средства для передачи комизма, пафоса или странностей своих героев. «Выступая перед аудиторией, я никогда не упускаю случая придумать что-нибудь новое, интересное», — сказал он в 1868 году, то есть уже через десять лет после того, как стал профессиональным чтецом.

Говорят, что, если актер не нервничает, он не может подняться до самых высот своего искусства. Диккенс был исключением из этого правила. В роли исполнителя-актера, оратора, чтеца он отличался необыкновенным самообладанием (в роли творца, как мы знаем, дело обстояло несколько иначе) и в совершенстве владел своими нервами. Это самообладание и власть над аудиторией не раз подтверждались на практике. Так, во время представления комедии Литтона в Лондоне загорелся занавес, и зрители ринулись к единственному выходу. Диккенс, который был в этот момент занят на сцене, подошел к рампе и сказал повелительным тоном: «Все по местам!» Пятьсот светских дам и джентльменов, испугавшись его голоса сильнее, чем огня, немедленно подчинились, а он, отдав необходимые распоряжения, продолжал играть. В другой раз он сумел предотвратить панику, выступая в Ньюкасле-на-Тайне. Однажды, когда он читал притихшей аудитории сцену смерти Смайка из «Николаса Никльби», с треском отлетел кусок решетки от газовой горелки. В зале были три обширных яруса, битком набитых народом, и всего одна лестница, очень крутая. Паника неминуемо привела бы к катастрофе. Какая-то женщина, сидевшая в первом ряду партера, завизжав, бросилась к Диккенсу. Заметив, что она стоит на виду у всего зала, он, смеясь, заговорил с ней таким тоном, как будто подобные происшествия случаются каждый день: «Ничего не случилось, уверяю вас. Не волнуйтесь, пожалуйста, и сядьте на место». Женщина села, а зал разразился аплодисментами. Но опасность еще не миновала: в любой момент мог вспыхнуть большой пожар, и рабочие, чинившие решетку, так нервничали, что помост ходил ходуном, а Диккенс стоял, положив руки в карманы, и с самым беспечным видом наблюдал, как подвигается ремонт. Один рабочий сцены, рассказывая об этом эпизоде своим друзьям, добавил: «А хозяин стоит как ни в чем не бывало, как будто вышел из поезда на перрон подышать воздухом... Чем больше узнаешь хозяина, тем больше ему удивляешься». В Бирмингеме он проявил полнейшее хладнокровие, когда пламя, вырвавшись из газовой горелки, «охватило медную проволоку. Еще немного — и тяжелый отражатель упал бы в партер». Никто в зале ничего не заметил, и Диккенс рассчитал, что как раз успеет дочитать до конца и

выключить газ. Так он и сделал. Риск был огромен, но он не выдал себя ни единым движением. Никто, глядя на него, не догадался бы, как велика была опасность.

С кем бы ему ни пришлось столкнуться — будь то местные власти или разгневанная толпа, он никогда не терял присутствия духа и умел поставить на своем. Приехав в Бервик-на-Твиде, он обнаружил, что ему отвели огромное здание Хлебной биржи, построенное из стекла и стали. Перед каждым выступлением в новом месте Диккенс непременно проверял акустику зала и, если нужно, корректировал ее при помощи ковров и занавесей. Быстро убедившись в том, что Хлебная биржа — это огромный резонатор, в котором гуляет гулкое эхо, Диккенс наотрез отказался читать в этом здании и заявил, что вообще не будет выступать, если ему не дадут уютный зал при отеле, рассчитанный всего на пятьсот человек. «Местные агенты пришли в неопиcуемый ужас, но все-таки пали ниц, сердито рыча», а сотни людей, купивших билеты, были жестоко разочарованы. Вскоре после этого ему пришлось подавить небольшое «восстание» в Эдинбурге. По вине все тех же местных агентов произошла ошибка, и большая часть публики не смогла проникнуть в зал. В пять минут зал был набит до отказа, а у дверей толпились разгневанные обладатели билетов, стараясь протиснуться внутрь. Но вот на сцене появился Диккенс. Раздались аплодисменты — и свист. Впрочем, в зале как-то сразу почувствовали, что с этим человеком шутки плохи, и шум затих. Диккенс сказал, что по вине их же земляков было продано больше билетов, чем нужно, но он постарается все уладить. Нужно либо перейти в мюзик-холл, где всем хватит места, либо изменить порядок выступлений и вернуться в Эдинбург в конце турне, чтобы «выступить перед всем городом». Раздались громкие аплодисменты и возгласы: «Начинайте, мистер Диккенс! Теперь будет тихо!» Но слышались и другие: «А мы *все равно* не замолчим! Мы не дадим читать! Нас обманули!» — и прочее в том же духе. «Времени у нас достаточно, — сказал Диккенс. — Можете не беспокоиться: пока мы не договоримся, никакого чтения не будет». И, закрыв свою книгу, он с улыбкой наблюдал, как выставляют из зала «обиженных». Но вот снова воцарилась тишина. Открыв книгу, он совсем уже собрался читать, как вдруг кто-то спросил его, нельзя ли дамам, которых чуть-чуть было не задавили в этой толпе, устроиться на сцене. «Разумеется, можно». В одну секунду сцену заполнили женщины. Тогда из зала стали кричать, что им ничего не видно, и Диккенс предложил дамам сесть — или лечь — на пол, что они и сделали. «Уж и не знаю, на что это было больше похоже: на поле битвы, на какие-то необыкновенные живые картины или на гигантский

пикник, — рассказывал Диккенс. — Одна прелестная девушка в вечернем туалете весь вечер пролежала на боку, держась за ножку моего стола». Вечер закончился «оглушительным взрывом аплодисментов».

Обслуживающий персонал и все оборудование Диккенс привозил с собою, но всегда сам наблюдал за установкой щита и газовых горелок, лично проверяя исправность медных газовых труб. Сцена или помост, на которых он читал, были с двух сторон завешены занавесом. За спиной чтеца стоял щит, затянутый светло-коричневой тканью. Перед ним находился стол, накрытый бархатной скатертью, немного более светлого оттенка, чем щит. На столе стоял пюпитр. По обеим сторонам стола были сделаны два выступа: на одном стоял графин с водой и стакан, на другом лежали перчатки и носовой платок чтеца. Впереди, над сценой, примерно на высоте двадцати футов был установлен ряд газовых горелок и отражатель из жести; боковые фонари рамп были также снабжены рефлекторами. Лицо и фигура чтеца, освещенные со всех сторон сильным ровным светом, были великолепно видны аудитории.

В тот момент когда он выходил на сцену — прямой и сдержанный, с цветком в петлице и перчатками в руке, выставив по обыкновению правое плечо вперед, раздавался такой восторженный рев, что нельзя было понять, как он может оставаться спокойным. Его встречали с такой огромной и искренней радостью, что даже он иногда чувствовал себя растроганным, но никогда не показывал этого, делая вид, что все это его не касается. И вот начиналось это бесподобное представление. С первых же слов в зале воцарялась глубокая тишина, лишь изредка прерываемая взрывами смеха и аплодисментов. Слушали Диккенса самозабвенно, стараясь не проронить ни слова. «Начнем с того, что Марли был мертв. В этом не было никаких сомнений». Фразы звучали, как набат. И что бы он ни читал, он всегда овладевал залом с какой-то удивительной, поистине гипнотической силой. Даже ему самому порою стоило большого труда не рассмеяться или не расплакаться вместе со всеми, но он умел владеть собою так же превосходно, как аудиторией, и редко выдавал свое волнение.

С самого начала, даже когда он еще не выучил весь свой репертуар наизусть, его выступления нельзя было по-настоящему назвать «чтением». Это было в высшей степени театрализованное представление, в котором выступал один актер, способный перевоплощаться во множество различных образов. Его голос, выражение лица, осанка, манеры менялись до неузнаваемости с молниеносной быстротой, и он на глазах у всех превращался в другого человека. Он говорил десятками разных голосов: мужских и женских; старых, пожилых и молодых; с акцентом лондонского

кокни<sup>[184]</sup>, с деревенским выговором; он умел говорить как военные матросы, врачи, пасторы, судьи и аристократы. У него были в запасе десятки «лиц» — от лукавой и наивной мордочки школьника до жадной, морщинистой физиономии Скруджа. Его собственный голос, от природы звучный, глубокий и гибкий, был способен передавать тончайшие оттенки чувств: тихую скорбь, заразительное веселье, воинственный задор. Но, помимо выразительного голоса и богатой мимики, он был, бесспорно, наделен какой-то гипнотической силой, позволявшей ему целиком подчинять зрителей своей воле, распоряжаться их чувствами, заставлять их смеяться, плакать, волноваться и аплодировать, когда ему вздумается. Пользуясь этой силой, он мог даже, как известно, лечить людей. Такой же властью над людьми обладали Наполеон и Гитлер, хотя сравнивать эту пару кровожадных выродков с великим артистом кощунственно.

Ни одно его движение на сцене не было случайным. Достаточно ему было побарабанить пальцами по столу, чтобы передать атмосферу непринужденного веселья, царившего на ганцах у Феззиуигов. Вот он наклонился, взял чью-то руку, заговорил тихо-тихо — и все видят, как Боб Крэтчит безутешно оплакивает смерть малютки Тима. Вот сцена суда из Пиквика. Кто это там то и дело храпит во время чтения? Вот вздрогнул, проснулся! Опять захрапел! А Диккенс все читал, и зрители все время чувствовали незримое присутствие судьи Стейрли, который то храпел, то вздрагивал и просыпался. Вот прозвучал странный голос — как будто кто-то водит губами по гребешку, обернутому папиросной бумагой. Да это же миссис Гэмп! О ней еще ничего не сказано, а она уже здесь! А вот слышится мальчишеский алыт — это Поль Домби. Как он измучен, бедняжка, и как ясно видно, что он совсем еще дитя! А это, кажется, Николас Никльби разговаривает с Фанни Сквирс? Так и есть: одна половина диккенсовской физиономии изображает Фанни, а другая — Николаса. А вот и сам Сквирс — что за чудовище! Вот Джонас Чезлвит — какое кровожадное лицо!

Но Сэм — знаменитый Сэм Уэллер у Диккенса не получился. Единственная неудача! Может быть, это объясняется тем, что автор «Пиквика» стал такой важной персоной? Сэм был по замыслу господином своего хозяина, теперь же Диккенс видел в нем только слугу. Быть может, именно это противоречие и исказило образ Сэма?

Сам он больше всего любил читать отрывки из «Дэвида Копперфилда», которого считал самой интересной из своих книг. Он говорил, что ему стыдно признаться, но он питает нежность к своему «Дэвиду». Много недель работал он над отрывками из «Копперфилда»,

посвященными главным образом Стирфорсу, подбирая их, связывая воедино, пока не смог со спокойной совестью сказать, что сделал все, что в его силах. Но и тогда он не рискнул начать чтения с Лондона, а прежде поехал с ними по провинции. С публикой творилось нечто неопишное, все рыдали, все смеялись как безумные. Когда Диккенс кончал свой рассказ о буре в Ярмуте, в зале тоже разражалась буря исступленного восторга. В Челтнеме на диккенсовский вечер пришел Макриди. (Оставив сцену, старый актер вторично женился и жил теперь здесь.) Диккенс остановился в его доме. Вернувшись после чтения, Диккенс застал своего друга в странном состоянии: Макриди не мог говорить, он вообще ничего не мог. Он только беспомощно вращал глазами и двигал челюстью. Чтобы разрядить обстановку, Диккенс сделал какое-то шутливое замечание о своем чтении, но Макриди только отмахнулся и с трудом, запинаясь, заговорил — а нужно сказать, что и в самые лучшие минуты это давалось ему нелегко из-за чрезмерной склонности к междометиям и вводным словам:

— Нет, мм... Диккенс! Сколько страсти, клянусь богом! И какая игривость, мм... и так слито воедино! Поразительно... мм... нет, право же, Диккенс! И глубоко трогательно. Нет, какое искусство! А ведь вы знаете, мм... что я... Нет, Диккенс! Ведь я, черт возьми, видел такие шедевры — не то, что теперь! Но это непостижимо. Как этого можно добиться?.. мм... как? Как может один человек, а?.. Нет, я... мм... сражен, что уж тут!

После чего Макриди извлек из кармана носовой платок и положил руку на грудь Диккенса. «Как будто он — Вернер<sup>[185]</sup>, а я — его партнер». Большой похвалы своему актерскому искусству Диккенс услышать не мог. Макриди играл с Эдмундом Кином, видел Сиддонс<sup>[186]</sup> и Кемблов и был отнюдь не самого низкого мнения о собственном таланте. Феноменальное зрелище, которое он только что наблюдал, заставило Макриди почувствовать, что его песенка спета. Но сидеть сложа руки, когда рядом грустит твой друг, — это было не в характере Диккенса. «Когда этот нахал заявил мне, что он, видите ли, стареет, я схватил зонтик и ринулся на него с отвагой настоящего Макдуффа<sup>[187]</sup>. Тут в нем проснулся старый боевой дух, и он стал обороняться так же яростно, как тридцать лет назад». В Лондоне «копперфилдовские» чтения имели не меньший успех. «Успех даже превзошел все мои ожидания», — сказал Диккенс, едва державшийся на ногах после тех страстных излияний, которыми публика наградила любимого писателя и великого актера.

Во время гастролей он очень редко останавливался у друзей или



знакомых и почти никогда не бывал на приемах или банкетах. Он считал своим долгом держаться в отличной форме, думать только о работе и избегать общества. Так, когда лорд наместник Ирландии пригласил его на званый обед, устроенный в его честь в Дублинском замке, он не принял приглашения. Когда епископ Глостерский предложил ему остановиться в его дворце, он отказался. Вся жизнь его проходила «на бегу»: с вокзала — в гостиницу, из гостиницы — на сцену, со сцены — на вокзал. Сколько часов — и днем и ночью — провел он в поезде, болтая скуки ради со своим импресарио, пока тот не начинал стонать от смеха! Он был воздержан в еде и только во время выступлений разрешал себе полакомиться в антракте дюжиной устриц, запив их бокалом шампанского. Уилки Коллинз однажды писал, что никак не может понять, почему Диккенс всегда дает ему адреса каких-то второразрядных гостиниц. Уж не погряз ли его друг в любовных интрижках? Диккенс ответил, что загадочные адреса были посланы до того, как его импресарио узнал названия лучших отелей... «Что же касается тех таинственных и романтических причин, на которые Вы намекаете, то они скорее подходят для человека Вашего бурного темперамента, или для тех, кто, может быть, был Вашим спутником во время странствий по континенту, или для калифа Гарун-аль-Рашида, с которым Вы, возможно, встречались на короткой ноге в наших палестинах. Но аскеты, которые до хрипоты читают, читают и читают каждый вечер, чисты, как Диана (если, кстати сказать, она была чиста, в чем я не вполне уверен)». Стараясь беречь силы, Диккенс поступал мудро: никогда нельзя было предсказать заранее, как сложатся обстоятельства. Так, однажды во время его выступления в Бирмингеме перед двухтысячной аудиторией произошла нелепая ошибка. После того как он прочел последний номер своей программы — «Никльби», публика почему-то осталась на местах. Оказывается, в афишах было объявлено, что чтение закончится сценой суда из «Пиквика». В десять часов вечера Диккенс снова появился на подмостках и объяснил, что по ошибке прочел «Никльби» вместо «Пиквика», добавив, что, если публика пожелает, он может прочесть и сцену суда. «Публика, естественно, пожелала, и мне досталось еще тридцать минут напряженной работы в этом огромном помещении».

С осени 1860 года его основной резиденцией стало имение Гэдсхилл-Плейс, где он проводил все свободное время. Выехав из Тэвисток-хауса, он перевез в Гэдсхилл почти все вещи, оставив в Лондоне только самое необходимое для того, чтобы обставить квартиру на Веллингтон-стрит, под которой находилась редакция «Круглого года». Здесь он останавливался, приезжая в Лондон, здесь же всегда была готова комната для одной из его

дочерей или для свояченицы. Нужно было спасти «Круглый год» от пагубных последствий едкой сатиры Лёвера, но Диккенс, по горло занятый новым романом, все-таки нашел время для того, чтобы расставить всю обстановку Тэвисток-хауса по комнатам Гэдсхилл-Плейс, не забыв ничего, обдумав место каждой безделушки. Педантичный даже в мелочах, он был, пожалуй, чересчур требователен как отец и хозяин дома. У каждого из его сыновей было свое место на вешалке для пальто и шляпы. У каждого были свои обязанности: так, после партии в крикет один уносил с поля и складывал на место ворота, другой — молотки, третий — биты, четвертый — мячи. Время от времени родитель устраивал «смотр» своим войскам: не посадил ли кто-нибудь из его мальчиков пятно на костюм! Каждое утро он обходил их комнаты, проверяя, все ли стулья стоят по местам, ровно ли подняты жалюзи, не валяется ли что-нибудь на полу. Он ежедневно проверял, в порядке ли содержатся конюшня, псарня и сад. Он был чрезвычайно опрятен и тщательно заботился о своей наружности. Если ветер приводил в беспорядок его волосы, он немедленно шел в комнаты и причесывался. Стены гэдсхиллского дома были увешаны зеркалами, чтобы все его обитатели, как и хозяин, могли видеть себя повсюду. Не менее бдительно следил он и за тем, чтобы его дочери были аккуратны, и они изредка находили на своих подушечках для булавок записки с его замечаниями. Пунктуальность — это, вообще говоря, добродетель, свидетельство того, что человек считается с другими. Но пунктуальность Диккенса граничила с пороком: в его глазах ничто не могло оправдать человека, опаздывающего к столу или на свидание. Он не любил, когда его дочери позволяли себе какую-нибудь вольность в разговоре, и всегда останавливал их, услышав в их устах слова: «ужасно мило» или «ужасно приятно».

Хозяйство в Гэдсхилле вела его старшая дочь Мэми, которую отец учил быть требовательной и бережливой, тщательно и систематически проверять все расходы и внушать прислуге, что излишняя расточительность недопустима. Мэми боготворила отца, никогда не встречалась с матерью после ее ухода и отказала своему жениху только потому, что он не понравился Диккенсу. Некоторые обязанности по дому она возложила на свою тетку Джорджину и свою младшую сестру. Кэти относилась к конфликту между своими родителями совершенно иначе; считала, что Джорджина «вовсе не так уж кристально чиста», и даже бывала у матери — Диккенс воспринимал это как осуждение. Короче говоря, Кэти было тяжело оставаться в Гэдсхилле, и она решила во что бы то ни стало и как можно скорее уйти из дому. К ней посватался Чарльз

Коллинз, брат Уилки; Кэти его не любила, но ей было так тяжело оставаться у отца, что она не послушалась советов Диккенса и приняла предложение. В июле 1860 года Чарльз и Кэти обвенчались, и на свадьбу съехалась чуть ли не вся округа. Были построены триумфальные арки, церковный двор был усыпан цветами, а из кузницы прогремел пушечный салют. Из Лондона специальным поездом прибыло множество друзей, успевших явиться как раз к началу церемонии. «Они не совсем твердо знали, как в этом случае держаться: скорбеть, сиять от радости или растроганно подносить к глазам платок, — рассказывал Диккенс. — И у них был до того смешной и неуверенный вид, что я был вынужден опереться на перила алтаря и прикрыть ладонью свои почтенные родительские черты». В качестве свидетеля брачной церемонии Диккенс назвал себя довольно двусмысленно: «литературным джентльменом»; впрочем, он вообще в тот день находился в каком-то странном душевном состоянии. Во время свадебного пира он был неестественно возбужден, а когда гости разъехались, Мэми застала отца в комнате сестры: он сидел, спрятав лицо в старенькое платице новобрачной, лежавшее у него на коленях, и горько рыдал. «Если бы не я, Кэти не ушла бы из дому», — с трудом проговорил он и вышел из комнаты. Кэти очень любила отца, но ее сочувствие было на стороне матери. В старости она назвала своего отца дурным человеком, желая этим сказать, что он был упрям, своеволен и шел своим путем, попирая чувства других. Все, что можно сказать по этому поводу, как всегда, уже было сказано Шекспиром:

Но если мы — увы — в грехе погрязли,  
То боги нас карают слепотой,  
Лишают нас способности судить  
И нас толкают к нашим заблуждениям,  
Смеясь над тем, как шествуем мы важно [\[188\]](#).

Через несколько недель Диккенс загорелся желанием забыть о прошлом, порвать все нити, связывающие его с днями юности, начать новую страницу жизни — как будто человек может отрешиться от самого себя и начать все сначала. Другим, разумеется (да и себе тоже), он иначе объяснил причину «великого сожжения», устроенного им в Гэдсхилле. Он говорил, что неодобрительно относится к любому изданию частной переписки между двумя людьми, вовсе не рассчитанной на широкую аудиторию. 3 сентября 1860 года, собрав все свои личные письма, он

сложил их в поле, недалеко от дома, и сжег. «Когда я начал, была чудесная погода, когда кончил — шел проливной дождь. Подозреваю, что это из-за моей корреспонденции так нахмурились небеса». В дальнейшем он всегда немедленно уничтожал все бумаги, кроме деловых. Так были преданы костру письма Карлейля, Теккерея, Теннисона, Браунинга, Уилки Коллинза и многих других выдающихся современников Диккенса. Швырнув в огонь последнюю пачку, он сказал: «От души хотел бы видеть в этой куче и мои собственные письма — все до одного!» Ни один биограф Диккенса не поддержал бы этих слов: не будь его писем, мы не узнали бы, что он был верным другом, хорошим сыном и таким же хорошим отцом.

Да, это правда, что каждое литературное «детище» было для него важнее, чем его дети. Но правда и то, что далеко не всякий отец, не имеющий никакого «литературного потомства», относился к своим отпрыскам так внимательно и заботливо. Его жена как-то сказала, что ему всегда нужны малыши, и по возможности самые маленькие малыши. Он был действительно предан младенцам всей душой. Рассказывают, что однажды он пошел за каким-то рабочим, который нес на плече сынишку, и всю дорогу кормил мальчугана вишнями. Но в школьном возрасте дети начинали уже основательно мешать его литературным чадам, которые должны были появляться на свет в уединении, окруженные огромным вниманием — как, впрочем, и настоящие дети. Так, в 1862 году, во время рождественских каникул, он жаловался, что «весь дом наполнен мальчишками и каждый мальчишка (как водится) обладает необъяснимой и ужасающей способностью оказываться одновременно во всех частях дома, имея на ногах никак не меньше четырнадцати пар ботинок со скрипом». Не так-то легко ему было примирить интересы двух огромных семейств, одно из которых бушевало в его доме, а другое — в воображении. Когда для его сыновей наступило время выбирать себе профессию, он убедился в том, что «свет не видывал семейства более многочисленного и менее расположенного к тому, чтобы как-то позаботиться о себе». Кое-кто из детей участвовал в подготовке и издании домашней газеты «Гэдсхилл газетт». Почти все, что печаталось в этой газете, ни для кого, кроме них самих, не представляло интереса, — впрочем, сообщение о том, что *patrifamilias* возвращается из очередного турне, могло бы, конечно, заинтересовать и других. Диккенс охотно читал гэдсхиллскую газету, но вовсе не считал, что ее авторы блещут какими-то особыми талантами. Прекрасно зная все шипы и тернии писательской жизни, зная, как близко знакома с нуждой большая часть профессиональных писателей, он обычно советовал сыновьям не следовать его примеру.

Его старший сын, Чарли, стал партнером фирмы Бэринга, обанкротился, но отец выручил его. Со временем Чарли занял в «Круглом годе» место Уиллса, а после смерти отца — владельца журнала. Второй сын, Уолтер, стал офицером Ист-Индской компании, участвовал в некоторых операциях во время восстания сипаев и в 1863 году умер в Калькутте. Третий, Фрэнсис, хотел сначала заняться медициной, потом — фермерством, потом — опять медициной. Диккенс дал ему достаточно времени для размышлений, но, видя, что он так и не может ни на чем остановиться, пристроил его по коммерческой части. Сыну и это не понравилось. Наконец, отец взял его к себе в редакцию «Круглого года» и одновременно стал готовить к адвокатским экзаменам. Фрэнсис не проявил ни малейшей склонности к тому, чтобы стать адвокатом или журналистом, и в конце концов выразил желание служить в бенгальской конной полиции. Отец помог ему и в этом. Четвертый сын, Альфред, собирался служить в армии и учился на артиллериста. Но потом он передумал, проявил интерес к коммерции, и отец нашел для него место в Сити. Через некоторое время Альфреда потянуло на простор, в далекие страны, и он, с отцовского согласия, уехал в Австралию, получив от Диккенса полную свободу действий и совет вернуться домой, как только почувствует, что Австралия для него неподходящее место. Но Альфред написал отцу, что «счастлив, как король», и остался жить в Австралии. Пятый сын, Сидней, с ранних лет мечтал стать моряком и проявил в этом направлении большую энергию и настойчивость. «Если бы я знал, что это серьезное и окончательное решение, — писал Диккенс директору его школы, — я не стал бы мешать мальчику. Я уверен, что, сделав окончательный выбор, он действительно с жаром отдастся своему призванию». Сидней поступил на флот, завоевал там себе отличную репутацию и был вполне доволен своей судьбой. Шестой сын, Генри, был, пожалуй, самым толковым в этой компании: прекрасно учился в Кэмбридже<sup>[189]</sup>, где ему были присуждены две стипендии; потом стал адвокатом и сделал блестящую карьеру. Вот один случай, рассказанный им и свидетельствующий о том, как странно сочетались в характере его отца железная выдержка и безудержная чувствительность. На третьем семестре в Тринити Холл<sup>[190]</sup> Генри получил первую премию по математике и, сдерживая волнение, сообщил эту новость отцу, который встретил его на Хайемской станции (здесь нужно было сойти, чтобы попасть в Гэдсхилл-Плейс). «Превосходно, молодец!» — сказал Диккенс, и только. С чувством глубокого разочарования Генри молча зашагал вслед за отцом к Гэдсхиллу. Но на полпути Диккенс

внезапно повернулся к сыну, стиснул ему руку (да так, что юноша еще долго чувствовал это рукопожатие) и со слезами на глазах сказал: «Благослови тебя бог, мой мальчик, благослови тебя бог!»

Седьмой, младший сын Диккенса, Эдвард (по прозвищу Плорн), никак не мог ужиться в своей школе, и Диккенс положил немало трудов на то, чтобы найти ему другую, более подходящую. Плорн был общим любимцем в семье, застенчивым и милым, но, впрочем, ничуть не избалованным мальчуганом. «Все мы так любим детей, что стараемся их не портить», — заметил однажды его отец. Плорну не хватало «усидчивости и прилежания», и, предоставленный самому себе, он был не способен заняться решительно ничем. Когда Плорн спросил, можно ли ему оставить также и вторую школу и перейти в третью, Диккенс ответил, что разрешает, но не советует. Плорн так и не проявил склонности в какой-либо определенной профессии, и «поскольку он любит животных и верховую езду, да такую, чтобы ветер свистел в ушах, то думаю, что ему лучше сидеть в седле, чем за книгой», — писал о нем отец. Диккенс понимал, что, поселившись у брата в Австралии, Плорн будет гораздо счастливее, чем дома, занимаясь каким-нибудь почтенным, но совершенно не подходящим для него делом. И вот, пройдя ускоренный курс обучения в Сайренсестерском сельскохозяйственном колледже, младший сын Диккенса отбыл на другое полушарие. Диккенс переживал разлуку с Плорном очень болезненно и, провожая своего любимца, горько плакал на Паддингтонском вокзале.

Обосновавшись в Гэдсхилл-Плейс, Диккенс стал уделять ему больше внимания, чем любому из тех домов, в которых ему случалось жить в Лондоне. Он никогда не забывал о том, что Гэдсхилл стоит на историческом месте, и первым делом повесил на стене дощечку в рамке с надписью: «Этот дом стоит на вершине Гэдсхиллского холма, воспетого Шекспиром<sup>[191]</sup>, навсегда связавшим Гэдсхилл-Плейс с именем сэра Джона Фальстафа, созданного его благородным пером. «Ну, друзья мои, значит завтра утром пораньше, часа в четыре, встречаемся в Гэдсхилле! Там остановились пилигримы, направляющиеся с богатыми приношениями в Кентерберы, и толстосумы купцы, едущие в Лондон. Маски у меня есть для всех, а лошадей вы приведете сами». Как приятно было думать, что твоя комната находится «как раз на том месте, откуда удирал Фальстаф»! Диккенс не раз писал об этом друзьям, называя Фальстафа самым веселым и остроумным существом на свете. Вскоре список исторических мест пополнился новыми названиями, связанными с его собственным именем, — то были места, где прошли самые счастливые дни его жизни. В сентябре

1860 года он объявил, что для него наступила беспокойная пора — он готовится начать новую книгу. Сначала он собирался издавать ее, как обычно, в виде двадцати ежемесячных выпусков, но неудача леверовской повести заставила его изменить свои планы. Для того чтобы поправить дела «Круглого года», он был вынужден печатать свою новую вещь в журнале, а это означало, что нужно сократить не только объем всего произведения, но и размер каждой главы. Первый выпуск «Больших надежд» появился в «Круглом годе» 1 декабря 1860 года, последний — 3 августа 1861 года. В течение месяца тираж журнала достиг «долеверовского» уровня, затем превысил его и больше уже не падал — во всяком случае, при жизни Диккенса. «Журнал процветает. «Большие надежды» имеют огромный успех», — писал он в феврале 1861 года, когда по просьбе своих дочерей на три месяца переселился на Гановер-Террас, Риджентс-парк (в дом № 3). Здесь он жил и работал до мая, а затем после приступа невралгии поехал один в Дувр, остановился в отеле «Лорд Уорден» и там писал свой роман, гулял и наслаждался одиночеством. Однажды он совершил прогулку по скалистому берегу до Фолкстона и обратно. В тот день выдалась «такая дивная погода, что я не мог молчать, хоть и был один». Судя по его письмам, он был в отличном настроении, живя в Дувре. В одном из них есть забавная пародия на доктора Джонсона, который делится с Босуэллом довольно любопытными наблюдениями:

«Джонсон. Или возьмем, к примеру, Диккенса, сэр. Казалось бы, славный малый, — как Дэви, сэр, как Дэви, — а между тем я слышал, что он валяется на кентском берегу под живою изгородью какой-то пивнушки, пока его не погонят домой.

Босуэлл. Но на кентском берегу нет живых изгородей, сэр.

Джонсон. Нет? Отчего же, сэр?

Босуэлл (*растерянно*). Не знаю, сэр, а впрочем...

Джонсон (*громовым голосом*). Никаких «а впрочем», сэр! Если б ваш отец никогда не говорил «а впрочем», он никогда не произвел бы вас на свет.

Босуэлл (*смиренно*). Да, сэр, что правда, то правда».

По сравнению с другими романами Диккенса критика несправедливо перехвалила «Большие надежды», быть может, потому, что он короче других и менее сложно написан. Но удивительное дело! Чем более естественно Диккенс старается писать, тем менее естественными — в диккенсовском смысле — получаются его герои. Когда он создает особый, свой собственный мир, мы, покоряясь силе его гения, видим в его героях живых людей, и даже их фантастическое окружение кажется нам

правдоподобным. Но когда он решает писать просто, без прикрас, рассказать о психологическом развитии человеческой личности, мы начинаем разбирать его придирчиво, как любого заурядного писателя. В Памблчуке мы тотчас же узнаем исконного жителя великой Страны диккенсовских грез, но мы не приемлем ни каторжника-филантропа Мэгвича, ни кузнеца-джентльмена Пипа, потому что в них нет ничего диккенсовского и ничего живого. Создавая картину мира своей фантазии, Диккенс должен был иметь место, чтобы развернуться, чтобы ничто не стесняло движений фокусника, совершающего чудеса перевоплощения. Когда он ограничивал размеры своих произведений строгими рамками, какая-то доля неповторимого диккенсовского обаяния исчезала. Это относится и к «Тяжелым временам», и к «Повести о двух городах», и к «Большим надеждам». Все эти вещи искусственно сокращены для еженедельных выпусков и написаны с расчетом на читателя еженедельника — читателя, которого главным образом интересует любовная нить романа. И хотя в начале «Больших надежд» есть просто великолепные сцены, все-таки и описание жизни Пипа в Лондоне и эпизоды с участием неузнаваемо переменившегося Мэгвича служат доказательством того, что, следуя реалистически-натуралистически-психологическому методу, входившему тогда в моду, Диккенс подменял искусство гениального создателя ремеслом талантливой прозаика. Покидая свой мир, он лишал убедительности и своих героев и свои произведения.

Стараясь казаться как можно более простым и бесхитростным, он чувствовал себя так неуверенно, что по совету постороннего человека заново переписал заключительные страницы книги и сделал ее конец банальным и фальшивым. Руководствуясь как чисто личными причинами (которым будет посвящена следующая глава), так и тем, что подобная развязка противоречит всему ходу отношений Пипа и Эстеллы, Диккенс хотел избежать счастливого конца. Но Бульвер-Литтон убедил его поженить своих героев, и Диккенс послушался вульгарных советов безвкусного писаки.

Когда роман вышел отдельной книгой, все были поражены, увидев, что ее иллюстрировал Маркус Стоун. А где же Физ, этот идеальный иллюстратор, имя которого начиная с дней «Пиквика» было неразрывно связано с именем Диккенса? О Хэблоте К. Брауне нам известно очень немного. Это был нелюдимый человек, который чуждался общества, и если силою обстоятельств был все-таки вынужден появляться в свете, то старался забиться куда-нибудь в угол или спрятаться за портьерой. Характер у него был покладистый, и он всегда в точности исполнял все, о



чем бы его ни просил Диккенс. Однако Физ был слишком тесно связан с тем самым прошлым, от которого Диккенс так страстно хотел отречься. В смутные дни семейных разногласий в Тэвисток-хаусе он ни одним словом не дал понять, на чьей стороне его симпатии, чем, вероятно, внушил Диккенсу самые мрачные подозрения. Судьба Брауна была окончательно решена, когда он согласился стать штатным сотрудником журнала «Раз в неделю», основанного Бредбери и Эвансом «в пику» организатору «Круглого года». В глазах Диккенса такой поступок был свидетельством вопиющего вероломства. Даже если бы Физ был Рафаэлем, Тицианом и Микеланджело в одном лице, Диккенс не подпустил бы его к своей новой работе на пушечный выстрел, будь это даже житие какого-нибудь святого.

Работа над книгой, осенившей новой славой его любимые кентские края (ибо страницы, посвященные детству Пипа, уступают, быть может, лишь описанию детских лет Дэвида Копперфилда), Диккенс заново переживал свою юность в этих памятных местах, где он когда-то был так счастлив. В последние десять лет жизни он больше всего любил гулять по тем уголкам, которые «открыл» еще мальчиком. Он вновь и вновь бродил по жуткому Кулингскому болоту, с такой силой описанному им на страницах «Больших надежд». Ему никогда не надоедали окрестности Рочестера, где вместе с подлинными друзьями его детства жили в его воображении Памблчук, мисс Хэвишем и мальчик мистера Грэбба, — быть может, не менее «подлинными» в его глазах. Он непременно показывал своим гостям деревеньку Кобэм, ее таверну «Кожаная фляга», церквушку, богадельню, а главное — парк. Он и недели не мог прожить в Гэдсхилле, не побывав в этих местах. Летом он нередко сиживал на Шорнском кладбище или подолгу простаивал в раздумье перед фигурой монаха на крыльце Чокской церкви. Впрочем, он не очень-то регулярно бывал в церкви, а одно время вообще перестал посещать богослужения из-за пространных и напыщенных проповедей самодовольного хайемского пастора. «Терпеть не могу сидеть под носом у священника, беседующего со своей паствой таким тоном, как будто у него в кармане билет на небеса и обратно», — говорил он. Ему нравилось гулять по грейвсендской дороге, а семь миль от Рочестера до Мэйдстоуна казались ему одним из самых обворожительных мест в Англии. Приезжая в Гэдсхилл, он каждый день — в любую погоду — ходил миль по двенадцать быстрым розным шагом по полям, тропинкам и лесам, обычно в сопровождении своих собак. Собаки слушались его с полуслова, но на бродяг — а их в те дни было великое множество — наводили смертельный ужас. Даже почтенные местные жители и те робели при виде этой своры английских догов, ищеек, ньюфаундлендов и

сенбернаров. Один пес так свирепо нападал на своих собратьев, что его приходилось выводить в наморднике. «Кроме того, ему внушают непреодолимое отвращение солдаты, что довольно обременительно для хозяина, который является гражданином крупной военной державы». После того как пес совершил нападение на роту солдат, маршировавших по дороге, набросился на двух полисменов, которым Диккенсу едва удалось спасти жизнь, и чуть не загрыз какую-то девочку, его пришлось пристрелить, к великому огорчению хозяина. Между Диккенсом и этим животным царило полное согласие, которое — увы! — «носило сугубо личный характер и больше ни на кого не распространялось».

Диккенс неустанно заботился о благоустройстве и процветании Гэдсхилла и со временем купил луг, раскинувшийся за домом. Здесь играли в крикет и другие спортивные игры. В Хайеме был крикетный клуб, и Диккенс разрешал проводить на своем лугу состязания и проявлял к ним большой интерес. Единственное его требование заключалось в том, чтобы члены клуба вели себя независимо и не разрешали вмешиваться в свои дела ни его сыновьям, ни местным помещикам, принимавшим участие в играх. Ему всегда внушала глубокое отвращение та покровительственная манера, с которой богатые англичане позволяют себе обращаться с бедняками. Крикетные матчи завоевали такую популярность, что Диккенс стал устраивать на своем поле состязания в беге и разные спортивные игры и даже разрешил хозяину соседней таверны «Фальстаф» построить на своей земле пивной ларек. Для победителей он учредил денежные призы, и на одном из состязаний присутствовало две тысячи зрителей, в том числе немало сезонных рабочих, солдат и матросов. Впрочем, на спортивном поле царил полный порядок, пьяных не было, и все цветы и кустарники остались целы и невредимы. «На дороге от Чатема до нашего дома былолюдно, как на ярмарке, — писал Диккенс не без законной гордости. — Попробуйте-ка добиться такого образцового поведения от портовых головорезов. То-то!»

Он был по-прежнему общителен и гостеприимен, и редко случалось, чтобы в Гэдсхилле не было гостей. На Хайемской станции их встречала коляска, и, приехав в Гэдсхилл, каждый был волен делать то, что ему больше нравится, а ведь гостям, как известно, только того и надо. Иногда съезжалось так много народу, что некоторым приходилось ночевать в «Фальстафе». В каждой гэдсхиллской спальне была своя библиотечка: если было холодно, в камине горел огонь; в буфете стояли чашки с блюдами, большой медный чайник, чайница, молочник с молоком и сахарница. Утром гости развлекались всяк по-своему, а хозяин работал. Для

увеселительных поездок в Рочестер или его окрестности имелись коляска, двуколка, запряженная пони, и двухколесный ирландский экипаж. Диккенс появлялся к ленчу и с удовольствием наблюдал, как гости уплетают за обе щеки, хотя сам обычно ограничивался кружкой эля и бутербродом с сыром. На буфете уже лежало меню обеда, которое он оживленно обсуждал вместе со всей компанией: «Тетерка с пореем? Отлично. Нет, просто превосходно. Жареная камбала в соусе из креветок? Тоже неплохо. Крокетки из цыплят? Слабо. Очень слабо. Полное отсутствие фантазии...» — и так далее. Можно было с уверенностью сказать, что после ленча хозяин предложит гостям прогуляться. Для настоящих ходоков это было большое удовольствие, но попадались и новички, не представлявшие себе, что это значит — «прогуляться» с Диккенсом. Таким гостям одной прогулки было вполне достаточно, и в дальнейшем при слове «прогулка» они вдруг спохватывались, что им нужно срочно ответить на множество писем. Изредка приходилось высылать коляску навстречу тем, кто по дороге пал жертвой водяных пузырей или одышки. Более выносливые устаивались похвалы: «Двенадцать миль за три часа! Молодцы!» После таких вылазок гости обычно с великим облегчением узнавали о предстоящей поездке на пикник в какой-нибудь живописный уголок или на Медуэй, где можно было покататься на лодке. Но стоило хозяину заикнуться, что он собирается идти домой пешком, как гости начинали в один голос жаловаться на крайнее утомление. На высоте положения оказывались лишь самые молодые, и то не все. Диккенс сильно страдал от люмбаго, но никакой недуг не мог заставить его сбавить шаг или сократить путь. За обедом он был оживлен, как никто, хотя вся компания весь день только развлекалась, а он успел уже четыре часа поработать и еще четыре провел в пути. Ни на минуту не упуская нить разговора, даже если на разных концах стола говорили о разных вещах, он любезно потчевал гостей, следя за тем, чтобы у каждого было все что нужно. После обеда он почти всегда садился за письма, но, покончив с ними, снова выходил и принимал участие в играх и пении или садился за карты. В полночь он ложился спать, но это вовсе не означало, что гости должны последовать его примеру, и мужчины часто засиживались в бильярдной или за бутылкой виски до двух, а то и трех часов ночи.

Не обходилось в Гэдсхилле и без происшествий. Однажды в его окрестностях появилось привидение. У памятника, стоявшего неподалеку от дома, раздавались какие-то странные звуки, и люди видели, как там движется что-то непонятное. Слухи множились, назревала паника, горничные в доме Диккенса шарахались от собственной тени, а повар явно собирался сбежать. Раздумывать было некогда. Объявив прислуге, что

снесет голову тому, кто вздумал так неудачно подшутить над ним, Диккенс дождался, пока взойдет луна, зарядил двустволку и, взяв с собою двух сыновей, вооруженных палками, двинулся навстречу призракам. Поле, на котором стоял памятник, окружала изгородь. Диккенс остановился у калитки и громко сказал: «Ну, берегись, привидение! Если ты попадешься мне на глаза, я буду стрелять, и да поможет мне бог!» Очутившись на поле, они слышали жуткий, нечеловеческий, протяжный, тоскливый и вместе с тем насмешливый звук. Нет, тут явно пахло нечистой силой. Трое отважных пошли на этот звук. Вот в тени памятника возникло белое пятно и шумно двинулось им навстречу. Это была... овца, страдающая астмой! Изгнание духов увенчалось полным успехом.

Другое происшествие было несколько менее фантастическим, зато куда более опасным. Как-то утром, одеваясь в своей спальне, Диккенс увидел, как к «Фальстафу» подошли два савояра, ведя на привязи двух медведей. Вскоре их окружила компания каких-то хулиганов, решивших во что бы то ни стало сплясать с медведями, предварительно сняв с них намордники. Мгновенно смекнув, что беды не миновать, Диккенс тут же пошел к таверне, кликнув по дороге садовника. Пока садовник боязливо переминался с ноги на ногу по эту сторону забора, Диккенс велел савоярам отойти подальше, а хулиганам заявил, что вызовет полицию, если они тотчас же не наденут медведям намордники. Один медведь успел уже наброситься на одного из бездельников, и, помогая незадачливому задире надеть на зверя намордник, Диккенс весь выпачкался в крови. Когда все было покончено, он приказал отвести медведей на свой конский двор, где на них немедленно накинулись собаки. Разогнав собак и медведей в разные стороны, Диккенс пошел завтракать.

В Гэдсхилле все должно было находиться в идеальном порядке, Диккенс лично следил за этим. «Возвратившись после чистки из Вашего заведения, — писал он часовых дел мастеру, — стенные часы в вестибюле стали бить с большой неохотой и после долгих внутренних страданий, достойных самого глубокого сочувствия, решили вообще больше не бить. Признавая, что для часов это прекрасный выход из положения, я вынужден сообщить Вам, что моих домочадцев он не очень устраивает. Если можно, пришлите сюда надежного человека, с которым часы могли бы поговорить начистоту. Я уверен, что они будут рады выложить ему все, что накопилось у них на винтиках». Когда нужно было починить дымоход, вырыть новый колодец, разбить клумбу в саду, скосить лужайку, перестлать полы в доме, сменить обои, сделать новую пристройку, он во всем принимал самое деятельное участие и до самой смерти постоянно что-нибудь переделывал,

причем неизменно «в последний раз». Одно новшество доставило ему огромное удовлетворение. Возвращаясь как-то домой после очередного турне по провинции, он сел на Хайемской станции в поджидавшую его двуколку,

— Ящики прибыли, сэр, — сообщил ему по дороге кучер.

— Что такое?

— Пятьдесят восемь ящиков, сэр.

— Какие ящики? Первый раз слышу!

— Ничего, сэр, их сложили у ворот, так что вы сразу увидите.

Оказалось, что это подарок его близкого друга, знаменитого французского актера Шарля Фехтера: шале — швейцарский домик, который можно было поставить на участке по ту сторону дороги и устроить в нем рабочий кабинет. Весь четырехкомнатный домик был упакован в пятьдесят восемь ящиков, оставалось только поставить кирпичный фундамент. С тех пор, приезжая домой, Диккенс с присущей ему энергией занимался сооружением и отделкой своего шале, с наслаждением подбирая для нового домика мебель, развешивая картины, устраивая маленькую оранжерею. От Гэдсхиллского сада до шале он велел прорыть тоннель, чтобы не нужно было ходить туда и обратно по проезжей дороге. Весной 1865 года постройка была закончена, и Диккенс радовался, как дитя, работая наверху, среди деревьев, в комнате, увешанной зеркалами. Стоило только поднять голову, сидя за письменным столом, и видна была вся окрестность: речка, нивы, фруктовые сады и хмельники.

Никто из его друзей не мог понять, что Диккенс нашел в Фехтере; очевидно, никто по-настоящему не понимал существа его актерской натуры. Увидев Фехтера на сцене в пятидесятых годах, Диккенс был так поражен его игрой, что захотел с ним познакомиться. Фехтер приехал в Англию и сыграл здесь Гамлета по-новому — английский театр еще не знал такой игры. Знаменитые монологи он произносил задумчиво, а не декламировал, как другие. «Это, несомненно, самый логичный, последовательный и умный Гамлет, какого я когда-либо видел», — писал Диккенс. Фехтер вел роль на английском языке: он говорил по-английски свободно, с приятным акцентом. Диккенс финансировал его спектакли, давал советы относительно актеров и репертуара, иногда проводил репетиции с его труппой, писал о нем хвалебные отзывы в печати. Он подготовил почву для успеха Фехтера в Америке, посвятив ему восторженную статью в «Атлантическом ежемесячнике», — одним словом, помогал ему, в чем только мог. Единственным человеком, в присутствии которого Диккенс не пел Фехтеру дифирамбов, был Макриди, который не

оценил бы их. Друзья Диккенса считали Фехтера просто нахалом, Диккенс считал его гением. Впрочем, нельзя сказать, что это вещи несовместимые.

## Последняя любовь

ЕСЛИ один из ваших родителей — человек со странностями (что бывает почти всегда), можно считать, что вам еще повезло. На долю Диккенса выпала двойная удача: оба его родителя были чудаками. В августе 1860 года умер его брат Альфред, оставив жену и пятерых детей без гроша. Кому, как не Диккенсу, было о них позаботиться? Взвалив на свои плечи это новое бремя, Диккенс стал устраивать дела вдовы и сирот и отправился провести миссис Никльби, чтобы посмотреть, как она перенесла этот удар. «Моя матушка, оставшаяся после смерти отца тоже на моих руках (мне никогда ничего не оставляют в наследство, кроме родственников), находится в весьма странном состоянии, причиной которого является крайняя степень старческого маразма. Она совершенно не способна понять, что произошло, и вместе с тем полна желания облачиться в глубокий траур (как Гамлет в юбке), что придает этому невеселому зрелищу трагикомический оттенок, в котором я нахожу единственный источник утешения». Через три месяца он приехал к ней снова, как раз в тот момент, когда ей ставили припарки на голову. «Увидев меня, она тотчас же воспрянула духом и попросила у меня фунт». В 1863 году она скончалась. Для Диккенса это было траурное десятилетие: за эти годы умер его брат Фредерик, шурин Генри Остин и старые друзья Джон Лич и Кларксон Стэнфилд, смерть которых была для него тяжелым ударом. «Милый старый Стэнни», умирая, вернул Диккенсу другого старого приятеля, попросив его помириться с Марком Лемоном, и над свежей могилой Стэнфилда Диккенс и Лемон пожали друг другу руки.

Диккенс бережно поддерживал свои отношения с Форстером, по-прежнему обращался к нему за советами, которым никогда не следовал, изредка обедал у него и в октябре 1860 года приехал к нему в Брайтон. «Вчера шесть с половиной часов ходил по меловым холмам; ни разу не остановился и не присел». Но когда ему приходило на ум «совершить вечером увеселительную вылазку в город», он выбирал себе в товарищи Уилки Коллинза. В конце 1860 года друзья совершили поездку в Корнуэлл, а осенью 1862 года, когда Уилки заболел, Диккенс тотчас же вызвался вернуться из Парижа и написать за него несколько глав романа «Без названия», выходявшего частями в «Круглом годе». «Едва ли нужно говорить Вам, что эта замена будет временной! Но если нет другого выхода, я готов. Будет так похоже на Вас, что никто не заметит разницы».

Два месяца он прожил в Париже, в доме № 27 по улице Фобур-сент-Онорэ, вместе с Мэми и Джорджиной, только что оправившейся после болезни. В Париже хозяйничал Наполеон III — строил, разбивал новые бульвары: Диккенс то и дело терял дорогу домой. Вторая империя переживала пору своего расцвета, и Диккенса со всех сторон уверяли в том, что наступили мирные времена: ведь не пойдут же люди на войну, которая противоречит их интересам. «Можно подумать, что людские пороки и страсти с самого сотворения мира не шли вразрез их интересам!» Он убедился в том, что французы поразительно плохо знают его страну и народ. Однажды в поезде какой-то кюре сообщил ему, что у этих еретиков англичан нет ни одного памятника старины.

— Так-таки ни одного? — усомнился Диккенс.

— Ни одного. Но зато у вас есть корабли.

— Да, парочка-другая найдется.

— И мощные?

— Профессия у вас духовная, отец мой, так что вы лучше побеседуйте об этом с духом Нельсона<sup>[192]</sup>.

Этот находчивый ответ привел в восторг их попутчика, армейского капитана, который признался, что «считал подобную легкость в обращении несвойственной англичанам, и теперь раскаивается в своем заблуждении». В начале 1863 года Диккенс три раза устраивал благотворительные чтения в Английской миссии. «Что за публика! Какой прием! Никогда не видел ничего подобного. В пятницу радостное волнение достигло апогея: буря аплодисментов продолжалась два часа. Аплодировали даже на улице, садясь в кареты, чтобы разъехаться по домам».

Наведываясь в Лондон по делам, связанным с журналом, Диккенс останавливался на Веллингтон-стрит (за исключением весеннего сезона, когда он приезжал в город вместе со всей своей семьей), и весть о его приезде немедленно облетала весь театральный мир: «На Бау-стрит меня подстерегают бедные актеры, чтобы поведать о своих нуждах. Я часто наблюдаю, как один из них, завидев меня, мчится через весь двор, заворачивает мне навстречу на «Друри-лейн» и сталкивается со мною у дверей с самым невинным и изумленным видом, как будто рассчитывал встретить здесь кого угодно, кроме меня». Ради того, чтобы Мэми могла выезжать в свет, он на несколько весенних месяцев снимал дом в Лондоне и был вынужден ходить на званые обеды гораздо чаще, чем ему бы хотелось. «Этой весной стал жертвой самой грозной обеденной эпидемии, когда-либо свирепствовавшей в Лондоне, — жаловался он в июне 1864 года. — Каждую неделю давал себе клятву больше никуда не ходить и неизменно



семь раз в неделю становился клятвoprеступником». За эти годы он много раз навещал Париж, но все-таки большую часть времени, свободного от гастрольных поездок и редакционных дел, проводил в Гэдсхилле, отдыхая от общества, шума и суеты. Впрочем, даже там, в сельском уединении, ему не удалось укрыться от массовых воплей и стенаний по поводу смерти супруга королевы Виктории. «Если Вам встретится где-нибудь неприступная пещера, где отшельник мог бы укрыться от воспоминаний о принце Альберте и скорбных речей, посвященных ему, пожалуйста, сообщите, — взывал он. — В наших местах все слишком людно и на виду». Безутешная королева раздавала пенсии и дворянские звания всем, кто превозносил необыкновенные достоинства принца Альберта. «Заслуги любого ветерана меркнут перед достоинствами тех, кто умел угодить покойному», — объявил Диккенс. Когда в одном из гэдсхиллских меню появилось название «Пудинг принца Альберта», Диккенс заменил его на «Пудинг низкопоклонства», но, предчувствуя, что такая выходка может огорчить некоторых из его гостей, он разрешил именовать это блюдо «Пудингом Великим и Достойным».

Событий, требовавших его личного участия, было более чем достаточно. Одно из них было связано с Литературной гильдией, которой он с самого дня ее основания посвящал столько времени и энергии. Летом 1865 года в Нейворте произошел настоящий переполох. После семилетнего перерыва в имении Бульвер-Литтона около Стивниджа были построены три дома для художников, писателей и артистов из числа тех, кого Гильдия признала наиболее достойными. По этому случаю Литтон устроил в своем саду завтрак, на который позвал соседей «из благородных», и попросил Диккенса привезти с собой знакомых актеров. Собравшись на вокзале Кингс-Кросс, актеры вместе с Диккенсом и его дочерьми поехали в Стивнидж. На станции их встретил Форстер, которому Литтон поручил доставить всю компанию в Нейворт. Но у Диккенса в тот день было праздничное настроение, и он заявил, что в такую жаркую погоду нужно по дороге непременно заглянуть в пивную, — ведь, может быть, хозяин Нейворта не рассчитывает на то, что у его гостей такая сильная жажда! В мгновение ока пивная была переполнена. Те, для кого не хватило места в доме, уселись на скамьях и на деревянном корыте, в котором поят лошадей, — и пошло веселье! Потом все отправились осматривать приютские здания и, наконец, прибыли в Нейворт, пылая самыми братскими чувствами, к великому неудовольствию «чистой публики», в обществе которой им предстояло отпраздновать торжественное событие. Актеры показали джентльменам каким-то диковинным сбродом, джентльмены актерам —

скучной компанией; и те и другие держались особняком друг от друга. Диккенс представил детей богемы Литтону, приветствовавшему их в учтливой, но сдержанной манере, вполне уместной для будущего вельможи, но как-то не вязавшейся «с его продувным и хитрым видом». «Вокруг, лопааясь от чудовищного самомнения, расхаживал Форстер, обращая внимание преимущественно только на аристократических гостей; останавливаясь то у одной, то у другой группы беседующих, чтобы удостоить их замечанием, если предмет беседы того заслуживал, недостижимый, непрекаемо-властный Форстер, то и дело удалявшийся куда-то, как будто облеченный некоей миссией, великой и ужасной, взятой им на себя ради себя же». Старых друзей журналистов он просто не замечал, о чем один из них впоследствии пожаловался Диккенсу. «Полноте! Как ему было вас заметить? — весело отозвался Диккенс. — Он и меня-то не видел! До нас ли ему было, посудите сами. Он витал в облаках, как Мальволио<sup>[193]</sup>. Во время завтрака Диккенс произнес спич. «У леди и джентльменов, которых мы приглашаем в эти построенные нами дома, никогда не будет оснований думать, будто они что-то теряют в общественном мнении, — говорил он. — Их приглашают сюда, как артистов... и они наравне со всеми вправе рассчитывать на гостеприимство своего великодушного соседа». К счастью для горемык-артистов, им не пришлось проверять на практике, действительно ли они находятся «на равных правах» со всей округой и будет ли «великодушный сосед» Литтон оказывать им гостеприимство. В приютских домах не было денежного фонда, и поскольку сезонный билет до Лондона стоил не меньше, чем любая комнатка на одну персону, а в расчеты артистов не входило преждевременно похоронить себя в Стивнидже, то ни одного из них никакими силами нельзя было заставить поселиться в приюте. Что же касается «детей богемы», то их нисколько не тревожила мысль о судьбе незадачливой богадельни, зато они ощущали жизненную необходимость в том, чтобы поскорее удрать как можно дальше от Нейворта и ледяной атмосферы «благородного» общества. По одному, по двое они тихонько исчезали из сада, направляясь в ту самую пивную, где уже успели «хватить» утром. Когда Диккенс, возвращаясь на станцию, проехал мимо, все, как один, поднялись на ноги и горячо — или, вернее сказать, разгоряченно — приветствовали его. Несколько раз комитет Гильдии собирался, чтобы распорядиться остатками фонда (после чего эти остатки значительно подтаяли), решив, наконец, распределить их между другими обществами помощи артистам.

В то же лето Диккенс стал невольным участником еще одного

«события». 9 июня, возвращаясь домой после недолгого пребывания во Франции, где он отдыхал вместе с Эллен Тернан, Диккенс ехал из Фолкстона в Лондон<sup>[23]</sup>. Около Стейплхерста на путях велись ремонтные работы; поезд на полном ходу наехал на место, где развели рельсы, и восемь вагонов обрушились с моста в воду. Вагон, в котором находился Диккенс, «каким-то чудом повис в воздухе над краем сломанного моста». Когда начались страшные удары и толчки, спутницы Диккенса — Эллен Тернан и одна старая леди — разразились воплями, а он, крепко обхватив их обеих, твердил: «Помочь ничем нельзя. Спокойно, возьмите себя в руки. Ради бога, перестаньте кричать!» Потом их разом швырнуло в угол. «Ну вот, — сказал Диккенс, — самое страшное позади. Опасность миновала — это ясно. Теперь, пожалуйста, оставайтесь здесь и не двигайтесь с места. Я попробую выбраться наружу через окно». Дамы согласились. Диккенс вылез из окна и встал на подножку вагона. Моста не было. Внизу тянулись по воздуху рельсы, а футах в пятнадцати под ними лежало болотистое поле. Пассажиры из других купе были в панике, а по другую сторону вагона, где было не так опасно, бегали вперед и назад два кондуктора.

— Минуточку! — крикнул Диккенс. — Да остановитесь же вы! Посмотрите на меня. Вы меня знаете?

— Очень хорошо знаем, мистер Диккенс.

— Слушайте же, братцы! Давайте-ка сюда, ради бога, ваши ключи и позовите вон тех рабочих. Нужно очистить вагон.

По двум дощечкам пассажиры выбрались из вагона и отошли в безопасное место, а Диккенс, захватив свою фляжку с коньяком, спустился вниз по обнажившейся кирпичной кладке и, зачерпнув шляпой воды, поспешил на помощь пострадавшим. Несколько часов подряд он работал среди раненых и умирающих. Само крушение его ничуть не взволновало, но картина ужасных страданий подействовала так сильно, что в ближайшие дни ему становилось дурно, если он пробовал написать хоть несколько слов. После этого происшествия он уже никогда не был вполне самим собою. Он нервничал, садясь в свой экипаж; садясь в поезд, для храбрости пил бренди и на первых порах признавал только поезда, идущие с малой скоростью. Но утомительное однообразие медленной езды оказалось для него еще более тягостным, чем путешествие в тряском экспрессе, и со временем он снова ездил на скорых поездах, но иной раз, когда поезд подбрасывало на стрелке, он судорожно хватался за ручки своего кресла, бледнел и на его лбу выступали капельки пота. Иногда воспоминания о катастрофе становились так нестерпимы, что он на первой же станции сходил с поезда. Однажды в экспрессе он вместе с Долби коротал время,

подсчитывая, сколько раз на пути от Лондона до Эдинбурга нервы пассажира испытывают легкое потрясение. Диккенс насчитал тридцать тысяч. Но у этого человека был такой характер, что он не мог не изобразить это трагическое происшествие в виде пантомимы, залезая под стол и проделывая там невообразимые телодвижения, чтобы показать, как потерпевших извлекали из-под обломков. По странной случайности (впрочем, такие совпадения встречаются в жизни на каждом шагу) Диккенс умер тоже 9 июня, то есть в тот же самый день, когда чудом спасся от смерти.

Кроме Эллен Тернан и старой леди, вместе с Диккенсом в тот день ехали еще четыре пассажира: мистер и миссис Боффин, угощавшие завтраком мистера и миссис Лэмл в только что написанной главе нового диккенсовского романа. Для того чтобы их спасти, ему пришлось снова залезть в вагон, повисший на краю моста. Дам гораздо больше волновала участь их картонок со шляпами, но даже легкого толчка было достаточно, чтобы вагон мог рухнуть вниз, и Диккенс едва ли стал бы рисковать ради чего бы то ни было, кроме своей драгоценной рукописи. Основные мотивы романа (названного им вопреки многочисленным советам «Наш общий друг») он изложил в одном из своих писем еще в 1861 году. Но и журнал и гастрольные поездки, а главным образом личные дела (о которых более подробно будет сказано ниже) до осени 1863 года не давали ему всерьез взяться за работу над новой книгой. Теперь его мысли тоже были так заняты другими вещами, что писать оказалось необыкновенно трудно. «Здесь сочетаются юмор и лирика, а это не так-то просто. Приходится отбрасывать массу отдельных тем, которые можно было бы отлично развернуть. Зато надеюсь, что получится *очень хорошо*. Да что там «надеюсь»! Убежден!» Он остался верен себе, отказываясь от всех удовольствий и живя лишь трудовой жизнью. «Я никогда не пытался сочетать работу над книгой с чем-либо другим, — писал он. — Наоборот, я всегда считал, что она исключает все иное». Когда работа спорилась, он позволял себе обедать в гостях не более одного раза в неделю. «Работа всегда стояла для меня на первом месте, — писал он, отклоняя приглашение на очередной обед. — Я посвящал ей все, что только можно отдать любимому делу». Он говорил, что в периоды рабочего «запоя» становится «сущим несчастьем в доме», и этому нетрудно поверить. Однажды после какой-то болезни Мэми, которой все еще нездоровилось, лежала на диване в его кабинете. Вдруг ее отец вскочил из-за письменного стола, подбежал к зеркалу и стал строить перед ним немыслимые рожи. Затем он снова поспешил к столу, минуту-другую с остервенением строчил

что-то по бумаге, опять кинулся к зеркалу, немного погримасничал, отвернулся и, по-видимому совершенно не замечая дочери, что-то быстро зашептал себе под нос. Потом с невозмутимым видом подошел к столу и молча работал до самого ленча. Он был по-настоящему одержим своей работой. Случалось, например, что кто-нибудь из его героев, отбившись от рук, начинал «делать нечто прямо противоположное тому, что было задумано сначала».

Каждый персонаж «Нашего общего друга», как и все герои Диккенса, — сложный продукт художественного вымысла и жизненной правды. Мистера Винуса, этого сборщика человеческих скелетов, он видел в соборе Сент-Джайлса<sup>[194]</sup>, Чарли Хексама и его отца — в Чатеме, а Винирингов — на каждом шагу в светском обществе. Еврей, мистер Райа, появился на свет в результате переписки Диккенса с миссис Элайзой Дэвис, въехавшей после него в Тэвисток-хаус и заявившей Диккенсу, что, написав Феджина, он оклеветал ее нацию. Диккенс не согласился с этим, но все-таки решил загладить свою вину перед лучшей частью еврейской нации, создав образ человека, который, наверное, заслужил бы одобрение Феджина. Многие сцены и персонажи этой книги были задуманы во время ночных странствий Диккенса по докам и пристаням Ист-Энда, а Темза так же неотделима от «Нашего общего друга», как лондонский туман — от «Холодного дома». В сопровождении нескольких полисменов Диккенс ходил по воровским притонам, курильням опиума, вертепам, где собирались преступники, кабачкам с сомнительной репутацией и получал от таких посещений массу удовольствия. Он был равнодушен к обществу констеблей и полицейских инспекторов, обожал слушать их разговоры и наблюдать, с каким спокойствием они ведут себя в опасных районах, каждый обитатель которых с величайшим удовольствием прикончил бы их, если бы не боялся возмездия. Один скупщик краденого — Диккенс называет его Барком, — несомненно, перерезал бы им глотки, да только мошенники жильцы, не обладавшие и сотой долей его смелости, отказались помочь ему.

«Я, — говорит Барк, — нипочем не потерплю в своем собственном — прилагательное — доме никаких — прилагательное — полицейских и никаких — прилагательное — чужаков. Не потерплю, клянусь — прилагательным и существительным! Подайте сюда мои брюки, и я пошлю всех прилагательных полицейских на прилагательное и существительное! Давайте же, — говорит Барк, — мои прилагательные брюки! Я всем им выпущу желчь прилагательным ножом! Я пробью их прилагательные головы. Я вырежу их прилагательные существительные... Будь прилагательные болваны в этом притоне мужчинами, они бы пришли сюда

и всех вас прикончили... Пришли бы и прикончили», — снова рывкает Барк и ждет. В притоне — ни звука. Мы шестеро сидим взаперти в доме Барка — самой глухой дыре опаснейшего из лондонских кварталов. Глубокая ночь, дом битком набит отъявленными бандитами и головорезами, но никто не шелохнется. Нет, Барк, эти люди знают, как тяжела десница закона. Эти люди отлично знакомы с фирмой «Инспектор Филд и Компания».

Так появились на страницах «Нашего общего друга» фигуры старожилов лондонских набережных, а с ними — и особая атмосфера этой книги. «Наш общий друг» выходил ежемесячными выпусками с мая 1864 по ноябрь 1865 года, а издавали его старые знакомые — Чэпмен и Холл. Правда, судя по письмам Диккенса, возобновление деловых отношений вовсе не означало, что вернулась и прежняя дружба. В январе 1860 года Диккенс писал, что Фредерик Чэпмен — «чудовищный пройдоха», который «половину своей жизни тратит на развлечения, другую половину — на то, чтобы делать оплошности, а деньги (несмотря на эти свои особенности) ухитряется загребать во всякое время». В июле 1865 года ему написала какая-то женщина, надеявшаяся, что одного слова Диккенса будет достаточно, чтобы издатели благосклонно отнеслись к ее работе. «Вы ошибаетесь, — ответил он. — Я не имею на них никакого влияния, даже если речь идет об элементарной вежливости по отношению к кому-то постороннему. Это подтвердилось еще совсем недавно».

В «Нашем общем друге» Диккенс вновь обратился к своей родной стихии — тому смешному и причудливому миру, с которым расстался после «Крошки Доррит». Сайлас Вегг — это шедевр, написанный в прежней манере и со всей былой мощью. Впрочем, дыхание гения чувствуется в каждой строке этой книги. Чего стоят, например, одни Виниринги и вся их среда! Это лучший образец социальной сатиры Диккенса, которая в наши дни звучит еще более едко и зло: ведь за последние восемьдесят лет сфера влияния «нуворишей»<sup>[195]</sup> непомерно разрослась. Миссис Вильфер, которая «сидела молча, с таким видом, как будто каждый ее вздох — свидетельство редчайшей самоотверженности, какую только знает история», — это, конечно, миссис Диккенс: матушка писателя выглядела наименее привлекательно именно в те моменты, когда напускала на себя высокомерный и аристократический вид. Бетти Хигден — символ извечного отвращения, которое Диккенс испытывал к приютам и домам призрения, впервые прозвучавшего в «Оливере Твисте». А Подснап — не что иное, как портрет Джона Форстера, в меру завуалированный, чтобы сходство не бросилось Форстеру в глаза. Впрочем, если бы оригинал обладал способностью видеть себя глазами художника, он был бы уже не

Подснапом. Напыщенный, респектабельный, высокомерный, непоколебимо самонадеянный — вот он, Форстер! А вот и описание его собственнических наклонностей:

«Была у мистера Подснапа одна особенность... он не допускал и тени неодобрительного отношения к своим друзьям и знакомым. «Да как вы смеете? — яснее всяких слов говорил его вид в подобных случаях. — Как же так! Я этого человека признаю, я, можно сказать, выдаю ему свое удостоверение, а вы? Задевая его, вы задеваете меня, Подснапа Великого. И речь тут идет не столько о его достоинстве (это бы еще ничего), сколько о достоинстве Подснапа».

В другой сцене — там, где Подснап подвергает перекрестному допросу француза, — высмеивается форстеровское англофильство и манера отмахиваться от всего, что ему не по душе:

«— Ну, как вам нравится Лондон? — спросил хозяин дома со своего почетного места таким тоном, каким глухого ребенка упрасывают принять лекарства, — Лондон, Londres, Лондон?

.....

— Я спрашиваю, — сказал мистер Подснап, настойчиво возвращаясь к прежней теме, — не бросились ли вам в глаза на наших, как у нас говорится, улицах, или, по-вашему, павви, признаки...

— Пардон, — учтивым тоном прервал его терпеливо слушавший иностранец, — но что это — «признаки»?

— Приметы, — ответил мистер Подснап. — Знаки, понимаете? Знамения. Следы.

— А-а! Ошадиные?

— У нас говорят «лошадиные», — милостиво поправил мистер Подснап. — В Англии, Angleterre, Англии произносят «л». Мы говорим «лошадь». Только низшие классы коверкают слова.

— Пардон, — вставил иностранный джентльмен. — Я всегда ошибаюсь.

— Наш язык, — произнес мистер Подснап со снисходительностью человека, знающего, что он всегда прав, — очень труден. У нас богатый язык; на нем тяжело говорить иностранцу. Я снимаю свой вопрос».

И если живой Форстер не смог узнать себя на иллюстрации Маркуса Стоуна (книга II, глава III, сцена обеда у Винирингов; Подснап сидит по правую руку хозяина), значит он был еще более слеп в своей неистребимой самоуверенности, чем герой «Нашего общего друга». Но в облике Форстера было еще и нечто монументальное: он даже днем был неизменно одет в плотно облегающий его фигуру фрак, застегнутый на все пуговицы. Он

изъяснялся напыщенно и тяжеловесно, точь-в-точь как Макриди на сцене.

«Человек, застегнутый на все пуговицы, имеет в обществе вес. Человеку, застегнутому на все пуговицы, верят, — пишет Диккенс в «Крошке Доррит». — Что так пленяет в нем? Быть может, скрытая и никогда не осуществляемая возможность расстегнуться? Или люди считают, что мудрость, застегнутая на все пуговицы, накапливается и растет, а стоит расстегнуть одну пуговку, как она улетучится? Как бы то ни было, одно очевидно: в этом мире пользуется влиянием лишь тот, кто застегнут на все пуговицы».

Для биографа наибольший интерес в «Нашем общем друге» представляет портрет Беллы Уилфер, пожалуй больше всех других женских портретов Диккенса похожий на Эллен Тернан. Отождествляя Эллен с той или иной героиней Диккенса, мы руководствуемся скорее логикой, чем реальными фактами. Впрочем, мы располагаем достаточными сведениями, чтобы о некоторых вещах говорить с полной уверенностью. Что же именно нам достоверно известно об Эллен Тернан? Она родилась 3 марта 1839 года в актерской семье. Ее отец и мать играли в театре «Принсес» (на Оксфорд-стрит), в труппе, возглавляемой Чарльзом Кином. Отец Эллен сошел с ума и умер, когда девочке было семь лет. У нее было две сестры — Фанни и Мария. (Фанни впоследствии стала женой Тома Тrolлопа, брата Энтони Тrolлопа.) Диккенс видел всех их на сцене еще детьми и познакомился с их матерью еще задолго до того, как пригласил их в Манчестер играть в коллинзовском спектакле. Он даже как-то однажды утешал за кулисами Эллен, которой нужно было решать неприятную дилемму: либо появиться на сцене полураздетой, либо потерять работу. Девушка горько плакала, но Диккенс успокоил ее и помог ей побороть свою стыдливость. Влюбился он в нее в Манчестере, когда ей было восемнадцать лет, а ему сорок пять. По свидетельству очевидца (настроенного недружелюбно), мы знаем, что она была невелика ростом, белокура и довольно миловидна. О том, какой она представлялась Диккенсу, мы можем судить по описанию внешности Люси Маннет из «Повести о двух городах»: «Маленькая, стройная, прелестная фигурка, увенчанная короной золотистых волос, голубые глаза, вопросительно глядевшие на него: гладкий, юный и в то же время удивительно подвижной лоб. Брови ее то взлетали, то хмурились, придавая лицу какое-то сложное выражение, умное и внимательное, немного смущенное и непонимающее, немного тревожное...» Когда он снова напоминает нам о том, что у Люси «не по возрасту пылливый взгляд», «не по годам зрелое, внимательное выражение лица»; когда мы узнаем, что у Эстеллы из «Больших надежд» тоже очень пристальный взгляд, мы можем



с уверенностью заключить, что именно с таким выражением смотрела на Диккенса Эллен Тернан в те дни, когда он впервые обратил на нее внимание.

Однако сходство Люси Маннет с Эллен на этом кончается, и лишь с появлением «Больших надежд» каждому, даже тому, кто ничего не знал о личных делах Диккенса, стало ясно, что в его жизнь вошла женщина, которой суждено оказать такое же влияние на его творчество, какое в свое время оказали Мария Биднелл и Мэри Хогарт. Эстелла скорее не портрет Эллен, а свидетельство того, чем она стала для Диккенса. Даже если бы у нас не было других сведений, достаточно было бы прочесть этот роман, чтобы убедиться, что любовь Диккенса все еще оставалась неразделенной. Эстелла «горда, своенравна» и «держится неприступно». Ей нравится заигрывать со своим поклонником и мучать его. «Я не провел с нею ни одного счастливого часа, но все двадцать четыре часа в сутки только и думал о счастье быть вместе с нею до самой смерти». Наконец, обезумев от страсти, герой романа признается ей в своих чувствах. «Когда вы говорите, что любите меня, — отвечает Эстелла, — ваши слова для меня пустой звук, и только. Они не рожают никакого отклика в моей душе, не трогают ее. Все, что вы говорите, мне совершенно безразлично». Тогда он не выдерживает: «Вы — часть моего существования, часть меня самого. Вы были в каждой строчке, прочитанной мною с того дня, как я впервые пришел сюда... С тех пор я вижу вас повсюду: в реке и на парусах корабля, на болоте и в облаках, при свете солнца и во тьме ночи, в ветре, в море, на улице... Хотите вы того или нет, вы до последнего мгновенья моей жизни останетесь частицей моего существа...» Когда она говорит, что собирается выйти замуж за другого, он идет пешком из Рочестера в Лондон, совсем как Диккенс в те дни, когда будущее представлялось ему невыносимым: «Устать, выбиться из сил — только это могло еще принести мне какое-то облегчение». Но у нас есть немало и других доказательств того, что Эллен не любила Диккенса; что мысль о близости с ним внушала ей отвращение; и из двух его писем, относящихся к осени 1862 года, видно, что она по-прежнему держит его на расстоянии. Одно из этих писем адресовано Уилки Коллинзу: «Меня грызет мучительная тоска. Я непременно расскажу Вам обо всем в ближайшие дни, когда буду у Вас или когда Вы навестите меня. Я справлюсь с ней, наверное, ведь меня не так-то легко побить, но пока что она все растет». Другое — Форстеру: «Я, конечно, могу заставить себя проделать за этим письменным столом то, что уже было сделано сотни раз. Другой вопрос, удастся ли мне выжать из себя новую, свежую книгу, когда все так неверно, непостоянно, когда так тяжело на душе». Мы видим

теперь, почему для Диккенса было бы так естественно дать «Большим надеждам» несчастный конец: ведь даже год спустя после того, как книга была написана, он все еще не смог сломить сопротивление Эллен.

Диккенс, как это часто случается с актерами, был во многом похож на избалованного ребенка. Если уж он хотел чего-нибудь, то немедленно, тотчас же, иначе «ребенок» ревел и топал ногами. Он так настойчиво, так отчаянно добивался своего, что Эллен, наконец, все-таки уступила, но победа не принесла Диккенсу радости. Ведь мир устроен так, что получает, собственно, тот, кто ничего не просит; находит тот, кто не ищет; дверь открывается лишь перед тем, кто не стучится в нее. Не будем говорить о мире духовных ценностей, там дело обстоит иначе, но в жизни действительно ценится лишь то, что достается нам само собой, без всяких усилий; а то, чего мы добиваемся всеми силами, в конечном счете приносит нам неудовлетворенность и разочарование. Так, во всяком случае, говорят жизненный опыт и наблюдения автора этой книги, и, пожалуй, самое убедительное подтверждение этой истины — биография Диккенса, который так часто добивался своей цели и так редко — прочного счастья. Что касается Эллен, она, по-видимому, не устояла перед двойным воздействием славы и богатства. Семья ее жила бедно и целиком зависела от случайных заработков, ибо подмостки театра никому из них отнюдь не сулили лавров. Диккенс печатал рассказы сестрицы Фанни в своем журнале, хлопотал в 1861 году, устраивая сестрицу Марию в труппу Бенджамина Уэбстера, а в 1862 — в труппу Фехтера, которому дал понять, что это в его же интересах. Не кто иной, как Диккенс, должно быть, снимал для семейства Тернан и дом № 2 в Хоутон-Плейс (Эмптхилл-сквер). По-видимому, Эллен ценила комфорт дороже целомудрия, иначе она не уступила бы Диккенсу. Недаром же так корыстолюбивы Эстелла из «Больших надежд» и Белла Уилфер из «Нашего общего друга». «Я люблю деньги. Мне противна бедность, а ведь мы бедны — унижительно, оскорбительно, возмутительно бедны; жалкие бедняки — вот кто мы такие». Она все время настойчиво твердит об одном и том же: «Я хочу только денег, мечтаю только о деньгах. Вся моя жизнь, все будущее — это только деньги, деньги, деньги и то, чего с их помощью можно добиться». Как и Эстелла, Эллен Тернан горда и своенравна и считает, что у нее «нет того, что люди называют сердцем... Все это, я думаю, суцая чепуха». Влюбленный находит ее, как и Эстеллу, дерзкой, пустой, капризной, корыстной, ветреной, жестокосердной и упрямой. Но незадолго перед тем, как Диккенс начал «Нашего общего друга», вероятнее всего в 1863 году, Эллен Тернан стала его любовницей, и поэтому характер Беллы по ходу действия меняется: «Непостоянное, шаловливое и ласковое

существо, не знающее ни благородной цели, ни твердых правил, и оттого легкомысленное; поглощенное мелочными заботами, и оттого капризное, было все-таки обворожительно!» Не правда ли, совсем как Эллен Тернан, которая во время стейплхерстской катастрофы больше всего беспокоилась о судьбе своих шляпок? Если учесть при этом, что Эллен тоже «держалась наигранно, театрально», то можно с чистой совестью отождествить ее с Беллой Уилфер, самой жизненной из всех диккенсовских героинь, кроме Доры.

Желание питается иллюзиями, любовь — правдой, но Диккенсу — актеру, мечтателю и влюбленному — легко было принять фантазию за действительность, когда речь шла о предмете его любви. Эллен, особенно когда он баловал ее, прекрасно умела к нему подластиться, и ему было нетрудно убедить себя в том, что он любим. В один из таких периодов, забыв, что он только рассказчик, он позволил своему чувству взять верх над рассудком, заключив главу, посвященную свадьбе Беллы, словами *in propria persona*<sup>[24]</sup>: «Ах, бывают ведь в жизни дни, ради которых стоит жить и не жаль умереть! Ах, недаром поется в славной старой песенке, что лишь любовь, одна любовь властвует над миром!» Он окружил Эллен вниманием и заботой и тщательно охранял ее репутацию. Вскоре после стейплхерстской катастрофы он распорядился о том, чтобы по определенным дням ей приносили всевозможные лакомства, а год спустя написал одной своей приятельнице о том, что Нелли (так он называл Эллен) было бы чрезвычайно больно узнать, что их отношения не являются секретом для других. «Она не поверит, что Вы видите ее такой же, какою вижу я, и так же думаете о ней... Ей, с ее нежнейшей душой, уже не сохранить после этого ту гордость и независимость, которые пронесли ее, совсем одну, через столько испытаний». Он советует своей знакомой вести себя очень осторожно при встрече с Томом Троллопом или его женой (Фанни Тернан) и «не говорить обо мне ничего такого, что могло бы вызвать у них подозрение, потому что язычок Фанни гораздо острее змеиного жала». И тем не менее о его связи с Эллен Тернан знало гораздо больше людей, чем ему хотелось бы, в том числе и его собственные дети. Один из его сыновей, очевидно, что-то сказал об этом в Австралии, после чего драматург по имени Джон Гарриуэй написал одноактную пьесу, которой мельбурнский журнал «Имperiал» в 1895 году посвятил критическую статью. Действие происходит в Манчестерской ратуше, во время постановки пьесы Коллинза. Диккенс влюбляется в Эллен Тернан, которая (должно быть, потому, что австралийский драматург надеялся пристроить свою пьесу в какой-нибудь театр) отвергает его любовь. Вся

история приобретает характер «невинной лирической сценки». Как видно, тогда еще не наступило время сказать правду. Даже в 1893 году Джордж Огастес Сейла сказал, что «тайну» последних лет жизни Диккенса нельзя раскрывать по меньшей мере еще полвека.

Эллен, разумеется, рассчитывала зажить в роскоши, которая ей раньше и не снилась, и в начале 1867 года — возможно, еще и потому, что она ждала от него ребенка, — Диккенс снял ей дом в Виндзор Лодже № 16 по Линден Гроув, Нанхед, Кемберуэлл — ныне «Хоумдин», дом № 31 по Линден Гроув, где проводил несколько дней в неделю и где написал часть своей последней книги: «Эдвин Друд». Летом 1869 года Диккенс пригласил свою Нелли в Гэдсхилл. Зачем? Как знать! Возможно, он хотел придать их отношениям оттенок респектабельности, или просто уступил просьбам Эллен, а может быть, и любопытству Джорджины. Во всяком случае, Эллен приехала в Гэдсхилл и даже стала участницей семейных состязаний в крикет. А между тем Диккенс прекрасно знал, что она его не любит и горько раскаивается, что ее все время мучают угрызения совести. Он потерпел это последнее любовное фиаско в дни, когда былая жизнерадостность стала все чаще покидать его, и он был несчастлив, как никогда. «Он думал, что вступает в новую жизнь и на пути его будут розы — одни только розы, — писал Томас Райт. — Он забыл, что у роз бывают шипы... Он думал, что стоит на пороге высшего блаженства, которое когда-либо дано человеку. Он ошибался».

Снова — но на этот раз гораздо сильнее, чем в юности, — изведаль он всю горечь, отчаяние и муки ревности. И это не просто досужий домысел. Это ясно, как божий день, каждому, кроме фанатика-диккенсопоклонника, противопоставляющего литературу и жизнь, писателя и его творчество. Никто с такой болью не писал о страданиях неразделенной любви, как Диккенс, создавая своего Бредли Хедстоуна; никто, кроме Шекспира, не сумел с такой страстью передать терзания ревности. Мы не знаем, было ли у Диккенса реальное основание для ревности, кроме уверенности в том, что Эллен его не любит. Но и этого было достаточно. Каждый, к кому она хорошо относилась, с кем разговаривала, становился для него вероятным соперником. Он так и не смог избавиться от этих подозрений до конца своей жизни. Джон Джаспер из «Эдвина Друда» — тоже жертва ревности, но никем не владеет она с такой сокрушительной силой, как Бредли Хедстоуном, который признается в любви так же, как Пип из «Больших надежд», но еще более пламенно и страстно: «Когда вы рядом или когда я думаю о вас, я теряюсь, я не могу ручаться за себя, я не властен над собою. А думаю я о вас постоянно. Я не расстаюсь с вами ни на мгновение с тех

пор, как впервые увидел вас. Ах, какой это был печальный день для меня! Какой печальный, несчастливый день!.. Меня тянет к вам помимо моей воли. Если бы я сидел в темнице за семью замками, я все равно вырвался бы к вам. Меня влечет к вам с такой силой, что стены рухнули бы предо мной, и я пришел бы к вам. Если бы меня одолел недуг, та же сила подняла бы меня с постели, и я приполз бы к вам и лег у ваших ног... Ни один человек до поры до времени не знает, какие силы таятся в глубине его души. Некоторым так и не суждено этого узнать — да пребудут они в мире и возблагодарят свою судьбу. Я люблю вас. Что говорят этими словами другие, не мне судить. Я же хочу сказать, что мною движет непреодолимая сила. Я пытался сопротивляться ей — напрасно. Она сокрушила меня... Мысли мои в полном смятении — я ни на что не гожусь. Это я и имел в виду, говоря, что в вас — моя гибель!» Но вот Хедстоун заговорил иначе. Позвольте, кто же это? Скромный учитель из школы для бедняков или знаменитый писатель? «Я не стеснен в средствах, и вы ни в чем не будете знать недостатка. Имя мое окружено таким почетом, что будет надежной защитой для вас. Если бы вы видели меня за работой; видели, что я способен совершить и как меня уважают за это, вы научились бы, возможно, даже немного гордиться мною...» Да, можно не сомневаться в том, что это сам Диккенс. Не он ли шагал по ночным улицам Лондона, «измученный томительным ожиданием»? «Казалось, что это истерзанное лицо плывет по воздуху: его выражение влекло к себе взгляд с такой силой, что все остальное исчезало из виду». Не следует, разумеется, проводить полную параллель между автором и его героем: там, где чувство молчало, Диккенс умел заменить его воображением. И все-таки он не смог бы написать Бредли Хедстоуна, не пережив главного, что вызвало к жизни этот образ, а в чем заключается это главное, мы знаем. Итак, Эстелла, Белла и Бредли Хедстоун. Но этим не ограничилось влияние Эллен Тернан на творчество Диккенса: с ее появлением из его книг навсегда исчезло Падшее Созданье.

«Наш общий друг» имел колоссальный успех, и тогда же, к несчастью, появились первые признаки того, что здоровье Диккенса пошатнулось. В начале 1865 года — по-видимому, после слишком долгой прогулки по снегу — он отморозил себе ногу, но, питая глубокое отвращение к телесным недугам, натянул на распухшую ногу ботинок и сел работать. Прodelав это несколько раз и продолжая по-прежнему бродить по снегу, он в конце концов довел свою несчастную ногу до того, что был вынужден лечь в постель. (Он так упорно не желал признавать никаких физических недостатков, что отказывался даже носить очки. А между тем он был

близорук и должен был изо всех сил напрягать глаза, чтобы рассмотреть предметы на далеком расстоянии.) Нога болела сначала очень сильно, потом немного меньше, и он немедленно возобновил свои ежедневные прогулки за десять-пятнадцать миль. Зато по вечерам приходилось все-таки сидеть без ботинка. Так продолжалось весь год, а в начале нового, 1866 года у него стало пошаливать сердце. Он начал принимать тонизирующие лекарства и, почувствовав себя лучше, отправился в очередное турне. Боли в ноге и сердце постоянно возвращались, но Диккенс считал себя совершенно здоровым и не собирался менять своих привычек. Однажды, например, прогуливаясь по Портсмуту, Диккенс и его импресарио Долби набрели на квартал, имеющий форму прямоугольника, не застроенного с двух концов и похожего на театральную декорацию. Поблизости никого не было видно. Диккенс поднялся на ступеньку одного дома, трижды громко постучал в дверь и совсем было собрался растянуться у входа, подобно клоуну в пантомиме, когда дверь внезапно распахнулась и на пороге появилась дородная хозяйка. Не вдаваясь ни в какие объяснения, Диккенс пустился наутек, Долби — за ним. Отдыхались в ближайшей пивной. Не способствовал укреплению его здоровья и другой инцидент, случившийся в Ньюкасле-на-Тайне, тоже во время гастрольной поездки. Диккенс вместе с Долби отправился на Тайнмаутский пирс посмотреть, как пляшут на волнах во время шторма корабли торгового флота. «Внезапно горизонт загорелся золотом, и вспыхнула великолепная радуга, изогнувшись над большим кораблем, и показалось, что он плывет прямо на небеса. Я так залюбовался этим упоительным зрелищем, что не заметил, как над моей головой выросла чудовищная, многотонная волна. Меня ударило, сбило с ног и вымочило до нитки, так что даже мой бумажник был полон воды».

Там, где дело касалось его здоровья, Диккенс упрямо не желал смотреть фактам в лицо. Подагра? Пустяки, просто застудил ногу. Сердечный приступ? Какое там! Просто нервы шалят. Обморок после очередного выступления? Наверное, из-за бессонницы. Стал плохо видеть? Лекарства виноваты. Летом 1867 года он опять слег — замучила подагра. «Без припарок не могу выдержать ни минуты». Пошли слухи о том, что здоровье его сдает, и это была сущая правда, хотя он настойчиво не желал признать ее.

«Его здоровье находится в критическом состоянии», — писала одна газета. «Это опечатка — в крикетическом!» — поправил он. Чарльз Рид, который любил его от всей души и считал величайшим гением девятнадцатого века, приехал в Гэдсхилл и... застал его в отличнейшей форме. Приехал и Коллинз, и здоровье Диккенса стало для его друзей

излюбленной темой шуток и острот. За обедом Коллинз и Рид торжественно щупали ему пульс, а когда он работал в шале, посылали туда записочки, выражая ему свое соболезнование по поводу его тяжелых недугов. Но газеты не унимались, и почта с каждым днем приносила ему все больше по-настоящему сочувственных писем, так что в конце концов пришлось попросить знакомого редактора напечатать опровержение:

«Сим удостоверяется, что здоровье нижеподписавшейся жертвы газетной лихорадки, которая вспыхивает раз в семь лет (идет из Англии по Оверленд-руту в Индию, затем по Кунардской линии в Америку<sup>[196]</sup>, где, ударяясь о подножие Скалистых гор, рикошетом попадает в Европу и угасает в русских степях), НЕ находится в критическом состоянии, что вышеозначенная жертва НЕ обращалась за помощью к крупнейшим специалистам и чувствует себя как нельзя лучше, что ей НЕ советуют удалиться в Соединенные Штаты и бросить свои литературные занятия и что самая страшная болезнь, перенесенная ею за последние двадцать лет, — это легкий приступ головной боли».

Да он и не думал ехать в Америку лечиться. И все-таки он, можно сказать, совсем уже собрался туда ради денег. Уже в 1859 году он начал получать весьма соблазнительные предложения приехать в Америку на гастроли. Потом в Америке разразилась война между Севером и Югом, и его пригласили в Австралию, с обязательством выплатить ему десять тысяч фунтов. Здесь уместно заметить, что он не питал никаких иллюзий относительно истинных целей войны за освобождение негров, не верил ни в искренность «любви северян к черному человеку», ни в то, что «их ненависть к рабству — действительная причина войны, а не простой предлог». Услышав об этом, в Северных штатах, наверное, с удовольствием устроили бы «Мартину Чезлвиту» новое аутодафе. После войны приглашения из-за Океана возобновились. Они шли к Диккенсу нескончаемым потоком — от комитетов и антрепренеров, от бизнесменов, от друзей, и каждое сулило ему баснословные барыши. Ехать не хотелось, но соблазн был слишком велик. «Я знаю заранее, что буду чувствовать себя прескверно», — писал он. И снова: «Что это будет за наказание, если все-таки придется поехать! Подумать страшно!» Но — «вознаграждение выглядит таким огромным...» Американские издатели теперь вели себя по отношению к нему безупречно. «Гарперс» покупал сигнальные экземпляры каждого выпуска «Повести о двух городах» и «Нашего общего друга», печатая их одновременно с английским изданием. Другой американский издатель заплатил ему тысячу фунтов за рассказ «Затравленный», и, кроме того, ему предстояло еще получить по тысяче фунтов за два других только

что законченных рассказа: «Любовь на каникулах» и «Джордж Сильвермен объясняет». Эти рассказы, так же как и его «Рождественские повести» (одна из которых — «Рецепты доктора Мэригоулда» — пользовалась среди читателей большой популярностью), служат убедительным доказательством того, что таланту Диккенса тесно в рамках рассказа. Впрочем, быть может, литературный обозреватель газеты «Таймс» был чересчур суров, назвав «Сверчка на печи» «жалким лепетом гения, преждевременно впавшего в детство». Из всех рождественских рассказов ценность представляет собою только «Рождественская песнь» — из-за Скруджа. Большинство других является воплощением всех его слабостей и недостатков, всего, что ставит его на одну доску с другими, и поэтому менее всего заслуживает внимания: здесь и его слезливая сентиментальность, его нездоровый интерес к преступному миру и не по возрасту наивная игривость, от которой становится очень тоскливо на душе. Если бы творчество Диккенса ограничилось ими, он был бы уже давно забыт. Достоинства и недостатки человека всегда видны в его работе; главное достоинство книг Диккенса — их юмор и жизнерадостность, то есть лучшее, что было в нем самом.

Уиллс и Форстер всеми силами уговаривали Диккенса не ездить в Америку. Тем не менее в 1868 году он послал в Соединенные Штаты своего импресарио Долби, чтобы выяснить, что на самом деле сулят ему гастроли за океаном. Когда в Америке узнали, что вопрос стоит серьезно, многие американцы стали отговаривать Диккенса, напоминая ему об опасностях, о враждебном отношении к нему и его стране, о хулиганских выходках ньюйоркцев, и так далее, и тому подобное. Диккенс читал все эти советы наедине, не обмолвился о них ни одной живой душе и пропустил мимо ушей заявление «НьюЙорк геральд» о том, что «Диккенсу прежде всего следует извиниться перед нами». Возвратился Долби, весь переполненный Америкой, радужными надеждами и сообщениями о блестящих возможностях. На Диккенса все это, несомненно, произвело впечатление. Он и самому себе не признался бы в том, что на самом деле жаждет свежих ощущений, новых творческих побед, небывалого успеха на сцене. Он прекрасно знал — и даже писал, — что мог бы ничуть не хуже заработать и оставаясь на родине, выступая с чтениями перед английской аудиторией.

Порядка ради нужно было посоветоваться с Форстером, и, несколько не сомневаясь, что Форстер посоветует ему не ехать, Диккенс все-таки отправил к нему Долби. Форстер, по странной случайности, как раз оказался в Россе-на-Уае, родном городе Долби; туда-то и направился импресарио. Свидание было не из приятных. Подснап бушевал. Он



взобрался на трибуну и начал стирать с лица земли все, что было ему не по вкусу. Конечно, он был прав, возражая против этой затеи, но доводы, которые он приводил, были нелепы, а манера излагать их могла вызвать лишь раздражение. Америка, видите ли, не нравилась ему потому, что там плохо принимали его друга Макриди. У американцев, утверждал он, нет денег. Но даже если и есть, Диккенс их не получит. А если и получит, то их у него украдут в гостинице. Если же он ухитрится поместить их в банк, банк, назло ему, лопнет. Долби рассчитал, что эти гастроли принесут Диккенсу пятнадцать тысяч фунтов? Чепуха! Там нет таких больших залов. Но даже если залы и найдутся, все равно население Америки слишком малочисленно, чтобы обеспечить такие сборы. А если оно и не малочисленно, то, уж конечно, придут лишь немногие. Да и сама мысль о том, чтобы пополнить свое состояние так быстро и такими методами, недостойна Диккенса и вообще любого талантливого человека. Читать для публики! Какое унижительное занятие! И разве янки не присваивали диккенсовских гонораров, печатая у себя его книги бесплатно? Так почему бы им не поступить точно так же с его сборами? Продолжать разговор бесцельно. Он, Форстер, твердо решил, что его друг никогда больше не поедет в Америку. «Сегодня же вечером напишу Диккенсу, что я категорически возражаю против поездки и что он должен от нее отказаться». Затем Долби было указано на дверь. Пришлось Диккенсу самому поехать в Росс в надежде (очень слабой) настроить друга хотя бы чуточку менее непримиримо. Напрасно — Форстер не поддавался уговорам. Но тут нашла коса на камень: Диккенс тоже оказался непоколебим. И 30 сентября 1867 года из Росса в Бостон на имя Долби пришла телеграмма: «Еду. Готовьтесь».

В это же время Диккенс вместе с Коллинзом писал для «Круглого года» рождественский рассказ «Проезд закрыт», Фехтер, прочитав рассказ в гранках, объявил, что из него выйдет отличная пьеса, и Диккенс перед самым отъездом в Америку набросал вместе с ним план пьесы, предоставив Коллинзу писать текст. Пьеса была поставлена во время его отсутствия и шла с большим успехом. 2 ноября в Масонском зале в его честь был устроен прощальный банкет под председательством лорда Литтона, и 9 ноября он уехал из Ливерпуля в Бостон — теперь уже без «своей дамы», которой только что написал в последний раз:

«Милая Кэтрин!

Я был рад получить твое письмо и твои добрые пожелания. Прими и ты мои. Меня ждет тяжелая и напряженная работа, но в

моей жизни это не ново; я не ропщу на судьбу и делаю свое дело.  
Искренне твой *Чарльз Диккенс*»

Итак, Кэт пожелала ему доброго пути. А еще раньше, после стейплхерстской катастрофы, она послала ему сочувственную записку. «Благодарю за письмо», — официально ответил он и рассказал о том, что пережил во время крушения. Приблизительно год спустя ей нужно было посоветоваться с ним о чем-то насчет своего дома, и он попросил Джорджину ответить. «Я никогда не войду в ее дом и твердо решил иметь с ней как можно меньше общего (что не мешает мне во всем прочем сохранять к ней добрые чувства)». Мать десяти его детей встретила этот новый удар спокойно и с достоинством, утешаясь мыслью о том, что, судя по его письмам, он все еще любил ее, когда родился их младший сын.

## Один

КОГДА человек задумал что-то сделать или, наоборот, не делать, у него всегда найдется множество причин и для того и для другого. Диккенс приводил бесконечное количество доводов в пользу своего американского турне, и каждый раз решающим были деньги. Но он не обмолвился ни единым словом об истинной цели своей поездки: блеснуть перед американцами своим актерским дарованием, ослепить их виртуозным исполнительским искусством и вернуть себе былую популярность, которой так сильно повредил «Мартин Чезлвит». Ему хотелось поразить Америку и заставить ее еще заплатить ему за это, превратить неприязнь в восхищение, гнев — в обожание. И он действительно добился феноменального успеха, но неслыханно дорогой ценой.

А пока что корабль «Куба» попал посреди Атлантического океана в штормовую полосу, и на борту его произошел один из тех эпизодов, о которых Диккенс так любил рассказывать (именно такие маленькие истории, как мы уже знаем, и были главным содержанием его застольных бесед). Было воскресенье, и человек семьдесят пассажиров собрались в салоне на молебен. Внезапно двустворчатая дверь широко распахнулась, и взорам собравшихся явились два официанта, поддерживающие под руки пастора, — «в точности, как боксер, которого ведут на ринг» или пьяница по дороге в полицейский участок. Корабль швыряло во все стороны, но качка не мешала Диккенсу наслаждаться происходящим:

«Официанты выжидают удобного момента и стараются удержать преподобного отца, которого сносит назад. Преподобный отец, упрямо склонив голову, сопротивляется и, кажется, твердо решил возвратиться вниз, но официанты полны не менее твердой решимости доставить его к кафедре, стоящей посреди салона. Кафедра — переносная — скользит вдоль длинного стола, нацеливаясь прямо в грудь то одного, то другого прихожанина. Тут двустворчатая дверь, которую другие официанты успели аккуратно закрыть, снова распахивается, и в салон вваливается пассажир-мирянин, помышляющий, судя по всему, лишь о кружке доброго пива. Он ищет взглядом приятеля, зовет: «Джо!» — и, догадавшись о том, что его присутствие здесь неуместно, бормочет: «Хэлло! Очень извиняюсь!» — и вываливается обратно. Прихожане меж тем разделились на секты, как это часто бывает во всяком уважающем себя приходе, и каждую секту по очереди уносит в угол, где она с размаху наезжает на секту малодушных,

которую унесло туда еще раньше. Вскоре раскол в каждом углу доходит до предела, качка — тоже. Официанты, наконец, делают рывок вперед, эскортируют преподобного отца до стоящей посреди салона мачты, которую он обнимает обеими руками, и выкатываются за дверь, предоставив ему вести переговоры со своею паствой в вышеуказанном положении... Комизм ситуации не поддается описанию, — заключает Диккенс, — и усугубляется непроницаемо-серьезным видом всех действующих лиц. Я был вынужден удалиться, пока не началась служба».

Капитан «Кубы» оказался человеком сдержанным и флегматичным, но Диккенс пустил в ход свое умение будить в людях общительность, и после прощального обеда для пассажиров капитан произнес речь, и пел дуэты, и исполнил целый ряд сольных номеров, поразив офицеров своего экипажа, не подозревавших за ним таких талантов. «Растормошив капитана, я, кажется, заслужил на этих дальних берегах столь лестную репутацию... какой доныне не смог добиться ничем, — писал Диккенс. — Боюсь, как бы сей подвиг не затмил собою все мои выступления».

Приехав в Бостон, он увидел, что его комнаты в гостинице «Паркер-хаус» наполнены цветами и книгами. Об этом позаботилась миссис Филдс, жена американского издателя Дж. Т. Филдса. Супруги Филдс делали все, что было в их силах, чтобы скрасить пребывание Диккенса в Америке. Несмотря на бесчисленные приглашения, Диккенс не останавливался и не обедал ни в одном частном доме, сделав исключение только для Филдсов, остановившись у них во время одного из своих визитов в Бостон. У них в доме он встретился с Лонгфелло, Эмерсоном и Оливером Уэнделлом Холмсом<sup>[197]</sup>. Миссис Филдс вела дневник, а ее муж впоследствии написал о Диккенсе книгу, и в обоих этих источниках содержится немало интересных подробностей об их знаменитом госте. Начал он с того, что отказался от вина за столом и от послеобеденной сигары, сказав, как будто речь шла о времени года, что, когда наступают чтения, он не пьет и не курит. Уэнделл Холмс однажды заговорил о том, как трудно найти подход к провинциальной публике, и вспомнил, что однажды во время своей лекции заметил в зале только одно оживленное лицо — это было лицо его квартирной хозяйки. «Вероятно, — вставил Диккенс, — она увидела, что на этот раз сборы окажутся достаточными и вы сможете расплатиться с нею». Это была отличная реплика «под занавес»; не дожидаясь, пока смолкнет смех, Диккенс вскочил и пожелал собравшимся спокойной ночи. На одном из его выступлений побывал Эмерсон, невозмутимый Эмерсон, который стонал от смеха, слушая, как читает Диккенс. «Этот гений, — сказал он потом миссис Филдс, — слишком талантлив. Его талант как чудовищная

машина, к которой он так крепко привязан, что не может ни освободиться, ни отдохнуть от нее. Вам он, очевидно, представляется в совершенно неверном свете. Вы пытаетесь убедить меня в том, что он добродушное существо, симпатичное, мягкое, возвышенное и не придающее серьезного значения своим талантам. А я боюсь, что он всецело в их власти. Это артист до мозга костей, откуда тут взяться естественности? Он меня пугает! Я не могу найти к нему ключа». Но миссис Филдс, по-видимому, думала, что может. Во всяком случае, она написала в своем дневнике: «Мы сыграли удивительную партию в карты — нет, мало сказать удивительную, здесь было что-то большее... Я даже забыла, что боюсь его».

Порой в доме Филдсов заходил разговор о литературе, и Диккенс говорил о своих любимых писателях и их книгах: о Кобэтте<sup>[198]</sup>, де Квинси<sup>[199]</sup>, «Французской революции» Карлейля и «Лекциях по этике» Сиднея Смита; о том, что предпочитает Смолетта Филдингу, «Перегрину Пикля» — «Тому Джонсу». «Ни один человек, — сказал он о Томасе Грее, — еще не отправлялся в гости к грядущим поколениям с такой маленькой книжонкой под мышкой». Он был на короткой ноге с Шекспиром и всегда умел вовремя и со знанием дела перевернуть какую-нибудь цитату из него. «...Уж близок час мой<sup>[200]</sup>, когда к мучительному сернистому газу вернуться должен я<sup>[201]</sup>», — произнес он как-то, отправляясь на очередное чтение. Говоря о спиритизме, он страшно сердился, что люди могут верить подобному вздору. Но о себе и собственных книгах он говорил неохотно. Он никогда не отменял своих выступлений и читал, даже когда бывал серьезно болен. Однажды Филдс заявил, что за одно это героическое поведение поставил бы Диккенсу памятник. «Не нужно, лучше снесите какой-нибудь старый», — отозвался гость. Только изредка, гуляя вместе со своим хозяином, он мог вскользь вспомнить кого-нибудь из своих героев: «Смотрите, какой-то Памблчук направляется через дорогу к нам навстречу. Как бы удрать!» Или: «Вон идет мистер Микобер! Повернем обратно, чтобы не попадаться ему на глаза». Но чаще всего он рассказывал о смешных происшествиях, о человеческих странностях, о преступниках. «Воображаю, как трудно выбрать тему для разговора с человеком, которого через полчаса должны повесить, — заметил он однажды. — Допустим, идет дождь. Ведь не скажешь ему: «Завтра будет прекрасная погода». Ему-то что за дело! Я бы, наверное, поболтал с ним о новостях эпохи Юлия Цезаря или короля Альфреда!»<sup>[202]</sup> Когда турне близилось к концу, у него обострился воспалительный процесс в ноге и хронический насморк, но, несмотря на это, он был в отличном настроении. Миссис Филдс пишет, что

лишь однажды видела его раздраженным: когда Долби сказал ему, что пришли какие-то два джентльмена и спрашивают, можно ли им войти. «Нет, черт побери, нельзя!» — воскликнул Диккенс, вскочив со стула. Миссис Филдс казалось удивительным, что столько людей предубеждены против него: «Редко услышишь, чтобы о нем говорили справедливо. Люди как будто не могут простить ему того, что он всегда внушал к себе больше любви, чем другие».

Но этому не стоило особенно удивляться; ведь зависть — не только самое низменное, но и самое распространенное чувство.

Повсюду, особенно в больших городах, возникали серьезные осложнения с продажей билетов. Вечером накануне дня продажи у входа начинала собираться толпа. Те, кому не хотелось дрожать целую ночь от холода, посылали в очередь своих слуг или клерков. Ранним утром улица выглядела так, как будто на ней происходит гигантский пикник. Мужчины, женщины, мальчишки сидели на стульях, лежали на матрасах или прямо на земле, завернувшись в одеяла, и у каждого была с собой закуска и бутылка с питьем. Для бодрости духа очередь пела песни: о Джоне Брауне и «Мы домой не пойдем до утра». В Нью-Йорке очередь галдела, ревела и горланила песни на лютном морозе всю ночь напролет, совсем как тот сброд, который от заката до рассвета бесновался, бывало, у ворот Оулд Бейли накануне публичной казни. Когда открывалась касса, все устремлялись вперед, стараясь пролезть без очереди; тот, кто стоял сзади, оказывался впереди, и завязывалась кровавая потасовка. Но вот на месте происшествия появлялись полисмены (полицию заранее предупреждали о том, что возможны беспорядки) и, усердно орудуя дубинками, наводили порядок. Теперь уже улица напоминала поле брани после кавалерийской атаки. Все это происходило так регулярно, что казалось в порядке вещей. Диккенсовского импресарио Долби поставило в затруднительное положение совсем другое — спекуляция. В одни руки полагалось продавать не более шести билетов. Вначале спекулянты скупали двухдолларовые билеты, предлагая по двадцати шести долларов за штуку. Потом, увидев, как велик спрос, они стали нанимать людей и ставить их в очередь. Таким образом, наиболее оборотливым мошенникам удавалось набирать до трехсот билетов по номинальной стоимости и перепродавать их по баснословным ценам. Стоило им только пронюхать, где и когда назначено чтение, как они слетались отовсюду, подобно саранче, открывали свои «кассы», и начиналась бойкая торговля. Люди, которые не могли позволить себе платить по пятьдесят долларов за пятидолларовый билет, стали думать, что все подстроил импресарио Диккенса, решивший взвинтить

цены на билеты, и скоро «во всей Америке не стало человека, которого так проклинали и ненавидели бы, как Долби». Уже под конец гастролей Долби обнаружил, что один из его же работников, приехавших с ним из Англии, не только спекулировал сам, но был подкуплен мошенниками со стороны. Его, конечно, уволили, но дело было не в нем, а в богатых американцах, готовых заплатить своим предприимчивым соотечественникам любые деньги за то, чтобы послушать Диккенса.

Джорджа Долби Марк Твен однажды окрестил «неунывающей гориллой». Это был простецкий малый, циник, как говорится, «душа-человек» — шумный, энергичный и честный. Долгие годы он занимался организацией и проведением концертов, лекций, театральных гастролей — одним словом, самых разнообразных зрелищ, праздников и аттракционов. Из всех знаменитых людей, с которыми ему пришлось иметь дело, он был самого высокого мнения о Диккенсе, утверждая, что никогда еще не встречал такого непринтливового, веселого, практичного и добродушного человека. В самом захудалом городишке, самой скверной гостинице Диккенс никогда не жаловался, не корчил из себя важную персону, стараясь обратить все в шутку и безропотно мирясь с неудобствами. Он никогда не приказывал и, если ему что-нибудь было нужно, говорил: «Может быть, лучше сделать так-то, как вы думаете?» Если Долби обращался к нему по какому-нибудь незначительному вопросу, он чаще всего отвечал: «Делайте, как знаете, и не приставайте ко мне». Он очень привязался к Долби, бдительно охранявшему своего хозяина от всевозможных поклонников и просителей и нянчившемуся с ним во время болезни, как с младенцем. Говорил Долби громко, не заботясь о красотах слога и не слишком стесняясь в выражениях. Слушая его, Диккенс забавлялся от души. «И где это вас угораздило подцепить такое словечко?» — спросил он, когда Долби объявил ему, что кто-то его «обставил». Импресарио отнюдь не страдал излишней предупредительностью. Редактор одной бостонской газеты обратился к нему с просьбой поместить в его газете объявление о гастролях, обещая за это напечатать любое сообщение, какое Долби пожелает. Ни на обещание, ни на просьбу Долби не обратил ни малейшего внимания. В результате редактор все-таки поместил в своей газете сообщение, но уже из совсем другого источника: «Тип, именующий себя Долби, напился вчера пьяным где-то в городе и учинил драку с каким-то ирландцем, за что был отправлен в полицейский участок». Другая газета — нью-йоркская — советовала: «Пора, давно пора этому олуху Долби удалиться во мрак неизвестности, откуда он вылез на время». Диккенс рассказывал, как его импресарио однажды «приветствовала» очередь

билетных спекулянтов: «В Бруклине<sup>[203]</sup> стоял такой холод, что они развели на улице огромный костер. Улочка была узенькая, застроенная деревянными домами. Вскоре прибыли полицейские и стали тушить костер. Завязалась всеобщая потасовка, и те, кто стоял в хвосте очереди, воспользовавшись моментом, рванулись вперед и, оттеснив тех, кто стоял ближе к дверям, побросали свои матрасы на отвоеванные места и крепко уцепились окровавленными руками за железные прутья ограды. В восемь утра появился Долби с чемоданчиком, в котором он носит билеты, и его тотчас же встретили оглушительным ревом: «Эге-ей! Долби! Так, значит, Чарли дал тебе прокатиться в своей коляске? А, Долби? Ну, как он там, Долби? Эй, Долби, смотри не растеряй билеты! Да поворачивайся же, Долби!» — и так далее и тому подобное. И Долби в этом содоме приступил к делу, завершив его (как обычно) ко всеобщему неудовольствию».

Первое чтение состоялось 2 декабря в Бостоне и прошло с небывалым успехом. «Творится нечто неопишное. Весь город охвачен повальным безумием... Везде только и говорят о концертах и ни о чем другом не желают слушать. Все сходятся во мнении, что подобного фурора здесь еще не вызывал никто». Через несколько дней Диккенс мог бы уже с полным основанием похвастаться, что каждое чтение приносит ему пятьсот долларов, а ведь в те дни семь долларов были равны фунту стерлингов. Из Бостона он направился в Нью-Йорк, где остановился в отеле «Вестминстер» («Ирвинг-Плейс»). Тут во время его пребывания в Штатах помещалась его штаб-квартира. «Нью-Йорк не узнать. Он разросся, стал огромным. Здесь все имеет такой вид, как будто вопреки законам природы все вещи не ветшают, а становятся все более новыми». В Нью-Йорке очереди за билетами приняли фантастические размеры. К девяти часам утра у кассы собиралось более пяти тысяч человек, и официанты из ближайших ресторанов обносили очередь завтраками. Сначала жители Нью-Йорка были несколько смущены, услышав, что их любимые герои говорят с английским акцентом. Но охладить пыл ньюйоркца не так-то просто, и ни один человек, будь он Барбиджем<sup>[204]</sup>, Беттертоном<sup>[205]</sup>, Гарриком и Кином в одном лице, не мог бы добиться здесь большего успеха. Диккенс отметил, что со времени его первого приезда «здесь многое сильно изменилось к лучшему — люди научились владеть собою и вести себя подобающим образом. К сожалению, в общественной жизни я пока что не заметил существенных сдвигов». За то время, что он находился в Нью-Йорке, в отеле часто случались пожары: «впрочем, пожары в этой стране — дело обычное, будничное». Первый раз, узнав, что в отеле пожар, Долби



поднялся наверх предупредить Диккенса и увидел, что «шеф» собрался лечь спать.

— В чем дело? — спросил Диккенс.

— Отель горит.

— Я знаю.

— Знаете? Откуда?

— По запаху. Ну, что будем делать?

— Не представляю себе.

— А где именно горит?

— Точно никто не знает, но думают, что где-то в том крыле.

— А когда, по-вашему, огонь дойдет сюда?

— Судя по всему, утром, что-нибудь ближе к завтраку. Горит уже часов пять-шесть.

Диккенс оделся, велел своему камердинеру Скотту собрать книги и платье, нужные для выступлений, рассовал по карманам ценности и документы и в сопровождении Долби спустился в бар, где уже собрались другие обитатели отеля в самых разнообразных и немыслимых костюмах. Источник пожара был в конце концов обнаружен, и в два часа утра вся эпопея завершилась возлияниями «погорельцев» в номере Диккенса.

Зима в том году выдалась на редкость суровая, и у Диккенса начался катар дыхательных путей, от которого он так и не смог избавиться до самого конца своего турне. Четыре месяца он превозмогал болезнь, четыре месяца его мучали удушающий кашель, насморк, шумы в голове, бессонница, обмороки, но стоило ему подняться на подмости и начать читать, как все недуги мгновенно исчезали. Иногда ему бывало днем так плохо, что казалось невероятным, чтобы этот человек мог вечером появиться на эстраде. Однако к началу выступления он каким-то чудом оказывался в отличной форме: проходила хрипота, в голове прояснялось, температура падала — он ни разу не подвел своих многочисленных слушателей. Он никогда не навязывал своих неприятностей другим и на людях держался так, как будто был совершенно здоров. Однажды врач сказал ему, что он слишком слаб и не должен выступать, так как напряжение может оказаться для него непосильным. «Если человек в состоянии встать с постели, — ответил Диккенс, — он уже не имеет никакого права срывать свою встречу с публикой». Однако он все-таки решил отменить свою поездку по Канаде и западным штатам. Ему сказали, что если он отменит свое выступление в Чикаго, то с публикой случится удар. «Пусть уж лучше с ними, чем со мною», — ответил он. Узнав о его решении, некоторые чикагские газеты сообщили, что его брат Огастес,

умерший в Чикаго в 1866 году, оставил вдову в крайней бедности, и намекали, что Диккенсу следовало бы облегчить ее участь, даже если он не желает встретиться с нею. Диккенс был вынужден заявить на страницах печати, что он уже содержит одну вдову Огастеса — официальную, ту, что живет в Англии. Он мог бы еще добавить, что его племянник, сын Огастеса — Бертрам, получает от него ежегодно пятьдесят фунтов стерлингов.

В течение нескольких недель ему приходилось читать то в Бостоне, то в Нью-Йорке, и поездки туда и обратно отнюдь не способствовали его выздоровлению. В душных вагонах с наглухо закрытыми окнами ему становилось совсем плохо, да и порядка на железных дорогах было меньше, чем двадцать пять лет назад. «По пути мы переезжаем через две реки, и каждый раз весь состав с лязгом и грохотом въезжает на огромный паром. По реке ходят волны, паром качает (на железных дорогах этого, как известно, не случается). Потом с тем же лязгом и грохотом состав либо подтягивают вверх, либо скатывают вниз. Вчера на одной такой переправе нас подтянули на такую высоту, что лопнул канат, и один вагон покатился назад, на паром. Я мгновенно выскочил из вагона и за мною еще два-три пассажира, но остальные и в ус не дули. С багажом обращаются совершенно варварски. Почти все мои упаковочные ящики уже разбиты. Вчера, накануне отъезда из Бостона, я, к неописуемому изумлению, увидел, что мой костюмер Скотт с багровой физиономией стоит, прислонясь к вагону, и горько рыдает. Оказывается, мой письменный стол разбили вдребезги. А между тем перевозка багажа организована отлично, и все было бы хорошо, если бы не вопиющая небрежность носильщиков».

Воспользовавшись его пребыванием в Америке, театры начали лихорадочно переделывать его произведения для сцены и ставить их во всех больших городах; но финансовые дела Диккенса шли так блестяще, что он и не думал протестовать. «Мой импресарио повсюду таскает с собой огромный узел, похожий на диванную подушку, — это бумажные деньги. В день его отъезда в Филадельфию это уже была не подушка, а настоящий тюфяк». В середине января 1868 года Диккенс приехал в город квакеров, поразив репортеров своим «необыкновенным спокойствием». «Им, как видно, трудно пережить тот факт, что, когда я выхожу на эстраду, у меня не подгибаются колени при виде грандиозного зрелища, свидетельствующего о величии их нации. Здесь привыкли все устраивать с треском, с барабанным боем, и часто, пока я не открываю рот, никто не может поверить, что я и есть Чарльз Диккенс. Вот если бы кто-нибудь сначала взлетел на сцену, произнес торжественную речь, посвященную мне, затем спорхнул вниз и ввел бы меня под локоток, — тогда другое дело». Почти на

каждой витрине города был установлен его портрет, так что на улицах его сразу узнавали и порой поворачивали вслед за ним, чтобы обогнать его и разглядеть как следует, но никто не заговаривал с ним — не то что в 1842 году.

Вернувшись в НьюЙорк, он четыре раза выступил в бруклинской церкви Уорда Бичера, а затем поехал в Балтимор, где, нарушив установленное им для себя правило, был на обеде у своего старого друга Чарльза Самнера<sup>[206]</sup>. Единственным гостем, кроме Диккенса, был его большой поклонник — военный министр Соединенных Штатов Эдвин М. Стэнтон, который рассказал ему о том, что произошло во время последнего заседания совета министров при президенте Линкольне. День своего рождения Диккенс отпраздновал в Вашингтоне, где ему прислали столько корзин и букетов, что вся его комната утопала в цветах. Президент Соединенных Штатов Эндрю Джонсон<sup>[207]</sup> дважды обращался к нему с просьбой выбрать время для визита в Белый дом, и утром 7 февраля, в день своего рождения, Диккенс явился к президенту. «Мы смотрели друг на друга во все глаза, и каждый старался сделать встречу как можно более приятной для другого. По-моему, нам это удалось». Во второй половине дня его хронический катар резко ухудшился; у него пропал голос, и Самнер, застав его в постели, обложенного со всех сторон горчичниками, спросил: «Но уж, во всяком случае, сегодня-то, мистер Долби, он, разумеется, не будет читать?» На что Долби ответил: «Сэр, я сегодня уже четыре раза говорил это дорогому шефу. Я и сам ужасно боюсь за него. Но вы не можете представить себе, как он меняется, сев за свой столик на сцене». Да, и на этот раз к моменту выступления с Диккенсом произошла обычная метаморфоза. После концерта вся публика, в том числе президент со своей семьей, министры, члены верховного суда, послы и прочие важные персоны, вскочила с мест и стоя аплодировала, пока он не вернулся и не произнес коротенькую речь, после которой женщины забросали его букетами, а мужчины — бутоньерками.

В конце февраля стало известно, что президенту Джонсону предъявлено обвинение в государственном преступлении за то, что он снял Стэнтона с поста военного министра без согласия сената. Страну немедленно охватило повальное безумие: люди ни о чем не говорили, кроме политики, и никуда не ходили, кроме политических митингов. В ожидании, пока американцы хотя бы частично вернут себе способность здраво рассуждать, Диккенс отменил несколько своих выступлений и взялся судить на состязании по спортивной ходьбе на тринадцать миль

между Долби и Джеймсом Осгудом (сотрудником издательской фирмы «Тикнор и Филдс»). Победил американец, и это событие было отмечено праздничным обедом. Во время этого вынужденного перерыва Диккенс все-таки выступил в городе Провиденсе. Его встречала многотысячная толпа, следовавшая за ним от вокзала до самой гостиницы. «Такое чувство, как будто нас ведут в полицейский фургон на Бау-стрит»<sup>[208]</sup>, — заметил Диккенс своему импресарию, поднимаясь по ступенькам отеля между плотными рядами горожан.

Перед самым началом поездки по западным городам над страной пронесли ураганы. Везде заговорили о наводнениях, но Диккенс, понадеявшись на то, что «у страха глаза велики», в начале марта все-таки отправился в Сиракузы и Рочестер. После заключительного концерта в Буффало он устроил для своего персонала маленькие каникулы, поехав вместе с ними на два дня на Ниагарский водопад. Это зрелище снова произвело на него такое же впечатление, как и впервые: «Сквозь облака мельчайших брызг долина, величественно раскинувшаяся под водопадами, казалась сотканной из лучей радуга... Меня как будто унесло с этой земли, и предо мной открылись небеса... Смотришь и чувствуешь, как слетает с тебя «кольчуга брэнной плоти...». Он часами ходил по снегу, и у него опять распухла и заболела левая нога, и теперь к его прочим недугам прибавилась хромота. Из-за наводнения им пришлось задержаться в Ютике. Единственная гостиница была переполнена, но для Диккенса все же как-то ухитрились найти комнату, и сюда по его приглашению собирался к столу весь его персонал. За ночь вода немного схлынула. «И вот мы двинулись по воде со скоростью четыре-пять миль в час. Вокруг затопленные фермы, амбары, плывущие по волнам, как ноевы ковчеги, безлюдные деревни, разрушенные мосты и другие признаки бедствия. Вечером я должен был выступать в Олбани, и все билеты были проданы. Начальник спасательных работ, очень дельный малый, заявил мне, что если кто-нибудь и может меня «доставить до места», так только он, а уж если и он не сможет, значит это вообще выше человеческих сил. Затем откуда ни возьмись явилась сотня молодцов в сапогах-сорокоходах и принялась орудовать длинными шестами, сталкивая с путей глыбы льда. Следуя за этой кавалькадой, наш поезд, наконец, добрался до суши и прибыл как раз вовремя, так что я успел прочесть и «Рождественскую песнь» и сцену суда — с полным триумфом... Чтобы Вы ясно представили себе, какое это было наводнение, достаточно сказать, что по дороге мы сняли пассажиров с двух составов, в которых еще за сутки до этого вода залила паровозные топки. Мы выпустили из стоявших в воде товарных вагонов овец и другой рогатый скот. Я не знаю,

сколько они просидели в этих вагонах — во всяком случае, овцы уже начали поедать Друг друга...» Из Олбани Диккенс направился в Спрингфилд, а оттуда — в Вустер, Ньюхейвен, Хартфорд, Нью-Бедфорд и Портленд, завершив свое турне прощальными выступлениями в Бостоне и Нью-Йорке. Посетив бостонский приют для слепых, он распорядился о том, чтобы во всех подобных приютах Америки была за его счет напечатана специальным шрифтом «Лавка древностей».

Приехав на восточное побережье в конце марта, он был уже на грани полного изнеможения, хотя ни одна живая душа не догадывалась об этом. «Я почти дошел до точки. — писал он Форстеру. — Климат, расстояния, катар, поездки и напряженная работа — все это начинает сказываться на мне очень тяжело... Изводит бессонница. Если бы выступления были назначены еще и на май, я бы, кажется, не выдержал. Никакими силами не удастся заставить людей понять, что человек, которому твердость духа (а также винный дух) помогают каждый вечер быть на высоте положения, может с минуты на минуту сорваться». У него пропал аппетит, и теперь его дневной рацион был таков: в семь часов утра — стакан свежих сливок и две столовые ложки рома, в полдень — коктейль шерри-коблер и одно печенье; в три часа дня — пинта шампанского, перед выступлением — рюмка хереса с сырым яйцом, в антракте чашка горячего, крепкого бульона и после десяти часов вечера — суп и что-нибудь спиртное. «За целые сутки я не съедаю и полфунта твердой пищи». Ежедневно с двух часов ночи и до пяти-шести часов утра его мучал непрерывный кашель. «Вчера вечером, — писал он 29 марта из Портленда, — я выпил опийной настойки. Это единственное, что как-то мне помогает. Правда, сегодня утром меня из-за нее тошнило». В его письмах больше ничего не говорится о снотворных, но было бы странно, если бы, страдая от бессонницы, он пренебрег столь верным средством. К концу турне он хромал на обе ноги, и на прощальных концертах в Бостоне Долби стал провожать его на сцену и уводить с нее. «Долби нежен, как женщина, и бдителен, как врач. Во время выступлений он теперь не расстается со мною: сидит на краю сцены и не сводит с меня глаз ни на минуту. Не считая Джорджа-осветителя, он самый верный и надежный из всех, кто когда-либо работал у меня». После каждого выступления, бледный как полотно, он в полном изнеможении падал на кушетку в своей уборной и подолгу лежал, запрокинув голову и постепенно приходя в себя. «Вы не можете вообразить, какого труда мне стоит заставить себя переодеться после того, как все кончилось», — сказал он как-то одному своему знакомому.

Он закончил гастроли в Нью-Йорке, и эти заключительные чтения

чуть было не прикончили его самого. Накануне последнего выступления Долби старался приободрить его немного, напомнив о всех его триумфах и о том, что скоро он будет на родине. «Дело зашло слишком далеко, — ответил Диккенс. — Я так измучен, что ничего не ощущаю, кроме своей усталости. Поверьте, что, если бы мне еще предстояло выступить не один раз, а два, я бы не смог». Долби остолбенел: это был первый случай, когда «шеф» признал себя побежденным.

18 апреля ассоциация «НьюЙорк пресс» устроила в ресторане «Дельмонико» банкет в его честь под председательством Ораса Грили<sup>[209]</sup>. Диккенс опоздал на час — и это с его фанатическим пристрастием к пунктуальности! Нетрудно представить себе, какие мучения он испытывал и чего ему стоило все-таки прийти. Ему помогли подняться по лестнице, и, когда, хромя и тяжело опираясь на руку Грили, он вошел в зал, все увидели, что его правая нога забинтована и что он страдает, хоть и пытается это скрыть. Во время банкета он сказал, что повсюду его принимали «исключительно вежливо, любезно, доброжелательно, гостеприимно и предупредительно, всегда считаясь с тем, что по характеру деятельности и состоянию здоровья я был вынужден все время хранить уединение. Я торжественно заявлю об этом в специальном предисловии к двум книгам, посвященным мною Америке. Пока я буду жив и пока мои наследники сохраняют хоть какие-то законные права на мои книги, каждое новое издание будет сопровождаться этим предисловием». Он говорил об огромных изменениях, которые произошли в стране за последнюю четверть века. «Эти звезды и полосы, развевающиеся на ветру, трогают сердце англичанина, как ни один другой флаг, кроме флага его родины». Закончил он свою речь пожеланием, свидетельствующим о том, что он куда более зорко смотрел в будущее, чем любой из его современников: «Пусть нашу планету расколется землетрясение, сожжет комета, покроют ледники, заселят полярные лисы и медведи — все будет лучше, чем видеть, как снова поднимутся друг против друга две великие нации, с такой отвагой сражавшиеся за свободу — каждая в назначенный ей час, каждая по-своему — и добившиеся победы!» Он чувствовал себя так плохо, что был вынужден рано покинуть банкет, а неделю спустя уже плыл в Ливерпуль на пароходе, название которого — «Россия» — вряд ли могло снова напомнить ему о странах, сражающихся за свободу. Какой поразительной жизнеспособностью обладал этот человек! Три дня на море — и хромоты как не бывало, катар прошел, бессонница — тоже, зато появился волчий аппетит. Правда, когда пассажиры спросили, не прочтет ли он им что-нибудь, он ответил, что скорее согласится «устроить покушение на жизнь

капитана и провести остаток своих дней на каторге». К тому времени, как пароход подошел к берегам Англии, у Диккенса был такой цветущий вид, что его врач «совсем пал духом», взглянув на него. «Господи, боже мой! — с ужасом молвил он, отшатнувшись от меня. — Он выглядит на семь лет моложе!»

Итоги американского турне — если не считать того, что оно едва не отправило Диккенса на тот свет, — были превосходны. За двадцать недель он выступил семьдесят шесть раз, израсходовав около тринадцати тысяч шестисот фунтов, получив почти двадцать тысяч чистого дохода и снискав себе еще более громкую славу. Любому другому этого было бы достаточно, но Диккенс не мог ни почить на своих лаврах, ни удовольствоваться заработанными долларами.

НА РОДИНЕ его встречали с королевскими почестями. Каждый дом от Грейвсвенда до Гэдсхилла был украшен флагами, а на дорогу, по которой он ехал домой, вышли фермеры со всей округи. Гэдсхилл утопал в цветах и флагах, и, когда в воскресенье он возвращался из церкви, хайемские звонари провожали его благовестом до самого дома. Нет на свете ничего прекраснее, чем Англия в майские дни, кроме, пожалуй, Англии в апреле, июне, сентябре и октябре. После Америки родина показалась Диккенсу раем. Он работал в своем шале, а вокруг распевали птицы, бабочки залетали в окна и порхали по комнате, мягко шелестели листвой деревья, и на поля причудливым узором ложились легкие тени облаков.

Но долго ли мог такой человек высидеть в раю! Его манил и ад — недаром же в нем самом было что-то бесовское! С Уиллсом произошел несчастный случай на охоте; он получил сотрясение мозга и навсегда потерял трудоспособность. Уилки Коллинз, помогавший ему, пока Диккенс был в отъезде, и печатавший в «Круглом годе» свой «Лунный камень», не проявил особого желания заниматься редакционными делами. В результате, помимо редакторских обязанностей, все чисто деловые вопросы также перешли в ведение Диккенса, и ему пришлось с самых азов учиться руководить большим предприятием. Затем предстояло заняться пьесой «Проезд закрыт», созданной им совместно с Коллинзом. Спектакль шел в театре «Адельфи», и с большим успехом. Однако, побывав на нескольких представлениях, Диккенс пришел к выводу, что многие сцены слишком растянуты и что Фехтер с Коллинзом «упустили из виду целый ряд выигрышных моментов». А раз так, значит нужно ехать в Париж, чтобы посмотреть, как используются возможности пьесы на французской сцене. Было и другое дело. Пока он находился в Штатах, умер его старый друг, преподобный Чонси Х. Таунсенд, которому он в свое время посвятил «Большие надежды». Таунсенд оставил Диккенсу тысячу фунтов, назначив его своим «душеприказчиком по литературным делам» и поручив «издать без каких-либо изменений» множество записок религиозного содержания, составленных сим джентльменом на благо всего человечества на протяжении его долгой жизни. Записки были беспорядочно разбросаны по бесчисленным тетрадям, блокнотам и листкам, и, если бы их действительно напечатать «без изменений», получился бы просто бессвязный набор слов. Диккенс, который с величайшим удовольствием



швырнул бы их в камин, чувствовал себя обязанным придать им более или менее приемлемый вид. Результат его трудов, снабженный его же предисловием, был озаглавлен «Религиозные размышления», хотя сначала удрученный душеприказчик подумывал, уж не назвать ли этот труд «Религиозной икотой».

Несмотря на все эти занятия, он тем же летом нашел время, чтобы принять у себя в Гэдсхилле Лонгфелло и разъезжать вместе с ним по окрестностям, показывая гостю старинные здания, Рочестерский кафедральный собор, замок и другие достопримечательности. Для этих поездок он нарядил двух форейторов в красные камзолы старинного покроя, в каких когда-то разъезжали по «славной старой Дуврской дороге», чтобы американскому поэту казалось, что он попал на праздничные катанья в старой Англии. Случись это до стейплхерстской катастрофы, Диккенс сам правил бы лошадьми, но теперь даже в извозничьем кэбе его терзали «приступы необъяснимого страха». Лонгфелло был не на шутку встревожен из-за того, что его хозяин так безгранично печален. Поэт даже заговорил об этом с Фехтером, и тот согласился: «Да, да! И вся его слава ни к чему». Изредка к нему еще возвращалось хорошее настроение, но он утратил жизнерадостность, которая была когда-то его отличительной чертой. Он не принадлежал к числу жалких неудачников, которые не верят в счастье лишь оттого, что никогда не были счастливы сами, и отрицают любовь, потому что не способны любить. Таких следует не осуждать, а лечить; ими должны заниматься клиники, а не критики. Этим людям никогда не понять трагедию Диккенса, который страдал оттого, что жизнь его была теперь разительно не похожа на былые дни, когда он с такой полнотой наслаждался и счастьем и любовью. Но счастье — привилегия тех, кто никуда не спешит, и Диккенс, с его беспокойным, неутомимым нравом, сам убил свое счастье. Любовь же дается тем, кто умеет довольствоваться немногим; Диккенс был слишком требователен, и любовь отвернулась от него.

Осенью 1868 года он предпринял еще одно турне. Первое чтение состоялось в Лондонском Сент-Джеймс Холле. Организационной стороной его концертов ведала фирма «Чеппел», которая платила ему во время первого турне пятьдесят фунтов за выступление, во время второго — шестьдесят. Теперь фирма платила ему восемьдесят фунтов за вечер, брала на себя все расходы по проведению гастролей и все-таки сама очень недурно заработала на этом. Диккенс всегда с благодарностью отзывался о великодушии и щедрости, так выгодно отличавшей «Чеппел» от иных издательских фирм. В октябре он приехал в Ливерпуль. Друзья пригласили

его на обед, но ему нездоровилось, и он отправил вместо себя Долби, попросив его заглянуть по дороге в книжный магазин и распорядиться, чтобы ему прислали что-нибудь почитать. Долби спросил, что именно. «Ну, вы сами знаете! На ваш вкус». Долби продолжал настаивать, и Диккенс сказал, что ему подойдет что-нибудь Вальтер Скотта или... Диккенса. И Долби купил «Лавку древностей», очень понравившуюся автору, который не читал ее уже много лет. Вернувшись, Долби увидел, что Диккенс покатывается со смеху над своим романом. Оказывается, его рассмешили не столько сами герои, сколько воспоминания о том, при каких обстоятельствах были написаны некоторые страницы. Как знать, не эти ли дорогие воспоминания заставили его окончательно решиться покончить с собой — погубить себя, занимаясь тем, что он так любил? Ибо нет ни малейших сомнений в том, что, включив в программу своих прощальных концертов сцену убийства Нэнси из «Оливера Твиста», Чарльз Диккенс приблизил свою кончину. Случайность? Едва ли. Во всяком случае, намеренно или нет, он сделал это собственными руками. О, без сомнения, слово «самоубийство» привело бы его в ужас; он назвал бы чудовищем всякого, кто заговорил бы об этом. Но как уйти от фактов? Он был несчастлив. Он знал, что рискует жизнью, и все-таки рисковал. Значит, в какой-то степени он, несомненно, отдавал себе отчет в том, к чему приведет его решение. Его друг Эдмунд Йетс прямо говорит о том, что это было самоубийство. Это же подтверждается и целым рядом других обстоятельств.

Мысль о том, чтобы включить в свой репертуар эту жуткую сцену, впервые возникла у него еще в мае 1863 года. «Я пробовал читать наедине с самим собой сцену убийства из «Оливера Твиста»; но получается нечто кошмарное, так что даже страшно показать аудитории». (Быть может, это свидетельствует о том, что его любовь тогда все еще оставалась неразделенной.) Вернулся он к этой мысли через пять с лишним лет, давно оставив всякую надежду на счастье, на гармонические отношения с любимой женщиной. В октябре 1868 года он писал Форстеру: «Немного поработал над сценой убийства из «Оливера Твиста», однако так и не решил, читать ли ее. Я не сомневаюсь в том, что, если исполнить эту сцену так, как я задумал, публика окаменеет от ужаса. Захочет ли кто-нибудь снова прийти на мои чтения после этого кошмара — это другой вопрос. В этом я далеко не уверен». Он решил посоветоваться с сотрудниками «Чеппела», и те предложили устроить через месяц пробное чтение для нескольких друзей. Незадолго до назначенного дня сын Диккенса — Чарли, гостивший в Гэдсхилле, услышал, что откуда-то из-за дома доносятся

душераздирающие звуки. Выйдя в сад, он увидел, что его отец «убивает Нэнси», и от этого зрелища у Чарли вся кровь застыла в жилах. Пробное чтение состоялось 14 ноября в Сент-Джеймс Холле, и присутствовали на нем только близкие друзья и несколько избранных критиков. Да, действительно, все оцепенели от ужаса, но многим эта затея показалась весьма рискованной. Форстер категорически возражал против того, чтобы включать сцену убийства в концертную программу. Долби был в нерешительности. Некоторые дамы из публики пришли в полный ужас. Один мужчина признался, что с трудом сдерживался, чтобы не закричать. Какой-то врач предсказывал, что в зале будет истерика. Представители фирмы «Чеппел» были «за». А одна знаменитая актриса сказала:

— Боже мой, ну, конечно, читайте. Добиться такого эффекта и допустить, чтобы все пропало даром? Публика? Что ж, она уже лет пятьдесят ждет сенсации, вот и дождалась!

Выслушав мнение своих гостей, Диккенс пригласил их к украшенному цветами столу, стоявшему за экраном, который служил фоном для сцены убийства, и угостил устрицами и шампанским. Излишне говорить, что он пренебрег советами своих благоразумных друзей и 5 января 1869 года в том же Сент-Джеймс Холле устроил первое чтение для широкой аудитории.

Сначала он читал тот отрывок, в котором Феджин велит Ноэ Клейполу следить за Нэнси. Затем следовала сцена свидания на Лондонском мосту, когда Нэнси выдает Феджина, и так велико было искусство Диккенса, что к этому времени все персонажи стояли перед слушателями как живые. После этого шел отрывок, в котором Ноэ рассказывает Сайксу о том, что ему удалось подслушать, потом — сцена убийства и в заключение — бегство преступника. Диккенс начинал сцену убийства очень спокойно, постепенно сгущая зловещие краски. Лица слушателей бледнели, наступала гробовая тишина, и, наконец, все замирали, парализованные ужасом. Пронзительным фальцетом неслись в зал вопли перепуганной Нэнси, и, когда Диккенс кончил читать, все продолжали сидеть, не шевелясь, еле дыша. «Кошмарные видения», неотступно преследующие убийцу, звучали как трагический финал этой жуткой симфонии. Это было настоящее событие. Каждый, кому довелось присутствовать на таком чтении, запомнил его на всю жизнь, но лишь самые стойкие отважились побывать на нем дважды. Диккенс вложил в эти сцены все свое актерское дарование. Он читал, ни разу не заглядывая в книгу, даже не переворачивая страницы, мгновенно перевоплощаясь в того или иного героя. Один за другим как будто чудом оживали перед слушателями персонажи романа: забавный, хитрый еврей с его елейными прибаутками; лживый, тупоумный Ноэ;

разнузданный, жестокий Сайкс; запуганная, истосковавшаяся по добру Нэнси. Чтец произносил последнее слово, и в потрясенном, застывшем зале повисала долгая тишина. Диккенс поворачивался, спускался с подмостков, и, только когда он в полном изнеможении, почти теряя сознание, валился на кушетку в своей уборной, в зале разразилась буря оваций.

Знаменитая актриса не ошиблась: публика и в самом деле дождалась сенсации. В Дублине у входа в зал творилось нечто такое, что только большому отряду полиции оказалось под силу сдержать напор толпы. Специально для Макриди Диккенс выступил в Челтнеме, и после концерта непревзойденный Макбет, ныне совсем уже старенький, явился в уборную и долго молча таращил глаза на Диккенса. Диккенс усадил старого друга на диван, дал ему в руки бокал шампанского и стал шутить, пытаясь разрядить обстановку. Напрасно: Макриди во что бы то ни стало нужно было высказаться.

— Нет, Диккенс... мм... мм... я НЕ ПОЗВОЛЮ... мм... заговаривать мне... мм... зубы. В мое время... мм... в самые лучшие дни... мм... вы помните их, мальчик мой?.. Мм... теперь все прошло — безвозвратно прошло! Нет, то, что я слышал сейчас, это... мм... ДВА МАКБЕТА!

Присутствие Диккенса всегда действовало на Макриди живительно: в тот вечер он тоже удивительно помолодел. Если бы врачи знали, что сцена убийства будет читаться в Клифтоне, они едва ли решились бы в том сезоне рекомендовать этот курорт своим пациентам. «У нас тут эпидемия обмороков... Каждый раз приходится выносить из зала от одного до двух десятков дам, похолодевших и безжизненных. Это становится просто забавным». В модном курорте Бате это обстоятельство никого не смущало — здесь люди и так были холодны как лед и давным-давно не подавали признаков жизни.

— Я только сейчас понял, откуда взялся этот дурацкий старый курятник, — сказал Диккенс о Бате своему импресарию. — Можете мне поверить: его строили выходцы с того света. Вышли из могил, прихватили с собой надгробные плиты, взяли это местечко приступом, ухитрились воздвигнуть город и поселились в нем. Теперь делают вид, что они живые, но из этого решительно ничего не получается.

Повергать людей в трепет, изображать из себя убийцу — такую роль Диккенс играл впервые, и он извлекал из этого огромное удовольствие. «Хожу по улицам со смутным предчувствием, что меня вот-вот схватят и поведут в полицию, — писал он. — В театре все до единого разглядывали меня с нескрываемым ужасом. На преступника, шагающего к виселице, и

то так не смотрят... Внушать столь единодушное отвращение — да, в этом есть прелесть новизны! Надеюсь, что это чувство удержится!» Но еще приятней чувствовать, что тебя любят. «Знаете, что здесь больше всего порадовало меня на этот раз? — писал он из Ливерпуля. — Когда бы я ни вышел на улицу, меня обязательно остановят рабочие, чтобы пожать мне руку и сказать, что они хорошо знают мои книги».

Во время каждого чтения он «варился заживо» в лучах многочисленных светильников и рефлекторов и в остальное время старался держаться подальше от газовых рожков и толпы, никогда не останавливался у друзей и под благовидными предлогами отклонял приглашения на банкеты. Правда, одно ему все-таки пришлось принять: 10 апреля 1869 года Ливерпульский муниципалитет устроил в его честь обед в Сент-Джордж Холле. Лорд Даффрин предложил заздравный тост. Лорд Хотон произнес спич, в котором высказал пожелание, чтобы Диккенс участвовал в государственных делах. Диккенс, заявивший однажды, что он не представляет себе, «как хотя бы один уважающий себя человек может спокойными глазами смотреть на Палату общин»! Диккенс, в том же самом году категорически отказавшийся баллотироваться в парламент от Бирмингема и от Эдинбурга! Теперь он вновь подтвердил, что с самого начала посвятил свою жизнь литературе и ничто на свете не заставит его отдать свои силы чему-либо другому. Его вовсе не соблазняет перспектива променять настоящее, живое искусство на бесплодный, выдуманный мир политики. Он оставил об этом письменное свидетельство — и правильно сделал. «К власти (исключая власть разума и добра) всегда больше всего тянутся самые низменные натуры», — писал он в «Нашем общем друге». О нет, его вовсе не привлекала деятельность, неизменно, если верить пророкам, обрекающая на гибель государство и церковь, которые «до того привыкли чувствовать себя обреченными, что живут припеваючи и в ус не дуют». И все же ему еще лучше было бы ограничить свою деятельность и в области искусства, оставив сцену и посвятив себя только литературе. В феврале 1869 года он дорого заплатил за то, что с таким азартом расправлялся с бедняжкой Нэнси: чрезмерное напряжение сказалось на его здоровье, и он опять захромал. Врач предписал ему полный покой, и несколько чтений пришлось отменить. Однако Диккенс, как видно, умел лечить внушением не только других, но и себя, так как через несколько дней, не послушавшись ничьих советов, он уже ехал в Эдинбург... лежа на диване. «Железнодорожное начальство окружило меня таким комфортом, что ехать оказалось удобнее, чем лежать на кушетке в отеле». Он отказался от шампанского и пил во время концертов лишь рюмочку слабого бренди

со льдом, но лед ведь не мог прибавить ему способности холодно смотреть на вещи, а этого-то ему и не хватало. Правда, однажды после очередного «убийства» в Эдинбурге импресарио попытался было образумить его. Долби уже не раз замечал, что нервное потрясение, которое Диккенс испытывает, читая сцену убийства, сопровождается какими-то странными явлениями: приступами беспричинного веселья, попытками вернуться на сцену, а иногда безудержным желанием повторить выступление с самого начала. Однажды за ужином Диккенс протянул ему программы предстоящих выступлений — почти везде значилась сцена убийства.

— Приглядитесь к этому списку повнимательнее. Вы ничего не замечаете? — спросил Долби.

— Нет. В чем дело?

— Четыре выступления в неделю. И три раза сцена убийства.

— Ну и что же?

Долби стал горячо доказывать, что это страшно вредно, что после каждого выступления пульс Диккенса и так колеблется между восьмьюдесятью и ста ударами в минуту, а после сцены из «Оливера Твиста» подскакивает до ста двадцати. Долби говорил, что Диккенс губит себя, что люди все равно идут на его концерты, какова бы ни была программа, что сцену убийства следует оставить только для больших городов, что...

— Вы кончили? — раздраженно спросил Диккенс.

— Да, я сказал все, что думаю.

— Ну, берегитесь, Долби! Вы очень скоро поплатитесь за вашу проклятую осторожность! — в бешенстве вскричал Диккенс, вскочив со стула и швырнув вилку и нож на тарелку с такой силой, что она разбилась вдребезги. Долби никогда в жизни не слышал, чтобы Диккенс с кем-либо разговаривал в сердцах. Это был первый раз — и последний.

— Возможно, сэр. Надеюсь, в этом случае вы отдадите мне должное, сказав, что моя осторожность была проявлена в ваших интересах.

И Долби встал из-за стола, чтобы положить список в свой несессер для письменных принадлежностей. Вновь повернувшись к столу, он увидел, что шеф плачет.

— Простите, Долби, — сказал Диккенс, подходя к импресарио с протянутыми руками и горячо обнимая его. — Я не хотел вас обидеть, — проговорил он сквозь слезы. — Вы правы, я знаю. Утром обсудим все спокойно.

И действительно, наутро несколько убийств исчезло из программы, но слишком мало! В апреле к нему вернулась бессонница, появились

головокружения и ужасающая слабость и стала неметь левая половина тела, так что ему было трудно держать предметы в левой руке.

12 апреля в Лидсе к нему в гостиницу пришел Эдмунд Йетс. Диккенс лежал на диване с забинтованной ногой, подавленный и бесконечно утомленный. Он как-то сразу постарел, на его щеках появились глубокие складки, резче обозначились морщины у глаз. Он и в самом деле стоял на краю катастрофы. В Блэкберне ему было так плохо, что он на день поехал отдохнуть в Блэкпул, но затем был вынужден сломя голову мчаться в Престон. Пришлось вызвать врача, который немедленно велел ему отменить все оставшиеся выступления. Обладателям билетов в Престоне и Уоррингтоне были возвращены деньги, а Диккенс обосновался на своей лондонской квартире, предоставив свое тело в распоряжение врачей, а мозг — к услугам «Круглого года». Как обычно, ему немедленно стало лучше; казалось, что он совсем здоров. Через неделю он уже писал, что находится «в блестящей форме». Однако сэр Томас Уотсон, один из крупнейших специалистов того времени, отметил в истории болезни, что у больного появились «первые признаки мозговых явлений». Апоплексический удар и паралич — вот чем грозили Диккенсу чтения с их постоянной спешкой, волнениями и непомерной работой. Еще совсем немного, и это бы произошло.

В мае Диккенс прежде всего занялся составлением своего завещания. Первой в этом завещании была упомянута мисс Эллен Лолесс Тернан, которой подобная огласка едва ли пришлась по вкусу. Мисс Тернан получала тысячу фунтов стерлингов, свободных от налога на наследство. Джорджине Хогарт он оставил восемь тысяч и проценты с такого же капитала — своей жене, после смерти которой эта сумма переходила к их детям. Своей старшей дочери Мэми он завещал тысячу фунтов единовременно и еще триста фунтов в год пожизненно, если она останется одинокой. Все остальное имущество (в том числе и деньги Мэми в случае ее замужества) равными долями распределялось между остальными детьми и поручалось на сохранение его душеприказчикам — Джорджине Хогарт и Джону Форстеру. Вся его прислуга получила по девятнадцати гиней. Книги, картины, ценности и мебель он завещал своему старшему сыну Чарли и Джорджине Хогарт; а часы, цепочки, печатки и прочие мелочи — Джону Форстеру. Ему же достались многие опубликованные рукописи. Изложив все это с нудным многословием, столь необходимым для процветания почтенной касты законников, Диккенс далее пишет уже человеческим языком:

«И, наконец, я строго наказываю моим дорогим детям всегда помнить, сколь многим они обязаны вышеупомянутой Джорджине Хогарт, и отплатить ей за это преданной и благодарной любовью, ибо, как мне хорошо известно, она всю жизнь была им самоотверженным, деятельным и верным другом. Я ограничусь здесь простым упоминанием о том, что моя жена, с тех пор как мы по обоюдному согласию расстались, ежегодно получала от меня шестьсот фунтов стерлингов; в то же время все заботы и расходы, связанные с содержанием многочисленного семейства, также целиком легли на меня. Я категорически приказываю похоронить меня скромно, просто и тихо и не сообщать в печати о времени и месте моих похорон. Пусть за моим гробом следуют простые траурные кареты — не более трех — и никто из провожающих не вздумает нацепить траурный шарф, плащ, черный бант, траурную ленту или другую нелепицу в том же духе. Приказываю высечь мое имя на надгробной плите простым английским шрифтом, не добавляя к нему ни слова «мистер», ни «эсквайр»<sup>[210]</sup>. Я заклинаю моих друзей ни в коем случае не ставить мне памятника и не посвящать мне некрологов или воспоминаний. Достаточно, если моей стране напомнят обо мне мои книги, а друзьям — то, что нам пришлось вместе пережить. Уповаю на милость господню, я вверяю свою душу отцу и спасителю нашему Иисусу Христу и призываю моих дорогих детей смиренно следовать не букве, но общему духу учения, не полагаясь на чьи-либо узкие и превратные толкования».

В частных беседах он говорил, что хочет, чтобы его похоронили либо возле стены Рочестерского замка, напротив западных дверей собора, либо на Кобэмском или Шорнском кладбище. Из этого был сделан вывод, что он не стал бы возражать, если бы узнал, что его без всякой помпы похоронят в Вестминстерском аббатстве, — куда и положили его останки. Вообще говоря, его волю постарались выполнить, насколько это было в человеческих силах, но ведь никакая сила в мире не могла бы помешать людям ставить ему памятники.

Несколько слов о судьбе тех, кто упомянут в его завещании. Его жена пережила его на семь лет. Джорджина умерла в 1917 году и бредила о нем перед смертью. Эллен Тернан в 1876 году вышла замуж за преподобного Джорджа Уортона Робинсона, будущего директора Маргетской школы, и



умерла в 1914 году. Форстер, начавший вскоре печатать свою тяжеловесную и полную недомолвок «Жизнь Чарльза Диккенса» (первый том появился в 1872 году, второй — в 1873 и третий — в 1874 году), скончался в 1876 году. В последние годы жизни Форстера мучил непрекращающийся кашель, он проводил кошмарные ночи и изнурительные дни, так что обитателям пышного дворца Гейт-Хаус (построенного им в 1862 году) приходилось, как видно, далеко не сладко. Когда что-нибудь не ладилось на его знаменитых обедах, он приходил в неопишную ярость, а если жена пыталась как-то сгладить неловкость, она навлекала его гнев на себя. С годами его эгоизм и самонадеянность разрослись непомерно. Диккенс приводит один пример. Когда-то, еще в начале шестидесятых годов, Форстер был раздражен поведением Кэти, дочери Макриди, и, когда Диккенс как-то похвалил ее, Подснап оборвал его в своей самой величественной манере: «В высшей степени неблаговоспитанная и неприятная молодая особа, и я не желаю более слышать о ней ни слова». В апреле 1869 года Кэти Макриди умерла, и Форстер написал Диккенсу: «Можете представить себе, какой это был для меня тяжелый удар». И Диккенс восклицает: «Для меня! Меня! Меня! Как будто бы нет и в помине старого, разбитого горем друга! (ее отца). Мне тяжело касаться таких струн, но я возненавидел бы себя, если бы промолчал. Что за чудовищная фальшь!» И тем не менее среди его близких не было человека более надежного и делового, и, зная, что Форстер всерьез задумал написать его биографию, Диккенс старался по мере возможности не портить с ним отношений и не решился бы назвать своим душеприказчиком никого другого, даже если бы и нашел человека не менее солидного, умелого, авторитетного и знающего.

Уилки Коллинз никак не годился для этого, а кроме того, есть основания полагать, что Диккенс под конец жизни охладил к нему (в завещании, например, имя Коллинза не упоминается ни разу). Они редко бывали вместе и почти не переписывались. Диккенс, которому фактически приходилось теперь жить на два дома, был, разумеется, вынужден уделять своим друзьям меньше времени. Коллинзу же, по-видимому, вскружил голову шумный успех его детективов, и он решил, что не нуждается больше в советах и помощи своего старого друга и покровителя. Об этом свидетельствует и отзыв Диккенса о «Лунном камне», который в то время печатался еженедельными частями в «Круглом годе»: «Композиция романа невероятно скучна, к тому же от него веет неистребимым самодовольством, что будит у читателей враждебное чувство к нему». Слабое здоровье Коллинза также мешало их встречам, и в январе 1870 года,

когда у Уилки был очередной приступ болезни, Диккенс послал ему записку, из которой видно, что они уже не так близки, как прежде: «Я не прихожу оттого, что не хочу Вас тревожить. Быть может, со временем Вы и будете рады видеть меня. Как знать?» Несмотря на все возрастающее пристрастие к опиуму, Коллинз все-таки ухитрился дожить почти до шестидесяти лет — он умер в 1889 году. Такого задушевного друга у Диккенса больше не было. Его молодые ученики и последователи — Перси Фицджеральд, Эдмунд Йетс и Чарльз Кент — были искренне преданы ему, но ни один из них не сумел заменить ему ни Форстера, ни Коллинза.

Последняя фраза диккенсовского завещания заставляет нас подробнее остановиться на его религиозных убеждениях. Диккенс верил, что Иисус Христос каким-то таинственным образом, недоступным для прочих смертных, действительно приходится родным сыном господу богу. Он не докучал своим собственным детям религиозными наставлениями, однако, чтобы указать им пример, достойный подражания, написал для них «Житие Христа». Утром и на ночь он непременно молился и требовал того же от детей. Он был слишком большим эгоистом и материалистом, чтобы примириться с мыслью о том, что и его собственное «я» и все, что он так любил на этой земле, когда-нибудь бесследно исчезнет. Поэтому он горячо верил в загробную жизнь. В то же время он был слишком большим индивидуалистом, чтобы полностью принять догмы какой бы то ни было из существующих религий, и святые отцы чаще всего не умиляли, а раздражали его. Если он и отдавал английской церкви предпочтение перед любой другой, то лишь потому, что она была неотделима от истории его прекрасной земли, от культуры его народа. Диккенс так часто выступал в защиту угнетенных, что многие священники считали его чем-то вроде Уота Тайлера от литературы, и ему даже представился случай лично убедиться в их враждебном отношении к нему. Однажды он ехал куда-то в поезде, и его попутчиками оказались некий пастор и две дамы, каждая с книжкой в руке. Обнаружив, что обе дамы читают Диккенса, пастор объявил, что этого делать не следует, так как эти книги вредны, а их автор — безбожник. Диккенс крепился, пока мог, но, наконец, потерял терпение, назвал себя и жестоко отчитал клеветника. Святой отец, застигнутый на месте преступления, сидел ни жив ни мертв — бледный, с отвалившейся челюстью. Когда возмущенный писатель сошел с поезда, пастор побежал за ним по перрону, униженно бормоча извинения. Но Диккенс выслушал за свою жизнь слишком много нудных и лицемерных проповедей и не мог упустить такую блестящую возможность отвести душу. Он прочел слугителю господу строгое наставление о христианском милосердии, о

том, что следует хранить верность правде и в мыслях и в словах своих, чем окончательно лишил пастора дара речи и способности мыслить.

Бывают натуры, которые находят какую-то противоестественную радость в том, чтобы посвящать в свои несчастья других и заражать своим пессимизмом здоровых людей. Диккенс ни с кем не делился своей бедой. Разговаривая с ним, никто не догадался бы о том, что он страдает. Его выдавало лишь страдальческое выражение глаз. В мае 1869 года в Англию приехали его друзья американцы — Филдс с женой. Диккенс встретил их с распростертыми объятиями. Он водил гостей по Лондону, показывал им все достопримечательности столицы — Темпл и судебные инны<sup>[211]</sup>, церкви и театры; знакомил их с интересными людьми; вместе с ними (и в сопровождении инспектора полиции) обследовал Ист-Энд и даже пробрался в курительную комнату опиума, которую вскоре описал в «Эдвине Друде». Они побывали в Виндзорском дворце, съездили в Ричмонд, где пообедали в «Звезде и Подвязке», осмотрели хемпстедскую пустошь «Джек Строз Касл» и «Испанскую таверну»<sup>[212]</sup>. В июне супруги Филдс приехали в Гэдсхилл. Им выпало редкое счастье — навестить вместе с Диккенсом все места, описанные в его книгах: Рочестер, Чатем, Кулинг, Кобэм и Кентербери, который Диккенсу суждено было видеть в последний раз. Путешествовали по-старинному — в двух почтовых каретах, с фореяторами в красных камзолах, лосинах и цилиндрах, как, бывало, разъезжали по Дуврской дороге в его детстве. Компания состояла из Филдса с женой, двух других знакомых из Америки — супругов Чайлдз, Долби и еще нескольких гостей. В Кентербери<sup>[213]</sup> они направились через Рочестер, Чатем, Ситтингберн и Февершем; дорога тянулась по скучным, однообразным местам, но Диккенс ухитрился даже их представить своим друзьям в романтическом свете. В Рочестере Диккенсу нужно было заглянуть на почту, и, когда кареты остановились, какой-то любопытный, указывая на Филдса, закричал: «Смотрите, Диккенс!» Люди, проходившие мимо, остановились, и Диккенс, собиравшийся сесть в карету, протянул Филдсу пакет со словами: «Возьмите-ка, Диккенс, пусть пока побудет у вас». Позавтракали в лесочке под самым Кентербери. Затем, оставив фореяторов с каретами и лошадьми в гостинице «Фаунтин», все отправились в собор слушать обедню, но, к великому возмущению Диккенса, разобрать бессвязное и торопливое бормотанье священника оказалось почти невозможно. Избавившись, наконец, от общества нудного слуги господня, Диккенс повел своих гостей осматривать здание собора. Походив по городу не удалось — было уже слишком поздно, и, когда Филдс попросил показать

ему дом доктора Стронга, в котором учился Дэвид Копперфилд, Диккенс со смехом ответил: «Здесь их сколько угодно». В шесть вечера, выпив чая в гостинице, компания пустилась в обратный путь, проехав двадцать девять миль меньше чем за три часа. У Филдса в Англии обнаружилась страсть к старинной мебели; Диккенс приобрел где-то допотопный стул и преподнес его своему гостю со словами: «Во-первых, он очень древний; во-вторых, весь изъеден червями, а кроме того, по непроверенным слухам, на него однажды отказался сесть сам Джордж Вашингтон».

Почти все лето Диккенс провел в Гэдсхилле, отнюдь не предаваясь праздности, хотя со стороны этого можно было и не заметить. Так однажды, когда он стоял в своем саду, какой-то бродяга, заглянув через забор, заявил, обращаясь к товарищу: «Ишь, нежится, подлец! Небось за всю жизнь ни одного дня не наработал». В июле перед ним забрезжила идея нового романа, в начале августа он уже продумал фабулу, а в октябре начал писать. Первая серия «Тайны Эдвина Друда» была опубликована в апреле 1870 года и имела грандиозный успех, но лишь шести выпускам суждено было выйти в свет. Автор получил неслыханный аванс — семь тысяч пятьсот фунтов, однако спрос на «Эдвина» был так велик, что он мог бы смело потребовать и вдвое больше. По настоянию Диккенса в договор был внесен пункт о том, что, если автор не сможет завершить книгу (он, по-видимому, предчувствовал, что это может случиться), Чэпмен и Холл получают компенсацию за понесенные убытки. Это лишний раз подтверждает, что, если издатели не превращали Диккенса в объект бесстыдной наживы, он вел себя по отношению к ним на редкость благородно. Ни один выпуск не шел в типографию до того, как был прочитан Форстеру, — очевидно, охладев к Коллинзу, Диккенс старался наладить прежние отношения со своим старым другом и будущим биографом. «Эдвин Друд» еще более наглядно, чем «Большие надежды», свидетельствует о том, что непревзойденный мастер «плутовского романа» решил оставить свой излюбленный жанр и отныне посвятить основное внимание занимательности сюжета и психологии героев. Работа над новым произведением требовала от него, по его словам, «большого искусства и самоотверженности», но это попросту означало, что гениальный создатель прославленных чудачков становился автором банальных романов. Впрочем, с его талантом, изобретательностью и феноменальным трудолюбием он, безусловно, смог бы и в этом жанре дать современникам много очков вперед. Его быстрый взгляд уже успел подметить характерные особенности новой, только еще входившей тогда в моду фигуры — предприимчивого английского священника, которого он изобразил под видом симпатичного

Криспаркла. Но действительно сочно, по-диккенсовски написан лишь один герой книги — Сэпси.

«Затем мистер Детчери стал любоваться собором, и мистер Сэпси показывал ему одну достопримечательность за другой с таким видом, как будто именно он спроектировал и построил это здание. Отдельные детали ему не нравились, и он упоминал о них вскользь, будто они появились во время его отсутствия по недосмотру рабочих».

Судя по запискам, обнаруженным после его смерти, Диккенс собирался отвести этому последнему представителю славного племени пиквиковцев видное место в книге. Не удивительно, кстати, что под конец жизни Диккенс никогда не вспоминал о «Пиквикском клубе» и не любил, когда кто-нибудь заговаривал при нем об этой книге. Он сам, быть может, удивился бы, перечитав отрывок из своего письма Чэпмену и Холлу, написанного в ноябре 1836 года: «Если бы мне было суждено прожить сто лет и каждый год писать по три романа, я ни одним не был бы так горд, как «Пиквиком».

Рождество 1869 года он провел в Гэдсхилле, куда съехались его дети и множество гостей. Из-за больной ноги он целыми днями не выходил из своей комнаты, но к обеду с трудом спускался с лестницы, чтобы посидеть вместе со всеми за столом и потом принять участие в общем веселье. Он не любил, когда дети старшего сына называли его «дедушкой», и поладил с ними на титуле «Достопочтенный». В распоряжение внуков был отдан весь дом, но кабинет хозяина оставался святыней, и, когда одна гостья решила познакомиться с библиотекой Диккенса, кто-то из внучат, пробегая мимо, послал ей тревожное предостережение: «Эй, берегитесь, мисс Бойль! Если Достопочтенный узнает, что вы роетесь в его книгах, вам влетит по первое число!» Мэми пожелала провести зимний сезон в Лондоне, и Диккенс на пять месяцев снял дом № 5 на Гайд-парк Плейс (напротив Мраморной арки), где и поселился с начала января 1870 года.

Его лечащий врач, сэр Томас Уотсон, разрешил ему дать двенадцать прощальных выступлений при условии, что это не повлечет за собой никаких поездок. Не приходится сомневаться в том, что это разрешение было дано лишь после длительных уговоров, ибо Уотсон прекрасно отдавал себе отчет, насколько это опасно. Но Диккенс истосковался по волнениям, изнывал без всеобщего поклонения и, наконец, желал возместить фирме «Чеппел» убытки, которые она понесла в связи с его последним, незавершенным турне. Итак, в январе, феврале и марте 1870 года в Лондонском Сент-Джеймс Холле состоялись прощальные чтения, и четыре раза в программе стояла сцена из «Оливера Твиста». После первого

убийства его пульс подскочил с семидесяти двух до ста двенадцати, после второго — до ста восемнадцати, после третьего — когда он потерял сознание и долго не мог прийти в себя — до ста двадцати четырех. Одно из этих выступлений было устроено специально по просьбе актеров и актрис. «Некоторые пришли только для того, чтобы посмотреть, какими приемами я добиваюсь такого эффекта. Я тоже поставил себе цель: увлечь их так, чтобы они забыли обо всем на свете. Кажется, удалось». Среди актеров он всегда чувствовал себя в родной стихии и лучше любого театрального директора умел распознать настоящее дарование. Он первым понял, что под псевдонимом «Джордж Элиот» пишет женщина; он с первого взгляда угадал талантливых артистов в Мари Уилсон (будущей леди Банкрофт), которую назвал «самой искусной актрисой, которую я видел на сцене»; в Кэт Терри, впервые «открытой» им на репетиции («необычайно женственна и нежна»); в Дж. Л. Туле, в котором задолго до всех критиков почувствовал «силу и страстность, поистине необыкновенную для комического актера», и в Генри Ирвинге. «Либо я ничего не смыслю в искусстве, либо этот молодой человек когда-нибудь станет великим актером», — сказал Диккенс, увидев его в какой-то второстепенной роли в комедии Г. Дж. Байрона «Ланкаширская девчонка». Около трех лет спустя, в ноябре 1871 года, его пророчество сбылось: Ирвинг покорила Лондон, исполнив роль Матиаса в «Колоколах».

Диккенс, с его организаторскими способностями, умением репетировать и терпеливым отношением к актерам, несомненно, добился бы блистательного успеха, став директором театра, и ничто в мире не доставило бы ему большего удовольствия. Одно время он серьезно подумывал о том, чтобы арендовать старый театр «Стрэнд». Удержало его от этого шага лишь официальное предупреждение адвоката о том, что, сделав это, он будет связан несметным количеством обязательств. «Сказать, какая у меня самая заветная мечта? — спросил он за месяц до смерти своего юного ученика Чарльза Кента и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Поселиться где-нибудь неподалеку от хорошего театра, который целиком находился бы под моим руководством. При театре, разумеется, имелась бы великолепно подобранная и обученная труппа первоклассных актеров. Выбор пьес определялся бы мною, постановки осуществлялись бы по моим указаниям — одним словом, как исполнителями, так и репертуаром полностью распоряжался бы я. Вот вам и моя заветная мечта», — закончил он весело. Это признание было сделано им в то время, когда его исполнительская деятельность была завершена и он навсегда простился с публикой. Поднимаясь на подмости, чтобы в последний раз прочесть

сцену убийства, он сказал Чарльзу Кенту: «Я растерзаю себя». Он выполнил свою угрозу. По дороге в артистическую уборную его пришлось поддерживать, чтобы он не упал, и потом четверть часа он не мог связать двух слов. 15 марта состоялось заключительное выступление. Когда Диккенс вышел на сцену, многочисленная разодетая публика поднялась с мест и разразилась бешеными аплодисментами, которые продолжались несколько минут. Он читал «Рождественскую песнь» и сцену суда из «Пиквика», и многие заметили, что он неправильно произносит отдельные слова. На прощанье он произнес короткую речь и с мокрым от слез лицом покинул сцену.

Итак, с апреля 1858 по март 1870 года Диккенс дал четыреста двадцать три выступления (не считая благотворительных), заработав на них около сорока пяти тысяч фунтов, то есть почти половину всего состояния, оцененного после его смерти в девяносто три тысячи фунтов. Однако эти достижения обошлись ему дороже всяких денег, сократив его жизнь на добрых десять лет. Уже через две недели после начала последних гастролей стало ясно, что его нервная система опять не справляется с новой нагрузкой. «Усталость и кровотечения, которые совсем, казалось, прошли, возобновились, усугубленные крайней раздражительностью, которой прежде не было. Вы не представляете себе, в каком состоянии я нахожусь после сегодняшнего внезапного и бурного приступа». Он тосковал по своему загородному дому, уставал от обедов, которые был вынужден устраивать из-за дочери; даже работа и та тяготила его, и вместе с тем ничто на свете не могло помешать ему работать до изнеможения; ходить, пока держат ноги; развлекаться с юношеским азартом — одним словом, расточительно и безудержно тратить свои силы. В нем и раньше сидел чертенок, но теперь в него как будто вселился сам сатана, подхлестывая и подгоняя его, не давая ему опомниться, заставляя хвататься то за одну, то за другую роль в настойчивом и бесплодном стремлении уйти от самого себя. И уже кое-кто из сотрудников «Круглого года» стал замечать, как он удручен и озабочен, как рано постарел, какой у него измученный и помятый вид, когда он сидит, склонившись над столом, близоруко вглядываясь сквозь очки в лежащую перед ним рукопись.

Однако прежде чем в состоянии Диккенса наметился резкий поворот к худшему, состоялась его встреча с королевой Викторией, давно мечтавшей познакомиться с прославленным викторианцем. Она уже несколько раз пыталась сделать это в театре, после его спектаклей; предложила ему устроить в одной из комнат ее дворца закрытое чтение «Рождественской песни», а однажды поручила супруге Дина Стенли пригласить его вместе с

Браунингом и Карлейлем явиться к ней с неофициальным визитом, но явились все, кроме Диккенса. Теперь королева решила увидеться с ним во что бы то ни стало, попросив его друга, Артура Хелпса, служившего в Тайном совете, устроить это свидание. Мэми хотелось быть представленной ко двору, так что Диккенсу пришлось согласиться, и в один прекрасный мартовский вечер 1870 года он отправился в Букингемский дворец. В угоду дурацкой ребяческой забаве, именуемой «придворным этикетом», свидание, продолжавшееся полчаса, происходило стоя. Королева нашла, что Диккенс «очень мил», что у него «приятные манеры и голос». Артур Хелпс говорит, что их беседа была необычайно интересной и занимательной — как жаль, что он не записал хотя бы несколько острот в подтверждение своих слов! Увы! К несчастью, разговоры августейших особ способны заставить даже Босуэлла спрятать свою записную книжку, и в этой беседе «занимательным» было скорее всего лишь одно: королева стала сокрушаться, что ей так и не удалось ни разу послушать, как он читает, а Диккенс твердо заявил, что может читать только для смешанной аудитории. Кроме того, с выступлениями вообще уже покончено раз и навсегда. Они поговорили о том, как трудно становится с прислугой; о дороговизне, о нравах американцев, о классовых различиях (Диккенс выразил надежду, что они со временем сгладятся), но едва ли хоть одна из этих тем могла вызвать фейерверк остроумия. Попросив Диккенса прислать ей полное собрание его сочинений, королева подарила ему свой «Шотландский дневник» с автографом, сказав, что ей было нелегко решиться предложить столь скромный литературный труд вниманию одного из величайших писателей современности и она надеется, что он будет снисходителен к недостаткам книги. Ответил ли Диккенс, что будет снисходительно относиться даже к ее достоинствам, неизвестно: на этом их свидание закончилось.

Написав Диккенсу о том, что с ним хочет увидеться королева, Артур Хелпс, по-видимому, намекнул, что знаменитому писателю, возможно, пожалуют титул баронета. Притворившись, что серьезно верит этому предложению, Диккенс ответил: «Мы желали бы, чтобы к титулу баронета присовокупили «Гэдсхиллский» в честь святого Уильяма и святого Фальстафа». Трудно сказать, чем руководствовался клерк Тайного совета Хелпс, составляя свое письмо: хотел ли он позондировать почву или просто позабавиться. Диккенс, во всяком случае, решил, что это шутка, и стал с тех пор называть себя «крестником» Хелпса. Кое-кто, узнав об этой переписке, а может быть, и прочитав одно из писем, отнесся к вполне невинной забаве очень серьезно и пустил слух о том, что Диккенс



собирается сделать одолжение королеве Виктории, согласившись прицепить к своему имени побрякушку (при этом употреблялось более сильное выражение). Слухи росли с головокружительной быстротой, и Диккенс счел нужным опровергнуть их. «Вы, без сомнения, уже читали, что я будто бы готов стать тем, кем пожелает меня сделать королева, — пишет он в одном из своих писем. — Но если мое слово что-либо значит для Вас, поверьте, что я не собираюсь быть никем, кроме самого себя». Приятно сознавать, что Диккенс не имел ни малейшего намерения оказать честь титулованным ничтожествам Англии, укрывшись под сенью громкого звания. Сэр Чарльз Диккенс, баронет; барон Диккенс Гэдсхиллский — чего стоят все эти имена по сравнению с простым и полным величия — ДИККЕНС! Как и Бернард Шоу — но только на полвека раньше, — Диккенс успел наградить себя всеми знаками отличия и почетными званиями, какие только есть на свете, и совершенно не интересовался ни своей родословной, ни геральдической мишурой. «На моем щите никогда не было никакого герба, кроме чести отцовского имени, — писал он в 1869 году, — ...я никогда не думал о том, чтобы присвоить себе девиз, так как глубоко равнодушен к подобным формальностям». Последствия его свидания с королевой Викторией были весьма обыденны и неинтересны: он был приглашен на ближайший раут, а на ближайшем дворцовом приеме его дочь Мэми была представлена королеве. Кроме того, Диккенс послал королеве Виктории первый выпуск «Эдвина Друда», добавив, что, если ей доставит удовольствие «узнать о том, что будет дальше, до того, как об этом узнают ее подданные», он откроет ей этот секрет.

«Эдвин Друд» давался ему с трудом. Властная потребность писать, с такой силой владевшая им прежде, казалось, навсегда покинула его. Впрочем, он и не подумал делиться этой расхолаживающей новостью с иллюстратором своего романа, к работе которого проявлял большой интерес. По рекомендации Джона Милле он поручил оформлять книгу Люку Файлдзу. Еще в 1850 году, высмеивая в «Домашнем чтении» работы прерафаэлитов<sup>[214]</sup>, Диккенс особенно зло обрушился на картину Милле «Христос в плотничьей мастерской». «Художник не упустил ни одной возможности, чтобы изобразить уродство: лица, тела, позы — все уродливо. Таким плотникам место в лечебнице, где принимают грязных пьяниц с ярко выраженным расширением вен. Вот там бы их и раздевать!» Однако часто недоразумения в жизни возникают случайно. Диккенс не увидел того, что хотел выразить художник; Милле не понимал, чем возмущен писатель. Через некоторое время они познакомились и с первого же взгляда почувствовали друг к другу симпатию, которая сменилась

взаимным восхищением: ему-то и был обязан своей карьерой Люк Файлдз. Но не только Файлдз имел основания благословлять своего сурового критика. Вторым таким художником в содружестве с прерафаэлитом был Холман Хант, которому Диккенс посоветовал продать по очень дорогой цене картину «Нахождение Христа во храме», что тот и сделал. Мы уже успели убедиться в том, что Диккенс был весьма деловым человеком. Почти перед самой смертью он помог актрисе мисс Глин защитить свои интересы, внося в ее контракт целый ряд выгодных для нее пунктов.

В апреле 1870 года его постигло большое горе: умер его старинный друг Дэниэл Маклиз, но Диккенс нашел в себе достаточно сил, чтобы через несколько дней выступить на банкете в Королевской академии с речью, посвященной его памяти. В мае вслед за Маклизом «из страны солнца в край вечного мрака»<sup>[215]</sup> отправился Марк Лемон. Диккенс бодрился и утешал друзей: «Нам нужно сомкнуть шеренги и шагать вперед». Ему оставалось недолго шагать. В начале мая он был на завтраке у премьер-министра Гладстона, но 10 мая у него возобновился воспалительный процесс в ноге. Днем и ночью приходилось ставить горячие припарки. Его терзала «страшная боль», он лишился сна и начал снова принимать опииную настойку. Почти все дела и развлечения, намеченные на ближайшее время, в том числе и посещение бала в Королевском дворце, пришлось отменить. Впрочем, он все-таки побывал на обеде у лорда Хотона, чтобы встретиться с принцем Уэльским и королем Бельгии, давно мечтавшим познакомиться с ним. У Диккенса так болела нога, что он не смог подняться в гостиную, где собралось все общество, а ждал внизу, пока все явятся в столовую. Там, за обедом, его и представили принцу Уэльскому.

Очень встревожило Диккенса известие о том, что его сын Плорн так и не добился ничего путного в Австралии. «Видно, ему от природы не дано никакого призвания. Тут уж ничего не поделать. Но если он не сможет или не пожелает устроить свою судьбу сам, мне придется снова пробовать ввести его в нормальное русло — и делать это до самой смерти». Он поговаривал о том, чтобы поехать в Австралию, повидаться с сыновьями и собрать материал для новой книги, но его последним путешествием оказалась поездка в Гэдсхилл в конце мая 1870 года. Перед тем как навсегда проститься с Лондоном, он провел несколько репетиций в Кромвель-хаусе. В спектакле принимали участие его дочери. Когда представление закончилось, его нигде не могли найти. Наконец кто-то случайно наткнулся на него за кулисами: Диккенс сидел с мечтательным и отсутствующим видом, забившись в какой-то дальний угол. «Я думал, что я уже дома», —

промолвил он.

Поэт Эдвард Фицджеральд<sup>[216]</sup>, считавший Диккенса «совершенно удивительным и в высшей степени благородным человеком», признался: «Что касается меня, то, несмотря на Карлейля и всех критиков, я боготворю Диккенса и хочу видеть его Гэдсхилл не меньше, чем шекспировский Стратфорд или дом Вальтер Скотта в Абботсфорде». С именем Диккенса в нашем представлении в первую очередь связан Лондон — город, созданный и воспетый им в его творениях. Но живого Диккенса невольно представляешь себе в Гэдсхилле. Мальчик, стоящий у ворот вместе с отцом, который говорит ему, что он, возможно, когда-нибудь поселится в этом доме. Гостеприимный хозяин, душа общества, неистощимый выдумщик и весельчак, писатель, работающий в своем шале среди деревьев по ту сторону дороги, шагающий по окрестным тропинкам в Чок, Кобэм, Шорн, Кулинг, Рочестер, где ему были знакомы каждая улочка, каждый дом — да что там дом, каждый кирпич, каждая трещинка на стене. И именно в Гэдсхилл его потянуло, когда он почувствовал, что дни его сочтены. Приехав, он прежде всего внес в свое завещание новый пункт, по которому «Круглый год» после его смерти переходил к старшему сыну, работавшему в этом журнале помощником редактора со времени своего возвращения из Америки. Нога болела меньше, знакомые места в это время года были особенно прекрасны, и Диккенс стал снова с наслаждением совершать свои прогулки. В саду цвела его любимая герань, вокруг сочно блестела его любимая зелень... Он радовался своей новенькой, только что выстроенной оранжерее, которой можно было любоваться и из столовой и из гостиной. Ничто не омрачало его жизнь, у него было все, кроме душевного покоя.

Его дочь Кэти задумала стать актрисой и 2 июня приехала в Гэдсхилл, чтобы посоветоваться с отцом. Он отговаривал ее: «Ты привлекательна и, конечно, сможешь добиться успеха, но ты слишком мягка и впечатлительна. Тебе встретится много такого, чего ты не выдержишь. В театре есть хорошие люди, но есть и такие, от которых у тебя волосы встанут дыбом. Ты достаточно одаренный человек и могла бы заняться чем-нибудь другим. Я постараюсь, чтобы ты не пожалела об этом». Они проговорили до трех часов утра. Диккенс упрекал себя за то, что был недостаточно хорошим отцом и человеком. Он мог бы, конечно, сказать в свое оправдание, что порочные задатки свойственны каждому человеку, а «хорошим» чаще всего оказывается тот, кто по натуре или волею случая никогда не знал искушений. Он ведь был прежде всего актером, и ему ничего не стоило убедительно разыграть для самого себя роль безупречного отца и супруга, но теперь он был не настроен искать себе оправдания.

На другой день Кэти зашла в шале, где Диккенс работал над «Эдвином Друдом», чтобы поцеловать отца на прощание. Возвращаясь в дом по тоннелю и вдруг поддавшись какому-то неясному чувству, она повернулась, побежала назад и снова постучалась к нему в дверь. Он повернулся, увидел дочь и еще раз горячо обнял и расцеловал ее.

Поработав несколько часов утром, он возвращался домой к ленчу, сидел за столом молча, в полном изнеможении, ел машинально, безразлично и очень мало. Ему не мешало, что другие разговаривают, но от любого резкого звука — будь то звон бокала или стук оброненной ложки — его лицо искажалось, как от боли. Вечером он расхаживал по гостиной, слушая пение Мэми, читал или курил. Он любил сентиментальные песенки; так называемая классическая музыка не трогала его.

В понедельник, 6 июня, взяв с собою своих собак, он пошел в Рочестер на почту отправлять письма. Кто-то видел, как он проходил по виноградникам, а потом стоял у Ресторейшн-хауса, глядя на дом, описанный им в «Больших надеждах» под названием «Сатис-хаус» — дом мисс Хэвишем. В основе каждой человеческой трагедии почти всегда лежит тяжелая личная катастрофа. Как глубоко символична была эта фигура, близоруко разглядывавшая сквозь решетку ограды тот дом, в котором Пип полюбил Эстеллу, зная в глубине души, что его любовь навсегда останется неразделенной!

7 июня Мэми уехала из Гэдсхилла в гости к Кэти. После ленча Диккенс вместе с Джорджиной поехал в Кобэмский лес, а оттуда, отослав коляску домой, вернулся пешком через парк. Вечером он повесил в оранжерее китайские фонарики и после обеда сидел с Джорджиной в столовой, любуясь ими. Он говорил, что правильно сделал, решив переехать из Лондона в Гэдсхилл, что теперь его имя будет связано с этими местами; что он хотел бы после смерти лежать на маленьком кладбище кафедрального собора у стены Рочестерского замка. 8 июня с утра он, как обычно, взялся за работу, но, очевидно, какое-то шестое чувство подсказало ему, что нужно торопиться, и после ленча, нарушив свой твердый распорядок дня, он снова пошел в шале и сел за работу, посвятив свои последние строки Рочестеру:

«Ясное утро встает над старым городом. Невыразимо прекрасны его древние здания, развалины, густо увитые плющом, глянцевито поблескивающие на солнце, окруженные развесистыми деревьями, чуть слышно шелестящими под душистым ветерком. На стенах собора играют сверкающие блики

от колышущихся ветвей, в окна врывается птичье щебетанье, с полей, лесов, садов — со всех концов этого большого сада, этого любовно возделанного островка, дождавшегося урожайной поры, струятся в собор ароматы, заглушая землистый запах старого здания, провозглашая гимн во славу Вечного Обновления Жизни. Согреваются даже холодные камни вековых гробниц; яркие солнечные зайчики, проворно шныряя меж строгих мраморных колонн, забираются в самые дальние уголки и трепещут там, как крылышки мотылька».

Обед был назначен на шесть часов вечера, с тем, чтобы Диккенс успел еще совершить свою обычную прогулку. Перед обедом он зашел в кабинет, чтобы написать два-три письма. В одном из них он шутливо упрекает Чарльза Кента словами Шекспира: «Таких страстей конец бывает страшен»<sup>[217]</sup>. В другом письме он выражает глубокое сожаление по поводу того, что один из читателей неправильно истолковал какое-то место в его книге: «Я всегда пытался выразить в моих книгах благоговейное уважение к житию и учению нашего Спасителя. Ибо таковы мои чувства; ибо я написал историю Христа для моих детей, которым она повторялась так часто, что все они знали ее гораздо раньше, чем научились читать, и почти сразу же, как только научились говорить».

За обедом Джорджина сейчас же заметила, что Диккенс страдает. Он сказал ей, что вот уже целый час, как ему стало очень плохо, но потребовал, чтобы все продолжали спокойно обедать. Затем, пробормотав несколько бессвязных фраз, он встал из-за стола, сказал, что ему нужно немедленно ехать в Лондон, — и покачнулся. Успев подхватить его, Джорджина попробовала подвести его к дивану, но он не мог ступить ни шагу и, проговорив: «Наземь...» — опустился на пол. Это был удар. В тот же вечер приехали его дочери, вызванные телеграммой, а на другой день — сыновья — Чарли и Генри. Всю ночь на 9 июня он пролежал без движения, тяжело дыша и не обнаруживая никаких проблесков сознания. Так продолжалось и на другой день. Вечером 9 июня в десять минут седьмого по его телу прошла судорога, он вздохнул; большая слеза поползла по его щеке, и усталое тело уснуло навеки, и успокоилась мятущаяся душа.

# Диккенс

## Статья В. Каверина

### 1

Диккенс для меня — это исступленное детское чтение в маленьком провинциальном городке, это первая в моей жизни библиотека, где под висящей керосиновой лампой стояла гладко причесанная женщина в очках, в черном платье с белым воротничком. Я пришел за «Дэвидом Копперфилдом», и, хотя барьер был слишком высок — по крайней мере для меня, — а дама в белом воротничке показалась мне необыкновенно строгой, я принудил себя остаться. Так началась диккенсовская полоса в моей жизни, полоса, которая, в сущности, продолжается и до сих пор. Как же иначе объяснить то чувство изумления, с которым я узнаю своих знакомых, а иногда и самого себя в диккенсовских героях?

### 2

В мировой литературе найдется немного писателей, вошедших с такой силой и определенностью в русскую культуру, как Диккенс. Еще в 1844 году «Литературная газета» сообщала, что «имя Диккенса более или менее известно у нас всякому образованному человеку». Кто не знает о глубоких расхождениях между «западниками» и «славянофилами»? К Диккенсу, однако, и те и другие относились с равным восторгом. Белинский, не сразу оценивший его, написал В. П. Боткину (в 1847 году), что «Домби и сын» — «это что-то уродливо, чудовищно прекрасное» и что такого богатства фантазии он «не подозревал не только в Диккенсе, но и вообще в человеческой натуре». Чернышевский не мог оторваться от Диккенса и не занимался ничем другим, пока на письменном столе лежали его романы. Писарев проникательно поставил Диккенса рядом с Гоголем и Гейне; Салтыков-Щедрин теоретически обосновал превосходство Диккенса над Гонкурами и Золя.

Что же сказать о советском периоде, когда Диккенса в течение сорока лет издают в миллионах экземпляров, переводят, изучают и снова

переводят и издают? На каждом прилавке, в каждом уголке страны лежат его книги. Горький в разговоре со мной однажды шутливо назвал себя «великим читателем земли русской». В этом продолжавшемся всю его жизнь действительно «великом чтении» одно из первых мест занимали книги Диккенса, «постигшего труднейшее искусство любви к людям».

Книга Хескета Пирсона называется «Диккенс. Человек, писатель, актер». Это хорошая книга. С первой страницы возникает уверенность в том, что Пирсон знает, как нужно писать о Диккенсе. И он это действительно знает. Главное в Диккенсе — юмор. «Вот почему он живет и в наши дни, вот чем должна дышать каждая фраза книги о нем». И еще: «Для биографа в его герое важно лишь неповторимое, а те качества, которыми он обладает вместе с миллионами других людей, — это уже материал для историка». Книга Пирсона написана с юмором и о неповторимом. В сущности, в жизни Диккенса не было ничего необыкновенного, по крайней мере с общепринятой точки зрения: он не был капитаном дальнего плавания, как Конрад, и не служил в Интеллидженс сервис, как Моэм. Неповторимым был он сам, и эта неповторимость, необычайность так ослепительна, что невольно удивляешься Пирсону, умеющему восхищаться спокойно и в меру. Вот тут-то и помогает ему юмор! С добродушным юмором написаны отношения между Диккенсом и его друзьями, с беспощадным — многие портреты друзей и прежде всего Джон Форстер, которому посвящена целая глава под названием «Великий Могол».

Словом «портреты» я воспользовался не случайно: в книгу входишь, как в картинную галерею, причем многие портреты представляют собой законченные психологические этюды, которые можно печатать отдельно. Таков, например, Уилки Коллинз.

Как это бывает в хорошем романе, Пирсону удалось не только основные персонажи, но и второстепенные. Так, с блеском нарисован Джордж Долби — антрепренер Диккенса, устроитель его публичных чтений. Но все они, разумеется, служат лишь фоном для портрета самого Диккенса, «неподражаемого Боза», писателя, режиссера, гипнотизера, фокусника и великого артиста, заставлявшего зрителей смеяться до упаду и рыдать до потери сознания.

Этот главный портрет написан в движении, с развивающейся

глубиной. Но время от времени Пирсон останавливается, как бы приглашая читателей взглянуть на портрет одним взглядом, и вот эти-то страницы, быть может, лучшие в его книге. «Пророк — это чаще всего неудачник. Не сумев стать действующим лицом, он становится зрителем, вооруженным до зубов всевозможными знаниями. Он предрекает человечеству неминуемую катастрофу, избежать которой оно может, лишь последовав его учению. Дурные предзнаменования — его любимый конек, а так как несчастья в мире случаются на каждом шагу, то пророк во все времена личность чрезвычайно популярная... Вот и Карлейль с раздражением называет художников вроде Диккенса и Теккерея канатными плясунами, а не жрецами, и так как пророка в Англии всегда принимают всерьез, то к художнику соответственно относятся с недоверием. Если пророк стоит на одном полюсе, то художник находится на противоположном, впрочем, правильнее было бы сказать, что художник находится в гуще жизни, а пророк — в стороне от нее... Как всякий большой художник, Диккенс умел наслаждаться жизнью, принимая ее во всем многообразии, безоговорочно и от всей души. Он не разбирался в статистике. Синие книги не занимали его... Каждый день он старался сделать таким, чтобы было ради чего жить на свете, а когда ему бывало плохо, не требовал, чтобы другие тоже рвали на себе волосы... Точка зрения Карлейля, верившего в диктатуру сверхчеловека, была для него неприемлема, потому что он прекрасно знал, что такой супермен отдаст свой народ во власть полчища суперменов рангом ниже. Тираны древности казались ему симпатичнее современных: тем по крайней мере не было надобности вымешать на других свои старые обиды».

В основе этого портрета — размышление, перебрасывающее мост между Диккенсом и современностью. Есть и другие портреты — поэтические, когда достаточно одной фразы, чтобы перед вами появился «каторжник искусства», человек, прикованный к своей мучительной выматывающей работе. «Бывали дни, когда он шагал по улицам и окрестностям Лондона как одержимый, шагал все быстрее, как будто, подобно Николасу Никльби, надеялся обогнать свои мысли». Эти тревожные шаги постоянно слышатся в его книгах — от «Лавки древностей» до «Повести о двух городах». «Снова и снова гулким эхом отдавались в тупике звуки шагов. Одни слышались под самыми окнами, другие как будто раздавались в комнате. Одни приближались, другие удалялись. Одни внезапно обрывались, другие замирали постепенно где-то на дальних улицах. А вокруг — ни души».

От одного оживающего портрета к другому — такова галерея



«Человек, писатель, актер», неторопливо открывающаяся перед зрителем, освещенная ровным светом жизненного опыта и прогрессивной мысли. Однако Пирсон не забывает, что он литературовед, что его книга, быть может, пятидесятая или сотая, посвященная Чарльзу Диккенсу. Работа основана на источниках, и осведомленность автора не вызывает сомнений.

#### 4

Можно спорить, что такое литературоведение — наука или искусство, но нельзя не согласиться с тем, что этой науке трудно обойтись без искусства. Мы не знаем «аппарата» Пирсона: хотя он цитирует много и свободно, но в книге нет ни единой ссылки. Это как бы «цитаты наизусть». Тем не менее я убежден, что едва ли найдется читатель, которому захочется их проверить. Более того, ссылки показались бы странными в этой непосредственной книге. Пирсон цитирует не как ученый, а как собеседник. Вы не читаете, а как будто слушаете его с неизменным интересом. Это не столько историко-литературный анализ, сколько догадки, обоснованные так убедительно, что они почти не требуют доказательств. Вот тут-то в работу историка литературы и входит чутье художника, изящество искусства. Не трудно догадаться, что Диккенс в лице отца Маршалси («Крошка Доррит») изобразил собственного отца. Для этого надо лишь знать биографию Диккенса. Но мало знать его биографию, чтобы догадаться, что в лице упитанной, кокетливой, безнадежно глупой Флоры Финчинг изображена Мария Биднелл — первая любовь Диккенса, девушка, которой он писал: «Для меня совершенно очевидно, что пробивать дорогу из нищеты и безвестности я начал с одной неотступной мыслью — о Вас».

Пирсон смело находит черты самого Диккенса в таких чудовищах, как Квилп, в таких отвратительных ханжах, как Пексниф. Как тут не вспомнить то, что сказал Флобер о своей мадам Бовари: «Эмма — это я»?

#### 5

Я думаю, что по меньшей мере одно условие необходимо, чтобы написать жизнь необыкновенного человека. Нужно найти ключ к его биографии, ту психологическую отгадку, которая поможет «открыть» характер, понять его главные черты, определяющие свойства. Пирсон

убежден — и с ним нельзя не согласиться, — что для Диккенса эта отгадка заключалась в том, что он был актером, и прежде всего актером. «Заветной мечтой его юности было сделаться профессиональным актером, и о том, что это не удалось, он горько сожалел в зрелые годы. К нашему счастью, его сценический талант проявился в создании литературных героев, от которых почти всегда веет чем-то специфически театральным и которые написаны так выпукло и живо, что, если бы автору хоть десяток из них удалось сыграть в театре, он был бы величайшим актером своего времени... Трудно представить себе актером Филдинга или Смоллетта, Теккерея, Гарди, Уэллса, но Диккенс был актером с головы до пят. Его герои, его юмор, его чувства сценичны, он живо подмечает причудливые стороны человеческой натуры, он умеет воспроизводить их с поразительной точностью и, как истинный Гаррик или Кин, возвращается к ним снова и снова... Он не пишет, а ставит бурю, как поставил бы ее на сцене режиссер... Его герои так ипросятся на подмости. Некоторые сцены его как будто созданы для театра... В наши дни он стал бы королем киносценаристов, и Голливуд лежал бы у его ног».

О том, что Голливуд лежал бы у ног Диккенса, задолго до Пирсона написал Сергей Эйзенштейн. В смелой и оригинальной статье «Диккенс, Гриффит и мы» он не только прочел «Оливера Твиста» как сценарий, показав необычайную кинематографическую пластичность героев Диккенса, но открыл у него целый трактат о принципах монтажного построения сюжета. И действительно, в XVII главе «Оливера Твиста» Диккенс, излагая свой композиционный принцип, уверенно перекидывает мост между прозой и театром. Если бы в те времена существовало кино — перед нами был бы прочный, теоретически обоснованный мост между кино и прозой. Эйзенштейн убедительно доказывает, что Гриффит не только знал этот «трактат», но энергично использовал его в собственной работе.

Вторжение прозы в кино происходит за последние годы с нарастающим, многообещающим размахом. Замечу, что речь идет не о скрещении жанров. Еще Чаплин смело перепутал их, показав (хотя бы в «Диктаторе»), что одна и та же картина может быть сатирической комедией, фантаσμαгорией, психологической драмой. Речь идет о скрещении искусств. Проза ворвалась не только в кино. То, что у Бернарда Шоу было в скобках, было ремаркой, вышло на сцену и победоносно

распоряжается действием. В пьесах Артура Миллера герои рассказывают о себе, не только когда это нужно им, но когда это нужно автору. Время, которое недавно было одним из самых незыблемых законов драматургии, сдвинуто. Еще Пристли в пьесе «Время и семья Конвей» предложил зрителям посмотреть сперва второй акт, а потом четвертый. «Хоры» в пьесах Алексея Арбузова — не что иное, как псевдоним автора, который более осведомлен, чем его герои.

Эти примеры можно умножить до бесконечности. В разных аспектах они говорят об одном: влияние прозы на кино и театр усиливается с каждым годом.

## 7

Я не стану делать широких сопоставлений, тем более что они далеко увели бы меня от книги Пирсона. Должен заметить, однако, что подобное явление характерно и для науки. Одна область смело вторгается в другую, находящуюся на противоположном полюсе человеческих знаний. Археологические находки датируются с помощью углерода-14. Физика исправляет историю, проникая в глубины времени на двадцать тысяч лет, в то время как археология располагает достоверными данными лишь за какие-нибудь пять тысяч лет. На линиях скрещений вспыхивают новые открытия, догадки, обобщения.

## 8

Вернемся к Диккенсу, который вошел в мировую литературу, когда проза еще не была такой силой. Для того чтобы завоевать театр, кино, а в последнее время — и телевидение, она должна была, в свою очередь, подвергнуться влиянию театрального начала. Она должна была воспользоваться этим началом, переработать и расширить его. И в этом процессе, происходившем на протяжении почти всего XIX века, Чарльзу Диккенсу следует отвести одно из первых мест.

Проза XVIII века была (за редкими исключениями) лишена объемного, трехмерного, реалистического героя. Даже герои великого Филдинга в конечном счете представляют собойдвигающиеся формулы, которые автор то рекомендует, то порицает. Фонвизин с его «Недорослем», с его простаковыми, скотиниными и правдинами находился на литературной

магистральной эпохи.

Диккенс был одним из изобретателей трехмерной, объемной прозы, одним из создателей героя, который живет сам по себе, независимо от воли автора. Для этого открытия ему понадобилось многое и прежде всего — театр.

Хескет Пирсон умело переплетает театральное начало в творчестве Диккенса с фактами его биографии. Он рисует «задний фон» прозы Диккенса, широко пользуясь его любовью к театру, проходящей через всю жизнь. Едва научившись грамоте, Диккенс вообразил себя драматургом. «Это мои первые шаги, — писал он об «Очерках Боза», — если не считать нескольких трагедий, написанных рукой зрелого мастера лет девяти и сыгранных под бурные аплодисменты переполненных детских».

Болезнь помешала ему явиться на пробу в Ковент-Гарденский театр, а к началу следующего сезона он был уже преуспевающим парламентским репортером. Любопытно, что парламент представлялся ему прежде всего театром, и далеко не первоклассным. «Нельзя сказать, что, устраивая на потеху всей страны бесплатные представления... эти люди внушают уважение к своей профессии».

«Записки Пиквикского клуба» должны были, по замыслу издателя, представлять собой серию приключений членов охотничьего клуба. Однако на первое место Диккенс сразу же выдвинул странствующего актера Альфреда Джингла, одного из истинно диккенсовских героев. Характерно, что сразу же после «Записок Пиквикского клуба» Диккенс непосредственно обратился к театру, написав два фарса и комическую оперу «Сельские кокетки». Впрочем, это были очень плохие пьесы. Так думал и автор, заметивший незадолго до смерти, что, если бы все экземпляры оперы хранились в его доме, он охотно устроил бы пожар, лишь бы опера сгорела вместе с домом.

Он создал собственный театр, ставил в нем Джонсона и Шекспира, писал для него водевили, «проводил репетиции... придумывал декорации... рисовал костюмы, писал тексты афиш, учил плотников и давал указания дирижеру. Он оформлял здание театра, ставил номера на кресла, приглашал актеров на сцену и был одновременно ведущим актером, бутафором, режиссером и суфлером».

Его труппа играла в Лондоне, Бирмингеме, Эдинбурге, Глазго,

Манчестере и Ливерпуле. Спектакли имели огромный успех.

Он пользовался любым поводом, чтобы вернуться к театру. В 1852 году он поставил водевиль, в котором исполнял шесть ролей: адвоката, лакея, пешехода, ипохондрика, старой дамы и глухого пономаря.

Все это кончилось тем, что он сам стал театром — как же иначе назвать его знаменитые «чтения», которые он ставил как спектакли и которые в конце концов его погубили?

Книга Пирсона глубоко современна. Он прекрасно понимает, что в Диккенсе интересно и важно сегодня, и одновременно нигде не упускает возможность объяснить причины его полуторастолетнего успеха. За фигурой Диккенса встает XIX век — недаром же разногласия между ним и Теккереем Пирсон объясняет тем, что Теккерей еще весь в восемнадцатом веке. Умно и мягко пользуется он в своей книге преимуществом историка, предсказывающего назад. «К политикам и бюрократам Диккенс относился приблизительно так же, как Христос — к фарисеям и книжникам. В то, что природа человеческая совершенствуется, он не верил, утверждая, что писатели, например, способны объединиться ради собственных интересов, разве что «денька за два до конца света». Он люто ненавидел «измы». «Ох, чего бы я не отдал, чтобы избавить мир от «измов»!..» Он был бунтовщиком по натуре, он восставал против всего, что не вязалось с его понятиями о справедливости. Короче говоря, Диккенс был диккенсовцем».

Пирсон — свой человек не только в семье Диккенса или среди его друзей и врагов. Он свой человек в викторианской эпохе, которую знает, как собственный дом. Он не стремится воздвигнуть Диккенсу памятник, прекрасно понимая, что это уже сделано самим Диккенсом, и так хорошо, что украсить памятник не под силу даже королеве. «Кое-кто пустил слух о том, что Диккенс собирается сделать одолжение королеве Виктории, согласившись прицепить к своему имени побрякушку (при этом употреблялось более сильное выражение). Слухи росли с такой быстротой, что Диккенс счел своим долгом опровергнуть их. «Вы без сомнения уже читали, что я будто бы готов стать тем, кем пожелает меня сделать королева, — пишет он в своем письме, — но если мое слово что-либо значит для Вас, поверьте, что я не собираюсь быть никем, кроме самого себя».

Может показаться парадоксальным, но многочисленные инсценировки

романов Диккенса не удаются именно потому, что он «актер с головы до пят, а его герои, его юмор, его чувства сценичны» (Пирсон). Театр входит в его прозу как органическое начало, и это могущественное художественное средство каждый раз отработано, использовано до конца. Нельзя сделать из театра театр, как нельзя снова родить ребенка.

Кстати сказать, я думаю, что возникновение внутреннего монолога, играющего такую заметную роль в современной литературе, тоже в известной мере связано с вторжением театра в прозу. Вспомним, например, ту знаменитую страницу «Холодного дома», где в ткань объективного повествования вдруг врывается негодующий голос: «Умер, ваше величество! Умер, леди и джентльмены! Умер, преподобные, достопочтенные, высокочтимые и совсем не почтенные господа всех званий и рангов. Умер, добрые люди, у которых еще не окаменело сердце. Умер, как умирают вокруг нас каждый день!...»

Правда, это внутренний монолог автора, а не героя, но по своей структуре, по тональности это именно монолог. Я не хочу сказать, что этот художественный прием близок к тому «потoku сознания», который со времен Джойса занял заметное место в мировой литературе. Но, может быть, это как раз и хорошо, что он хотя и родствен, но далек от него.

Мне кажется, что сейчас в литературе идет борьба между внутренним монологом и объективным повествованием и что, например, Грэм Грин умело соединяет в своей работе оба художественных приема.

Случалось ли вам, сидя в театре, почувствовать, что между сценой и зрительным залом как бы возникают и натягиваются нити, какой-то трепет проходит по рядам, общий интерес, общее волнение передается от одного зрителя к другому и мощной волной идет на сцену, где происходит то, что мы узнаем. А узнаем мы себя.

Недавно в Англии вышла книга некоего мистера Кокшута, который пытается доказать, что Диккенс был «фарисей и сноб», «человек с грубым умом», «невежда, одержимый нездоровым интересом к насилию». Не думаю, что эти смешные и крайние суждения общеприняты сейчас в Англии. Но и мне случалось слышать от англичан, что они почти не читают Диккенса, что он кажется им старомодным. Так пускай отдадут его нам! Мы давно научились не замечать его торопливых развязок, его сентиментальности во что бы то ни стало. У нас он нужен всем: читателям

и писателям, мальчикам и девочкам, завоевателям космоса, рабочим и студентам.

## Основные даты жизни и творчества Чарльза Диккенса

1812, 7 февраля — В предместье Портсмута Портси (Лендпорт) в семье мелкого чиновника морского ведомства Джона Диккенса родился сын Чарльз.

1821 — Семейство Диккенсов переезжает в Лондон.

1822 — Отец Диккенса посажен в тюрьму за неуплату долгов. Чарльз поступает работать на фабрику ваксы.

1824 — Чарльз возвращается в школу.

1827, май — Чарльз Диккенс становится писцом в конторе стряпчего Блекмора.

1831 — Диккенс — парламентский репортер.

1832 — Чарльз Диккенс становится сотрудником газеты «Парламентское зеркало».

1833 — В декабрьском номере журнала «Ежемесячник» напечатан первый рассказ Диккенса, вошедший в его «Очерки Боза» под заглавием «Мистер Минс и его двоюродный брат».

1834 — Диккенс становится репортером газеты «Утренняя хроника».

1835 — Начинает сотрудничать в «Вечерней хронике», печатая там свои очерки.

1836, февраль — Выходят в свет два тома первой серии «Очерков Боза», иллюстрированные Крукшенком.

31 марта — опубликован первый выпуск «Посмертных записок Пиквикского клуба».

Апрель — Диккенс женится на Кэтрин Хогарт. 1837 — Чарльз Диккенс становится редактором «Альманаха Бентли», где с января того же года начинает печататься «Оливер Твист». Выходит в свет вторая серия «Очерков Боза».

Октябрь — Напечатан последний выпуск «Посмертных записок Пиквикского клуба». Диккенс редактирует и готовит к печати «Воспоминания Джозефа Гримальди» (опубликованы в 1838 году).

1835, апрель — Выходит в свет первый выпуск «Николаса Никльби».

1839 — Закончен последний выпуск «Оливера Твиста». Диккенс порывает с издательством Бентли.

Октябрь — Выходит в свет последний выпуск «Николаса Никльби».



1840 — Диккенс начинает сотрудничать с издателями Чэпменом и Холлом. Выходит первый номер их нового периодического издания «Часы мастера Хэмфри», где по январь 1841 года печатается «Лавка древностей», а с января по ноябрь 1841 года — «Барнеби Радж».

1842, январь — июнь — Поездка по Соединенным Штатам Америки. Выходят в свет «Американские заметки».

1843, январь — первый выпуск «Мартина Чезлвита».

Декабрь — Напечатан первый святочный рассказ Диккенса «Рождественская песнь в прозе».

1844 — Закончен «Мартин Чезлвит».

Июнь — Поездка в Италию, Генуя, святочный рассказ «Колокола».

Ноябрь — Диккенс несколько дней в Лондоне. Снова Италия.

1845 — Диккенсы возвращаются в Англию.

Декабрь — Выходит в свет «Сверчок на печи».

1846, 21 января — Выходит первый номер газеты «Дейли ньюс», основанной Диккенсом. В ней печатаются его «Картины Италии».

9 февраля — Диккенс отказывается участвовать в издании газеты «Дейли ньюс».

Май — Поездка в Швейцарию, Лозанна.

Октябрь — Первый выпуск романа «Домби и сын».

Декабрь — Святочный рассказ «Битва жизни».

1847 — Три месяца в Париже. Начинает выходить первое собрание сочинений Диккенса (заканчивается в 1868 году).

1848, апрель — Последний выпуск «Домби и сына».

1849, май — Начинает печататься «Дэвид Копперфилд».

1850, 30 марта — Первый номер журнала «Домашнее чтение», основанного Диккенсом.

Ноябрь — Последний выпуск «Дэвида Копперфилда».

1852, март — Первый выпуск «Холодного дома».

1853, сентябрь — Последний выпуск «Холодного дома». Выходят в свет два тома «Истории Англии для детей», которые с 25 января 1851 по 10 декабря 1853 года печатались частями в «Домашнем чтении».

Июнь — Поездка во Францию.

Октябрь — Швейцария и Италия.

Декабрь — Диккенс возвращается на родину.

27, 29, 30 декабря — Бирмингем. Первое публичное чтение («Рождественская песнь» и «Сверчок на печи»).

1854 — Выходит полное издание «Истории Англии для детей».

Апрель — август — В «Домашнем чтении» печатается роман

«Тяжелые времена».

*Ноябрь* — Поездка во Францию.

*1855, декабрь* — Первый выпуск «Крошки Доррит».

*1856, апрель* — Возвращение в Англию.

*1857, июнь* — Закончена «Крошка Доррит».

*Октябрь* — Опубликованы «Праздные записки двух праздных подмастерьев», написанные совместно с Уилки Коллинзом.

*1858* — Турне Диккенса по Англии, Ирландии и Шотландии с чтением произведений. Цикл чтений заканчивается в 1859 году.

*1859, 28 мая* — Выходит последний номер журнала «Домашнее чтение».

*С 30 апреля* начинает выходить журнал «Круглый год», в котором с апреля по ноябрь печатается «Повесть о двух городах».

*1860, декабрь* — В «Круглом годе» появляется первый выпуск романа «Большие надежды».

*Январь — октябрь* — «Записки путешественника по некоммерческим делам».

*1861, август* — Последний выпуск «Больших надежд». Снова турне по Англии.

*1862* — Чтения продолжаются.

*1863, январь — февраль* — Благотворительные чтения в Париже.

*1864, май* — Первый выпуск романа «Наш общий друг».

*1865, ноябрь* — Закончен «Наш общий друг». Диккенс болен. Поездка на отдых во Францию. Стейплхерстская железнодорожная катастрофа.

*1866* — Снова чтения. Турне по Англии, Ирландии, Шотландии, Париж.

*1867* — Турне по Америке. В рождественском номере «Круглого года» напечатан рассказ Диккенса и У. Коллинза «Проезд закрыт». Выходит новое собрание сочинений Диккенса.

*1869* — Диккенс начинает писать «Тайну Эдвина Друда».

*1870, 9 июня* — Смерть Диккенса.

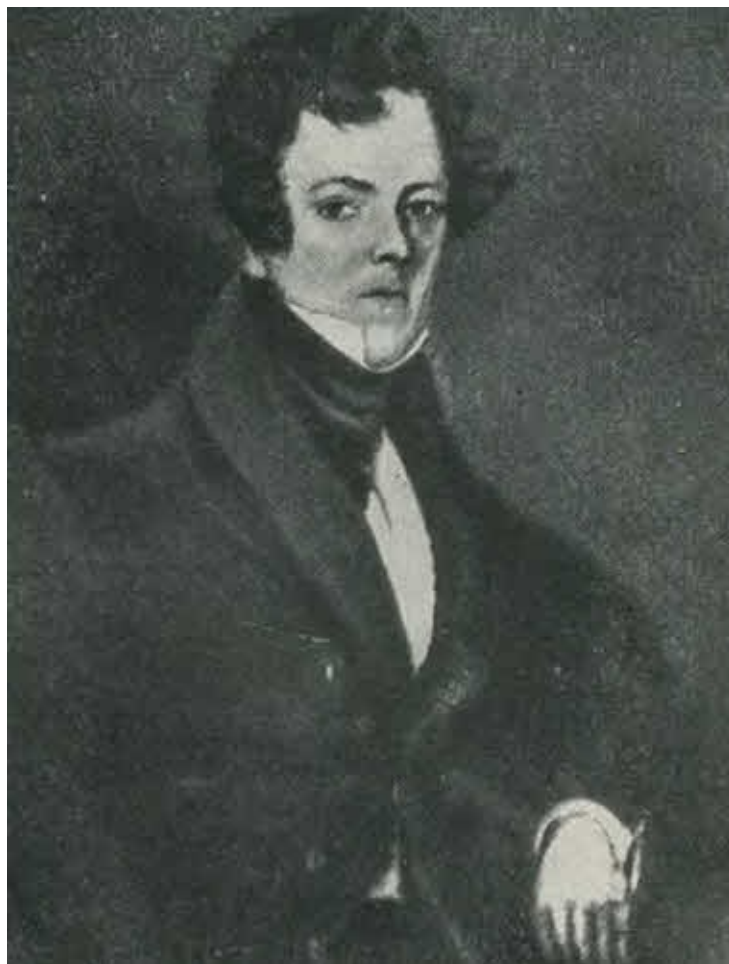
## Иллюстрации



*Чарльз Диккенс в возрасте 27 лет.*



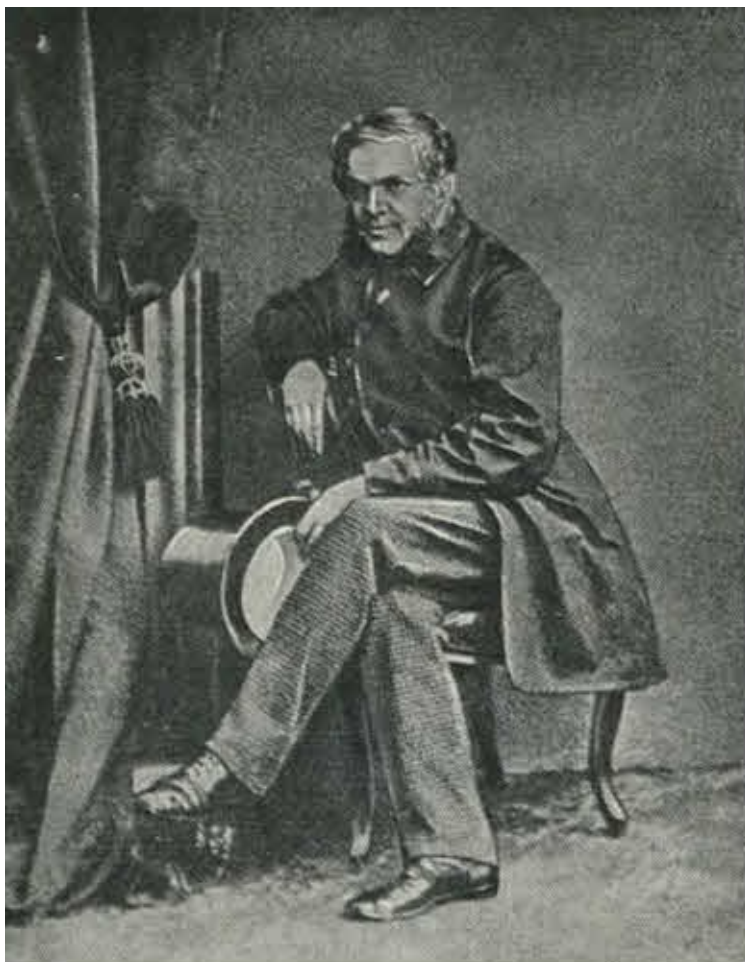
*Элизабет Диккенс, мать писателя.*



*Джон Диккенс, отец писателя.*



*Чарльз Диккенс, его жена и ее сестра.*

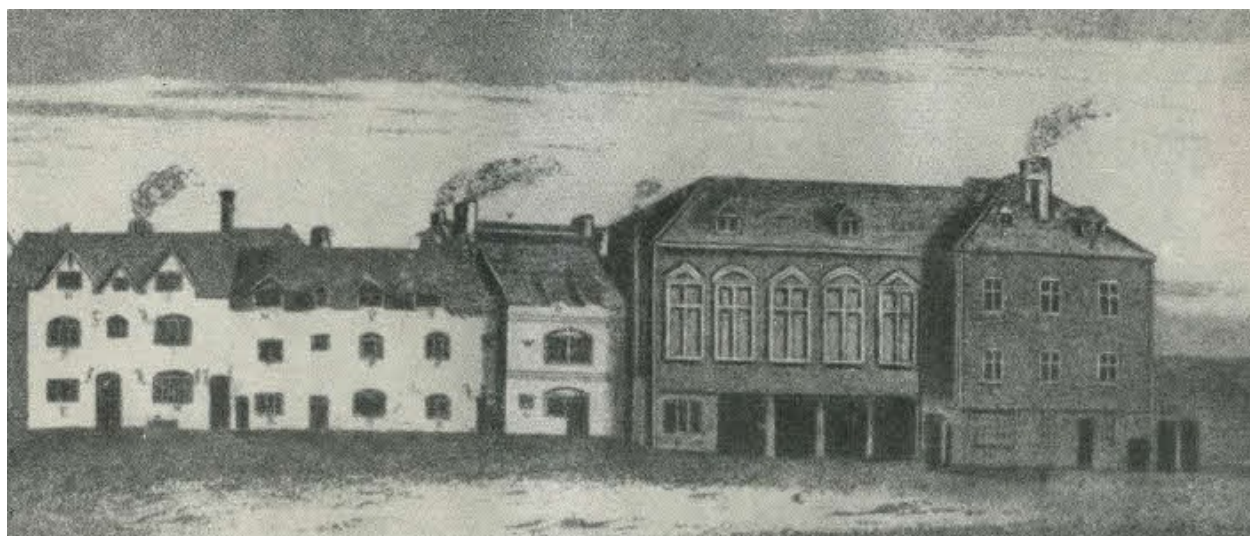


*Макриди.*





*Вид на Сити в 1859 году.*



*Тюрьма Маршалси в 1773 году.*





*Джорджина Хогарт.*



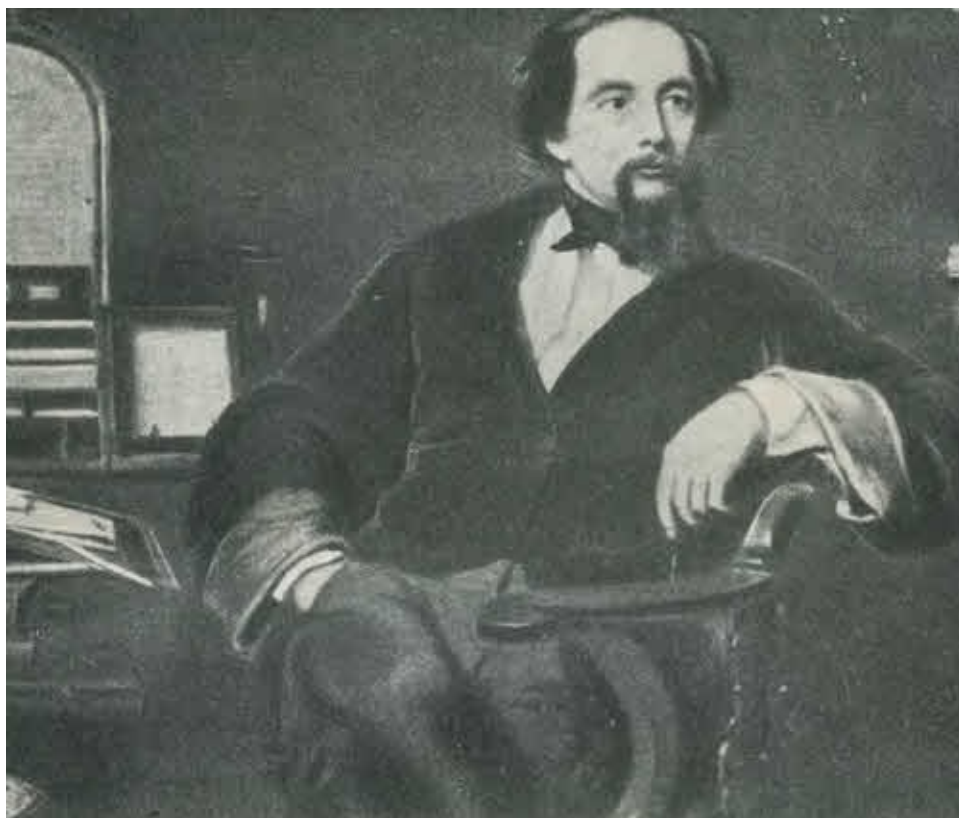
*Дом № 48 по Доути-стрит, в котором жил Диккенс.*



*Гэдсхиллский дом Диккенса.*



*Портрет жены Диккенса художника Д. Маклиза (1846 год).*



*Чарльз Диккенс. Портрет художника У. П. Фриса.*



*Мэри Хогарт*



*Жена Диккенса*



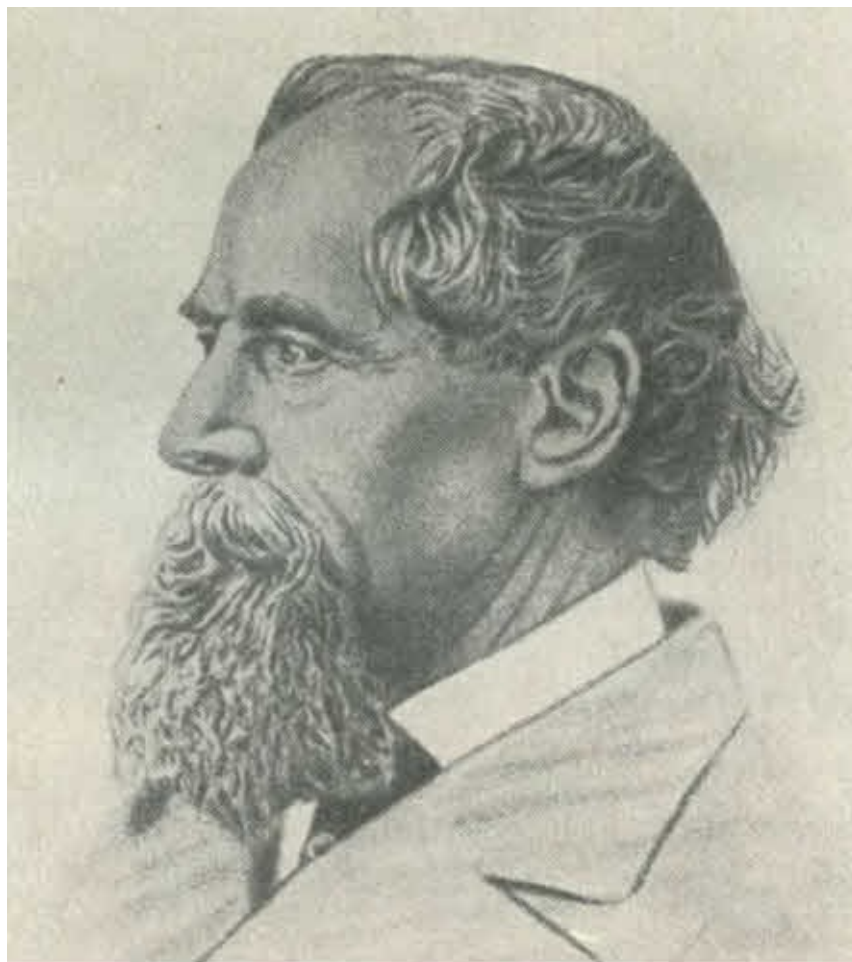


*Чарльз Диккенс*

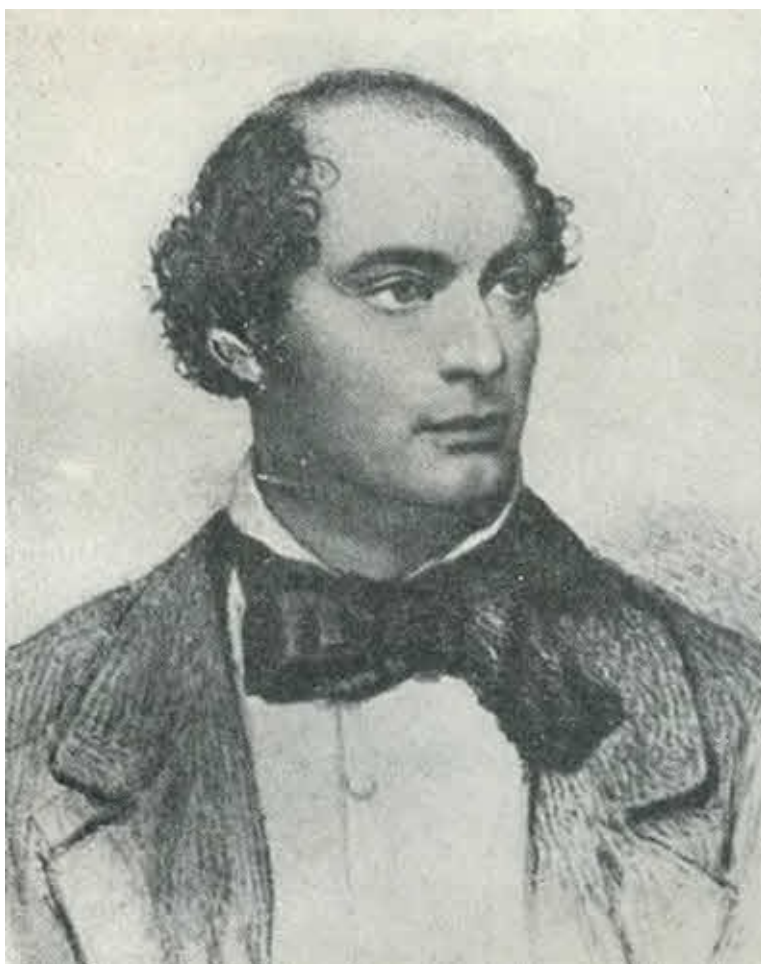


*Элен Тернан*

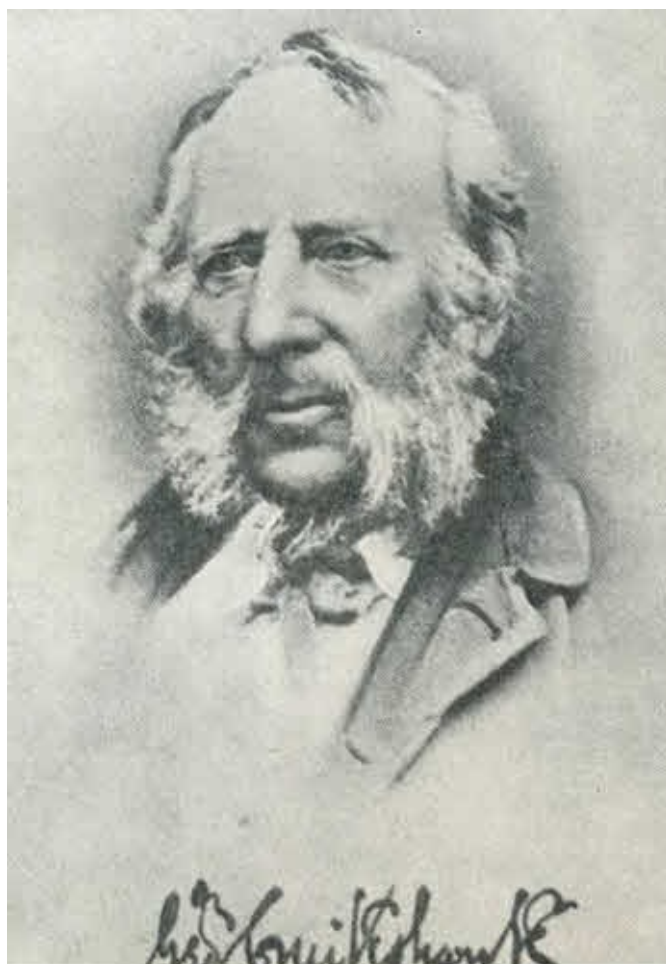




*Диккенс в 1870 году*



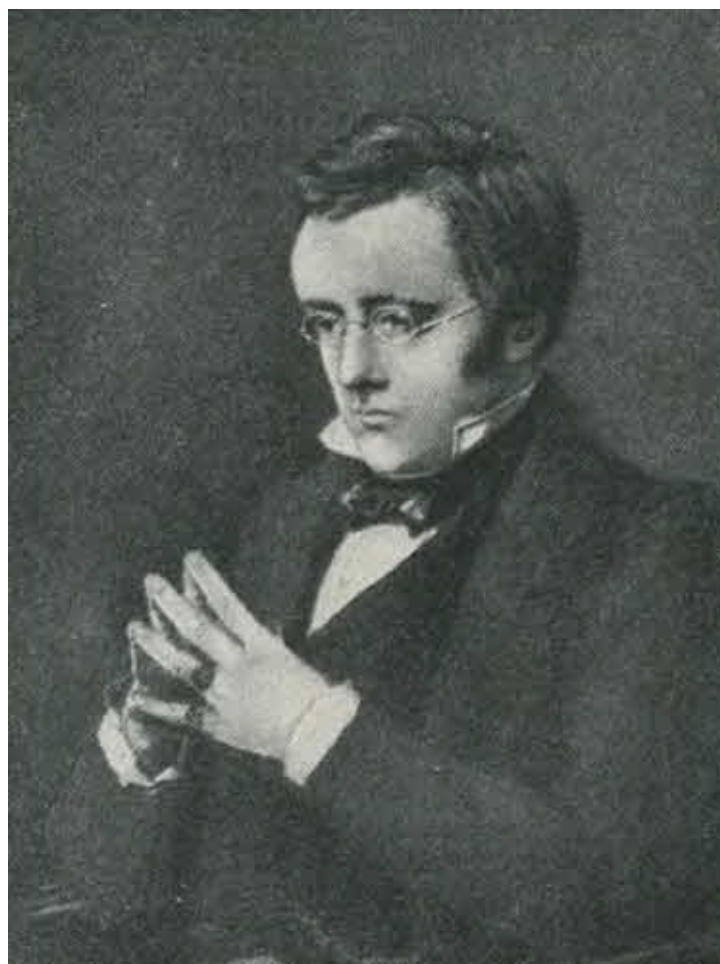
*Дэниэл Маклиз.*



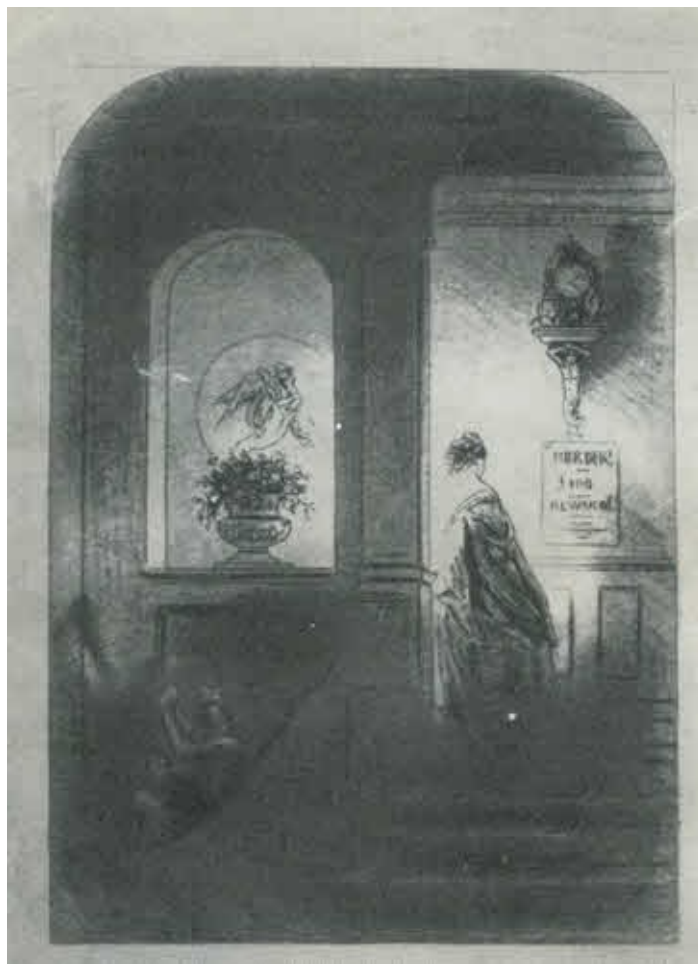
*Джордж Крукшенк.*



*Уильям Мейкпис Теккерей.*



*Уильям Уилки Коллинз.*



*Иллюстрация Физа к «Холодному дому».*



*Монтегю Тигг («Мартин Чезлвит». Рис. Клайтона Кларка).*

*Майор Бегсток («Домби и сын». Рис. Клайтона Кларка).*

*Все парные рисунки слева направо*



*Боддин («Лавка древностей». Рис. Клайтона Кларка).*

*Дэвид Копперфилд («Дэвид Копперфилд». Рис. Клайтона Кларка).*





*Фейджин («Оливер Твист». Рис. Клайтона Кларка).*

*Джоб Троттер («Записки Пик викского клуба». Рис. Клайтона Кларка)*



*Джо («Холодный дом». Рис. Клайтона Кларка).*

*Бэйли-младший («Мартин Чезлвит». Рис. Клайтона Кларка).*



*Салли Брасс («Лавка древностей». Рис. Клайтона Кларка).*

*Гейм Чикен («Домби и сын». Рис. Клайтона Кларка).*



*Боб Сойер («Записки Пиквикского клуба». Рис. Клинтона Кларка).*

*Марк Тапли («Мартин Чезлвит». Рис. Клайтона Кларка).*



*Розг Райдергуд («Наш общий друг». Рис. Клайтона Кларка).*

*Шорт («Лавка древностей». Рис. Клайтона Кларка).*



*Манталини («Николас Никльби». Рис. Клайтона Кларка).*

*Барнеби Радж («Барнеби Радж». Рис. Клайтона Кларка).*



*Диккенс в гробу. Зарисовка Дж. Милля.*



*Могила Диккенса*



## Библиография

«Ч. Диккенс». Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке 1938–1960. Изд-во Всесоюзн. книжной палаты, 1962.

Диккенс Ч., Сочинения в 10 томах. Спб, 1892–1897.

Диккенс Ч., Собрание сочинений в 35 томах. Спб, 1896–1899.

Диккенс Ч., Собрание сочинений в 33 томах. Спб, 1909.

Диккенс Ч., Полное собр. соч. в 13 томах. Спб, 1909–1910.

Диккенс Ч., Собрание сочинений, тт. 1–4. Детгиз, 1940–1941.

Диккенс Ч., Собр. соч. в 30 томах. Гослитиздат, 1957. Издание продолжается.

Анненская А. Н., Ч. Диккенс. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. Спб; 1892. («Жизнь замечательных людей», биографическая биб-ка Ф. Павленкова.)

Луначарский А., Жизнь Чарльза Диккенса. (К столетию со дня рождения.) «Киевская мысль», 1912, № 25.

Раднов Э., Чарльз Диккенс. Берлин — М., 1922.

Цвейг С., Диккенс. В кн.: Цвейг, Собр. соч., т. 7. Ленинград, 1929.

Честертон Г., Диккенс. Л., 1929.

Сильман Г., Диккенс. Очерки творчества. М.—Л., Гослитиздат, 1948.

Ланн Е. Л., Диккенс. Беллетризированная биография. М., Гослитиздат, 1946.

Ивашева В. В., Творчество Диккенса. М., изд-во Московского университета, 1954.

Нерсесова М. А., Творчество Ч. Диккенса. М., изд-во «Знание», 1957.

Михальская Н., Чарльз Диккенс. Очерк жизни и творчества. М., 1959.

Катарский И. М., Диккенс. Критико-биографический очерк. Гослитиздат, 1960.

Фридлендер Ю., Чарльз Диккенс. Указатель важнейшей литературы на русском языке (1838–1945). Л., 1946.



## Примечания

Не он один стыдился того, что имел дело с фабрикой ваксы. Его родственники по материнской линии были людьми столь почтенными, что если и заговаривали об этом эпизоде, то лишь в самых общих чертах. Через несколько лет, когда Чарльз старался устроиться на службу в газете, его дядя Джон Барроу навопрос, кем раньше служил племянник, уклончиво ответил, что он «в свое время оказывал фабриканту Уоррену содействие<sup>[18]</sup> по руководству его обширным предприятием и, помимо всего прочего, сочинял рекламные стихотворения. В этом, как и в других делах, выказал изрядные способности».

Эта ферма, которую Диккенс особенно любил, расположена на западной окраине пустоши Хемпстед Хит, за гостиницей «Булл Энд Буш», и ныне известна под названием «Уайлдс». Там в свое время жила семья Линнелов, у которых часто гостил их Друг, поэт Уильям Блейк.

См. посвященную конфликту Диккенса с Бентли статью Дэвида А. Рэндалла в «Литературном приложении» к газете «Таймс» за 12 октября 1946 года.

Из неопубликованного письма, которое Юна Поуп-Хеннеси приводит в «Литературном приложении» к газете «Таймс» от 2 ноября 1946 года.

Поживем — увидим (*фр.*).

«Похоронный звон» по-английски произносится так же, как имя маленькой героини «Лавки древностей» — Нелл.

Бечевник — дорога для тяги судов по бечеве.



Ср. Сэм Уэллер — герой «Пиквика».

Нехристь! Злодей! Погоди, набоуксирую тебя как следует.

От voiture (*фр.*) — карета.

Что-о? Что ты сказал? Набоуксируешь? Да? Вот ты чего захотел? Ха!  
Ну-ка, боуксни попробуй!

У. Рассел. Диккенс — психиатр. «The London Hospital Gazette. Январь 1942 г.

**13**

Двадцать одно очко (*фр.*).

Хозяйка (ит.).

Знаменитый романист, сэр Диккенс.



А! Знаменитый писатель! У мосье такая знаменитая фамилия! О! Это такая честь видеть мосье Дик-ин, это так интересно. Одну из книг мосье я читаю каждый день.

Смешная особа и в точности похожа на одну мою знакомую даму из Кале.

Посвящается знаменитому романисту Чарльзу Диккенсу.

На месте Сен-Мартинз Холла сейчас находится здание Одемз Пресс в Лонг Эйкр.

Бестселлер — ходкая книга.

Добродушие (фр.).

Игра слов «fancygoods» — галантерейные товары и «fancy» — фантазия.

Автору известен лишь один источник, утверждающий (впрочем, без всяких доказательств), что Эллен Тернан находилась в поезде вместе с Диккенсом. О том, что это действительно так и было, можно заключить по той заботливости, которую Диккенс проявил по отношению к Эллен после этого происшествия, то есть в те дни, когда у него были достаточно серьезные основания позаботиться о самом себе.



От первого лица (*лат.*).

25

Самоубийство (лат.).

---

**notes**

## Комментарии

**1**

*Стирфорс* — персонаж романа Диккенса «Дэвид Копперфилд».

*Смоллетт Тобайас* (1721–1771) — выдающийся английский писатель, предшественник литературы критического реализма, автор романов «Приключения Родерика Рэндома» (1748 г.), «Приключения Перегрин Пикля» (1751 г.) и др.

*Филдинг Генри* (1707–1754) — крупнейший английский писатель-реалист, автор романов «История Джозефа Эндрюса» (1742 г.), «Джонатан Уайльд Великий» (1742 г.), «История Тома Джонса Найденыша» (1749 г.), сатирических комедий «Пасквин» (1736 г.), «Исторический календарь на 1836 год» (1737 г.) и др.

*Хэмпстед-роуд* — район северной части Лондона, знаменитый своими прудами и купальнями.

Сохо — один из районов Лондона, населенный беднотой.



*Лаймхаус* — один из приречных районов Лондона, известный фабриками и доками.

*Ист-Энд* — восточная часть Лондона, заселенная бедняками. Широко известна своими трущобами.

*Ковент-гарден* (Монастырский сад) — один из районов Лондона, примыкавший к территории бывшего монастыря Святого Петра в Вестминстере. Здесь расположены один из двух главных лондонских театров, «Ковент-гарден», и Ковент-гарденский рынок.

*Стрэнд* — одна из главных улиц Лондона. По северной стороне Стрэнда на многочисленных улочках во времена Диккенса размещалось несколько десятков театров.

*Сэвен Дайелс* — район трущоб в Лондоне; место, где сходится семь улиц.

*Гоуэр-стрит* — улица, расположенная недалеко от Британского музея и площади Монтегю-Плейс в районе, где селились более или менее обеспеченные среднебуржуазные семьи.

*Его отправили в тюрьму Маршалси.* В Англии, как и в других странах в то время, несостоятельного должника можно было заключить в тюрьму. Маршалси, одна из долговых тюрем Лондона, находилась на Хай-стрит, в районе Саутуорк, с 1811 по 1849 год. В настоящее время тюрьма снесена.

*Лемерт Джеймс* — пасынок сестры миссис Диккенс, распорядитель на фабрике ваксы у своего родственника Джорджа Лемерта.



*Перебралась в новую резиденцию — тюрьму. Семья несостоятельного должника, заключенного в тюрьму, могла селиться с ним, сохраняя право свободного выхода из тюрьмы.*

*Вестминстерское аббатство* — старинная церковь в Лондоне (XIII в.), место погребения английских королей и великих людей Англии.

*Биографии, написанной Форстером.* Первая биография Диккенса, написанная его другом Джоном Форстером (1812–1896), известным английским критиком и журналистом, вышла в 1872–1874 годах.

*Оказывал фабриканту Уоррену содействие.* Дядя Диккенса называет фабрику ваксы фабрикой Уоррена, потому что Джордж Лемерт, у которого работал Диккенс, купил свое заведение у Джонатана Уоррена, брата владельца крупной фабрики ваксы Роберта Уоррена.

*Он служил рассыльным у стряпчего (адвокат, поверенный). Диккенс начал работать в конторе поверенного Малой в 1826 году.*

*Сомерс-Таун* — район Лондона к северо-западу от Сити.

*Докторс-Коммонс* — коллегия юристов, которые имели право выступать в одноименных судах, где разрешались семейные, наследственные, церковные дела и дела, связанные с деятельностью Адмиралтейства. Суды и коллегия юристов Докторс-Коммонс были упразднены в 1857 году. Название Докторс-Коммонс распространялось на здания, в которых размещалась коллегия.

После частичной реформы судов дела, подсудные Докторс-Коммонс, были переданы отделению по завещательным, бракоразводным и морским делам.

*Брачная лицензия* — разрешение на заключение брака без предварительного тройного оглашения в приходской церкви. Лицензии продавались церковными властями.



*Все уродство и нелепость английского судопроизводства.* Система английского судопроизводства необычайно сложна. В Англии не было и нет кодекса законов. Английские суды руководствуются «обычным правом», то есть правом, основанным на обычаях; судебными прецедентами, то есть обоснованными решениями, вынесенными различными судами (таких прецедентов за несколько веков накопилось много тысяч. Для того чтобы их напечатать, понадобилось несколько сот томов), и так называемой «справедливостью». Английские суды прежде всего разделяются по источникам права, и поэтому одни и те же дела могут рассматриваться в различных судах. В Англии времен Диккенса существовали следующие суды: Суд Королевской скамьи, Суд Общих тяжб, суд по делам о несостоятельности, мировые и полицейские суды (эти суды занимались в основном гражданскими делами, руководствуясь «обычным правом и прецедентами»); центральный уголовный суд Олд-Бейли, судебные сессии («ассизы»), происходящие три раза в год в главном городе каждого графства под руководством судьи, назначенного в Лондоне, квартальные сессии мировых судей (эти суды занимаются решением уголовных дел); суд Докторс-Коммонс (это целое объединение судов по семейным, наследственным, церковным делам и делам английского Адмиралтейства) и Канцлерский суд (этот суд действовал на основе «справедливости», которая содержалась в приказах лорд-канцлера).

Разобраться в правовых нормах и в прецедентах в компетенции судов и вести в них дела очень трудно, поэтому в Англии громадную роль играет адвокатура, структура которой, пожалуй, не менее сложна, чем система судов. Во времена Диккенса существовали следующие основные категории адвокатов: поверенные (по-английски: «атторни» или «солиситоры»), барристеры и сардженты (то есть королевские адвокаты, наиболее влиятельные и известные барристеры). Атторни (солиситоры), адвокаты низшего разряда, не были обязаны иметь специальное юридическое образование и обычно приобретали необходимые знания, работая в конторах у опытных юристов. Они вели юридические дела своих клиентов, управляли их имуществом, подготавливали дело для его ведения в суде и т. д.

Атторни выступать в судебном процессе не имели права. Этим правом пользовались барристеры и сардженты — королевские адвокаты,

получившие образование в Иннс-оф-Корт, то есть в судебных иннах (см. прим. к стр. 463)\*.

Выступая в суде, барристеры и сардженты не могли вступать в непосредственный контакт с клиентами и сносились с ними через атторни.

*Театр «Ковент-гарден»* — один из двух главных театров Лондона, имевший до 1843 года исключительное право ставить классические драмы и трагедии.

*Сити* — центральный район Лондона, в котором находятся биржа, банки и крупнейшие коммерческие предприятия.

*Ломбард-стрит* — улица в Лондоне, на которой расположено много банков. Название улицы возникло в XIV–XV веках, когда на этом месте жили ювелиры и менялы из Ломбардии (Северная Италия).

*Уолпол Хорэс* (1717–1797) — английский писатель, один из основоположников жанра романа «кошмаров и ужасов». Известностью пользуется его роман «Замок Отранто» (1765 г.) и два сборника мемуаров, которые были изданы в 1822 и 1845 годах.

*Билль о реформе.* Речь идет об избирательной реформе, которая обсуждалась в это время в парламенте. Билль был принят 4 июня 1832 года. По новому избирательному закону 56 «гнилых местечек» были лишены права посылать депутатов в парламент, и было сокращено число депутатов от небольших городов. Освободившиеся места были переданы таким крупным городам, как Манчестер, Бирмингем и т. д., которые раньше не были представлены в парламенте.

*Граф Грей (Чарльз Грей)* (1764–1845) — крупнейший английский политический деятель партии вигов. В 1830–1834 годах — премьер-министр.



*Лорд Джон Рассел* (1792–1872) — английский политический деятель, глава партии вигов, член ряда министерств.

*Флит-стрит* — улица в центральной части Лондона, газетный центр.

*Вестминстер Холл* — Древнейший зал Вестминстерского дворца (XI в.), зал заседаний английского суда. Один из старейших памятников английской готики. После пожара дворца в 1834 году, когда здание было вновь отстроено, зал был превращен в вестибюль парламента.

*Театр «Адельфи»* — построен в 1806 году на Стрэнде. Ставились в театре преимущественно мелодрамы.

*Эйнсворт Уильям Гаррисон* (1805–1882) — английский писатель, автор исторических романов. Наибольшей известностью пользовался в свое время его роман «Руквуд» (1834 г.).

*Крукшенк Джордж* (1792–1878) — известный английский художник — иллюстратор и карикатурист. Работы первого периода отличаются политической остротой. Иллюстрировал «Очерки Боза» и «Оливера Твиста».

*Методисты* — англо-американская религиозная секта, основанная в XVIII веке, требующая от своих сторонников обязательного, точного («методичного») выполнения всех правил и обрядов англиканской церкви.

*Маклиз Дэниэл* (1806–1870) — художник-портретист, автор многих полотен на исторические темы, член Королевской академии. Написал известный портрет Диккенса в 1839 году. Друг Диккенса. Один из иллюстраторов «Рождественских рассказов»



*Вест-Энд* — западная часть Лондона, богатый аристократический район. Здесь находятся парламент, королевский дворец, роскошные особняки, магазины, сады.

*Ньюгет* — уголовная и политическая тюрьма в Лондоне, построенная в XII веке. Во времена Диккенса была центральной уголовной тюрьмой и служила (до 1862 года) местом публичных казней. Закрыта в 1880 году, снесена в 1903–1904 годах.

Клуб. Громадную роль в жизни англичан играли и играют клубы. Первые клубы появились в Англии еще в конце XVII века. К XIX веку общественная жизнь в Англии сосредоточивалась в клубах. Хотя в XIX веке клубы значительно демократизировались, все же оставались достаточно замкнутыми учреждениями. Вступительные взносы в клубы, даже в самые демократические, были достаточно высоки. Как правило, клубы располагались в специальных, великолепно оборудованных помещениях, имели свои столовые, библиотеки и т. д. Правила распорядка в клубах в большинстве случаев были строгие. В клубы не допускались посторонние, женщины. Обедать можно было лишь в вечерних костюмах. Клубы представителей искусства и литературы отличались большим демократизмом и простотой.

*Рочестер* — древний городок на правом берегу реки Медуэй, впадающей в Темзу.

*Челси* — один из районов Лондона. Во времена Диккенса — пригород.

*Ли́я Джо́н* (1817–1864) — английский карикатурист и иллюстратор. Иллюстрировал «Рождественскую песнь» и другие рассказы Диккенса. Принимал деятельное участие в любительских спектаклях, организуемых Диккенсом.

*Браун Хэблот Найт* (псевдоним «Физ») (1815–1882) — известный английский художник-карикатурист. Иллюстрировал многие романы Диккенса.

*Пирс Игэн* — автор бытовых очерков, рассказов и анекдотов из жизни Лондона. Ввел в моду публикацию произведений иллюстрированными выпусками.



*Оселок* — шут, персонаж комедии У. Шекспира «Как вам это понравится».

*С рассказом мистрис Квикли о смерти Фальстафа. Фальстаф и мистрис Квикли — действующие лица пьес «Генрих IV», «Генрих V» и «Виндзорские насмешницы» У. Шекспира. Упомянутый рассказ мистрис Квикли — в пьесе «Генрих V», акт II, сцена 3.*

*Кин Эдмунд* (1787–1833) — великий английский актер-трагик, блестящий исполнитель многих ролей в трагедиях Шекспира.

*Хант Джеймс Генри Ли (Ли Хант)* (1784–1859) — английский поэт и литератор. В 1808 году основал первый радикальный еженедельник «Экзаминер». В 1811 году привлекался к суду за статью против порки в армии. В 1812 году был осужден на 2 года тюремного заключения за «неподобающие выражения» по адресу принца-регента (будущего Георга IV), но продолжал редактировать журнал в тюрьме, где его посещали Байрон, Томас Мур, Лэм, Бентам. Был в приятельских отношениях с Диккенсом.

*Макриди Уильям* (1793–1873) — крупнейший трагик Англии, в 1841–1843 годах возглавлял театр «Друри-лейн», ушел со сцены 26 февраля 1851 года.

*Стэнфилд Кларксон Уильям* (1793–1867) — английский художник — пейзажист и маринист. В молодости служил в военном флоте. Член Королевской академии с 1835 года. Работал декоратором в театре «Друри-лейн». Друг Диккенса, постоянный участник его любительских спектаклей.

*Тальфур Томас Нун* (1795–1854) — видный судебный и общественный деятель. Драматург и критик. Один из первых критиков, отметивших талант Диккенса, который посвятил ему своего «Пиквика». В 1841 году Тальфур вместе с другими радикальными деятелями добился принятия парламентом закона об охране детского труда.

*Джердан Уильям* (1782–1869) — английский литератор. Редактор «Литературной газеты» с 1817 по 1850 год. В 1821 году был одним из инициаторов создания Королевского литературного общества.



«Джек Строз Касл» — ресторан, излюбленное место отдыха английских писателей и художников в XVIII–XIX веках.

*Гринвич* — район восточной части Лондона. Здесь расположена знаменитая Гринвичская обсерватория.

«*Таймс*» — английская ежедневная буржуазная газета консервативного направления. Основана в 1785 году.

*Брайтон* — аристократический приморский курорт на юге Англии.

*Кин Чарльз* (1811–1868) — английский актер и режиссер, сын Эдмунда Кина.

*Гримальди Джозеф* (1779–1837) — известный английский клоун, выступавший в пантомимах на сцене театра «Сэдлерс-Уэллс» в Лондоне. Его воспоминания под редакцией и с предисловием Диккенса вышли в 1838 году.

*Великий Могол* (испорченное от *Монгол*) — европейское название мусульманской династии, правившей в Индии с 1526 по 1858 год. Название Великий Могол часто употребляется в значении неограниченного владыки.

*Лэм Чарльз* (1775–1834) — известный критик, очеркист и поэт.



*Лендор Уолтер Сэвидж* (1775–1864) — английский поэт и драматург.

*Синекура* (лат. sine cura — без заботы) — хорошо оплачиваемая должность, не требующая никакой работы.

*Брум Генри*, лорд (1778–1868) — английский государственный деятель, крупный администратор.

*Граф д'Орсэ* — француз, законодатель лондонских мод в первой половине XIX века.

*Леди Блессингтон Маргарита* (1799–1849) — английская писательница-романистка, автор интересных мемуаров и «Разговоров с Байроном».

*Пальмерстон Генри Джон Темпл* (1784–1865) — английский государственный деятель, лидер партии вигов, неоднократно министр иностранных дел; премьер-министр с 1855 по 1858 и с 1859 по 1865 год.

*Гладстон Уильям Юарт* (1809–1898) — английский государственный деятель, лидер либеральной партии, премьер-министр (1868–1874, 1880–1885, 1886, 1892–1894).

*С видом Моисея, пророчествующего с горы Синай.* То есть с видом пророка, вещающего божественную истину. Согласно библейскому мифу пророк Моисей на горе Синай получил от бога скрижали завета.



*Доктор Джонсон* (Сэмюэл Джонсон) (1709–1784) — писатель, лексикограф и критик XVIII века, автор толкового словаря английского языка.

*Литтон Роберт* — английский дипломат и романист, писал под псевдонимом Оуэн Мередит.

*Фицджеральд Перса Гетрингтон* — английский писатель и журналист. Последователь и друг Диккенса.

*Бархэм Ричард Гаррис* (Томас Ингольсби) (1788–1845) — известный английский юморист.

*Кенсингтон* — район в южной части Лондона. В эпоху Диккенса — лондонское предместье с большим парком и королевским дворцом.

*Смит Сидней* (1771–1845) — философ-богослов, автор многих книг и статей.

*Роджерс Сэмюэл* (1763–1855) — английский поэт и коллекционер, банкир.

*Джеролд Дуглас* (1803–1857) — английский очеркист, драматург и юморист; друг Диккенса.



*Рочестерский замок*, — построен в XII веке. Славится громадной квадратной башней нормандской архитектуры.

*Партридж* — персонаж романа Г. Филдинга «История Тома Джонса Найденьша».

*Три Герберт Бирбом* (1853–1917) — известный английский актер.

*Волап* — игра в мяч (теперь — бадминтон).

*Маколей Томас Эббингтон* (1800–1859) — английский буржуазный историк, публицист и политический деятель, автор «Истории Англии от восшествия на престол Якова II».

*Риджент-парк* — один из крупнейших парков Лондона.

*Гольдсмитовская «Пчела»* — журнал, издававшийся известным писателем О. Гольдсмитом в 1758 году (вышло всего 8 номеров).

*Домик Джонсона.* Речь идет о домике, в котором родился Сэмюэл Джонсон.



*Принц Альберт, герцог Саксонский* (1819–1851) — муж королевы Виктории, принц-консорт (принц-супруг).

*Виндзор* — старинный город к юго-западу от Лондона. Здесь расположена резиденция английских королей — Виндзорский замок.

*Серпентайн* (от *Serpentine* — змея) — очень извилистый пруд в крупнейшем лондонском парке — Гайд-парке.

*Стать чартистом.* Чартизм — первое массовое, политически оформленное, пролетарско-революционное движение. Чартизм возник в Англии в тридцатые годы XIX века. Название «чартизм» происходит от «Народной хартии» — петиции парламенту с изложением требований чартистов.

*Евреи Собачьей канавы.* Собачья канава — улица в районе Уайтчепеля, заселенного иммигрантами, преимущественно евреями.

*О'Коннел Дэниэл* (1775–1847) — ирландский патриот, сторонник самостоятельности Ирландии.

*Как говорит Ланселот Гоббо, побеждает правда. Ланселот Гоббо — действующее лицо в комедии Шекспира «Венецианский купец», шут. Автор имеет в виду сцену 2 из II акта: «Правда должна выйти на свет... в конце концов правда выйдет наружу».*

*Какой-то Старый Моряк в образе юной дамы.* Намек на героя поэмы С. Кольриджа «Старый Моряк» (1798 г.).



*Виги* — английская политическая партия, возникшая в семидесятые-восемидесятые годы XVII века. Представляет интересы верхов торговой и банковской буржуазии и части обуржуазившейся аристократии. С середины XIX века называют себя либералами.

*Лорд Джеффри Фрэнсис* (1773–1850) — английский критик, очеркист, судебный деятель, редактор «Эдинбургского обозрения».

*Уилсон Джон* (1785–1854) — шотландский литератор, профессор этики в Эдинбургском университете, постоянный сотрудник «Блэквуд мэгэзин», писавший под псевдонимом «Кристофер Норт».

*Упорно величал Баллихулишем. Игра слов По-английски «баллихулиш» — «шумный».*

*Доктор Чэннинг Уильям Эллери (1780–1842) — известный американский общественный деятель, священник, противник рабства.*

*Город квакеров.* Квакеры (от англ. «quaker» — «трясун») — прозвище членов христианской, протестантской секты, возникшей в Англии в XVII веке под названием «Общество друзей». В шестидесятых годах XVII века большое число квакеров эмигрировало в Америку, где ими была основана колония Пенсильвания. Филадельфия — главный город штата Пенсильвания.

*Номер «На скотном дворе».* Диккенс имеет в виду поведение членов оппозиции в Палате общин, которые в знак неодобрения решения режут ослами, рычат и т. д.

*Как «аминь» в горле Макбета.* Диккенс имеет в виду слова Макбета: «Молитвы я алкал, но комом в горле «аминь» застряло». У. Шекспир, Макбет, акт II, сцена 2.



*Адамс Джон Квинси* (1767–1848) — американский политический деятель, президент США (1825–1829), первый посланник США в России (1809–1814).

*Сноб* — ироническое прозвище, даваемое в Англии людям, увлекающимся всем модным, преклоняющимся перед тем, что принято в «высшем свете».

*И хотя все здесь глаз ласкало — и мерзок был лишь человек...* Строки из «Гимнов с Ледяных холмов Гренландии» английского поэта Б. Р. Хегера (1783–1826).

*Собор Святого Петра* — один из крупнейших памятников эпохи Ренессанса в Риме. Строился в XV–XVII веках. В создании собора принимали участие величайшие художники Возрождения: Браманте, Микеланджело, Рафаэль.

*Пакстон Джозеф* (1803–1865) — английский садовод и архитектор. Спроектировал для Лондонской выставки 1851 года хрустальный дворец. Финансировал газету «Дейли ньюс», основанную Диккенсом в 1846 году.

*Лига борьбы против хлебных законов* — была создана в Манчестере в 1838 году манчестерскими фабрикантами-фритрейдерами, то есть сторонниками свободной торговли, для борьбы за отмену пошлин на хлеб, благодаря которым английские землевладельцы удерживали высокие цены на него. Пошлины были отменены парламентским биллем в 1846 году.

*Спенлоу и Джоркинс* — персонажи романа Диккенса «Дэвид Копперфилд», владельцы юридической конторы. Мистер Спенлоу изображал из себя доброго, сердечного, щедрого человека, вынужденного подавлять свои чувства в угоду якобы жестокому и прижимистому Джоркинсу.

*Лемон Марк* (1809–1870) — английский журналист, юморист, ведущий сотрудник известного сатирического журнала «Панч». Один из близких друзей Диккенса.



*Лорд Мельбурн Уильям Ламб* (1779–1848) — английский государственный деятель, член многих министерств. Премьер-министр в 1834, 1835–1841 годах.

*Он неистовствует так, что Флобер был бы просто шокирован.* Флобер Гюстав (1821–1880) — выдающийся французский писатель-реалист, автор широко известных романов «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств», «Саламбо» и др. Флобер требовал от писателя научного подхода к изображаемой действительности и прежде всего — чтобы он оставался объективен и бесстрастен по отношению к своим героям и их переживаниям.

*CD* и *DC* — то есть Чарльз Диккенс и Дэвид Копперфилд. По-английски слова Чарльз и Копперфилд начинаются с одной буквы «С».

*Пул Джон* (ок. 1786–1872) — английский драматург.

С терпением, которому мог бы позавидовать сам Иов. Библейское сказание повествует о богатом и добродетельном Иове, благочестие которого бог решил испытать и наслал на него много всяческих бед: лишил жены, детей, богатства, поразил проказою и т. д. Но Иов все перенес терпеливо, безропотно.

*Ноулс Шеридан Джеймс* (1784–1862) — английский драматург.

«*Всяк молодец на свой образец*» — пьеса Бена Джонсона (1573–1637), английского драматурга, друга и драматического соперника Шекспира.

*Бобадил из джонсоновской пьесы* — капитан Бобадил, хвастун и трус, из комедии «Всяк молодец на свой образец».



*Уэбб Сидней* (1859–1947) — английский общественный деятель, один из основателей реформистского фабианского общества, написавший вместе с женой, Беатрисой Уэбб, несколько книг по истории английского рабочего движения, в том числе «Промышленную демократию», переведенную В. И. Лениным в 1899 году.

*Босуэлл Джеймс* (1740–1795) — биограф и близкий друг известного английского лингвиста, писателя и лексикографа Сэмюэла Джонсона. В течение 20 лет тщательно, с мельчайшими подробностями записывал все разговоры и поступки Джонсона.

*Хэзлитт Уильям* (1778–1830) — английский критик и очеркист.

*Стоунхедж* («Висячие камни» — сакс.) — остатки каменных сооружений древних кельтов недалеко от Солсбери, как предполагают, на месте совершения религиозных обрядов.

*Мальборо* — меловые холмы, расположенные по дороге из Лондона в курортный городок Бат.

*Маргет* — курортное место в графстве Кент на юго-восточном побережье Англии.

*Рамсгет* — курортный город на восточном побережье Англии.

*Вконец концов он отыскал именно то, что было нужно, у Шекспира: король Генрих, обращаясь к своим соратникам на поле сражения, говорит, что, если они падут в бою, их имена останутся навеки в памяти каждой английской семьи как «родные слова». («Генрих V», акт IV, сцена 3).*



*Уилс У. Дж.* — литератор, бессменный помощник Диккенса в редактировании журналов «Домашнее чтение» (1850–1859), «Круглый год» (1859–1870). Друг Диккенса.

*Сейла Джордж Огастес* (1828–1895) — английский писатель и журналист, корреспондент «Домашнего чтения» в России.

*Мэйфер (Майская ярмарка)* — фешенебельный район в западной части Лондона

*Выставка в Гайд-парке* — «Всемирная выставка промышленного прогресса» в Лондоне в 1851 году.

*Коллинз Том* — брат известного английского писателя Уилки Коллинза.

*Иона.* В библии рассказывается, что пророк Иона был проглочен китом, который, повинувшись приказанию бога, выплюнул Иону на сушу.

*Генрих VIII* (1491–1547) — английский король. Известен кровавыми законами против крестьян, казнью знаменитого утописта Т. Мора и крайней распущенностью в личной жизни (имел шесть жен, из которых казнил двух).

*Леди Годива* — героиня средневековой английской легенды, просила своего мужа, крупного феодала, жестоко притеснившего своих подданных, снизить непосильные налоги. Он согласился на ее просьбу при условии, что леди Годива обнаженная проедет верхом на коне по городу. Она выполнила это условие.



*Лорд Денман Томас* (1779–1854) — известный английский юрист.

*Макбетовские ведьмы* — три ведьмы в трагедии У. Шекспира «Макбет», предсказавшие судьбу Макбету. Диккенс намекает на следующие слова Банко о ведьмах: ...Я б счел вас за старух, Не будь у вас бород.  
«Макбет», акт I, сцена III.

*Увертюру к Вильгельму Теллю. «Вильгельм Телль»* (1829 г.) — опера Джакомо Россини (1792–1868).

*Вильгельм I (Вильгельм Завоеватель)* — нормандский герцог, завоевавший в 1066 году Англию. Английский король с 1066 по 1088 год.

*Король Джон* — английский король Иоанн Безземельный (1199–1216).

*Покончив с ним все счета в Ньюарке.* Ньюарк-на-Тренте — город в графстве Ноттингемпшир, близ которого находятся развалины старинного замка, где в 1216 году умер Иоанн Безземельный.

*Генрих III*— английский король с 1216 по 1272 год.

*Орден Подвязки* — высший английский орден, учрежденный в 1350 году.



*Эдуард III*— английский король с 1327 по 1377 год.

...в Риме тогда было два папы. В истории римской церкви не один раз бывали случаи, когда на папский престол было избрано сразу два папы (в XI, XII веках). Диккенс, очевидно, имеет в виду эпоху, известную в истории под названием Великого раскола (начало XV века), когда на папский престол были избраны сначала два, а потом даже три папы.

*Кровавая Мэри* (Мария Католичка) (1516–1558) — английская королева (1553–1558), дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. После вступления на престол принудила парламент отменить законы в пользу протестантов, изданные при Эдуарде VI, беспощадно подавила восстание. Ввела в Англии инквизицию.

*Тюдоры* — королевская династия, правившая в Англии с 1485 по 1603 год.

*Стюарты* — королевская династия, правившая в Англии с 1603 по 1649 и с 1660 по 1688 год.

*Яков I* — английский король с 1603 по 1625 год из династии Стюартов.

*Карл I* — английский король с 1625 по 1649 год из династии Стюартов. Низложен во время английской буржуазной революции. Казнен 30 января 1649 года.

*Яков II* — английский король с 1685 года. Сын Карла I. Свергнут с престола в 1688 году.



*Кромвель Оливер* (1599–1658) — крупнейший деятель английской буржуазной революции, протектор Англии с 1653 по 1658 год.

*Янкляндия.* Так Диккенс иронически называет Соединенные Штаты Америки, производя это слово от английского прозвища жителей США — янки.

«Жизнь Стерлинга» Карлейля — биография друга юности Карлейля, поэта Стерлинга.

«*Брильянт Хоггарт*». Карлейль имеет в виду один из ранних романов Теккерея, «История мистера Сэмюэла Титмарша и большого алмаза Хоггарт» (1841).

«Ярмарка тщеславия» — самый известный роман Теккерея.

*Синие книги* — сборники документов о деятельности английского правительства, издававшиеся парламентом. Такие сборники выпускались в переплетах синего цвета.

*Крымская кампания* — Крымская, или Восточная, война (1853–1856) — война между Россией и коалицией четырех держав: Турции, Англии, Франции и Сардинии.

*Унитариянская церковь* — одна из протестантских церквей. Возникла в начале XIX века. В отличие от ортодоксальной протестантской церкви не требует от своих членов аскетизма.



*Англиканская церковь* — государственная церковь Англии. Окончательно сформировалась в правление королевы Елизаветы (1558–1603). Англиканская церковь занимает по своей организации и обрядности среднее положение между католической и протестантской церковью. Англиканская церковь не зависит от папы римского, во главе ее стоит английский король. Высшее духовенство англиканской церкви состоит из двух архиепископов — Кентерберийского (духовный глава) и Йоркского — и 35 епископов. Большинство служителей англиканской церкви назначаются королевской властью.

В англиканской церкви существует несколько течений и сект. Из них наибольшее значение имеют два течения: Высокая церковь — наиболее консервативное и реакционное течение, сторонники которого строго придерживаются догматов и ритуала англиканской церкви, и Низкая церковь — более демократическое течение, сторонники которого придают очень малое значение ритуалу и обрядности.

*Уайтчепельский квартал* (Уайтчепл) — северо-восточный район Лондона, район трущоб, населенный бедняками-иммигрантами и рабочими.

*Лох Катрин, Лох Ломонд* — озера в Шотландии.

«Этот роман — вещь гуманистическая, антибюрократическая и антисоциалистическая». Х. Пирсон, как и многие буржуазные критики, недооценивает художественное и социальное значение романа. «Тяжелые времена» прежде всего книга антикапиталистическая. По словам А. В. Луначарского, этот роман был «самым сильным литературно-художественным ударом по капитализму, какой был ему нанесен в те времена, и одним из сильнейших, какие вообще ему наносили». Не прав Пирсон и заявляя, что в «Тяжелых временах» проявился «безудержный анархизм» Диккенса. Эта точка зрения была опровергнута еще Бернардом Шоу, который в предисловии к одному из изданий романа говорит: «Это Карл Маркс, Карлейль, Раскин, Моррис, Карпентер, восстающие против нашей больной цивилизации и провозгласившие, что не беспорядок является чудовищным, а установленный нами порядок, что нас грабят и убивают не преступники, а магнаты капитала... и что вся наша социальная система должна быть разрушена, уничтожена, вырвана с корнем и сметена с лица земли, так чтобы о ее существовании осталось лишь одно воспоминание в летописях истории».

Диккенс был противником революционного пути, но он и не был реформистом в нынешнем понимании этого слова. Ненавидя жестокость и несправедливость капиталистического строя, он стремился к глубоким и решительным преобразованиям существующей системы, с такой силой заклеянной им в «Тяжелых временах».

*Неуверен, как Макбет.* Герой трагедии У. Шекспира Макбет, которому было предсказано, что он будет шотландским королем, решив убить короля Дункана, колеблется, перед тем как осуществить свое намерение.

*Космат и оборван, как Тимон.* Герой трагедии У. Шекспира «Тимон Афинский», который, разорившись, был предан своими лицемерными друзьями, стал человеконенавистником и жил в одиночестве в пещере.

*Вивисекция* (живосечение) — операция на живом животном с целью изучения функций организма, причин заболевания и т. д.

*Джефферсон Брик* — герой романа Диккенса «Мартин Чезлвит» — горячий молодой журналист-американец.



*Шеффер Ари* (1795–1858) — голландский художник. Жил в Париже.

*Сен-Бернардский монастырь* — монастырь, построенный на Сен-Бернардском перевале в Альпах в X веке.

*Неразбериха, которую Министерство Волокиты вносило в Крымскую кампанию. Министерством Волокиты Диккенс называл ряд английских государственных учреждений. Вот как он описывал Министерство Волокиты в романе «Крошка Доррит»:*

*«Министерство Волокиты (как известно каждому без пояснений) всегда было самым важным учреждением в государстве. Ни одно общественное предприятие не может осуществиться, не будучи одобрено Министерством Волокиты...*

*Как только выяснялось, что нужно что-то сделать, Министерство Волокиты раньше всех других государственных учреждений изыскивало способ не делать того, что нужно» (Собр. соч., т. XX, стр. 140–142).*

*Букмекеры* — лица, собирающие и записывающие заклады при пари на бегах и скачках.

*Сент-Леджер* — название состязаний трехлетних лошадей, принимавших участие в дерби, которые проводятся в Донкастере с 1776 года каждый год в сентябре. Название заездов связано с колледжем святого Леджера, основавшим эти состязания.

Х. Пирсон ошибается. Джеролд не мог простить Диккенсу, что тот, убедившись в бесперспективности борьбы за отмену смертной казни, решил ограничиться требованием запрещения *публичных* казней.

*Диссидент* — сторонник одной из протестантских сект.

*Спиритизм* — мистическая вера в возможность общения с «духами» умерших через посредство особо восприимчивых людей, так называемых медиумов. В XIX веке это «самое дикое из всех суеверий» (Фр. Энгельс) охватило довольно широкие круги буржуазии и аристократии.



*Фрит Уильям Поуэл* (1819–1909) — английский художник.

«Слышали, как бьет полночь» — цитата из драмы У. Шекспира «Король Генрих IV», ч. II, акт III, сцена 2. Реплика Фальстафа: «Да, частенько мне приходилось слышать, как бьет полночь, мистер Шеллоу».

*Никаких овсянок для Пенденниса!* Теккерей называет себя именем героя своего романа «История Пенденниса» (1848–1850), представляющего собой «мещанина во дворянстве».

*Королевская академия* — Английская академия художеств, основанная в 1768 году.

*Театр «Друри-лейн»* — один из двух главных театров Лондона (второй — Ковент-гарденский), которые имели привилегию на постановку классических драм (возник во второй половине XVII века).

*Шекспировские слова «Семейное согласие».* У. Шекспир. Генрих VI, ч. III, акт IV, сцена 6.

*Тоже навеянном Шекспиром.* («Повесть о нашей жизни из года в год»)  
— «Круглый год». У. Шекспир. Отелло, акт I, сцена 3.

*Театр «Лицеум»* — построен в Лондоне в 1765 году. В театре выступали различные драматические и музыкальные труппы.



*Единственная комическая фигура — это могильщик. Автор имеет в виду 1-го могильщика из трагедии У. Шекспира «Гамлет», акт V, сцена 1.*

*Ибсен Генрик* (1828–1906) — крупнейший норвежский драматург.

*Кокни* — пренебрежительно-насмешливое название представителей лондонского мещанства, которые родились и выросли в Лондоне, говорят с особым «лондонским» акцентом и обладают особыми манерами.

*Как будто он — Вернер* — герой одноименной трагедии Байрона.

*Сиддонс Сара* (1755–1831) — известная английская актриса. Особенно прославилась исполнением ролей в трагедиях У. Шекспира.

*Макдуфф* — действующее лицо трагедии У. Шекспира «Макбет». Шотландский вельможа, прославленный своим мужеством, убивший в яростном поединке Макбета.

У. Шекспир, Антоний и Клеопатра, акт III, сцена 13.

*Учился в Кэмбридже.* В Кэмбридже, небольшом городе в юго-восточной Англии, находится один из крупнейших и старейших (основан в XIII веке) университетов Англии.



*Тринити Холл* — один из колледжей Кембриджского университета.

*Этот дом стоит на вершине Гэдсхиллского холма, воспетого Шекспиром. Гэдсхиллский холм упоминается Шекспиром в драме «Король Генрих IV». Цитируемое Диккенсом место — в части I, акт I, сцена 2.*

*Нельсон Горацио* (1758–1805) — выдающийся английский флотоводец, национальный герой Англии. Участвовал в борьбе с Наполеоном. Одержал победу над франко-испанским флотом в Трафальгарском сражении в 1805 году.

*Витал в облаках, как Мальволио.* Мальволио — действующее лицо комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь». В комедии дворецкий Мальволио, напыщенный педант, был обманут служанкой, вообразил, что в него влюблена хозяйка, и в мечтах представлял себя ее мужем, полноправным хозяином.

*Сент-Джайлс* — собор на Оксфорд-стрит, построен в 1734 году архитектором Генри Флиткрофтом (1697–1769). Приход собора известен трущобами «Воронье гнездо».

*Нувориш* — богач-выскачка, разбогатевший на спекуляциях военного и послевоенного времени.

*Идет из Англии по Оверленд-руту в Индию, затем по Кунардской линии в Америку.* Кунард-лайн — крупнейшая английская судостроительная компания, основанная в 1839 году Сэмюэлом Кунардом, установившая регулярное сообщение между Англией, США, Канадой и другими странами.

*Холмс Оливер Уэнделл* (1809–1894) — американский очеркист и писатель, по профессии врач.



*Коббэт Уильям* (1762–1835) — английский прогрессивный политический деятель и публицист.

*Де Квинси Томас* (1785–1859) — английский писатель, критик, экономист. Автор некогда широко известной в странах английского языка книги «Исповедь курильщика опиума».

*Уж близок час мой...* У. Шекспир, Гамлет, акт I, сцена 5.

«Уж близок час мой, когда в мучительный и серный пламень вернуться должен я».

*Король Альфред* (849–900) — король Уэссекса (с 871 по 900 год), сильнейшего из англосаксонских королевств.

*Бруклин* — часть Нью-Йорка на западной оконечности острова Лонг-Айленд.

*Барбидж Ричард* (1567–1619) — английский актер, современник Шекспира, первый исполнитель главных ролей в его трагедиях на сцене театра «Глобус».

*Беттертон Томас* (ок. 1635–1710) — известный английский актер.



*Самнер Чарльз* (1811–1874) — американский государственный деятель, противник рабства.

*Джонсон Эндрю* (1808–1875) — президент США в 1865–1869 годах.

*В полицейский фургон на Бау-стрит...* На Бау-стрит в Лондоне помещалось полицейское управление.

*Грили Орас* (1811–1872) — основатель нью-йоркской газеты «Трибюн».

*Эсквайр* — в период феодализма звание оруженосца-рыцаря, позже — звание некоторых правительственных чиновников в XIX веке. В настоящее время вышло из употребления.

*Судебные инны* — 13 юридических корпораций, возникших в XIII веке. Инны готовят полноправных адвокатов-барристеров, которые имеют право выступать во всех судах. Вплоть до настоящего времени существует четыре главных инна — Линкольнс-инн, Грейс-инн, Миддл-Тэмпл и Иннер-Тэмпл. Названия иннов распространялись на здания, в которых были размещены корпорации, и на улицы, на которых стояли эти дома.

*Испанская таверна* — расположена в Хемпстеде, известна как излюбленное пристанище разбойников в XVIII веке.

*Кентербери* — старинный город в графстве Кент, официальная резиденция архиепископа Кентерберийского, первосвященника англиканской церкви.



*Прерафаэлиты* — группа английских художников середины XIX века, которая хотела возродить искусство Раннего Возрождения (до Рафаэля).

...из страны солнца в край вечного мрака — строка из элегии на смерть Джеймса Хогга английского поэта-романтика Уильяма Уордсворта (1770–1850).

*Фицджеральд Эдвард* (1809–1883) — английский писатель и переводчик.

*Таких страстей конец бывает страшен.* Трагедия У. Шекспира  
«Ромео и Джульетта», акт II, сцена 6.